

АЛЕКСАНДР
ЖИТИНСКИЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



АЛЕКСАНДР
ЖИТИНСКИЙ



ОТ
ПЕРВОГО
ЛИЦА

*АЛЕКСАНДР
ЖИТИНСКИЙ*

**ОТ
ПЕРВОГО
ЛИЦА**

ПОВЕСТИ

ЛЕНИЗДАТ · 1982

84.3(2)7

Ж74

Житинский А. Н.

Ж74 От первого лица: Повести.— Л.: Лениздат, 1982.—
400 с., ил.

Вторая книга прозы молодого ленинградского писателя. В нее вошли произведения, написанные и опубликованные автором за последние десять лет.

Ж $\frac{4702010200-242}{M171(03)-82}$ 166—82

© Лениздат, 1982

Перед читателем — вторая книга прозы Александра Житинского. Первая его книга — «Голоса» — вышла пять лет назад; годом раньше, в 1976 году, был издан первый сборник его стихов. Печатается он лет десять, а пишет — стихи и прозу — давно, со студенческой поры. Житинский родился в Симферополе, в 1941 году, за несколько месяцев до начала войны, в семье военного летчика. С детства немало ездил с отцом по стране: в первый класс пошел в Москве, закончил десятилетку во Владивостоке. Потом его жизнь в основном связана с Ленинградом: в 1965 году А. Житинский закончил Ленинградский политехнический институт с дипломом инженера-электрофизика, затем работал младшим научным сотрудником. Тот, кто читал «студенческие» повести Житинского, — шутиливую «Сено-солома» или более серьезную и острую, но тоже веселую «Глагол „инженер“», кто знаком с их постоянным героем — Петром Николаевичем Верлухиным (с ним читатель встретится и в этой книге), тот представляет себе среду, которая окружала Житинского в начале его творчества и питала своими впечатлениями.

Молодые люди этой среды и поколения, к которому принадлежит А. Житинский, — люди образованные, горожане. Они владеют своей манерой общения, независимой, чуть ироничной. Они многое знают, о многом догадываются, но понимают и то, что многого они все же не знают, не умеют и не могут (а хотелось бы!). Похоже, что отсюда и идет их самоирония, иногда слегка нервная. Вообще к этому поколению стоит присмотреться. Оно, правда, лишено непосредственного сурового опыта отцов (например, военного), но ему ведомы свои, тоже весьма нелегкие, проблемы.

С этим поколением, его исканиями и вопросами, главным образом связана литературная работа Житинского. Во всех его произведениях мне слышится характерное звучание его собственного голоса, его речи «от первого лица», сливающейся с голосом современного молодого горожанина, «физика» по образованию и профессии, мечтателя, «лирика» по внутренней сути.

Желание понять странный подчас, новый и пестрый мир, в котором живет это поколение, объясняет пристрастие писателя к разного рода сюжетным странностям и экспериментам, фантастическим допущениям и условностям... То это парадокс лестницы, не выпускающей человека из своей власти, пока он не делает выбора, то это странная способность сниться, которая меняет жизнь героя и других людей. И «Эффект Брумма», и «Арсик», и «Хеопс и Нефертити» построены на подобном «сдвиге», небудничном взгляде на жизнь. Впрочем, фантастика и странности — в традициях большой русской литературы, они помогали увидеть многое в человеке, и у Житинского есть отличные учителя — от Гоголя до Булгакова. В условных формах своей прозы Житинский по-своему обнаруживает жизненную правду, стремится помочь человеку достойно жить в нашем нелегком мире, понять, «что с нами происходит».

Читатель без труда увидит, что наиболее определенных герои Житинского — Владимир Пирошников, Петя Верлухин, Снюсь — вылеплены из одного теста (хотя, конечно, каждый из них живет вполне самостоятельной жизнью). Сходны внутренние проблемы, которые встают перед ними. От «легкого» отношения к жизни, от стихийного отношения к своему дару, от беззаботных мечтаний о «великом предназначении», от наивной любви к себе и людям герои приходят к открытию спасительной для них новой, суровой истины. Оказывается, любить людей — совсем не просто. И чтобы узнать это — нужно порою отдать жизнь. Проблемы, как видим, настоящие, серьезные.

При всем при том, как убедится читатель, проза Житинского легка, дыхание ее естественно, часто она занимательна и весела. Без всякого напряжения со стороны писателя его сочинения вызывают нередкую улыбку, и не столько словесным остроумием, сколько светлым интересом к жизни, неханжеским наблюдающим и примечающим взглядом вокруг себя. И слово Житинского ложится легко и естественно, он, кажется, и не знает «мук слова». И герои его — посмотрите: какие это обаятельные, легкие, бес-

претенциозные люди! Но как трудна — в конце концов — их легкая жизнь! Более того — со временем она становится все труднее. Не знал прежде мучений этот Верлухин, — узнает! Пирошников всей своей безмятежной жизнью, в которой мелкие удачи и малые удовольствия гнали его, как ветром, будет пригнан на лестницу, а там и на край крыши, с которой вот-вот сорвется... А может, все-таки удержится? Но на этом краю человеку нужны усилия чрезвычайные. А Снюсь с его редким и причудливым даром, какой он должен пережить перелом в своей жизни! Ему такого и не снилось, хоть он и был специалистом по снам. Так и выходит у персонажей Житинского: кому раньше все давалось само собою, просто падало с неба, тому — потом — должно пахнуть в лицо бездной, и лишь отчаянные усилия тогда помогают человеку выстоять, тем более снова встать на ноги... Понимание того, что человек ответствен за себя, придает серьезность и глубину прозе А. Житинского.

Выход для его героев — в преодолении замкнутости, в отказе от губельной сосредоточенности на себе. В сущности, вся его проза — это поиски ценностей за пределами только личной, отдельной жизни индивидуума. Замкнутость — это тупик, это путь на «лестницу».

Есть у Житинского люди изначально стойкие. Встретятся они и на страницах этой книги. Это — чистые люди. Их качества вроде бы и не такие редкие: чувство правды и справедливости, острая совесть. Эти качества, делающие возможным правильное, нравственное отношение человека к себе и другим людям, проявляются не в суетной и устремленной к удовольствиям жизни, а в моменты крайние, когда сама жизнь поставлена ребром.

Чувством тревоги, возникающим вначале незаметно, будто сигнализирующим о некоем душевном дискомфорте, а потом беспокоящим все сильнее, уже не дающим смотреть на мир «просто», «легко», «не брать в голову», — этим все более слышимым внутренним голосом проза Житинского, герои его поколения и круга входят в мир поисков всеобщей, всем необходимой большой правды.

...В «Эффекте Брумма» читатель встретит наивного провинциального самородка Фомича. Чудаковатый и неутомный, этот человек работает не ради выгоды, а ради одной только истины. «Понимаешь, — говорит Фомич герою, юному младшему научному сотруднику, — что нам с тобой главное? Не то, чтобы людей удивить. И денег нам с тобой не надо. Главное, это когда всей душой устремиться и

вдруг сделаешь что-нибудь. И оно только душою и держится. Вынь душу — пропадет все».

Кроме ясного нравственного смысла этих слов герою-рассказчику еще очень дорого, что Фомич говорит: «на м с т о б о й главное».

Очень ему хочется быть вместе с Фомичом, с его бескорыстием и правдой. Тут он видит спасение, и ничто не должно помешать любимым героям А. Житинского понять эту простую истину и вступить на путь, ведущий к ней.

В. Акимов



1. ПИШУ ПИСЬМО

Вообще-то я в чудеса не верю. От них меня еще в школе отучили. Я верю в науку и прекрасное будущее. Это немного понятнее. Но иногда все-таки чудеса происходят, и с ними необходимо считаться.

Короче говоря, однажды я обнаружил у себя на столе письмо от шефа. Шеф любит со мной переписываться. То есть пишет только он, а я читаю. Шеф часто засиживается в лаборатории допоздна, и тогда ему в голову приходят мысли. Утром я их изучаю. Например, так: «Петя! Подумайте, нельзя ли объяснить аномалии в инфракрасной области межзонным рассеянием». Или что-нибудь в этом роде.

Обычно я не спешу на такие вещи реагировать. Кто его знает — вдруг это бред? Шеф сам так часто говорит. Вернее, кричит, вбегая в лабораторию: «Все вчерашнее бред и чушь собачья!» Почему собачья, я не знаю. Обыкновенная человеческая чушь, каких много. И не самая худшая.

Но на этот раз было нечто новое. На столе лежал почтовый конверт, заполненный фиолетовыми чернилами довольно размашисто. Был написан адрес нашего института, а после словечка «кому» указано просто: «главному начальнику». Ни больше, ни меньше.



К письму скрепкой была прикреплена бумажка, на которой располагалась лесенка резолюций.

«Пименову. Разобраться». Подпись ректора.

«Турчину. Проверить». Подпись Пименова.

«Жолдадзе. Ответить в недельный срок». Подпись Турчина.

«Барсову. Ничего не понимаю! Морочат голову». Подпись Жолдадзе.

«П. Верлухину. Петя, ради бога, разберитесь в этой чаше и напишите ответ». Подпись шефа.

Верлухин — это я. Ниже меня в системе нашего института находится только корзина для бумаг. Поэтому я не стал накладывать резолюцию, а обратился к письму. Оно меня заинтересовало.

Тем же самым фиолетовым почерком на шести страницах сообщалось, что автор письма обнаружил электрический ток в ковном железе. В скобках было указано: «подкова». Он ее как-то там нагревал на свечке, отчего и текли токи. И в ту, и в другую сторону. Причем большие. Он ими аккумулятор мотоцикла заряжал, а потом полгода ездил. Было написано, что это подтверждает теорию Брумма. Автор просил повторить эксперимент и дать отзыв на предмет получения авторского свидетельства.

Внизу был адрес. Село Верхние Петушки Ярославской области. Василию Фомичу Смирному.

Я только одного не понял. Откуда в Верхних Петушках известна теория Брумма? Я сам о ней понятия не имел.

Взял учебник. Нет теории Брумма. Полез в физическую энциклопедию. На букву «Б» после Макса Борна шел этот самый Ганс Фридрих Брумм, умерший, как выяснилось, двести двадцать лет назад. Он чего-то там насочинял в своей келье, поскольку был монахом. Кажется, даже алхимиком. Потом все это, естественно, опровергли и поставили на его теории крест. А Василий Фомич хочет этот крест поколебать. Так я понял.

Ну так это проще простого! Я тут же сел и написал:

«Уважаемый товарищ Смирный! Ввиду того что трудами Максвелла, Герца и советских ученых теория Брумма опровергнута, как антинаучная, Ваше предложение не может быть принято. Видимо, в Ваши опыты вкралась ошибка».

В общем, «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Лихо я с ним разделался,

а заодно еще раз заклеил Брумма. Нечего ему про-
израстать на нашей почве!

Потом я изобразил реестр подписей с указанием
должности и звания. Получилось внушительно. Ректор
института, член-корреспондент. Зам по науке, профес-
сор и так далее. А внизу скромненько: младший науч-
ный сотрудник П. Н. Верлухин.

Отнес машинистке и сел, довольный проделанной
работой. Когда пришел шеф, я коротко доложил о
Брумме, и шеф улыбнулся. Кстати, о Брумме он тоже
слышал впервое, это я понял по его глазам.

Знал бы он, каким боком обернется этот Брумм, не
улыбался бы.

Тут пришел Лисоцкий, Лисоцкий у нас считается
солидным человеком. Он все время пишет диссерта-
цию. Он ее пишет уже лет десять. Когда я студентом
был, уже говорили, что он ее пишет. Когда он ее на-
конец напишет, это будет что-нибудь потрясающее. Типа
«Войны и мира» Льва Толстого. На заседаниях кафе-
дры он всегда ссылается на трудности. Его за это ува-
жают. Всем нравится, что он уже десять лет преодоле-
вает трудности и это ему не надоело.

У Лисоцкого феноменальный нюх. Если где-нибудь
в лаборатории отмечают день рождения, он всегда за-
ходит спросить таблицы интегралов. На что ему интег-
ралы, неизвестно. Конечно, его угощают, иначе
неудобно. Он выпивает сухое вино, ест пирожные с ко-
фе, а потом берет интегралы и уходит, извиняясь. На
этот раз, я уверен, он тоже зашел неспроста. Что-то
ему подсказало зайти.

— Что нового в инфракрасной области? — спро-
сил Лисоцкий.

Ему все равно, что инфракрасная, что ультрафио-
летовая, я знаю. Это он для затравки.

И шеф ему брякнул про Брумма. Со смехом, конеч-
но. Лисоцкий тоже посмеялся, поговорил про телепа-
тию, а уходя, взял за чем-то физическую энциклопе-
дию. Сказал, что хочет освежить в памяти второе на-
чало термодинамики. Наверное, соврал. Я ему почему-
то не верю.

Лаборантка Неля принесла письмо, отпечатанное
на бланке, мы с шефом расписались и отправили его
вверх. И оно тихо двинулось в Верхние Петушки в
качестве официального документа.

Письмо ушло, и мы о нем забыли. Все пошло своим
чередом. С лекции пришел Саша Рыбаков и впился

в свой осциллограф. Гена, другой ассистент, устроил зачет по твердому телу, причем я, чтобы интереснее было жить, подкидывал студентам шпаргалки. Гена сидел довольный, что группа так хорошо усвоила. Он все время кивал, у него даже шея устала.

К концу рабочего дня Брумм опять всплыл по какому-то поводу. Выяснилось, что Саша знает его эффект. Ну, Саша вообще все знает, это неудивительно. Он оторвался от осциллографа, протер очки и сказал:

— Ты еще с ним нахлебаешься. У него хитрая теория.

— Вот еще! — сказал я. — Ее давно похоронили.

Саша хмыкнул и посмотрел без очков куда-то вдаль, по-видимому в семнадцатый век, в город Кельн, где обитал Ганс Фридрих Брумм. От этого его лицо сделалось немного святым. А впрочем, так всегда бывает у близоруких, когда они снимают очки.

2. ПРОВОЖУ ЭКСПЕРИМЕНТ

Через три недели история с Бруммом вступила в новую фазу. Шеф пришел на работу хмурый и долго переключивал на столе бумажки. Я уже подумал, что его опять в кооператив не приняли. Оказалось, нет.

— Вот такие дела, Петр Николаевич, — сказал шеф.

Это мне еще больше не понравилось. Обычно он ко мне обращается менее официально.

Шеф достал из портфеля папку, а из нее вынул бумаги. Я сразу же заметил сверху письмо со знакомым фиолетовым почерком. И конверт был такой же: «Поздравляем с днем Восьмого марта!» А дело, между прочим, было в сентябре. На этот раз к письму была подколота бумага из газеты. Не считая институтских резолюций. Только они были уже в повышенном тоне.

Шеф молча положил это все передо мной и стал курить. Я чувствовал, что он медленно нагревается. Как паровой котел. Потом он подскочил и ударил кулаком по столу, отчего фиолетовые буквы письма прыгнули куда-то вбок.

— Поразительно! — закричал шеф. — Мракобесие! Алхимией заниматься я не желаю!

— Ничего, Виктор Игнатьевич, — сказал я. — Это тоже полезно. Вы только не волнуйтесь, я все сделаю.

— Вы уж, пожалуйста, Петя,— попросил шеф.— И ответьте как-нибудь мягче. Пообещайте ему что-нибудь.

— Посмертную славу,— предложил я.

— Ни в коем случае! — испугался шеф.— Пообещайте ему какой-нибудь прибор, что ли? Амперметр, к примеру... О господи! — И шеф нервно забегал по лаборатории. Он всегда принимает все близко к сердцу. Так он долго не протянет.

В письме из газеты указывалось на недопустимость пренебрежительного отношения к письмам трудящихся. Оказывается, нужно было проверить самим эффект Брумма, а не ссылаться на какого-то Максвелла.

— Брумм-брумм-брумм... — запел шеф на мотив марша.

— Он тут Энгельса цитирует,— заметил я, ознакомившись с письмом Василия Фомича в газету.

— Брумм-брумм-брумм,— еще громче запел шеф.

Я отложил свой эксперимент и занялся опытом Василия Фомича. Прежде всего предстояло достать свечку. Гена посоветовал купить в магазине, а Саша Рыбаков — в церкви. Церковь к нашему институту ближе, чем магазин, поэтому я направился туда.

У церквей странное расписание работы. Иногда они закрыты весь день, а иной раз работают даже ночью. Мне повезло. Церковь функционировала. У входа какая-то старушка торговала свечками. Свечки были тонкие, как макароны, и дорогие. Я купил пять штук, и старушка меня перекрестила. Видать, я ей понравился.

С подковой дело обстояло хуже. Я просто не знал, где в городе можно достать качественную подкову. Позвонил в справочное бюро. Меня там обругали, сказали, чтобы я не хулиганил. Тогда я заказал подкову в механической мастерской. Дядя Федя, наш стеклодув, нарисовал мне по памяти эскиз. Он у нас родом из деревни. Я перечертил по всем правилам в трех проекциях, и в аксонометрии тоже. Все честь честью. Выписал наряд и стал ждать.

Три дня я бегал в мастерскую, интересовался заказом. Наконец подкова была готова.

— У тебя конь-то что, одноногий? — спросил слесарь.

— Остальные у него протезы,— сказал я.

— Кобыла или жеребец?

— Скорее, жеребец.

— Жалко животное, — сказал слесарь.

Я принес подкову на кафедру и принялся готовить опыт. Народу набежало очень много. Шеф, чтобы не волноваться, ушел в библиотеку. Я чувствовал, что он не совсем уверен в результате. Лисоцкий ходил и иронизировал насчет подковки. Однако к схеме приглядывался очень внимательно. Это я отнес за счет его природной любознательности.

Я укрепил подкову на штативе, припаял к ней провода, подсоединил амперметр и зажег свечу. Все это напоминало венчание. Со свечой в руке я походил на жениха. На месте невесты стоял Лисоцкий.

— Надо спеть аллилуйю, — предложил Рыбаков.

Я поднес свечечку к подкове и начал нагревать. Стрелка прибора дрогнула и подвинулась на одно деление.

— Термоэлектрический ток, — констатировал Лисоцкий.

Ну это я и сам знаю. Никаким Бруммом и не пахло. Я извел три свечки, нагревая подкову в разных местах. Она потеряла прежний блеск, закоптилась и выглядела жалко. Получилась какая-то бывшая в употреблении подкова.

— Ни хрена, — сказал Саша Рыбаков и вернулся к своим приборам.

— И должно быть ни хрена, — раздался сзади голос шефа. Он незаметно подошел и наблюдал за опытом.

— Дайте паяльную лампу, — сказал Лисоцкий.

— Не мешай эксперименту! — сказал шеф.

— Дайте лампу! — закричал Лисоцкий.

Ему дали лампу, и он в течение десяти секунд нагрел подкову добела. Провода от нее отпаялись, а результат был тот же.

— Не та подкова, — заявил Лисоцкий. — Суррогат, а не подкова. Нужно настоящую, с коня. С копыта, так сказать!

— Хватит! — сказал шеф. — Петя, пишите вежливое письмо. Приложите схему опыта. Пообещайте амперметр. Не забудьте написать «с уважением». Это преступление!.. Убить неделю на какого-то Брумма! А если этот Фомич заявит завтра, что земля имеет форму бублика? Мы это тоже будем проверять? Да?!

— Подождите, — загадочно сказал Рыбаков, — это еще семечки.

Лисоцкий выпросил подкову и унес к себе в лабораторию. Сказал, что на счастье. В результате так оно и вышло, но гораздо позже.

Я снова написал письмо в Верхние Петушки. Назвал Фомича коллегой, употребил кучу терминов и дал теоретическое обоснование с формулами. Написал даже уравнение Шредингера, хотя оно было и ни к чему. Это чтоб он подольше разбирался. Я уже чувствовал, что предстоит затяжная борьба.

Это же чувствовал шеф.

— Петя, изучите этого Брумма как следует, — сказал он. — Чтобы быть во всеоружии.

На следующий день я отправился в отдел рукописей и старинных изданий Публичной библиотеки и засел за оригинал. Брумм писал полатыни. С этим я еще справлялся с грехом пополам. Но у него обоснования теории были немного мистические. Он, например, всерьез заявлял, что электрический ток есть одна из форм существования дьявола. И святой огонь, мол, заставляет дьявола бегать по проводам и производить искры. Каким образом дьявол может заряжать аккумуляторы, Брумм не писал.

Я изучил только один трактат из четырнадцати, а Василий Фомич уже успел сделать ответный ход.

3. СОБИРАЮСЬ

На этот раз Смирный поднял на ноги общественность. Общественность обычно охотно поднимается на ноги. Можно сказать, она только этого и ждет.

Общественность можно поднимать на ноги различными способами. Василий Фомич пошел по пути коллективного письма. Не знаю, где он набрал в Верхних Петушках столько народу. Может быть, в райцентр ездил? Во всяком случае, человек пятьдесят клятвенно подтверждали, что товарищ Смирный пользовался мотоциклом с коляской шесть месяцев, и довольно интенсивно. Причем аккумулятор заряжал один раз от подковы. Все видели. Где он брал подкову, тоже указали. Он брал ее в кузнице.

— Вот видишь. Не в церкви, а в кузнице, — сказал Рыбаков.

— Да я свечу брал в церкви, а не подкову, — сказал я.

— Все равно, — меланхолично заметил Сапа.

По-моему, Рыбаков задался целью методично меня довести до состояния шефа. Это у него не выйдет!

Шеф смотрел на меня скорбно, когда я читал письмо. У него зрела мысль. Начал он издали.

— Петя, вы еще молоды,— сказал он мягко.— Нервы у вас крепкие. Поезжайте в Петушки. А не то Фомич сам прикатит на своем мотоцикле. Тогда я за себя не ручаюсь. А у меня семья.

И я пошел оформлять командировку. Начальство подписало ее не глядя, а в бухгалтерии заволновались.

— Это где это такие Петушки-гребешки? — спросил главный бухгалтер.— И зачем это тебе туда ехать? Небось по грибы собрался?

Я терпеливо объяснил, что в Верхних Гребешках состоится международный симпозиум. То есть, тьфу! Не в Гребешках, а в Петушках. Повестка дня: доильные аппараты на транзисторах, сбор яиц с помощью электромагнита и применение подковы в качестве генератора. Про подковы я не соврал.

— А самогон там еще не гонят на транзисторах? — пошутил главбух.

— Запланировано в следующей пятилетке,— пошутил я.

— Езжай! — сказал главбух. — Иностранцы будут?

— Три автобуса,— сказал я.

Главбух остался мною доволен. Я тоже. Получив аванс, я отправился узнавать, как мне добраться до Петушков.

Выяснилось, что лучше всего ехать туда на лошади, потому что на лошади все равно где передвигаться. Самолеты в Петушки не летали, поезда не ходили, пароходы не плавали. Я серьезно забеспокоился насчет иностранцев. Как они туда попадут?

Наконец какой-то старичок на вокзале мне все подробно рассказал. Нужно ехать поездом до райцентра, потом автобусом. Если влезешь, сказал старичок. А уж после катером по какой-то реке. Если ходит, сказал старичок.

— А если не ходит? — спросил я.

— Тады пешим,— сказал старичок.— Там недалеко. Верст двадцать пять.

Я поблагодарил старичка за информацию и пошел покупать резиновые сапоги. И ватник.

На кафедре мой отъезд наделал много шуму. По-

сышались заказы на сушеные грибы. А Саша Рыбаков предложил мне удочку для подледного лова.

— Так ведь льда еще нет,— сказал я.

— Как знать,— опять-таки загадочно сказал Рыбаков.— Эксперименты могут затянуться.

Лаборантка Неля даже всплакнула, когда я прощался. По-моему, она меня любит. Это надо будет проверить, когда приеду, решил я. Прибежал дядя Федя с какой-то посылкой. Просил по пути завезти к нему в деревню, племянникам. В посылке были сухофрукты и пластинка Муслима Магомаева.

Я уточнил у дяди Феди, откуда он родом.

— Из Тульской губернии,— сказал дядя Федя.

— Дядя Федя, ты географию знаешь? — спросил я.

— Нет,— гордо сказал дядя Федя. — Я только Европу знаю. В войну всю прошел. А здесь уже подзабыл маленько... А что, разве не по пути?

Я специально сбегал за картой и показал дяде Феде местонахождение Верхних Петушков.

— Поди ж ты! — огорчился дядя Федя.— Ну все равно. Отдай там кому-нибудь. Магомаева там тоже знают, наверное.

Мой научный багаж заключался в конспекте трактата Брумма и пирометре, который я захватил для солидности. Пирометр — это такая штука, которой можно измерять высокие температуры. Он не очень большой.

Потом я направил Фомичу телеграмму. «Командируется представитель комиссии по проверке эффекта Брумма. Подготовьте аппаратуру».

Провожать меня на вокзал никто не пошел. Даже жена. Поезд отходил в третьем часу ночи. Очень удобный поезд для убегающих тайно и навсегда. Я понял, почему отправление назначили так поздно. Или так рано, не знаю. Дело в том, что поезд был отнюдь не «Красная стрела» сообщения Ленинград — Москва. Далеко не. И его отправление днем или вечером могло навести на грустные мысли. Особенно гостей нашего прекрасного города. Я говорю о внешнем виде.

Я шагал вдоль поезда по платформе и вспоминал последние слова жены. Она сказала:

— Петечка, ты должен держаться.

— Это ты насчет научной позиции? — спросил я.

— Нет, насчет выпивки. Там же все пьют!

— Это слухи,— сказал я.— Все не могут пить. Де-

ти не пьют. Старушки тоже. И вообще там передовой колхоз.

— Закусывай салом,— сказала жена.— Говорят, это помогает.

4. ЕДУ

Я прибыл в райцентр утром и ступил на привокзальную площадь, как Колумб на берега Америки. Город был малоэтажный. По улицам бродили куры с цыплятами. Когда ни с того ни с сего проезжал автомобиль, они долго бежали перед радиатором, не зная, куда податься. А потом сигали в канаву.

Я установил, что автобус будет через три часа, и пошел на экскурсию.

Дошел до какой-то реки. Река была довольно большая. На деревянной пристани стоял дед с бородой и в шапке. Наверное, лодочник. Или бакенщик.

— Что за река, папаша? — спросил я. Спросил не подумав.

— Волга, мамаша,— сказал дед укоризненно.

— Не узнал,— пробормотал я, краснея.

— Долго сидел-то? — спросил дед, посмотрев на мой чемодан и ватник.

— Где сидел? — не понял я.

— Известно где,— сказал дед, прищуриваясь.

— Три года,— сказал я, чтобы не обмануть его ожиданий.

— За какие дела?

— Трактор утопил колхозный.

— Бывает,— сказал дед.— Вытащили трактор-то?

— Нет,— сказал я.— Там глубина большая. Это на Черном море было.

— А теперь куда подался? — спросил дотошный дед.

— В Верхние Петушки.

— Поклонись там Ваське Смирному. Скажи, что Тимофей, мол, кланялся. Агрегат работает исправно.

Оказывается, Фомич был известной личностью. В этом я убедился, когда дошел до исполкома. Там была доска Почета. В правом верхнем углу находилось фото товарища Смирного. Было написано, что он передовой механизатор и изобретатель. Ну это меня не удивило.

Напротив исполкома, на здании Дворца культуры тоже висела доска. Только другого содержания — «Они позорят наш район». В том же правом верхнем

углу я снова увидел портрет Фомича. Абсолютно такой же. Наверное, с одного негатива печатали. Здесь было указано, что товарищ Смирный занимается изготовлением самогонных аппаратов. Остальные его соседи по доске были просто алкоголики. Фактически его жертвы.

Как видно, доски вывешивали разные организации. И не слишком согласованно. Фомич на фотографии выглядел очень благообразно. На вид ему было лет пятьдесят. Прическа его напоминала маленькую плантацию по выращиванию волос.

Мне прямо жутко захотелось увидеть такого многогранного человека, и я поспешил к автобусу. Старичок, который меня предупредил о посадке, хорошо знал местные условия. Никто не ехал просто так, без ничего. Все что-то везли. Колеса для мотоцикла, стиральную машину, клетку с канарейкой, два телевизора и резиновый шланг для поливки.

Автобус подрулил к остановке. Шофер высунулся из окошка и закричал:

— Машину мне не переверните!

Но его уже никто не слушал. Два мужика со стиральной машиной наперевес, набрав скорость, понеслись к дверям. По дороге они зацепили шланг и в результате промахнулись мимо двери. На боку автобуса образовалась вмятина.

— Я сейчас выйду! — пообещал шофер.

Все молча отталкивались друг от друга руками. Это напоминало плавание в вязкой среде. Я прижал пирометр к груди и давил им на мешок, который волокла на спине какая-то бабка.

— Тихо ты! У меня там сервис! — заорала бабка. И все сразу начали орать, у кого что в мешках. Абсолютно все предметы почему-то были бьющимися.

— Осторожно! — завопил я. — Пирометр взведен! Он от сотрясения взрывается! — И я потряс в воздухе пирометром.

Вокруг моментально образовался вакуум. Я прошел в автобус и сел. А остальные продолжили свои попытки. Наконец шоферу это надоело, и он тронулся с места. Стиральную машину успели к этому времени впихнуть только наполовину. А шланга лишь небольшой кусочек. Шланг размотался и потянулся по дороге, как кнут. Один из владельцев стиральной машины бежал рядом с автобусом и все пытался продвинуть ее внутрь, но это ему плохо удавалось.

Километров сорок еще ругались, но потом успокоились. На мой пирометр смотрели с уважением и прислушивались, не тикает ли внутри. Наконец я сошел у какого-то моста.

Рядом с мостом была пристань. На ней ждали катера. Как мне сказали, ждали со вчерашнего дня. Уверенность, что катер все-таки придет, меня воодушевила.

Катер действительно пришел. Но только на следующее утро. Ночь мы провели у костра. Хорошо, что среди ожидающих были туристы. Они растянули свои палатки, и мы прекрасно переночевали. Меня даже покормили утром тушенкой.

Я спросил, нет ли здесь жителей Петушков.

— Это каких Петушков? — уточнила девушка с велосипедом, которая вечером у костра пела народную песню. — У нас Петушков много. Нижние Петушки, Верхние Петушки, Кривые Петушки и Ясные Петушки.

Я сказал, что Верхние. И добавил, что к товарищу Смирному.

— К дяде Васе? — обрадовалась девушка. Потом она подозрительно на меня посмотрела и спросила, не из милиции ли я. Я сказал, нет. Девушка посмотрела еще подозрительнее и осведомилась, уж не за аппаратом ли?

— Он их уже не делает. Через эти аппараты его от науки отрывают. Несознательные у нас люди! — сказала девушка.

Как видно, научные подвиги Фомича были достаточно хорошо известны. Девушка сообщила, что Смирный соорудил из телевизионной трубки какой-то прибор. И облучает вымя колхозным коровам. Удои от этого очень выросли. В общем, интеллектуальные интересы Фомича были разнообразны.

Часа два мы плыли на катере мимо разных Петушков и других населенных мест. Природа была первозданная. Воздух стерильно чист. Люди были суровые, привыкшие к трудностям. Полеводы, животноводы, сельская интеллигенция.

Раньше было такое понятие — «смычка города и деревни». Так вот, я эту смычку осуществлял. Меня попросили подробнее рассказать о пирометре. Я увлекся и незаметно перешел на элементарные частицы. А потом рассказал про лазер, когерентное излучение и так далее.

— А что, сынок, этим лазером сено можно косить? — спросила одна бабка.

— В принципе можно, — ответил я. — Но нерационально. Это все равно что фотоаппаратом забивать гвозди.

В общем, когда мы добрались до Верхних Петушков, пассажиры уже имели представление о физике. Не знаю, как это там у них преломилось. Наверное, своеобразно. Ну и я в свою очередь получил понятие о пахоте, севе, дойке и прочих вещах.

Наконец катер ткнулся носом, на котором висела автомобильная покрывка, в гостеприимную пристань Верхних Петушков.

5. ЗНАКОМЛЮСЬ С ФОМИЧОМ

— А где село? — спросил я у девушки с велосипедом. Она вызвалась меня проводить.

— Да вот же, — показала она.

На пригорке располагались пять домиков, причем совершенно хаотично. Вниз, к реке, вела тропинка. Лаяли собаки. Кричали петухи. Короче говоря, не было похоже, что это центр мировой науки.

— Вот дяди Васи дом, — махнула рукой девушка.

На трубе этого дома было укреплено какое-то сооружение из толстой проволоки.

— Магнитная ловушка, — сказала девушка.

— Понятно, — пробормотал я. Если этот Фомич получает в своей печке плазму, я брошу физику. Так я подумал.

Я подошел к жилищу и постучал в окошко. На стук из-за занавески высунулась голова. Я сразу ее узнал. Похуже, чем на доске Почета, но зато абсолютно живая. Василий Фомич сделал испуганные глаза и отрицательно замотал головой.

— Я по делу! — крикнул я.

— Пропади ты пропадом, — глухо донесся из-за рамы его голос. — Нету аппаратов!

— Я по поводу Брумма! — крикнул я.

— Брумма? — Рыжие брови Фомича образовали взлетающую птичку. Он исчез из окошка и через минуту открыл мне дверь. Я вошел в сени.

— А не врешь? — спросил Фомич. — Тогда проходи.

Фомич был в спортивном костюме из трикотажа. В руке он держал ухват. Между дужками ухвата была

укреплена двояковыпуклая линза. Значит, это был уже не ухват, а физический прибор.

Фомич очень приятно картавил в некоторых словах. Иногда совсем невозможно было понять, что он говорит. Но это, главным образом, из-за его собственной терминологии. Она у него отличалась от общепринятой.

— Житья нету от аппаратчиков,— сказал Фомич.— Я денег не беру. Только бы отвязались! Говорят, хоть польза от науки какая-то. А ты откуда будешь?

Я объяснил. Фомич был удивлен не на шутку. Особенно тем, что наша подкова отказалась давать ток. Он ввел меня в избу. Там было похоже на нашу лабораторию. Очень много проводов и железа. На столе стояла керосиновая лампа. На ее стеклянном колпаке висела одной дужкой внутрь подкова. От подковы шли провода к приемнику. Фомич зажег лампу и включил приемник. Приемник заговорил.

— Прямое преобразование. Переносный электропитатель,— пояснил Смирный.

Тут в окошко постучалась девушка-почтальон. Она привезла Фомичу телеграмму от меня. Знал бы я, захватил ее с собой, чтобы телеграф не мучился. Фомич внимательно изучил телеграмму.

— Командируется представитель,— значительно сказал он.— Тоже по Брумму.

— Да это я и есть,— сказал я.— Откуда вы про Брумма знаете?

— История, уходящая в прошлое,— литературно начал Фомич.— Я раньше дома ломал. Разбирал по бревнышку, по кирпичику. Под новую постройку. И однажды нашел трактат на чердаке. Ничего не понял, но интесесно! Интесесно ведь!

— Интесесно,— согласился я.— Редкий довольно-таки бред.

— Ну бред не бред, а зерно истины там присутствует,— обиделся за Брумма Фомич. Он хотел сказать, что доковырялся до этого зерна.

— А дьявол? — спросил я.

— Не дьявол, а черт,— поправил Фомич.— Горшком назови, только в печку не ставь. Знаешь? Электрон, черт — разницы нету. Главное, чтоб работало!

— Ну, это мы проверим,— сказал я.

— Утро вечера мудренее,— сказал Фомич.

Мы стали готовиться ко сну. Пришла откуда-то жена Фомича. Очень жизнерадостная женщина. Фомича она называла Васютой, а к физике относилась с любовью, как к домашней кошке. Меня покормили от души. Перед сном Фомич понаблюдал немного в телескоп, делая какие-то записи. По-моему, он опоздал родиться. Ему очень подошел бы Ренессанс. Прошу не путать с Россинантом. Хотя Россинант этому рыцарю науки тоже сгодился бы. Мне очень хотелось спросить, не пишет ли Фомич стихи. Или не ваяет ли? Но я не спросил.

Ночью мне приснился Ганс Фридрих Брумм. Он пришел к нам на кафедру в ватнике, надетом поверх черной мантии. В руках он держал телеграмму-молнию. Я показывал ему подкову, и Брумм страшно хохотал. «Интересно! Интересно ведь!» — кричал он.

Потом Брумм перешел на латынь и долго что-то говорил. Из этого я понял только крылатую фразу: «Квод лицет йови, нон лицет бови». Это означает: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Я когда-то увлекался крылатыми фразами. Вот только неизвестно, кого Брумм подразумевал под быком.

6. ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ ВМЕСТЕ

Когда я проснулся, Фомича не было. Он пришел через полчаса с ведром, в которое был вмонтирован кинескоп. 43 сантиметра по диагонали. Видимо, Фомич только что проводил утреннее облучение коров.

Судя по всему, проснулся он очень давно. Это я определил по пирометру. Пирометр был разобран на части до последнего винтика. Его детали аккуратно лежали на чистой тряпочке. У Фомича был детский метод познания окружающего мира. Я тоже в детстве разбирали игрушки, чтобы посмотреть, что внутри.

— Пирометр нам понадобится? — спросил Фомич, указывая на детали.

«Ишь ты, знает название», — подумал я.

— Да, — сказал я. — Понадобится.

— Сейчас соберу, — сказал Фомич.

И он действительно за какие-нибудь четверть часа собрал пирометр. Не осталось ни одной детали. На ходу он что-то там модернизировал, в результате, по его словам, пирометр можно было теперь использовать как микроскоп.

— Еще есть чего? — спросил он с надеждой.

— Нет,— сказал я.— В следующий раз привезу больше.

— Эх, мне бы камеру Вильсона! — мечтательно сказал Фомич.— Я бы тогда...

Как выяснилось из разговора, Фомич склочником не был. Его письма в научные центры объяснялись просто. Земляки не очень-то уважали Фомича за его труды. Не считая, разумеется, аппаратов. Можно сказать, они не верили в его результаты. Тогда он решил получить авторское свидетельство, чтобы таким образом укрепить свой престиж и заодно, чтобы не мешали ему работать.

— Ремонтивуй, говорят, твактова! — жаловался Фомич. (Я с трудом сообразил, что он говорит о ремонте тракторов.) — Да мне эти твактова неинтересно чинить. У меня плазма на очереди.

Мы позавтракали и приступили к опытам. Интересно, что не пили ничего, кроме чая. Ни вчера, ни сегодня. Потом оказалось, что Фомич вообще непьющий. У меня даже мелькнула мысль — ввести обязательные занятия физикой в качестве меры против пьянства.

Нагревали подкову. Свечечкой. Керосиновой лампой. Пальцем. Токи текли неправдоподобно большие. Приемник работал. Моя электробритва брила. Бриться от подковы! Да если это на кафедре рассказать — убьют!

Гипноз был исключен. Колдовство тоже. Оставалось снять шапку перед фактами.

— А ты говоришь — бред! — радостно восклицал Фомич.

— Природа едина,— твердил я.— Не может быть в Петушках один физический закон, а в городе другой.

— Как сказать! Как сказать! — приплясывал вокруг подковы Фомич.— Вот в этом ты, видать, и ошибаешься.

Я еще раз проверил схему, снял показания, замерил температуры и ушел думать в поля. Полей, слава богу, хватало. Можно было обдумать всю физику от первого закона Ньютона до последних открытий Фомича.

Это что же получается? Я закончил школу, институт, готовлюсь в аспирантуру. Отвоевал себе маленький клочок физики, где я знаю, кажется, больше всех. Совсем маленький. Меньше не бывает. А тут человек исследует глобально на одном энтузиазме. Причем о

диссертации не помышляет. Интересно ему, вот и все. Так кто же из нас, спрашивается, занимается физикой?

Получалось, что физикой занимается Василий Фомич. А я исследую какие-то крупницы истины, от которых никому ни жарко, ни холодно. Оптические свойства анизотропных соединений висмута. Ну, защищу, положим, диссертацию. А у Фомича мотоцикл от подковы ездит. Приемник говорит. Бритва бреет. Вот-вот плазму в печке получит.

А если он шарлатан? Я вспомнил глаза Фомича, когда он колдовал со свечечкой. Нет, он не шарлатан. Такой веры в глазах у шарлатанов не бывает.

Ничего я не придумал, и мне стало холодно в полях. Наступил вечер. Упали заморозки. Кажется, так говорится на сельскохозяйственном языке. Трава пожухла. Я как вспомнил эти слова, так и захотелось мне переехать жить в деревню. А что? Буду у Фомича ассистентом. Достанем камеру Вильсона, ударим по элементарным частицам. Корову куплю. Мотоцикл. И хорошо на душе стало, и все равно тоскливо, потому что никуда я не поеду. Буду всю жизнь что-то измерять и писать статьи в журнал «Физика твердого тела». А эти статьи будут понятны, кроме меня и шефа, еще семнадцати человекам. Это на всем земном шаре.

Расстроился я и вернулся к Фомичу. Он меня напоил парным молоком, а на ночь мы поговорили про космические лучи и относительность пространства — времени. Давно я на такие темы не говорил со свежим человеком. А Фомич был абсолютно свеж. Пару раз он меня ставил в тупик. Оказывается, в пространстве — времени много нерешенных вопросов.

— Васюта, спи! — попросила с печки жена Фомича.

— Погоди! Душу мне разбередил этот Эйнштейн. Это как же я поперед него не подумал?

— Он просто раньше жил, — успокоил я Фомича.

— Разве что, — согласился Фомич. — Все равно обидно!

Он долго еще ворочался, а потом заснул. Я смотрел в окошко и видел распаханное поле, залитое зеленоватым светом луны. От каждого бугорка падала тень. По полю, опустив морду, пробежала собака. Или волк. Мне захотелось к маме. Или к жене.

Просторы очень действовали на нервную систему.

7. ЕДЕМ ОБРАТНО

— Собирайтесь, Василий Фомич! — сказал я утром. — Упаковывайте приборы. Поедем в Ленинград.

— Чего я там не видал? — насторожился Фомич.

— Вас там не видали, — сказал я.

— И не увидят. Вот еще!

— Мы вам осциллограф подарим, — пообещал я.

— Осциллограф? — Фомич мечтательно зажмурился. У него даже волосики на голове зашевелились. — Нет, не поеду. Кто коров будет облучать? Председатель не отпустит.

Я пошел к председателю в соседнюю деревню. Правление было там. Председатель ничуть не удивился моему визиту. Как видно, по поводу Фомича его посещали часто. Странно, что он еще сохранил к нему теплые чувства.

— Золотая голова! — сказал председатель. — Это раз. Не пьет. Это два... Но ерундит иногда, это верно. Измышляет без пользы. Вот облучатель сделал — молодец! А плазма эта — ну кому она нужна?

По словам председателя, золотую голову Фомича они даже в аренду сдавали. Соседним колхозам. Фомич тем рацпредложение, а они колхозу денежки. В общем, как у нас на кафедре договорные работы с предприятиями.

— Ладно, уговорил! — сказал председатель, когда я намекнул ему на Нобелевскую премию. — Будет премия, построим коровник.

— На эту премию и слоновник можно построить, — сказал я.

— Зачем нам слоны? — не понял председатель.

— Вместо петухов. Научите их кукарекать.

Председатель посмотрел на меня с интересом. Я понял, что сваял дурака со своим юмором. Так у меня часто бывает. Поэтому я решил исправиться.

— Вообще слонов используют в Индии как рабочую силу.

— Да у нас весь урожай на корма пойдет! — сказал председатель, посмотрев на дело практически. — А сколько стоит слон?

— Их трудно достать. Они все импортные, — успокоил я председателя. Он сразу потерял интерес к слонам и выписал Фомичу какие-то документы на отъезд. Напоследок попросил, чтобы Фомич научил подпаска Кольку облучать коров. Я обещал.

День у нас ушел на сборы. Набрали в кузнице мешочек подков. Довольно тяжелый. Взяли приборы Фомича, чтобы соблюсти чистоту эксперимента. И тронулись.

Жена Фомича дала сушеных грибов и сказала: — Держись там, Васюта.

И далее у них произошел такой же разговор, как у меня с женой. Только они говорили о научной позиции.

Когда приехали в райцентр, Фомич весь съезжился. Он шел не поднимая головы. Мы прошли мимо Дворца культуры. На стенде «Они позорят наш район» фотографии Фомича уже не было. Как, впрочем, и на доске Почета. Фотографии взаимно уничтожались, как частица с античастицей. У нас это называется — аннигилировали. Фомич первый раз улыбнулся. Неизвестно, исчезновению с какой доски он больше обрадовался.

Мы приехали утром, и я сразу поволок Фомича в институт. Он все время озирался и прижимал к животу мешочек с подковами. Два раза я вынимал его из-под колес движущегося транспорта. Один раз он меня. Но это случайно.

Мы шли по коридору кафедры, обрастая сзади хвостом из любопытных. У входа в лабораторию все уже напоминали комету. Ядром были мы с Фомичом.

Я впихнул Фомича в лабораторию, вошел сам и объявил, как на приеме:

— Знакомьтесь, Василий Фомич Смирный.

Шеф в это время давал консультацию студентке. Он сидел к нам спиной. И по лицу студентки я понял, что происходит с шефом. У студентки расширились зрачки, и она пролепетала:

— Виктор Игнатьевич, я потом зайду...

Шеф медленно повернулся. Все-таки у него сильная воля. Саша Рыбаков снял очки и протер их. Произошла немая сцена, как в «Ревизоре». А Фомич сказал:

— Вы меня помните? Я вам писал про Брумма...

— Помним,— сказал шеф.— Очень хорошо помним.

8. НОСИМСЯ С ФОМИЧОМ (1)

Публика расположилась, как на стадионе, и у шефа с Фомичом началось состязание. Сначала работал шеф. Рыбаков ему ассистировал. Я был третьей-

ский судья. Не знаю, что это такое. Так принято говорить.

Шеф взял подкову через носовой платок и укрепил ее. Подпаяли провода и так далее. Нагрели. Результата, конечно, никакого.

— Ну-с,— сказал шеф.

— Это по-вашему,— сказал Фомич.— Дайте свечку.

Фомич заступил за пульт управления и мгновенно добился тока. Получилась боевая ничья. Со счетом 1:1.

Откуда ни возьмись появился Лисоцкий. Он подошел к Фомичу и нежно обнял его за плечи. Фомич испуганно отшатнулся.

— Ай-яй-яй,— сказал Лисоцкий.— Вам не стыдно, товарищи? Так встречать гостя не годится. Где наше ленинградское гостеприимство?

— Я пить не буду,— тихо сказал Фомич.

— Петр Николаевич, товарищ устроен в гостиницу? — спросил меня Лисоцкий.

— Он же не из Парижа, а из Петушков,— сказал я.— Попробуй его устрой.

— Я это беру на себя,— сказал Лисоцкий.

— Да я уж на вокзале,— предложил Фомич.

А подкова все продолжала давать ток. Кто-то из лаборантов незаметно подсоединил к ней лампочку. Та, конечно, загорелась. Шеф сел на стул и вытер лоб тем же платком, которым брал подкову. Саша Рыбаков замерил напряжение и объявил:

— Двести двадцать вольт... А есть подкова на сто двадцать семь?

— Почему нет? Есть,— сказал Фомич.

— Не надо,— еле слышно сказал шеф.

— Василий Фомич,— сказал Лисоцкий.— Сейчас мы вас устроим, вы отдохнете, а завтра продолжим исследования.

— Да чего тут исследовать? — удивился Фомич.

— Могут быть побочные эффекты,— уклончиво ответил Лисоцкий.— Кроме того, надо дать теоретическое обоснование.

— Его уже дал Брумм,— сказал я.— Все дело в черте. Или в дьяволе.

Тут Лисоцкий увел Фомича. Тот успел кинуть на меня взгляд, молящий о помощи, но бесполезно. Мне нужно было писать отчет о командировке. Весь народ

из лаборатории рассосался. Лампочка продолжала гореть.

— Петя, уберите этот иллюзион,— сказал шеф устало.

— Ничего не поделаешь, работает,— развел я руками.

— Ха! — крикнул из своего угла Рыбаков.

Шеф вскочил и зашвырнул лампочку в железный ящик. Там она благополучно взорвалась. При этом шефа стукнуло током от подковы. Это был неплохой аргумент. Но шеф ему не внял. Как говорят, он закусил удила.

— Петя,— угрожающе начал шеф.— Чтобы этого Фомича я больше не видел. И подков тоже. Сделайте для меня такое одолжение. Я вас освобождаю от работы на неделю. Поведите его в Эрмитаж, покажите кулибинское яйцо. В цирк, на карусели, в бассейн. Куда угодно!

— А эффект Брумма? — спросил я.

— Забудьте это слово! — закричал шеф. Взгляд его упал на подкову, он зарычал и бросился на нее. Никогда не думал, что шеф такой богатырь. Он моментально разогнул подкову и зашвырнул ее в тот же ящик. Следом полетела свеча. Шеф достал таблетку и засунул ее под язык. Я подумал, что, если он сейчас умрет, виноват буду я, а не Брумм. Поэтому я, пятясь, вышел из лаборатории.

9. НОСИМСЯ С ФОМИЧОМ (2)

На следующий день был бенефис Фомича в лаборатории Лисоцкого. Лисоцкий прибежал на кафедру с самого утра, чего давно уже не бывало. В руках у него болтался мешочек с подковами. Видно, выпросил все-таки. Снова на счастье. Судя по всему, счастья Лисоцкому должно было теперь хватить до двухтысячного года.

— Петр Николаевич,— обратился ко мне Лисоцкий.— Я устроил Смирного в гостиницу «Ленинград». Поезжайте за ним, скоро придет корреспондент.

— Какой корреспондент? — спросил я.

— Из газеты,— сказал Лисоцкий.

Я пожал плечами, но поехал за Фомичом. Фомич по мне соскучился. Он чуть меня не расцеловал. В отдельном номере гостиницы с полированной финской мебелью он выглядел, как леший в целлофане. Он си-

дел перед зеркалом во всю стену и приглаживал брови. Но безуспешно. При этом разговаривал со своим изображением.

— Что, Васька, генералом стал? — говорил Фомич. — И чего тебя, дурака, в город понесло? На кой шиш тебе эти исследования? Ага, молчишь!

Фомич сделал паузу, чтобы изображение и вправду немного помолчало. Потом он поднял сапог, стоящий под мягким креслом, и потряс им в воздухе:

— Лапоть ты, Васька! Сапог!

— Не расстраивайтесь, Василий Фомич, — сказал я.

— А я и не расстраиваюсь. С чего ты взял? — сказал Фомич.

Как мне показалось, Фомич так и не решился ночевать на кровати, а спал в кресле. Постель была нетронута. Мы спустились по коврам вниз, причем дежурная по этажу посмотрела на Фомича с изумлением.

Мы приехали на кафедру, где уже томился корреспондент. Удивительно ученый человек. Он так и сыпал научными терминами. Лисоцкий ходил с ним по коридору и чего-то пел ему про подковы.

— А вот и наш самородок! — сказал Лисоцкий.

Корреспондент достал блокнот и посмотрел Фомичу в зубы. Фомич сморщился, будто съел килограмм клюквы.

— Мы начнем интригуяще, — сказал корреспондент и рассмеялся от счастья. Он был счастлив находкой. — Сначала история подковы. От египетских фараонов, через крестовые походы до наших дней. Подкова уже отживает свой век. Она, можно сказать, при последнем издыхании. И вот тут-то... Второе рождение! Да, именно так это будет называться.

Корреспондента срочно нужно было остановить, потому что Фомич весь побелел. Наверное, его хватил приступ ностальгии. Я побежал к себе, а оттуда позвонил в лабораторию Лисоцкого. Вызвал корреспондента.

— Слушаю, — сказал корреспондент в трубку.

— Говорят из радио, — сказал я. — Нам срочно нужен материал в выпуск. Вести из лабораторий ученых. Две страницы на машинке. Подчеркните народнохозяйственное значение открытия товарища Смирного.

— Когда? — спросил корреспондент.

— Через час.

— Схвачено! — сказал корреспондент. — Продиктуйте по телефону. Ваш номер?

Я назвал ему номер моей тети. Она у меня одинокая пенсионерка. Ей интересно будет послушать. Потом я позвонил тете и попросил принять для меня телефонограмму.

Когда я вернулся в лабораторию Лисоцкого, там вовсю кипел эксперимент. Фомич выглядел вяловато, может быть поэтому ток в подкове был поменьше, чем вчера. Лампочка светила совсем слабо. Но корреспондент уже строчил про народнохозяйственное значение.

Он закончил быстрее, чем Фомич, и тут же все изложил моей тете. Начиная с египетских фараонов. Лицо его светилось вдохновением. После этого он помчался в газету.

— Надо звонить на телевидение, — сказал Лисоцкий.

— Звоните, — сказал я. — А мы пока пойдем в Эрмитаж. Человек ни разу не был в Эрмитаже.

Следуя указаниям шефа, я показал Фомичу в Эрмитаже кулибинское яйцо. К сожалению, его нельзя было тут же разобрать. Поэтому Фомич повертелся у музейной витрины, и мы пошли смотреть живопись. Фомича потряс Пикассо. Он долго стоял, обозревал какую-то композицию, а потом проговорил:

— Где билеты продают на поезд?

Уходя, он оглядывался на картину с опаской, будто она могла кинуться за ним, как собака. Окончательно добил его Матисс. Фомич вышел из музея как в воду опущенный. В цирк идти отказался.

— Пойдем выпьем, Петя, — предложил он.

Мне стало страшно за Фомича. Я повел его обратно в гостиницу. Там был бар. Фомич сел за стойку рядом с юношей, похожим на девушку. Или наоборот. Бармен придвинул ему коктейль с соломинкой. Фомич опрокинул бокал вместе со льдом и стал меланхолично жевать соломинку.

— Пресновата, — сказал он. — А так ничего, закусывать можно.

Вокруг галдели на иностранном языке. Фомич разомлел и уставился на носок своего сапога. Что-то он все обдумывал. Группа туристов захотела с ним сфотографироваться. А ля рюс. Фомич слез с круглого сиденья, горестно махнул рукой и куда-то пошел. Две иностранки в блестящих брюках, похожие на голодающих марсианок, устремились за ним. Они подхватили

Фомича под руки, и тут он им что-то сказал. Как ни странно, они поняли. У них чуть глаза не выпали из-под очков. Они вернулись к своим и долго о чем-то шептались.

А Фомич покрутился в холле, как слепой на танцплощадке. Его уже хотел вывести швейцар с галунами, но здесь вмешался я. Я обнял Фомича за плечи и мягко повлек его в номер. Там он не выдержал и разрыдался. Я дал ему триоксазин, который ношу с собой с некоторых пор. А точнее, со дня начала истории с Бруммом. Вы что, думаете, она мне легко дается? Ошибаетесь.

Я уложил Фомича в постель, и он заснул, вздрагивая всем телом. Я вышел от него на цыпочках и предупредил дежурную, чтобы она за ним следила.

10. ВЫСТУПАЕМ

Утром я заглянул к Лисоцкому. Он бурлил. Творчество так из него и било. На стене его лаборатории уже висела схема с подковой, вычерченная тушью. Лаборанты шлифовали дужки.

— Я договорился, — не разжимая зубов, сказал мне Лисоцкий. — Сегодня нас записывают на телевидении. Поезжай за Смирным и не отпускаяй никуда. Запись в четырнадцать.

Я затосковал. Интересно, когда мне дадут заниматься наукой? Но, с другой стороны, Фомич без меня пропадет. Он уже ко мне привык. Он мне верит.

Снять я к нему поехал и прогуливал до обеда. Я постарался выбрать спокойные места. Летний сад, Таврический сад, музей Суворова. Фомич был меланхоличен до неузнаваемости.

Наконец я отвлек его внимание и привез на студию. Там, в вестибюле, уже бегал Лисоцкий, одетый во все праздничное. Режиссер посмотрел на сапоги Фомича и хмыкнул.

— Одеть! — крикнул он через плечо.

Фомича схватили и куда-то поволокли. Он упирался, бедный, и смотрел на меня так, что я почувствовал себя предателем. Поэтому я пошел следом.

Две девушки очень властного вида привели Фомича в костюмерную. С ним они не разговаривали. Это не входило в их обязанности. Они толковали между собой.

— Фрак ему не пойдет,— сказала одна.— Лицо простовато.

— Может быть, китель? — спросила другая задумчиво.— Как будто он отставной офицер.

— Тогда уж гимнастерку,— вставил слово Фомич.

— И противогаз,— сказал я сзади.

Девушки обернулись и посмотрели на меня, как на идиота.

— Джемперок и брючки! — придумала первая.— Будет смотреться.

Они заставили Фомича натянуть белый джемпер и брюки в полосочку. Как у Дина Рида. Сапоги заменили лаковыми штиблетами. Фомич был просто молодцом! Он зачесал волосы на пробор и стал похож на чечеточника.

— Ух, курносые! — воскликнул Фомич, пытаясь ущипнуть обеих девушек сразу. При этом он подмигнул мне. Девушки с трудом сохранили ледяную надменность. Я понял Фомича.

— Меня тоже нужно одеть,— сказал я.— Режиссер сказал, во что-нибудь средневековое.

Девушки поверили. Они там ко всему привычные. Мы с Фомичом еле сдерживались, чтобы не расхохотаться на всю студию. Но хохотать было нельзя. Рядом шли передачи.

Я выбрал такую черную кофточку с жабо. И стал как Ромео. Девушки были поразительно серьезны. Они старались вовсю.

Когда нас привели к режиссеру, он чуть не прослезился. По-моему, обе девушки схлопотали взыскания по службе. Нас опять переделали во что-то нейтральное.

Мы вошли в студию и начали репетировать. Лисоцкий вел передачу. Он так расписал про подковы, что оператор не мог нас снимать. Он уткнулся носом в камеру и там беззвучно смеялся. Удивительно, что Фомич приободрился. Он сидел с видом «пропадать, так с музыкой».

Сразу после репетиции, которая прошла поверхностно, начали запись. Оператор уже отсмеялся и был грустен. Надоело ему, наверное, каждый день снимать чепуху. Я его понимаю.

Когда дело дошло до Фомича, он встал, подошел к подготовленной аппаратуре и зажег свечу. С важным видом. Потом он стал греть подкову. К подкове был присоединен вентилятор.

— Обратите внимание, сейчас ток поступит в электромотор, и вентилятор начнет вращаться,— сказал Лисоцкий в камеру.

Вентилятор на эти слова не прореагировал.

— Сейчас,— сказал Лисоцкий, все еще улыбаясь.

Фомич аккуратно потушил свечу пальцами, сел на место и сказал загадочные слова:

— Наука умеет много гитик.

— Стоп! — крикнул режиссер по радио. Через минуту он прибежал в студию.

— Почему нет эффекта? — спросил режиссер.

— Кураж не тот,— сказал Фомич.

— Какой кураж? — спросил Лисоцкий, бледнея.

И тут Фомича прорвало. Он показал характер. Он дал понять, что обо всем этом думает. Я был счастлив.

— Все свободны,— сказал режиссер.— Наука умеет много гитик. Это гениально!

Не смеялся один Лисоцкий. Он собрал свои листки и незаметно выскользнул из студии. А мы с Фомичом опять переоделись и поехали покупать билет на поезд.

11. ПРОВОЖАЮ ФОМИЧА

Мы с Фомичом сидели у меня дома и пили чай. Фомич излагал свои взгляды на жизнь. И на физику. А я свои. Нам было интересно друг с другом.

— Понимаешь,— говорил Фомич,— что нам с тобой главное? Не то, чтобы людей удивить. И денег нам с тобой не надо. Главное, это когда всей душой устремись и вдруг сделаешь что-нибудь. И оно только душою и держится. Вынь душу — пропадет все.

— А объективная реальность, данная нам в ощущении? — спросил я. Это я на материю намекал. Я, как уже говорилось, материалист.

— Данная? — спросил Фомич.— А кем она данная? А?

— Ну данная, и все,— ответил я.

— Э-э! — помахал пальцем Фомич.— Кем-то, видеть, данная.

— Вы что, Василий Фомич, верующий? — спросил я прямо.

— Верующий,— сказал Фомич.— В науку верующий. В душу верующий.

— Это не одно и то же,— сказал я.

— У вас не одно и то же, а вообще так одно. Вот ты мне давеча про Эйнштейна толковал. А я думаю —

поверил он в свою придумку так, что она и воплотилась. А если бы для денег или еще для чего — никакой твоей относительности и не было бы.

— Другой бы открыл, — сказал я.

— Это кто другой? Ну я, может быть, и открыл бы. Или ты, — раздобрился Фомич. — А этот Лисоцкий — ничем. Даже если бы у него голова с силосную башню была.

Я живо представил себе Лисоцкого с силосной башней на плечах. Получилось внушительно.

— Или возьми Брумма, — продолжал Фомич. — Тоже был хороший мужик. Не лез в телевизор.

Мы попили чаю и стали собирать Фомича. Собственно, собирать было нечего. Вся аппаратура осталась у Лисоцкого. Был только осциллограф, который мы подарили Фомичу. Как я и обещал.

Мы поехали по ночному городу. Фомич задумался. Я решил его расшевелить.

— А Лисоцкий не ожидал все-таки такого фиаско, — сказал я.

— Фигаско, — сказал Фомич.

Я не понял, шутит он или нет.

— С него как с гуся вода, — сказал я.

— То-то и оно, — вздохнул Фомич. — Ну, бог его простит.

На платформе мы обнялись. Фомич был добрым человеком. Он меня пожалел.

— Поехали, Петя, со мной, — предложил он. — А то пропадешь здесь. Ей-богу, пропадешь.

— А семья? — спросил я.

— А наука? — сказал Фомич. — Если любит, приедет.

Последние слова относились к моей жене. Но все-таки я не поехал. Сдержался.

Поезд свистнул, ухнул, зашевелил колесами и унес Фомича в деревню Верхние Петушки. Красный огонек последнего вагона еще долго болтался в пространстве, пока я стоял на платформе.

12. ПОЛУЧАЮ ПИСЬМО

— Поздравляю, — сказал шеф на следующее утро. — Наверное, гора с плеч свалилась?

У меня не было такого ощущения. Я все вспоминал бескорыстные глаза Фомича.

— Ладно, Петя, — сказал шеф. — Побаловались подковами и хватит. Нужно думать о диссертации.

А мне совсем не хотелось думать о диссертации. Мне хотелось думать о том, как бегают по кристаллической решетке электроны, как они друг с другом сталкиваются, перемигиваются и бегут дальше, взявшись за руки и образуя электрический ток. Мне хотелось понять их намерения и залезть им в душу, как сказал бы Фомич. Я понял, что, если не залезешь к ним в душу, ученого из тебя не выйдет.

С Бруммом было почти покончено. Только Лисоцкий взял его на вооружение и спешно вставлял в свою диссертацию. Он все подковы извел, но никакого толка не добился. Пробовал ко мне подъезжать, выяснял, не было ли у Фомича какого секрета.

— Был, — сказал я. — Бескорыстная преданность науке.

Лисоцкий обиделся и больше меня не беспокоил. Тем не менее сделал несколько докладов по Брумму в разных организациях и, кажется, даже заключил с кем-то договор.

А я стал спокойно обдумывать свой опыт по анизотропии. Я всю зиму думал. Смотрел, как падает снег. Слушал, как шумит ветер. Это мне здорово помогло. К весне я придумал. Я уже знал, что будет, когда я все подсоединю и включу приборы. По-другому быть не могло. Конечно, это не эффект Брумма, но все-таки.

Со мною все как-то стали по-другому обходиться. Уже не пихали во всякие дырки. Зауважали, что ли?

Даже Рыбаков однажды сказал:

— Слушай, Петя, а ведь ты начинаешь прорезаться.

С чего он взял?

Наконец наступила весна, и я собрал схему. Когда я все включил и вставил образец в держатель, стрелки приборов исполнили тихий танец и застыли там, где я хотел.

Потому что я очень этого хотел.

Я и не заметил, что собрался народ. Все стояли молча, как тогда, при опытах Фомича. И не все еще верили в результат.

— Удивительно, — сказал шеф.

— Мистика! — сказал Лисоцкий. — Фомич номер два.

— Кстати, о Фомиче,— сказал шеф.— Он снова нам написал.

— Ха-ха-ха! — сказал Лисоцкий и ушел. Наверное, разволновался.

— Это не нам, а только мне,— сказал я, открыв письмо. Там было написано:

«Здравствуй, Петр Николаевич! Спешу поделиться радостью. Плазма у меня пошла. Бился всю зиму. Пошла, родимая! Вчера растопил печь березовыми полешками, угольку добавил и выскочил на крыльцо. Смотрю, а над трубой в магнитной ловушке — голубой шарик! Висит, стержец, как звездочка или планета, и потрескивает чуток. Я чуть не заплакал от радости. Долго висел. Я снежок слепил и запустил в него. Тут он и взорвался. Полное небо искр. Как салют в честь Дня Победы. Напиши, как идут исследования. И приезжай летом отдохнуть. Разберемся с твоей анизотропией. До скорого свидания. Остаюсь твой Василий Смирный».

И я тоже чуть не заплакал, представив себе, как чуть не заплакал Фомич.

13. ПИШУ ДИССЕРТАЦИЮ

В конце концов мне все-таки пришлось писать диссертацию. А в диссертации следовало указать, как это у меня получился такой удивительный для науки результат. Я сел и написал честно. То есть по сути честно, а в подробностях немного приукрашивал. Чтобы диссертацию интересно было читать.

Там все было по порядку. Как я получил от Фомича письмо, как поехал в Петушки, как вернулся обратно и что из этого вышло. В результате у меня получилась первая глава диссертации. Я назвал ее «Введение в историю проблемы».

Шеф прочитал мое «Введение», как детектив, не отрываясь. Я никогда не видел, чтобы он с таким интересом читал научные работы. При этом он хохотал, вытирая лоб платком. Тем самым, о котором я уже упоминал.

Шеф прочитал, откинулся на стуле, и лицо его стало серьезным.

— Петя, что это такое? — спросил он, указывая на диссертацию.

— Диссертация. Первая глава,— сказал я.— Там же написано.

— Петя, вы когда-нибудь видели диссертации? — спросил шеф.

— Видел, — ответил я. — Они все скучные. А у меня нет.

— Еще бы! — закричал шеф. — Я и не подозревал, что у вас фантазия пятилетнего ребенка. Где вы это все взяли? Подковы, плазма в печке... Этого же ничего не было!

— А Фомич был? — спросил я.

— Ну Фомич был, — согласился шеф. — Но ведь плазму в печке он не получил! И вообще никаких особенных результатов не добился.

И тут я сказал, что это не главное. Для меня главное — это его отношение к делу. Я сказал, что науку нужно делать с интересом. И с душой. И кроме того, чистыми руками.

Примерно так, как делает ее Фомич.

— Все это прекрасно, — заявил шеф. — Но это не диссертация. Ученые будут смеяться.

— И пускай смеются! — сказал я. — Разве это плохо?

— Для диссертации плохо. Назовите это по-другому.

И я назвал это по-другому. А диссертации писать так и не стал, потому что у меня, как выяснилось, нет способностей к диссертациям.

СТРАСТИ ПО ПРОМЕТЕЮ

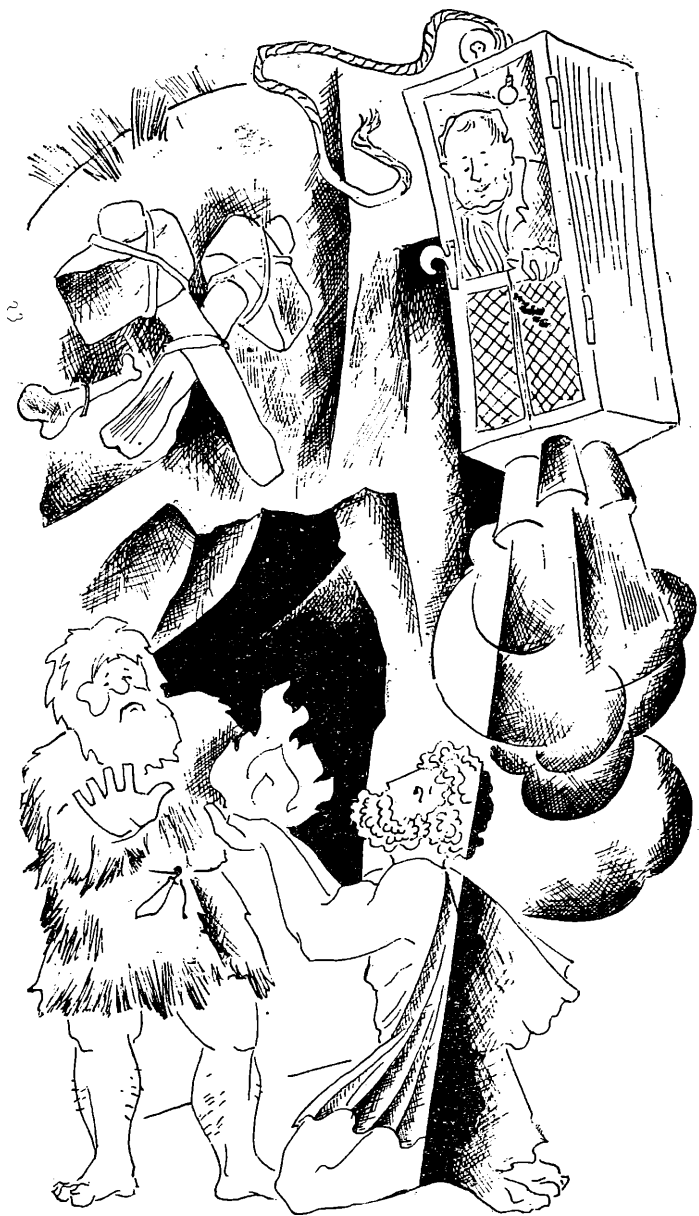
1. КАК ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Не имею ни времени, ни желания объяснять, как все случилось, с самого начала. Для этого мне пришлось бы начинать с тех пор, как я себя помню. Я хочу объяснить, как я влип в эту историю с Прометеем. Слава богу, теперь все уже кончилось. Можно осмыслить, если есть чем.

А все из-за стремления упрочить жизненное благосостояние! Деньги до добра не доводят. Это мне моя бабушка говорила. В качестве примера она приводила какую-то денежную реформу. Может быть, еще дореволюционную. Бабушка не хранила деньги в сберегательной кассе и в результате в один прекрасный день извлекла из капронового чулка кучу бумажек, которые еще вчера были рублями. А теперь ими можно было оклеивать стены чулана.

Однако ближе к делу. Когда у нас в семье появился второй ребенок, мы с женой обрадовались. Она радовалась там, в родильном доме, а я на свободе. Потом мы радовались вместе до моей зарплаты. А когда я принес зарплату домой, жена мне в первый раз намекнула, что теперь нужно думать о том, как зарабатывать больше. Нас уже, видите ли, четверо.

Ну, считать я умею. Я сел за стол и стал думать, что я еще умею такого, за что платят деньги. Только



так, чтобы все законно. Разных махинаций я не люблю. Я, по-моему, честный.

— Ночным сторожем, — придумал я.

— Конечно, — сказала жена. — Когда в доме появился грудной ребенок, он хочет сматываться на ночь. Очень на него похоже.

— Куда это ребенок хочет сматываться? — не понял я.

— Это ты ребенок, — сказала жена.

Я стал думать дальше. Идею давать уроки абитуриентам я отверг. Мне не хотелось наводнять наши институты недоброкачественными студентами. Кроме того, я один раз пробовал. Знаю, что из этого получится. Заработанные таким путем деньги у меня лично нервных затрат не компенсировали.

Можно было попытаться переводить с какого-нибудь языка на свой. Если это кому-нибудь нужно. Но для этого предстояло сначала выучить язык. И чужой, и свой заодно тоже. Вы сами уже убедились, что со своим языком я еле-еле справляюсь.

— В дворники тебя не возьмут, — сказала жена, следя за ходом моей мысли. — У тебя высшее образование. Жалко, что оно у тебя есть, толку от него все равно мало. Сейчас бы ты устроился слесарем, и мы бы горя не знали.

— Слесарь — это что? — поинтересовался я. — У станка, что ли? Кстати, есть такой слесарный станок?

— Кажется, нет, — вздохнула жена.

Я стал рассказывать ей для примера, какие еще существуют способы. Один мой знакомый каждое лето ездил куда-то далеко строить. Он сколачивал бригаду научных сотрудников, и они отправлялись в Сибирь. Или на Сахалин. В общем, чем дальше, тем лучше. Там они строили разные штуки колхозам. Будто бы они студенческий строительный отряд. Колхозам, как я понял, было все равно, кто они на самом деле. Лишь бы они построили клуб. Или свинарник. Или детские ясли. Мой знакомый строил им эти самые ясли в кратчайший возможный срок. Вкалывали они там как карлы, а зарабатывали значительно больше. Три кандидата наук, один архитектор, чтобы свинарник не завалился, и четверо на подхвате. Круглое катать, плоское таскать. Но к ним было не устроиться, конкурс большой. Если бы я был бульдозеристом, они бы взяли. Им бульдозериста как раз не хватало. Но я бульдозер знал только внешне и немного принцип действия.

Другой мой знакомый стучал на барабанах. Он состоял в эстрадном ансамбле. Этот ансамбль сохранился со студенческих лет. Все уже повзрослели, опять же стали кандидатами, но все равно продолжали с увлечением мотаться по пригородам и играть на танцевальных вечерах. Им нужен был не бульдозерист, а певец, чтобы умел петь. Певец из меня такой же, как бульдозерист. Дальше можно не продолжать, все ясно.

Я вдруг с тоской осознал, что ничего не умею делать в этой жизни полезного людям.

Да, чуть не забыл! Один вообще уникально подрабатывал. Он красил шпиль. У нас много шпилей в городе, и платят, наверное, здорово. По специальности он был микробиолог. Вдобавок альпинист. Он залезал на шпиль и красил его часами. А другой микробиолог подавал на веревочке краску в ведре. Он получал меньше. Потом он упал — тот, что наверху работал. Деньги до добра не доводят. Правильно бабушка говорила.

Жена выслушала печальную повесть про микробиолога и спросила:

— Может быть, тебя повысят на работе?

Я ей объяснил, что она плохо себе представляет механизм повышения в нашем институте. Для того чтобы повысили меня, нужно, чтобы сначала повысили ректора. Или чтобы с ним, не дай бог, случилось какое-нибудь несчастье. Тогда на освободившееся место ректора назначается его заместитель. На место заместителя назначается наш декан. И так далее, пока не дойдут до ассистентов. Кого-нибудь из них двинут в доценты, а меня сделают ассистентом. Это напоминает игру в «пятнашки». Строгая очередность номеров и терпение.

— Защищай диссертацию, — сказала жена.

Наконец-то она произнесла это слово! Я его, между прочим, с самого начала ждал. Мне с этой диссертацией давно покоя не дают. А я ее принципиально не защищаю, потому что науке от этого никакой пользы не будет, а государству только вред. Оно будет вынуждено кормить еще одного кандидата. Их и так развелось, как сусликов. Давно пора произвести отлов и сортировку.

Нет, я хотел зарабатывать деньги честно. Я уже об этом говорил. А тут какие-то фокусы с этим званием... В самом деле, был я вчера младшим научным сотрудником. А сегодня, допустим, защитил диссертацию.

Так что же — у меня в голове что-нибудь переключилось на повышенные обороты? Или я сразу поумнел на пятьдесят процентов? Или аппетит у меня возрос?

За что, спрашивается, мне вдруг начинают платить, как водителю автобуса первого класса?

И главное, платили бы, когда я работу делал. Пот проливал. Точки на график наносил. За рецензентами бегал. Так нет. Деньги начинают платить, когда ты после защиты переходишь на отдых. Теперь можно до пенсии стирать пыль с ушей, собирать марки, разводить рыбок, играть на ксилофоне, ездить в капиталистические страны, спать на ученом совете, меняться квартирами и лечить гастрит.

Не все, конечно, такие, но есть. Я сам видел.

Я стал спрашивать народ на кафедре, нет ли где какой-нибудь халтуры. Мне сочувствовали, предлагали денег взаймы, но я отказывался. Я думал о будущем, когда придется эти деньги отдавать своими руками. Эта мысль вызывала повышенное уныние.

Дня через три меня вызвал заведующий кафедрой. Наш отец и благодетель. Он весело посмотрел на меня и усадил мягким жестом.

— Петр Николаевич,— начал он осторожно,— я читал вашу статью в стенгазете относительно перспектив лазерной техники. Дельно, увлекательно.. У меня есть к вам предложение.

Я успокоился. Предложение — это не втык. Это приятно.

— Один мой знакомый попросил меня подобрать кандидатуру молодого физика. Энергичного. С широким кругозором. С воображением...

«Да не тяните вы kota за хвост!» — дерзко и уважительно подумал я. Меня очень заинтересовало, кому это нужен молодой физик с широким и энергичным воображением? И зачем?

Как вскоре выяснилось, требовался специалист для консультаций. Некий журналист со странной фамилией Симаковский-Грудзь намеревался осуществить на студии телевидения цикл научно-популярных передач по физике. Однако, насколько я понял, он в этом деле не очень петрил. В физике. Зато непринужденно владел пером. А я непринужденно владел физикой. Получалось, что вместе мы можем написать грамотный и увлекательный сценарий.

— Хорошо,— сказал я.— Я попробую.

— Попробуйте, попробуйте,— сказал завкафедрой,

будто угощал меня кексом собственного приготовления.

На этом мы расстались.

На следующий день мне позвонил Симаковский-Грудзь.

— Говорит Симаковский,— сказал он.— Мне Верлухина.

— Я Верлухин,— сказал я.

— Очень приятно,— сказал Грудзь.— Надо встретиться, старик.

— Давай, старик, встретимся,— согласился я. Я решил с самого начала держаться на равных.

Мы встретились вечером у памятника Пушкину. Так почему-то захотелось Симаковскому. Чтобы Симаковский меня узнал, я держал в руках журнал «Иностранная литература».

Симаковский подошел вместе с каким-то стариком в берете. Старик на ходу размахивал руками, задирая лицо к небу и что-то говорил Симаковскому. Сам Симаковский был небольшого роста человеком с желтым лицом и аристократическими пальцами. Когда он улыбался, обнажалась уйма крупных, как патроны, коричневых зубов.

— А вот и коллега,— сказал Грудзь, протягивая мне узкую ладошку.— Юрий,— сказал он.— Андрей Андреевич Даров, наш режиссер,— представил он старика.

— Очень рад,— приветливо сказал старик, помахивая седыми бровями.

— Андрей Андреевич — автор идеи,— сказал Симаковский.

— Ну-с, с чего начнем, друзья мои? — приподнято спросил Даров.

— С идеи,— предложил я.— Я ничего про идею не знаю.

Мы пошли прогуливаться, окружив Дарова с двух сторон вниманием. Даров говорил, поворачиваясь то ко мне, то к Симаковскому, дергая руками, а иногда на полном ходу останавливаясь, когда его поражала какая-нибудь мысль. Мы с Симаковским по инерции проскакивали вперед, но тут же замечали отсутствие старика и оборачивались. Даров оказался чрезвычайно увлекающимся человеком. Слава богу, что дело происходило летом. А то бы мы замерзли, наверное, насмерть, потому что гуляли до полуночи. Даров незаметно перешел на стихи и читал нам Пушкина. Он

читал громко и выразительно. Симаковский воспитанно прикрывал рот, зевая. Ему хотелось спать. Я трепетал, соприкоснувшись с миром творческих работников. В голове у меня скакали мысли о Прометее.

2. ПРОФЕССИОНАЛ ПЕРА

Несколько слов о Прометее. Я буду пересказывать своими словами миф, который поведал нам Даров. Не думайте, что вы все знаете о Прометее. Я тоже так думал, а зря. Еще раз подтвердилось, что невежество не знает границ. Поэтому я и расскажу миф о Прометее, чтобы не возникало потом путаницы.

Так вот. Прометей не был человеком. Он был титаном, а следовательно, бессмертным. В свое время он оказал какие-то услуги Зевсу, а потом отошел от политики и стал заниматься наукой. Люди в то время были совершенно дикие. Прометей очень полюбил обыкновенных смертных. Совершенно непонятно, за что. Наверное, из сострадания.

Он выкрал у богов огонь и подарил его людям. Это первое. Возможно, это сошло бы ему с рук, но Прометей научил людей ремеслам и наукам. Это второе. Ввел понятие медицины. Это третье. Построил первый корабль и дал людям искусство. Это, кажется, последнее.

Про искусство я не совсем четко представляю. Как он его дал? В какой, так сказать, форме?

Конечно, Прометей работал на пустом месте, поэтому успел так много сделать. Кроме того, он имел кучу времени, поскольку был бессмертен. Но в конце концов его деятельностью заинтересовался Зевс. Люди к тому времени немного обнаглели, получив столько знаний. Знания в этом смысле отрицательно сказываются на характере.

Зевс приказал прибить Прометея к скале. Его прибили. Умереть он физически не мог, а мучиться — сколько угодно. Он лежал на скале, и каждое утро прилетал орел, который терзал ему печень. Продолжалось так долго. Потом Прометея освободил Геракл, но это уже к моей истории не относится.

В результате огонь Прометея стал символом служения людям. Кстати, цикл наших передач так и должен был называться: «Огонь Прометея». Схема была такая: мы с Грудзем пишем сценарий на сорок пять минут из какой-нибудь области физики. Рассказыва-

ем, кто ее двигал. Останавливаемся на Прометеях: Ньютон, Эйнштейн, Мария Кюри и прочие. А в конце передачи выступает наш Прометей из той же области физики и рассказывает, как он сейчас двигает науку вперед. Было одно условие: не ниже доктора наук.

Словом, Даров нас настроил эмоционально. Настолько эмоционально, что Грудзь на следующий же день запил. Конечно, не примитивно. Грудзь красиво запил, интеллигентно. Ойпил коньяк.

Я пришел к нему, как мы условились. У Симаковского была однокомнатная квартира убежденного холостяка. На стенах висели афиши цирковых представлений. Раньше Грудзь писал сценарии цирковых представлений, массовых гуляний и традиционных заплывов. А теперь его потянуло на физику.

— Ты слышал, старик, что сказал старик? — спросил Симаковский, наливая мне коньяк. — Служение людям! Это мы должны отразить.

— Наверное, отразим, — сказал я.

— Прием! — закричал Грудзь. — Главное — найди прием! Представь себе — мы пишем про фазотрон. Знаешь, кто его изобрел?

— Нет, — сказал я.

— Эх ты, физик! Ну, ладно. Не будем про фазотрон. Будем сначала про эти... Маленькие такие...

— Электроны? — спросил я.

— Нет. Ква... ква... — заквакал Грудзь.

— Кванты, — догадался я. — А ты что, старик, их видел когда-нибудь? Почему ты решил, что они маленькие?

— По телевизору показывали, — сказал Симаковский. — Маленькие, круглые и светятся. На каждом крестик стоит.

— Это протоны, — с тоской сказал я.

— С тобой не договоришься! — закричал Симаковский. — Кто их изобрел?

— Планк, — сказал я, чтобы не запутывать Симаковского.

Симаковский задумался. Он пошевелил губами, произнося трудную фамилию. Потом хлопнул рукой по колену.

— Бланк! — сказал он. — У меня был друг Женя Бланк. Тоже головастый мужик. Мы с ним в Саратове устраивали гастроли львов. Понимаешь, полный стадион народу, и прямо на футбольное поле вертолет выгружает дюжину львов!.. Нет, шестерых. Все равно

страшно. Дрессировщик запутался в веревочной лестнице, а львы побежали к трибунам. Так Женя Бланк встал грудью и, пока дрессировщик распутывался, гонял львов туда-сюда по площадке. Он был материально ответственный за мероприятие.

Симаковский рассказал до конца эпопею со львами, а заодно прихватил похождения Бланка в Казахстане с аттракционом «Гремучие змеи». Этот Бланк в самом деле был рискован человеком.

— Давай, старик, начнем писать сценарий, — предложил я.

— Про что? — спросил Симаковский. — Тему выдвигай ты. Мне все равно. Только учти: служение людям... Кстати, ты, как консультант, будешь получать тридцать процентов.

— А сколько это в рублях? — спросил я.

— Договор заключат, тогда узнаешь, — сказал Симаковский. — А заключат его по готовому сценарию. Соображаешь? Времени у нас в обрез. Одна неделя.

— А где мы возьмем Прометея? — спросил я.

— У тебя есть знакомый доктор?

— Шеф у меня доктор, — неосторожно сообщил я.

— Гениально! — воскликнул Грудзь. — Доктор — значит, Прометей!

Я мигом себе представил лицо шефа в рамке телевизора. У меня энергичное воображение. Картина получилась настолько нелепой, что у меня потептели уши.

— Он не пойдет, — сказал я.

— Пойдет, — заявил Симаковский. — Заплатят, и пойдет! Чем он занимается?

— Рассеянием электронов на примесях, электронно-фононным взаимодействием... — начал перечислять я.

— Кто его изобрел?

— Никто его не изобретал. Оно всегда было, — сказал я.

— Ладно, — сказал Симаковский. — Прометеев найдем после.

Он поставил на стол пишущую машинку, заправил в нее четыре листа бумаги, переложенные копиркой, и отстучал заголовок:

Ю. П. СИМАКОВСКИЙ-ГРУДЗЬ
«ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ»

Симаковский раскрыл скобки и спросил:

— Как называется наука?

— Физика твердого тела, — сказал я.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Симаковский. — Надо же! Твердого тела!

Это ему почему-то понравилось. Он написал: «Физика твердого тела», закрыл скобку и несколько раз перевел рычаг.

— Слева пишем, что показывать. Справа — что говорить, — сказал он и понесся дальше. На всей первой странице он решил показывать огонь крупным планом. При этом диктор должен был излагать легенду. Ту, которую я уже излагал. У Симаковского она получилась красочнее. Прометей у него был прибит к мрачной, выжженной солнцем скале, а орел выглядел совсем уж несимпатично. Орел был явно фашистского вида.

— Чем ты работаешь? — бросил через плечо Симаковский.

— Головой, — сказал я.

— Да не то! Прибор там у вас есть какой-нибудь?

— Лазер, — сказал я. Это была первая данная мною консультация.

Симаковский отбарабанил слева: «Лазер крупным планом». Справа он написал большими буквами: **ВЕДУЩИЙ**. И остановился. Далее должен был следовать текст ведущего.

Грудзь набил трубку и закурил. Начиналось подлинное творчество. Трубка не помогла, и Симаковский выпил коньяку. Коньяк помог. Грудзь написал: «Мы с вами находимся в лабо-». Строчка кончилась. Страница тоже. Он вынул закладку и полюбовался ею. На странице не наблюдалось ни единого исправления. Грудзь был настоящим профессионалом пера. Даже еще лучше. Он был профессионалом машинки.

— Знаешь, сколько это стоит? — спросил он. — Примерно пятнадцать рублей.

Я мысленно взял тридцать процентов. Получилось четыре пятьдесят. Такова была стоимость слова «лазер», произнесенного мною. У меня в желудке образовался комочек холода. Я решил, что занимаюсь жульничеством.

— Хватит на сегодня, — сказал Симаковский. Он вручил мне один экземпляр страницы с легендой о Прометее, и мы расстались. Я вышел от Симаковского, и уже на лестнице мне почему-то захотелось послать это дело подальше.

Еще через день я позвонил Симаковскому, чтобы продолжить работу над сценарием, но Симаковского не оказалось дома. Не оказалось его и спустя сутки, постом двое и трое. Я встревожился. Мне пришла в голову печальная мысль, что Грудзь умер. Зря он все-таки умер, не успев отразить служения людям!

Еще день я соблюдал траур, а потом на душе стало легко, потому что все разрешилось само собою. Хорошо, что я ничего не сказал шефу!

Кончалась отведенная Грудзем неделя на сотворение сценария. Еще немного, и я был бы вне опасности. Но тут мне позвонили на работу со студии.

— Мы ждем завтра сценарий, — сказал женский голос.

— С кем я говорю? — спросил я.

— С редактором передачи. Моя фамилия Моршкина. Зовут Людмила Сергеевна.

— А где Симаковский? — спросил я.

— Как где? Это вы должны знать. Как у вас со сценарием? Передача включена в план. Сценарий должен быть завтра в четырнадцать на столе у главного. До свидания!

Из этой речи мне очень не понравились следующие слова: «план» и «на столе у главного». Такими словами не шутят. Я понял, что завтра в четырнадцать на столе у главного будет лежать нечто, называемое сценарием. Оно будет лежать там, если даже обоих авторов уже не будет в живых. Даже если произойдет наводнение или на город свалится метеорит.

Я поехал к Грудзю и до ночи ждал его у дверей квартиры, чем возбудил подозрение соседей. Они по очереди звенели дверными цепочками и высовывали носы из щелей. Им очень не нравилось, что какой-то тип прогуливается по лестничной площадке. На мои вопросы о Симаковском они поспешно захлопывали двери.

Когда я вернулся домой, жена подала мне телеграмму. «СРОЧНО ВЫЕХАЛ ИРКУТСК ТЧК ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ СДАЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТЧК ПРИВЕТ СИМАКОВСКИЙ».

— Привет, — сказал я. Телеграмма была из Казани.

— Связался с Грудзем — полезай в кузов, — сказала жена.

— Ценавижу каламбуры! — сказал я.

3. НИЦОЦО

Первый сценарий я писал от полуночи до шести утра. Шесть часов я, как Прометей, отдавал себя людям.

Перед своим мысленным взором я поместил экран телевизора и старался заполнить его интересной информацией по физике твердого тела. Чтобы зрители не очень скучали, я включил в сценарий музыку Баха, репродукции полотен кубистов и песни Таривердиева. Время от времени, следуя заветам Симаковского, я показывал огонь крупным планом.

В сценарии было очень много служения, горения и отдавания себя людям.

Летняя ночь давно кончилась, когда я написал: «Мы попросили доктора физико-математических наук Виктора Игнатьевича Барсова рассказать о сегодняшнем дне физики твердого тела». «На экране В. И. Барсов», — добавил я слева. «Здравствуйте, шеф!» — виновато пробормотал я.

Я пришел на работу и спал там до обеда в фотолaborатории. Потом меня разбудила лаборантка Неля, я отпросился у шефа и поехал на студию. Шеф уже знал, что я сотрудничаю на телевидении по рекомендации заведующего кафедрой. Поэтому он не чинил препятствий.

На студии в бюро пропусков мне выдали жетон и сказали, в какую комнату идти. Я пришел в эту комнату.

Это было длинное помещение, уставленное письменными столами. Между ними бегали люди, натываясь друг на друга. Каждый делал какое-то свое дело. В конце помещения находилась дверь, на которой было написано «Главный редактор». Справа, у окна, сидел юноша с длинными волосами и смотрел через стекло в небо. Глаза его выражали тоску и отчаяние. Время от времени юноша отрывал взгляд от неба и что-то писал на бумажке.

Слева у стола сгрудились какие-то люди, каждый из которых держал перед носом лист бумаги. Они напоминали хористов на севке. В центре группы находился человек азиатского вида. Ему в ухо непрерывно шептала девушка. Человек блаженно щурился, кивал и повторял одно загадочное слово:

— Ницоцо... Ницоцо...

Вскоре я понял, что могу проторчать здесь весь день, но никто не обратит на меня внимания. Меня обходили как негоряемый шкаф или дорическую колонну. Никто на меня даже не смотрел, поэтому трудно было начать расспросы.

Внезапно дверь главного редактора распахнулась, и оттуда вылетела растрепанная, как воробей, женщина. Она ринулась к графину с водой, на ходу распечатывая пачечку таблеток. Руки у нее дрожали. Она забросила таблетку в рот и запила водой. После этого женщина беззвучно выругалась.

Она уже хотела броситься обратно, но взгляд ее упал на меня. Я улучил момент и быстро проговорил:

— Мне нужна Морошкина Людмила Сергеевна.

— Морошкина... — как бы вспоминая, повторила женщина. — Морошкина... Это я.

И она вдруг залилась истерическим смехом, потом рухнула на стол и забилась в рыданиях. Никто из присутствующих на это не прореагировал. Только одна из окружающих азиатского человека женщин подошла к Морошкинсь, поставила перед ней стакан воды и сказала басом:

— Люсенька! Так убиваться из-за этого монстра...

Морошкина подняла голову и вытерла платочком слезы. Потом она нашла в себе силы улыбнуться мне. А я нашел в себе силы улыбнуться ей. Мы улыбнулись. Морошкина, когда улыбалась, была ничего, симпатичная. Но улыбалась она редко. Такая у нее была специфика труда.

— Я Верлухин, — сказал я. — Принес сценарий.

Морошкину будто подбросила катапульта. Она прыгнула ко мне и выхватила сценарий. Первую страницу, отпечатанную на машинке Симаковским, она проглотила, как голодающий, не пережевывая. На второй странице она споткнулась.

— Почему от руки?! — взвизгнула Морошкина.

— А от чего нужно? От ноги? — безмятежно пошутил я.

Морошкина первый раз достаточно внимательно посмотрела на меня. Она оглядела меня с головы до ног. Осмотр ее, по-видимому, удовлетворил. Внешне я производил впечатление нормального человека.

— Вы что, первый раз? — уже сочувственно спросила она.

— Угу, — сказал я, краснея.

— Пойдемте! — скомандовала Морошкина.

И мы понеслись куда-то по коридорам студии. Встречавшихся людей мы обходили, как слаломисты обходят флажки.

Мы примчались в машинописное бюро.

— Девочки! — закричала Морошкина. — Спасите! Монстр меня съест!

Она раздергала мой сценарий на листочки и сунула его пятерым машинисткам. Машинистки открыли беглый огонь. Морошкина сгребла в кучу перепечатанный в шести экземплярах сценарий, и мы побежали обратно. Без трех минут два мы ворвались к главному редактору. Морошкина бухнула ему на стол пачку листов и застыла в ожидании.

— Это что? — поморщившись, спросил главный. Он был мужчиной средних лет. С бородой. В очках. Толстый и, видимо, уверенный в себе. Одет он был с иголочки.

— Это «Прометей», Валентин Эдуардович, — ласково произнесла Морошкина.

— Даров читал? — спросил главный.

— Нет, — пролепетала Морошкина, бледнея.

— Впредь. Чтобы. Сначала. Читал. Даров, — сказал Валентин Эдуардович так мягко, что Морошкина чуть не упала в обморок. Потом главный углубился в сценарий. Он читал профессионально — сверху вниз и наискосок. Лицо его при этом ничего не выражало.

— Ну, ничего, ничего... Принципиальных возражений нет, — сказал он, прочитав. — Дарову.

Морошкина опять сгребла сценарий, и мы вышли, пятясь. За дверью Людмила Сергеевна улыбнулась.

— Невероятно! Вы что, счастливчик? Обычно первый вариант действует на него, как красная тряпка на быка.

— Значит, я тореадор, — опять пошутил я. Никак я не мог понять, что здесь не все имеют право шутить.

Морошкина сразу стала серьезной. Даже грустной.

— Желаю вам сохранить ваш оптимизм, — сказала она.

Мы нашли Дарова в студии. Шел тракт. Тракт — это по-телевизионному репетиция передачи. Даров сидел в аппаратной перед восемью экранами, расположенными в два ряда друг над другом. На всех экранах показывали куриное яйцо крупным планом. На яйце был виден штемпель.

— Уберите штемпель, — сказал Даров в микрофон.

В кадр влезла чья-то волосатая рука и повернула яйцо другим боком. На мой взгляд, принципиально ничего не изменилось. Но Даров остался доволен.

— Так! — сказал он. — Что же дальше? Давайте, давайте!

На экране появилась та же самая рука, но теперь уже вооруженная молотком. Я вдруг понял, что сейчас произойдет что-то страшное. И действительно, рука сделала замах и что есть силы ударила молотком по яйцу. Яйцо вдребезги разлетелось.

— Плохо! — резюмировал Даров. — Никуда не годится! Это вам не гвозди забивать. Зритель в этом месте должен вздрогнуть. Давайте еще раз!

— Андрей Андреевич, осталось одно яйцо, — донесся из динамика жалобный голос.

— Нет, я не могу так работать! — вскипел Даров. — Сколько вы приобрели яиц?

— Десяток, — сказал тот же унылый голос.

— Вы, голубчик, домой покупайте десяток. Для яичницы, — саркастически сказал Даров. — А у нас все-таки производство. Кончайте с последним! Больше экспрессии!

Рука восстановила статус кво, а потом с такой злостью долбанула по яйцу, что даже скорлупы не осталось.

— Ну вот, — добродушно сказал Даров. — Вас, оказывается, нужно разозлить.

Потом старик повернулся к нам, поздоровался и принялся читать мой сценарий. Вскоре ему стало тесно, потому что Дарову нужно было двигаться. Мы перебежали рысцей в коридор, где Даров стал прыгать со сценарием в руках. У него было удивительно много энергии. Он вспотел, как бегун на длинную дистанцию.

— Молодец Грудзь! — воскликнул Даров. — Никак от него не ожидал. А где он сам, кстати?

— В Иркутске, — сказал я.

— Позвольте, — сказал Даров. — Что за фокусы?

— А кто это писал? — спросила Морошкина.

— Я писал, — сознался я.

— В общем, сыровато... — после паузы сказал Даров. — Но кое-что есть. Вы когда-нибудь писали раньше?

Я сказал, что пишу с шести лет. В школе очень много писал. Сочинения, контрольные работы, планы работы пионерского звена, а потом комсомольского

бюро. Затем писал в институте. Даров сказал, что это не те жанры.

Мой сценарий приняли в работу. Относительно договора никто не заикнулся. Морошкина предложила мне начинать второй сценарий и подготовить выступавшего к сентябрю. То есть подготовить шефа.

Мы еще немного поговорили о сценарии. Про деньги ни гугу. Потом Даров с Морошкиной принялись горячо что-то обсуждать. Я ничего не понимал в разговоре. Он касался монстра Валентина Эдуардовича Севро, главного редактора. Судя по их высказываниям, он был лихой рубака. Он только и делал, что рубил сценарии и передачи.

— Слушайте, юноша, это вам пригодится, — предупредил меня Даров.

И я покорно слушал, как монстр зарубил какого-то Фонарского за то, что Фонарский использовал в сценарии цитату какого-то Мызина, а нужно было вставить туда цитату из сочинений какого-то Богдановича. Эти фамилии мне ничего не говорили. Еще у несчастного Фонарского не был выстроен изобразительный ряд, как они выражались. Но этого Севро почему-то не разглядел, чем лишний раз подтвердил свою профессиональную непригодность.

Как-то потихоньку складывалось впечатление, что монстр — бездарь, да и Фонарский тоже бездарь. Как я потом заметил, это характерно для некоторых творческих работников. Нет, не бездарность. Я говорю об этике отношений.

Как правило, если человек отсутствует — ну, например, уехал в командировку, вышел в туалет, сидит дома и работает, просто сидит в другой комнате или даже умер позавчера, — а о нем зашла речь, то он непременно почему-то оказывается бездарью. Хорошо, если не карьеристом и проходимцем.

Людмила Сергеевна назначила мне срок сдачи второго сценария и выразила надежду на скорое возвращение Симаковского. Следующий сценарий нужно было принести в начале сентября.

Я ехал в трамвае и напевал бессмысленное слово «нацоцо». На мотив песенки об отважном капитане. Немного омрачал настроение предстоящий разговор с шефом по поводу его выступления.

4. ОТДАВАНИЕ СЕБЯ

Симаковский продолжал бомбардировать меня телеграммами. «ЕДУ БРАТСК СИМАКОВСКИЙ». «ОТПЛЫЛ ИГАРКУ ТЕПЛОХОДОМ ПРИВЕТ СИМАКОВСКИЙ». «ВЫЛЕТАЮ МАГАДАН СРОЧНЫМ ЗАДАНИЕМ КАЗАХСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ГРУДЗЬ».

Может быть, он решил, что я буду переставлять флажок на карте?

Я никак на телеграммы не реагировал, а собирал материал для следующего сценария. Тема была «Ядерная физика».

Подошел сентябрь. Симаковский был в Ашхабаде. Шеф был в отпуске. Я был в тоске. Никак не мог подобрать кандидатуру на роль Прометея по ядерной физике.

Вдруг мне позвонила Морошкина.

— Срочно на студию,— замогильным голосом сказала она.— Приготовьтесь к неприятностям.

Я к неприятностям всегда готов. Неприятностями меня трудно удивить. Поэтому я, не моргнув глазом, отправился на студию. Морошкина встретила меня и молча повела к главному. На этот раз он решил со мной познакомиться. Он назвал свое имя, а я свое.

— Меня интересуют два вопроса,— начал Севро.— Где ваш соавтор? Есть ли у вас ученая степень?

— Можно ли мне отвечать в обратном порядке? — вежливо осведомился я.

— Пожалуйста,— сказал главный.

— Нет,— сказал я.— В Ашхабаде.

Севро почему-то ничего не понял. Я ему растолковал, что у меня нет ученой степени, а соавтор в Ашхабаде. Тогда он спросил, как дела со вторым сценарием, и я показал ему тезисы. Ничему из сказанного мною главный редактор не обрадовался. Он прочитал тезисы, откинулся на спинку стула и принялся размышлять, постукивая авторучкой по тезисам.

— Положение катастрофично,— сказал он.

Морошкина достала таблетки.

— Почему? — спросил я.

— Вы не журналист и не кандидат. Это раз. Проблема должна отражать не только физику. Это два.

— Как? — удивился я. — Договаривались о физике.

— Мы с вами не на базаре,— внушительно сказал главный.— Никому не нужно каждый месяц смотреть на физиков. У нас есть и другие ученые. Передачу нужно делать на материале разных наук. Она станет объемнее. Надеюсь, вам ясно, что с такой передачей вы не справитесь?

— Нет,— сказал я.— Не ясно.

— Какая у вас специальность? — задал риторический вопрос Валентин Эдуардович.

— А у вас? — дерзко спросил я.

Морошкину чуть удар не хватил. Она вскочила со стула и замахала на меня руками, как на муху. Севро закурил сигарету и посмотрел на меня сощурившись.

— Я историк,— сказал он.

— А я физик.

— Какое вы имеете отношение к журналистике?

— Такое же, как и вы,— сказал я.

Морошкина бессильно опустила на стул.

— Хорошо,— сказал главный.— Сделайте нам сценарий на материале другой науки. А мы посмотрим.

— Пока со мной не заключат договор, я ничего делать не буду,— сказал я, очаровательно улыбаясь.

Не знаю, откуда у меня бралась наглость. Я каким-то шестым чувством почуял, что здесь нужно вести себя именно так.

Валентин Эдуардович на мгновение потерялся. Он сделал несколько бессмысленных движений: перевернул листок календаря, стряхнул пепел в чернильницу и снял очки. Про Морошкину не говорю. Она вообще потеряла дар речи.

— Людмила Сергеевна, заготовьте договор с Петром Николаевичем,— сказал главный.— Ждем ваш сценарий,— добавил он зловеще.

Мы с Морошкиной вышли. Она смотрела на меня со смешанным чувством ужаса и уважения. Потом она достала бланк договора, я его заполнил и расписался.

— Петр Николаевич, принесите текст выступления Прометея для первой передачи,— сказала Морошкина.— Кстати, Даров предложил нам с вами быть ведущими...

— Это можно,— кивнул я, пропуская ее слова мимо ушей. Я размышлял, откуда взять текст выступления шефа. Придется ехать к нему на дачу, как это ни печально.

В воскресенье я поехал к шефу. Шефа на даче не оказалось. Он загорал на пляже. Я пошел на пляж, разделся и положил одежду в портфель. После этого я пошел гулять в плавках, переступая через загорающих. Я боялся не узнать шефа, я его редко видел обнаженным.

Наконец я его увидел. Шеф лежал на спине, блаженно посыпая себя горячим песком. Рядом копошился его маленький внук. Ужасно мне не хотелось портить шефу настроение. Но дело есть дело.

Я лег рядышком и поздоровался.

— А, Петя! — воскликнул шеф. — Какими судьбами? Что-нибудь стряслось на работе?

— Стряслось, — сказал я.

Шеф сел и смахнул с живота песок.

— Вас приглашают выступить по телевидению, — сказал я. — Нужно рассказать школьникам, чем вы занимаетесь.

— Ага! — сказал шеф. — Начинается! Это абсолютно исключено.

— Виктор Игна-атьевич, — занял я. — Что вам стоит?

— Нет-нет, не уговаривайте. Это профанация науки.

— Что такое профанация? — спросил я.

— Профанация — это когда крупный профан объясняет мелким профанам посредством телевидения, чем он занимается... Петя, вы же физик!

— У меня двое детей, Виктор Игнатьевич, — промолвил я. — Я отец, а потом уже физик.

— Простите, я не подумал, что это так серьезно, — сказал шеф.

— Детям нужно рассказать о нашей науке, — продолжал канючить я. Я почувствовал, что нужно напирать на детей. И на своих, и на чужих. Шеф был неравнодушен к детям.

— Ладно, — сказал шеф. — Я выступлю.

Он снова лег и отвернулся от меня. По-видимому, он мучился тем, что пошел против своих принципов. Никогда не нужно иметь слишком много принципов. Совести будет спокойнее.

Я немного подождал, чтобы шеф остыл, а потом осторожно намекнул ему про текст. Шеф взорвался. Он вскочил и побежал купаться. Через некоторое время он вернулся весь в капельках моря, которые быстро испарились с поверхности тела.

— Ну, Петя, я вам этого никогда не прощу, — сказал он. — Пишите!

Я быстренько достал из портфеля бумагу, и шеф продиктовал мне с ходу свое выступление. По-моему, оно получилось блестящим. Даже мне было интересно узнать в популярной форме, чем мы занимаемся. Я осторожно похвалил шефа. Сказал, что он прирожденный популяризатор.

— Уходите, — сказал шеф. — А то мы поссоримся.

— Ссора между начальником и подчиненным недемократична, — сказал я. — Вы меня можете уволить, а я вас нет.

— Петя, на вас отрицательно действует журналистика, — сказал шеф. — Вы стали излишне острыми.

5. ПЕРВАЯ ПРОФАНАЦИЯ

На следующий день я отнес Морошкиной текст выступления шефа. Людмила Сергеевна схватила текст и убежала с ним по инстанциям. А меня поймала милостивая девушка в брюках, оказавшаяся помощником режиссера.

— Вас зовет Даров, — сказала она.

Я нашел Дарова в павильоне студии. Он располагал там разные предметы. Все они имели отношение к физике. Ни один из них не упоминался в моем сценарии.

Здесь была электрическая машина с лейденскими банками, электромагнит, модель атома по Резерфорду и тому подобное. На центральном столике находилась подставка с двумя угольными электродами. Это была электрическая дуга.

По-видимому, Даров опустошил какой-нибудь школьный физический кабинет.

— Ну как, юноша, смотрится? — спросил Даров. Он упорно продолжал называть меня юношей.

— А зачем они? — сказал я, указывая на приборы. — К физике твердого тела это не имеет отношения.

— Давайте, мой друг, исходить из следующего, — сказал Даров. — Зрителю должно быть интересно. Он должен видеть что-то работающее, двигающееся, прыгающее, мелькающее. Динамика! Ваши кристаллы малы, одинаковы и неинтересны. Мы будем показывать дугу!

— С таким же успехом можно показывать мюзикхолл.

— Это мысль, — сказал Даров. — Мюзик-холл — это мысль. Куда мы его приспособим?

— Перед выступлением Барсова, — предложил я.

— Правильно! Для оживляжа, — сказал Даров.

Итак, шефа собирались пустить с оживляжем. А мы с Морошкиной, как выяснилось, должны были зажигать дугу и рассказывать обо всех этих физических штучках, которые насобирали Даров. Некоторые из них я вообще впервые видел.

На первом тракте все напоминало одесскую толкучку в выходной день. В студии скопилось очень много народу: актеры, операторы, какие-то помощники, которые таскали за камерами провода и возили туда-сюда микрофоны на длинных палках, просто любопытствующие и мы с Людмилой Сергеевной. Не считая кордебалета из мюзик-холла. Даров сидел наверху, в аппаратной, и наблюдал нас на экранах. Изредка он говорил нам по радио, как нужно делать, чтобы было лучше.

Лучше никак не получалось. Только я начинал вертеть электрическую машину, как оператор отъезжал от меня, а актер в другом углу начинал с завыванием читать стихи. Кордебалет вздрагивал и делал ножкой на зрителя.

Слава богу, не было шефа. Он бы не вынес этого гибрида физики с кордебалетом. Шефа решено было пригласить прямо на передачу. Я поручился, что все будет в порядке.

Потом я зачем-то зажигал дугу, а Морошкина держала между дугой и объективом камеры темное стекло, чтобы камеру не засветило. Людмила Сергеевна вела себя не очень уверенно, да и я тоже волновался.

— Еще раз от хорала! — крикнул голос Дарова.

Мы повторили от хорала Баха, на фоне которого кордебалет изображал движение электронов, а я зажигал дугу. Во всем этом была какая-то мысль. Но Даров ее нам не раскрывал.

— Благодарю! — крикнул режиссер, и тракт кончился.

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона?.. — пропел Даров, спускаясь к нам. Он был в творческом возбуждении, ему хотелось кого-нибудь задушить. Так я понял. Он подскочил к электрической дуге и царственным жестом свел электроды.

— Вот как нужно делать, юноша! — воскликнул он.

Перед выступлением я очень волновался. Я волновался за шефа и мюзик-холл. Мне казалось, что они будут шокированы друг другом.

— Втравили вы меня в историю! — сказал шеф.— Мы прямо в эфир пойдем или на видеомагнитофон?

— Прямо,— сказал я, отрезая шефу путь к отступлению.

Шеф приехал на студию за полчаса до передачи и долго беседовал с Даровым. Старик рассказывал ему замысел и опять-таки эмоционально настраивал. Морошкина была бледна, как кафельная стенка. Она произносила шепотом какие-то заученные фразы и постоянно их забывала.

Началось все слишком даже хорошо. Музыка, стихи, огонь, кордебалет. Девушки из кордебалета были в газовых накидках. Особенно хорошо у них получилось Броуново движение. Я наблюдал за передачей на экране контрольного монитора. Это такой телевизор на колесиках и без звука. Вдруг на нем появилось мое сосредоточенное лицо.

Не совсем хорошо помню, что было дальше. Я производил какие-то опыты, Людмила Сергеевна вставляла хрупким голоском свои фразы, потом я подошел к дуге и уверенно свел электроды.

— Куда?! — зашипел оператор.

— Стекло! — скомандовал я Морошкиной, но было уже поздно. Дуга вспыхнула ослепительным светом, и я увидел на экране монитора черную глухую ночь, посреди которой мерцала полоска огня.

Я погасил дугу, но камера, точно ослепший человек, продолжала приходить в чувство, не различая окружающего. На мониторе по-прежнему был абсолютный мрак. Кордебалет тем временем двумя шеренгами прошагал перед камерой, а потом на экране, точно космический пришелец, появился прозрачный и бесплотный я. Мое лицо дернулось то ли от досады, то ли по вине электроники и произнесло:

— А сейчас перед вами выступит доктор физико-математических наук Виктор Игнатьевич Барсов.

Ослепшую камеру наконец выключили, и на экране возник шеф. Изображение было черно-белым, но я все равно почувствовал, что шеф красный от негодования. Он сделал пренебрежительный жест в сторону кордебалета и первым делом заявил, что все предыдущее не имеет отношения к физике. Потом шеф улыбнулся. Эта улыбка, в сущности, спасла передачу. Те-

перь его слова можно было толковать как непонятную шутку ученого. Ученые часто шутят непонятно.

Затем шеф вступил в битву за физику и, на мой взгляд, выиграл ее. Он говорил страстно. Я только один раз слышал до этого, чтобы шеф так хорошо говорил. Тогда он выступал на заседании ученого совета и громил диссертацию какого-то жука. Боюсь, что теперь в роли жука пришлось быть мне.

Шеф закончил, еще раз показали огонь, и все завершилось. Даров прибежал в студию с искаженным от горя лицом. Так, должно быть, вбегают в сгоревшие дотла пенаты.

— Запороли! — закричал Даров. — Запороли начисто! Засветили мне лучший кадр!.. Юноша, вы же физик. Нельзя так неосторожно обращаться с дугой!

— Это я виновата, — сказала Морошкина.

— А о вас, Люсенька, я вообще буду говорить на редсовете!

Даров повернулся к шефу и принялся трясти ему руку. По его словам, шеф спас то, что можно было спасти. Шеф сухо поблагодарил и тут же уехал, не удостоив меня взглядом. Судя по всему, моя ученая карьера на этом закончилась. И журналистская тоже. Я убил двух зайцев одной передачей.

В полном молчании Даров, Морошкина и я направились в редакцию. Там в кабинете главного просматривало передачу начальство. Сейчас оно должно было снять с нас стружку.

В кабинете находились три человека. Причем я сразу понял, что главный среди них не главный. Остальные были еще главнее его. В кресле перед телевизором сидел пожилой мужчина с тяжелой челюстью и довольно угрюмым лицом. Он смотрел в стенку.

Главный и чуть поглавней на стенку не смотрели. Они смотрели в рот угрюмому человеку, будто оттуда должна была вылететь птичка. Нас усадили. Еще секунд десять продолжалась пауза. Где-то внутри самого главного человека зрело решение.

— Большая удача, — наконец сказал он.

Я с интересом посмотрел на него, соображая, шутит он или нет.

— Ярко. Доходчиво. Эмоционально, — продолжал он.

Если это был юмор, то очень тонкий. Высшего класса. Потому что мужчина говорил свою речь без тени иронии.

Тут стали говорить другие люди, помельче. Выявились удивительные вещи. Оказывается, самой большой режиссерской находкой была штука с засветкой камеры, которую я устроил нечаянно. Однако хвалили не меня, а Дарова. Старик скромно улыбался.

— Когда я увидел этот мрак на экране, а посреди него крупницу огня, принесенную людям Прометеем, у меня мурашки пробежали по коже,— сказал второй по величине человек. Он приятно грассировал на слове «мурашки».

Это он верно сказал. У меня тоже в тот момент были мурашки.

Далее я был назван молодым и способным журналистом, а Морошкина умелым и энергичным редактором. Я взглянул на Людмилу Сергеевну. Она тихонько щипала себе запястье, чтобы убедиться, что это не сон. Валентин Эдуардович выразился в том смысле, что нужно смелее выдвигать молодежь. Он хотел приписать себе честь моего выдвижения.

Конечно, не обошлось и без критики. Особенно досталось шефу за его непонятные термины.

— Какую выбрали тему для следующей передачи? — спросил тот, что грассировал.

— Математика,— сказал я. Математики я не очень боялся. Все-таки что-то родственное.

— Хорошо. Учитывайте специфику аудитории. Поменьше этих тангенсов и котангенсов,—сказал самый главный.

Мы с Морошкиной вышли со студии вдвоем. Людмила Сергеевна была возбуждена. Ее черные глаза сияли, как новенькие галошки.

— Петя, пойдемте отметим это событие,— предложила она.

Мы отправились в кафе-мороженое. Там мы выпили шампанского, вспоминая последовательно каждую минуту этой великой передачи. Мы испытывали друг к другу нежность. Она называла меня Петенька, а я ее Люсенька.

6. ПОПАВШИЙ В СТРУЮ

Мое выступление по телевидению не прошло незамеченным в коллективе, хотя я его и не афишировал. Вся кафедра внимательно за ним наблюдала, а потом каждый считал своим долгом изложить собственное мнение. В вопросах искусства все считают себя знатоками.

После дружеской критики коллектив приступил к оказанию помощи. Теперь мне советовали, какую науку взять, где достать Прометея и так далее. Наиболее безответственные товарищи лезли внутрь искусства. Они советовали писать, употребляя эпитеты. Определения, которые употреблял я, они почему-то эпитетами не считали.

Однако нет худа без добра. Саша Рыбаков порекомендовал мне следующего Прометея. К тому времени у меня был готов математический сценарий. Лейбниц, Галуа, Лобачевский... Не хватало нынешнего Прометея. Им оказался муж двоюродной сестры Рыбакова. Его звали Игорь Петрович. Ему было тридцать два года, почти как и мне. Бывший вундеркинд, а ныне доктор наук. По словам Рыбакова, он имел шансы стать академиком, когда чуть-чуть повзрослеет.

Вобщем столкновение с ровесником, добившимся существенно иных результатов в жизни, действует отрезвляюще. Начинаешь анализировать. Ему тридцать два, и тебе тридцать. У него жена и ребенок, и у тебя жена и двое детей. Пока все примерно одинаково. Но дальше начинаются расхождения. Он доктор наук, а ты не доктор. Он ездит в Париж читать лекции в Сорбонне, а ты нет. Он получает не знаю сколько, а ты в четыре раза меньше. Это наводит на размышления.

Я позвонил вундеркинду, и мы договорились о встрече у него дома. Игорь Петрович оказался молодым человеком спортивного вида. Он встретил меня в засаленных джинсах и с бутербродом в руках. Его можно было принять за кого угодно: за хоккеиста, скалолаза, врача скорой помощи, художника, но только не за доктора наук. Не успел я войти, как из ванной комнаты выскочила его жена с ребенком под мышкой. Ее волосы были накручены на бумажки, исписанные формулами. Она сунула ребенка вундеркинду и с криком: «Опять ванную затопило!» — бросилась обратно. Вундеркинд мигом проглотил бутерброд, сунул ребенка мне и кинулся за нею. Я перевернул ребенка правильной стороной и пошел следом. Ребенку было месяца три. Он смотрел мне прямо в глаза и иронически улыбался.

Мы с ребенком пришли в ванную комнату. Супруги справились с водой, после чего жена вундеркинда возмущенно отобрала у меня ребенка. Тот вздохнул и воздел глаза к потолку.

Мы пришли в кухню, где мой Прометей приготовил два бутерброда с вареньем. Один он протянул мне.

— Так чего нужно? — спросил он. — Ты извини, что такая обстановка.

Обстановка действительно оставляла желать лучшего. Кругом были кричащие диссонансы. На столе лежали два тома Бурбаки, на которых стояла сковорода с присохшими к ней остатками вермишели. Вермишель была коричневой, как ржавая проволока. Под столом находилась туристская брезентовая байдарка. Все выступающие части интерьера были густо увешаны пеленками.

Мы немного посетовали на трудности жизни, а потом перешли к делу. Как только Игорь Петрович услышал о телевидении, тон разговора переменялся.

— Вам не надоело меня терзать? — спросил он почти с ненавистью. — Ведь есть же другие! Вот Витка Попов у меня в отделе. У него такие идеи, что мне и не снились!

— Он доктор? — спросил я.

— Никакой не доктор! Башка светлая, вот и все. Кандидатскую заканчивает.

— Нужен доктор, — непреклонно сказал я. — Наш Прометей, да еще со светлой башкой не может заканчивать какую-то там кандидатскую.

— Ах, Прометей?! — закричал вундеркинд. — Колоссально! Только Прометеем я еще не был. Так вот куда вы меня хотите определить!

Он вскочил с табуретки и от полноты чувств наподдал ногой какой-то подвернувшийся предмет, который оказался детским полиэтиленовым горшком. Горшок издал глухой звук и улетел в прихожую.

— Я вам не позволю делать из меня плакат, — выговорил доктор.

— Какой плакат? — удивился я.

— Да все равно какой. Защищайте докторские диссертации! Храните знания в голове! Будьте Прометейми! Что там еще?

— Отдавайте себя людям, — подсказал я.

— Вот-вот! Сгорайте на работе!.. Не могу я. Надоело.

Я кое-как успокоил доктора. Хорошо, что он сразу меня не выгнал. Игорь Петрович вздохнул и вынул из холодильника начатую бутылку коньяка. Мы выпили, после чего доктор начал мне жаловаться на свою тя-

желую жизнь. Вкратце его жалобы сводились к следующему.

Игорь Петрович был из ученых, попавших, как говорится, в струю. Он попал в струю на первом курсе университета, и сначала это ему нравилось. Он написал какую-то работу, доложил ее в студенческом научном обществе, и работу опубликовали. Через несколько месяцев зарубежные коллеги перевели эту работу и подняли вокруг нее шум. Оказывается, идею Игоря Петровича можно было применить при расчете турбинных лопаток.

О нем написали в газете. Дали какую-то премию. Показали по телевидению. Его принял академик и имел с ним получасовую беседу. Академик умер через месяц, и само собой получилось, что Игорь Петрович как бы принял эстафету. Во всяком случае, так написали мои братья журналисты.

С тех пор каждый его шаг сопровождался успехом. Игорь Петрович иногда умышленно делал шаг в сторону, топтался на месте или отступал назад. Результат был один — его хвалили, о нем писали, его посылали за границу.

Вскоре он понял, что просто попал в центр струи, где наиболее сильное течение. Это течение без всяких помех приволокло его к докторской диссертации и продолжало нести прямо в академики. По пути Игорь Петрович стал типажем. Или, по-другому, олицетворением. Он олицетворял собой передовой отряд молодой науки.

— А вы пробовали на все плюнуть и заняться чем-то другим? — спросил я.

— Пробовал, — сказал вундеркинд, махнув рукой. — Я ушел из института три года назад и несколько месяцев занимался орнитологией.

— А что это такое?

— Наука о птицах, — сказал Игорь Петрович. — Но ваши коллеги тут же написали, что у меня многогранный талант.

— Может быть, вы и вправду очень талантливы? — спросил я.

Игорь Петрович совсем загрустил.

— Нет... нет, — покачал он головой. — В том-то и дело, что я зауряден. Способности у меня есть, я не скрою. Но талант?.. С талантом они бы измучились. Талант неуправляем.

— Кто они?

— Ну, вы, например, журналисты. Или дирекция нашего института. Вам ведь нужен правильный человек, идущий по кратчайшему расстоянию между точками. Без страха и сомнений, так сказать.

— Но ведь у вас есть сомнения! — воскликнул я. — Вы мне уже высказали целую кучу сомнений!

— Сомнения относительно того, что нет сомнений? — снова покачал головой Прометей.

— Знаете что? — сказал я. — Расскажите об этом в передаче. Будет интересно. И необычно.

Игоря Петровича эта мысль заинтересовала.

— Маша! — в восторге закричал Прометей жене. — Я с этим разом покончу! Я себя выведу на чистую воду! Ей-богу, неудобно уже людям в глаза смотреть.

Маша пришла с неизменным ребенком, и они оба посмотрели на вундеркинда с тревогой. Я почувствовал, что могу поставить под угрозу благополучие этой семьи. Хотя, с другой стороны... Ну, не станет Игорь Петрович академиком. Мало ли кто не станет академиком! Я, например, тоже не стану. Однако не очень расстраиваюсь по этому поводу.

У нас получился интересный план выступления. Никогда еще, по-моему, математик так общедоступно не выражался. Никаких тангенсов и котангенсов. Разговор шел без дураков о пути в науку. Каким он должен быть и каким может получиться на примере Игоря Петровича.

Пока я искал и обрабатывал Прометея, Даров не терял времени даром. Поскольку математика — наука абстрактная, и показать ничего движущегося и мелькающего не представлялось возможным, Даров решил сделать передачу игровой. То есть заполнить экран играющими актерами. Проще говоря, от меня он потребовал уже не сценарий, а пьесу.

Действующие лица были такие: Лейбниц, Эйлер, Галуа, Лобачевский, Риман и Колмогоров. Колмогорова снял главный редактор. Он сказал, что Колмогоров живет и здравствует, в отличие от других привлекаемых Прометеев, и может обидеться, если узнает.

Для разбега я прочитал пьесу Дюрренматта «Физики». Это мне порекомендовала сделать Морошкина. Там действие происходит в сумасшедшем доме, то есть в обстановке, приближенной к студии. И тоже действу-

ют три физика из разных эпох. Или они притворяются физиками, я не понял.

Я взял за основу уже готовый сценарий плюс учебник высшей математики и переписал их в виде диалогов и сцен. Например, так:

«Лейбниц (входит). Мысль о дифференциальном исчислении не дает мне покоя! Бесконечно малые величины, представьте, Галуа! Ведь до сих еще никто не додумался!

Галуа (почтительно). Метр, они навсегда останутся связанными с вашим именем...»

И так далее, и тому подобное.

Даров хохотал над моей пьесой, как над фильмом Чаплина. А Морошкина с возмущением на него смотрела. Даров прочитал, вздохнул, сожалел, что кино кончилось, и сказал:

— Юноша, вы будете драматургом! Я из этого сделаю конфетку.

И он стал делать из этого конфетку. На роль Лейбница он пригласил народного артиста, а на роли остальных Прометеев — заслуженных. В пьесе срочно понадобилась женщина. Для оживляжа. Тогда я ввел туда Софью Ковалевскую. Интерьер студии Даров оформил в виде больших черных знаков интеграла, сделанных из картона, которые свисали с потолка, как змеи.

У меня появилась железная уверенность, что после этой передачи меня уж точно выгонят.

Передачу я смотрел дома. На этот раз не нужно было зажигать дугу, вундеркинда Игоря Петровича я передал Морошкиной, чтобы она с ним возилась, а ко мне домой пришли друзья, чтобы вместе посмотреть мой шедевр.

Я еще раз убедился, насколько велика сила искусства. Ей-богу, даже если бы Даров ставил с таким составом меню нашей столовой или инструкцию по технике безопасности, успех был бы обеспечен. Друзья, конечно, сразу узнали народного артиста, замаскированного под Лейбница. Мой текст они пропускали мимо ушей, а улавливали лишь волшебные модуляции голоса актера. Попутно они вспоминали, где он еще играл, сколько ему лет, какие у него премии и все остальное.

Софью Ковалевскую тоже играла известная актриса. Только что перед этим она была белогвардейской шпионкой в многосерийном фильме по другой про-

грамме. А теперь бодро приносила монологи из теории чисел.

Пьеса благополучно докатилась до конца. Потом на экране появился Игорь Петрович и начал шпарить. Сначала он обрисовал круг своих научных проблем и несколько увлекся. Я все ждал, когда же он станет говорить о проблемах жизненных. А Игорь Петрович ехал и ехал, плыл и плыл себе в своей знакомой, обкатанной струе, не спеша из нее выбраться. Вот он упомянул про Сорбонну, прихватив попутно Монмартр и Вандомскую колонну, вот намекнул на какую-то теорию, которую он предложил два дня назад, а о главном — ни полслова. Наконец он сделал номинальное лицо и сказал:

— Хочу только предостеречь юношество от ложных иллюзий. Пути в науку трудны...

И тут вырубил звук. Игорь Петрович еще секунду беззвучно шевелил губами, рассказывая, видимо, о своей злополучной струе, а потом вырубил и его. Появилась дикторша и сказала:

— Вы смотрели передачу из цикла «Огонь Прометей». «Математика».

— Петя, а при чем здесь математика?! — заорали мои умные друзья.

На следующее утро мне позвонил расстроенный Прометей Игорь Петрович.

— Вы знаете, что сделал Даров? — спросил он.

— Знаю, — сказал я.

— Оказывается, я полчаса распинался перед выключенной камерой. Я все сказал, как мы планировали. Я смешал себя с землей. Я отрекся от прометейства...

— Ничего не поделаешь, — сказал я. — Струя...

— Струя, — согласился Прометей.

— Дарову передача понравилась? — спросил я осторожно.

— Он пел, — сказал Игорь Петрович.

— Что?

— Из оперы «Отелло».

Я понял, что мне можно появиться на студии. В двери уже стучались следующие Прометей.

7. МРИХСКИЕ КАМУШКИ

Я задумал передачу об археологии. Честно говоря, хотелось поближе познакомиться с этой наукой. Морошкина разыскала институт, поговорила по телефону с директором и направила меня к нему. Я приехал.

Директор принял меня в кабинете, усадил на диван, после чего запер дверь на ключ. Потом он проговорил:

— Я дам вам на передачу Мурзалева.

Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какое это на меня произвело впечатление. Фамилию Мурзалева я слышал впервые. Поэтому никакого впечатления на моем лице не отразилось.

— Мурзалева. Роберта Сергеевича,— еще более веско произнес директор.

Я вынул блокнот и записал фамилию.

— Вы что, не слышали о Мурзалеве?

— Нет,— сказал я.— Извините.

Директор задумался, потом махнул рукой и сказал:

— Ну что ж! Может быть, это и к лучшему.

Далее он рассказал мне о деятельности Мурзалева. Роберт Сергеевич откопал где-то в Средней Азии несколько камней с непонятными письменами. Кому они принадлежали, кто там что написал — этого никто не знал. Мурзалев десять лет возился с этими камнями и расшифровывал надписи. По словам директора, это был переворот в науке. Мурзалев составил словарь исчезнувшего языка и опубликовал его. Чтобы все желающие могли почитать надписи. Тут-то все и началось.

Мурзалева объявили шарлатаном. Его словарь объявили плодом больной фантазии. Камни тоже взяли под сомнение. Было высказано мнение, что Мурзалев сам изготовил эти камни. И так далее. Просто удивительно, какие страсти могут разгореться вокруг дюжины заплесневелых камней!

Директор, как я понял, склонен был верить Мурзалеву. Может быть даже, что в лице директора Роберт Сергеевич имел тайного покровителя. Иначе ему пришлось бы уйти. Директор дал мне записку и объяснил, где искать Роберта Сергеевича.

— Ради бога, только осторожнее! — напутствовал он меня, будто я шел разминировать снаряды.

Я нашел Мурзалева в одной из комнат, битком на-

битой сотрудниками и сотрудницами. Стол Роберта Сергеевича был отгорожен от других столов фанерой. Как только я приблизился к Мурзалеву, разговоры в комнате смолкли.

Мурзалев был немолодым уже человеком с глубоко посаженными глазами и впалыми щеками. Взгляд его выражал стойкую душевную муку.

— Я из телевидения, — сказал я.

Мурзалев, точно глухонемой, просигнализировал мне пальцами, чтобы я помалкивал. Потом он схватил со стола какую-то папку и выбежал в коридор. Я понял, что мне нужно следовать за ним.

Когда я вышел из комнаты, Мурзалев поворачивал за угол в другом конце коридора. Бежал он очень тренированно, высоко поднимая колени. Я побегал следом. Вообще мне это не понравилось, потому что неприятно все-таки бегать по чужим учреждениям.

Роберт Сергеевич добежал до лестницы и устремился вверх. Вскоре мы оказались на глухой лестничной площадке перед чердаком. Мурзалев вытер лоб платком и проговорил, часто дыша:

— Мой словарь вы читали?

— Нет, — сказал я.

— Сейчас... Тогда сейчас, — засуетился Мурзалев, развязывая тесемки у папки. В папке оказалась толстая рукопись словаря. Слева были нарисованы картинки, а справа они расшифровывались. Это мне напомнило сценарий какой-то таинственной телепередачи. Мурзалев ткнул пальцем в первую картинку, изображавшую небритого паука, и сказал:

— Это слог «сур». Понятно?

— Сур, — зачем-то повторил я и кивнул.

— Мер, пор, гир, элш, абукр... — затараторил Роберт Сергеевич, стуча пальцем по первой странице. «Не хотелось бы все это запоминать», — подумал я, а Мурзалев перевернул страницу и помчался дальше:

— Акх, дуз, мрих, быр, згир...

«Мрих» — это было название древнего народа, изготовившего камушки. «Мрих» напоминал почтовый ящик, а «згир» — шестиногую лошадь. Мне становилось интересно. Однако надо было останавливать Мурзалева, чтобы не задерживаться здесь до завтрашнего утра. Очень толстый был словарь.

— Простите, Роберт Сергеевич, — сказал я. — Нам надо договориться о передаче.

— Вы мне не верите? — огорчился Мурзалев.

— Да верю я вам! Верю! — воскликнул я. — И вам верю, и камушкам вашим.

— Нет, не верите, — покачал головой Роберт Сергеевич.

Мне стояло большого труда снять подозрения и объяснить ему, что от него нужно. Услышав о Прометее, Роберт Сергеевич оживился. Глаза его мстительно блеснули.

— Бурдзех фурс! — энергично высказался он.

— Как вы сказали? — не понял я.

— Я приучил себя ругаться по-мрихски, — сказал Мурзалев. — Вы не представляете, в какой обстановке я работаю! Наши сотрудники всю жизнь комментируют старинные рукописи. Собственно, рукописей уже не осталось. Они комментируют комментарии...

Мешая мрихские слова с русскими, Роберт Сергеевич рассказал мне о своих злоключениях. Много я уже слышал от директора. Мурзалев добавил в научную полемику немного служебного быта. Фанеру, например, которой он отгораживался от коллектива. В буквальном смысле слова. Особенно тронула меня персональная чашечка для кофе. Этой чашечкой больше никто не пользовался. Мурзалев ежедневно ее мыл после того, как пил кофе. Удивительно, что ему еще давали общественный кофе.

Словом, волчьи законы. Бедные мрихцы не стали бы портить камней, если бы предвидели такой оборот дела.

— Послушайте, — сказал я. — Вы что, хотите, чтобы все вам поверили?

— А как же? — удивился Роберт Сергеевич.

— Зачем?

— Это же истина! Научная истина! — заволновался Мурзалев.

— И бог с нею, — сказал я.

— Вы думаете? — сказал Мурзалев с сомнением. — Нет! Как это — бог с нею? Я десять лет работал!

— Так что вам нужно — истина или ее признание?

— Покой, — вздохнул Роберт Сергеевич.

Жалко мне было глядеть на Мурзалева во время передачи. Даров посадил его на бутафорский камень с письменами. Роберт Сергеевич сидел на камне со словарем в руках. Он был похож на евангелиста Луку. Говорил он преимущественно по-мрихски. Впрочем, тут же переводил и комментировал.

Взгляд его выражал надежду на то, что ему поверят. Поэтому, только поэтому Роберту Сергеевичу не поверят никогда. Трудлюбивые мрихцы зря долбили камень.

После передачи я увидел такой сон.

Прометей принес людям огонь. Люди в это время ели сырого мамонта. Прометей дернул за рукав жующего человека и спросил,

— Огонь не нужен?

— Какой еще огонь? — сказал человек.

— Очень хороший, качественный огонь, — зачастил Прометей. — Может жарить, варить и греть. Отдаю совершенно бесплатно.

— Надо поглядеть, — сказал человек, теребя бороду.

— Чего глядеть? — заволновался Прометей. — Самый настоящий огонь. От бога принес. В дар людям, можно сказать.

— А себе чего хочешь? — спросил человек.

— Ровно ничего! — заявил Прометей, стуча себя в грудь.

— Жулик ты! — сказал человек. — Сразу видно, что жулик. Проваливай со своим огнем. Не на такого напал!

Долго еще Прометей бродил по стойбищу, предлагая огонь. Никто так и не взял огня. Вдобавок обругали его с ног до головы.

8. СТАРЫЙ ПЕРПЕТУУМ

Человек не сразу стал венцом природы. Сначала он был обыкновенным духовно неразвитым животным. Об этом свидетельствуют раскопки древних черепов. Кроме того, некоторые хорошо сохранившиеся индивидуумы у нас перед глазами. По их поведению можно с уверенностью судить о темном прошлом человечества.

Господи, какие порой встречаются кретины! Сердце плачет.

Самое удивительное, что они тоже полагают, будто мыслят. Они убеждены, что имеют отношение к таким вещам, как культура или наука. Когда по радио прозвучит устойчивое словосочетание «прогрессивное человечество», эти типы без зазрения совести думают, что разговор идет о них. В обезьяньем питомнике они почему-то снисходительно смотрят на обезьян, хотя у

средней обезьяны чувств и мыслей хватило бы на десятерых подобных типов.

Мозги у них твердые и гладкие, как бильярдный шар. Но мозгов, к сожалению, снаружи не видно. Поэтому определить кретина можно лишь по косвенным признакам. По глазам или по походке. Глаза у них немигающие, сверлящие, причем сразу видно, что ваша душа у них как на ладони. Так они полагают. Ходят они очень прочно и старательно, с видимой гордостью. Им приятно ходить на двух конечностях.

Да, самое главное! Они все знают. Нет такого вопроса, по которому у них не было бы собственного мнения. Говорить с таким человеком — все равно что высекать на мраморной плите таблицу умножения. Трудно и бесполезно.

Все это я говорю к тому, что после передачи про злосчастные камни на студию пришли письма. Они делились на две категории. В одних авторы излагали свой взгляд на историю, а в других на Мурзалева. И там и там господствовали дилетантизм и явное недоброжелательство. Все авторы были уверены, что они знают археологию, как собственную жену.

Про письма мне рассказала Морошкина. Только она успела это сделать, как меня вызвал главный редактор.

— Петр Николаевич, — сказал он, сверкая золотой оправой очков. — В целом мы довольны вашей деятельностью. Мы даже считаем, что открыли вас как журналиста...

«Кто бы меня теперь закрыл?» — грустно прокомментировал я про себя.

— ...Однако не следует забывать об ответственности перед зрителем. Как вы подбираете выступающих?

— Строгой закономерности нет, — вяло сказал я. — Когда как.

— Не всякий доктор может служить примером, — изрек Севро.

— Ага... — сказал я, чем вызвал вопросительный взгляд главного.

Разговор он закончил тем, что собственноручно предложил мне следующего Прометея. Я не хотел брать, но пришлось. Соответственно, и тема передачи определилась отчетливо. Это была кибернетика. А Прометеем был назван Тарас Карпович Наливайло. Человек большого полета. Дядя кибернетики.

Прежде всего я решил познакомиться с научными трудами Тараса Карповича.

Я пошел в библиотеку, и мне выдали труды Наливайло. Среди них был один учебник 1931 года издания. Он относился к науке о подъемно-транспортных механизмах. Лифты, эскалаторы и тому подобное. Кибернетикой там не пахло. Остальные работы были в виде трактатов и статей в различных журналах. Я расположил их хронологически и стал следить за эволюцией научной мысли моего Прометея.

Статьи все были на научно-философские темы. Они касались кибернетики. В первых своих работах Тарас Карпович брал это слово в кавычки. Еще он употреблял сочетание «так называемая кибернетика». По его словам, не было такой науки. Тем не менее, хотя ее и не было, Тарас Карпович методично с нею боролся на протяжении ряда лет. За это время Наливайло привык к ней и осторожно раскавычил. Лишенная кавычек кибернетика перестала выглядеть пугалом. Наоборот, она сама теперь нуждалась в защите. И Наливайло перенес огонь на противников этой науки. Теперь он громил некоторых горе-философов, проглядевших в кибернетике рациональное зерно. Ну, тех, которые не успели вовремя опустить кавычек. В результате в кавычки попали они сами.

Благодарная кибернетика, встав на ноги, обласкала Тараса Карповича. Он стал начальником крупного конструкторского бюро. Это бюро проектировало подъемно-транспортные машины, но уже с кибернетикой. Кибернетика проникла в лифты. Попробуйте сейчас открыть дверцы движущегося лифта между этажами. Лифт остановится. Это и есть кибернетика.

Я подковался теоретически и поехал на встречу с Тарасом Карповичем. Его КБ помещалось в центре города, в одном из старых зданий.

В бюро пропусков со мной долго возились. Выписали несколько бумажек, часть из которых я тут же возвратил вахтерше. Та благополучно наколола их на спицу, и я прошел внутрь.

— Куда же ты пошел? — изумилась вахтерша.

— К начальнику, — сказал я, обернувшись.

— Это понятно, что к начальнику. А как туда идти, знаешь?

— Спрошу, — пожал плечами я.

Вахтерша засмеялась длительным смехом.

— Ну, спроси, спроси! — сказала она.

— А как туда пройти? — заволновался я.

— Вот видишь! — торжествующе сказала вахтерша. — А я не знаю! Давеча ходили через подвал, а нынче там ремонт. Теперь через чердак ходят, но там смотри в оба. Не то заблудишься.

Я пошел по лестнице вверх. На чердаке размещалась лаборатория № 17. Там мне сказали, чтобы я спустился ниже, прошел по коридору, отсчитав восемь дверей, и вошел в девятую. Я так и поступил.

За девятой дверью была еще десятая дверь. Потом я прекратил их считать. Встречавшиеся мне люди хорошо знали лишь окрестности своих лабораторий, а дальше путались. Но общее направление они показывали одинаково. Мне следовало идти все время вниз и на юго-запад. То и дело встречались рабочие, которые перегораживали комнаты, воздвигали посреди коридоров стены и прорубали окна на улицу.

Наконец мне попался человек, который час назад был у Тараса Карповича и еще помнил дорогу. Он меня проводил. Дверь кабинета была рядом с временной деревянной стенкой, перегораживающей коридор.

— Когда будете уходить, — шепнул сотрудник, — отодвиньте эту доску и пролезайте. Так проще. Там сразу выход.

Я поблагодарил и поинтересовался у него человеческими качествами Наливайло. Хотя бы самое главное, конспективно. Это мне было нужно для предстоящего разговора.

— Как вам сказать? — задумался мой проводник. — Старый Перпетуум... У нас его называют так. Любя, конечно.

— Это как же перевести? — вслух подумал я. — Перпетуум мобиле — это вечный двигатель. Значит, перпетуум — просто вечный...

— Ну, да. Старый... Вечный... Так и переводится, — сказал сотрудник, делая попытку уйти.

— А двигатель?

— При чем здесь двигатель? Как хотите, так и переводите! — рассердился мой проводник и удалился по коридору.

Я вошел в приемную, где сидела секретарша. Она красила губы. Не отрывая помады ото рта, секретарша сообщила, что Тарас Карпович меня ждет. Я постучал,

и перед моим носом загорелась табличка: «Войдите!» Здесь все было пронитано кибернетикой.

Тарас Карпович сидел в кресле из какого-то материала, напоминавшего мрамор. Только, вероятно, мягче. Наливайло был румяным стариком с седыми усами. Его розовые щеки болтались по обеим сторонам лица, как серьги. Возраст с трудом поддавался определению. Но мне показалось, что Перпетуум вполне мог быть участником русско-японской войны.

Мы разговорились. Правда, это не то слово. После того, как я назвал себя, Наливайло не дал мне произнести ни звука. Он открыл рот и принялся без остановок скрипеть и хрипеть что-то про кибернетику. Из всего потока слов я улавливал только несколько: «милоостивый государь», «помилуйте-с» и «обратная связь».

Наконец мне удалось приспособиться к дикции Наливайло, и я установил, что Перпетуум добрался уже до начала века. Он обнаружил там корни отечественной кибернетики. Далее Наливайло задал мне какой-то вопрос. Это я определил по интонации. Я на всякий случай кивнул. Тарас Карпович радостно заулыбался и вызвал секретаршу. Он сказал ей несколько слов, и секретарша неприязненно на меня посмотрела.

— Пойдемте, — сказала она.

— Куда? — спросил я.

— На полигон. Вы же сами хотели...

— На какой полигон?

Перпетуум обеспокоенно что-то прошамкал и сделал знак секретарше, чтобы та его подняла. Секретарша подошла к Тарасу Карповичу и вынула его из кресла. Я понял, что старик собрался идти с нами на полигон. Поддерживая Наливайло, мы пошли по коридорам.

Мы дошли до двери, на которой висела табличка: «Испытательный полигон. Посторонним вход воспрещен!» За дверью находились лифты. Их было три штуки. Все разные. Это были детища Старого Перпетуума.

Старик подошел к первой двери, сложил губы трубочкой и свистнул. Вернее, произнес шипящий звук. Лифт открылся.

— Ну-с, милостивый государь, — сказал Наливайло, делая приглашающий жест.

Секретарша скривилась и побледнела. Мы втроем вошли в лифт. Наливайло произнес подряд семь шипящих, дверцы закрылись, и мы поехали.

— Управляется голосом,— сказал Наливайло, показывая, что внутри кабины кнопок нет.— Стой! — воскликнул он.

Лифт не подчинился приказу.

— Тарас Карпович, это облагороженная модель,— напомнила секретарша.

— Пардон,— сказал старик.— Будьте добры, остановитесь! — обратился он к лифту.

Лифт остановился.

— На каком принципе он работает? — спросил я.

— Система человек — машина,— туманно объяснил Прометей.

— Как это?

— Поехали дальше,— скомандовал Наливайло.

— Тарас Карпович, сейчас предохранитель сменяю,— послышался откуда-то голос.

— Быстрее! — сказал Наливайло.— Седьмой этаж!

— Я помню,— сообщил голос.

Через минуту лифт дернулся, и мы приехали на седьмой этаж. Прометей вызвал соседний лифт, который приехал очень быстро. Он подкатил с ревом, напоминая шум реактивного двигателя. Секретарша умоляюще посмотрела на Наливайло и сказала:

— Тарас Карпович! Вам же врачи запретили.

— Ничего, ничего... Скоростной лифт с автоматическим спасателем,— объявил Прометей, и мы вошли.

Секретарша кусала губы и вздрагивала. Перпетуум нажал кнопку. Лифт взвыл и провалился под нами вниз. Перпетуум положил палец на другую кнопку с надписью: «Обрыв троса».

— Сейчас оборвется трос,— предупредил Наливайло и нажал кнопку.

Трос над крышей кабины лопнул с ужасающим треском. Мы полетели вниз. В кабине, в полном соответствии с законами физики, наступило состояние невесомости. Секретарша с перекошенным лицом ползла по стенке кабины вверх. Прометей мягко парил в десяти сантиметрах от пола.

«Вот и все»,— флегматично подумал я. В сущности, мне было уже наплевать.

Внезапно завывли двигатели, лифт стал притормаживать, и почти сейчас же раздался всплеск. Судя по всему, кабина упала в бассейн с водой. Слава богу, она была герметической. Мы немного поплавали, а потом нас подтянули вверх и выпустили. Наливайло, сияя от гордости, объяснил мне принцип действия. Если обры-

вается трос, включаются тормозные реактивные устройства, которые сдерживают падение. Демпфером служит небольшой бассейн в подвале, куда лифт падает.

Вообще, если этот лифт установить в парке культуры, желающих будет хоть отбавляй. В жилых домах — не знаю. Дороговат он все же.

Я ушел с твердой решимостью никогда более не видеть Старого Перпетуума. И мне удалось это сделать. Я сдал сценарий и навел Дарова на Наливайло. Не знаю, как они там столковались. Передача прошла без моего участия. Я уехал за город, чтобы ее не смотреть.

Нервишки у меня стали пошаливать. Слово «Прометей» вызывало гримасы на моем лице. Телевизора я боялся. В лифт входить более не осмеливался. На студию ездил с величайшей неохотой.

Не так это просто — отдавать себя людям. Особенно таким, как Наливайло или монстр Валентин Эдуардович. Даже гонорары уже не радовали.

9. МИКРОБЫ СОВЕСТИ

Измотан я был вполне достаточно. По ночам мне все чаще снился Валентин Эдуардович в виде большого орла. Он был, как всегда, в золоченых очках, но с крыльями. Валентин Эдуардович плавно подлетал ко мне, делал круг, а потом деловито начинал терзать мою печень. Тут я просыпался.

Просыпался я со слабой надеждой, что меня выгонят или вдруг забудут обо мне. Но нет, обо мне не забывали.

Позвонила Морошкина и сказала, что серьезно заболел Даров. У старика предынфарктное состояние, и он в больнице. Это все из-за лифтов, на которых его катал Перпетуум. Мы с Людмилой Сергеевной поехали навестить Дарова и получить ценные указания.

— Люся, мне все это ужасно надоело! — признался я.

— Что поделаешь, Петенька, — вздохнула Люся. — Мы с вами та самая печень Прометея, которую клюют. Надо терпеть.

— Вот вы и терпите! — огрызнулся я. — У вас такая специальность — терпеть. А я не буду.

Даров лежал в палате сморщенный, как спустивший воздушный шарик. Он выслушал наши новости и спросил, кого назначили режиссером.

— Тишу, — сказала Морошкина.

— Тиша — это кто? — спросил я.

— Тиша есть Тиша, — сказала Морошкина. — Вы еще будете иметь счастье.

Я так и не понял, что это за Тиша. То ли звали его Тихон, то ли фамилия его была Тихонов.

— Возьмите, юноша, иголку... Да-да, иголку, — сказал Даров, — и колите этого Тишу в одно место, чтобы он не спал. Чтобы он хотя бы изредка просыпался!

Морошкина получила свои ЦУ и убежала, извинившись. А я остался с Даровым. Я нарочно остался. Мне хотелось поговорить со стариком начистоту.

— Андрей Андреевич, у меня чего-то муторно на душе от Прометей, — признался я.

Даров метнул в меня настороженный взгляд.

— Творческий кризис? — спросил он.

— Понимаете, какая штука... — начал объяснять я, еще не зная, как буду это делать. — Люди действительно были могучие. Все эти Прометеи науки. Они не думали о славе и почестях. Но потом объективно получилось, что они служили человечеству. А человечество постфактум их славит...

— Ну-ну! — оживился Даров. — Это интересно.

— Так вот. Я подумал о том, что говорить о Прометеях имеют право не все. Я, например, не имею такого права. Я не сгораю в этом огне и не отдаю себя людям. Я спекулянт.

— Нонсенс! — закричал Даров таким фальцетом, что больной на соседней койке вздрогнул под одеялом. — Скажите, юноша, мне вот что: вы преклоняетесь перед Прометеями, о которых пишете?

— Перед старыми? — уточнил я.

— Да.

← Безусловно.

— Значит, вы пишете о них честно. В меру своих способностей, но честно. Нужно ли о них рассказывать? — продолжал вслух размышлять Даров. — Да, нужно. Потому что необходимо иметь высокие критерии жизни. Вы понимаете? Критерии человеческого существования.

— Понимаю, — сказал я. — А нынешние Прометеи?

— Юноша! — воскликнул Даров. — Ваше счастье, что вы пишете сценарии об исторических Прометеях.

Вот и пишите о них, не жалеете красок. Дайте зрителю понять, что это были за люди.

— В чем же тогда смысл передачи?

— Умный — поймет, — загадочно сказал Даров и скрестил на одеяле руки.

— А дурак?

— Дурак тоже поймет, но по-другому, — засмеялся Даров.

Пришла медсестра и выгнала меня. Даров на прощанье пожал мне руку и еще раз напомнил, чтобы я не слезал с Тиши, иначе будет провал.

Пришлось познакомиться с Тишей. Тиша оправдал ожидания. Это был верзила с двойным подбородком и белыми ресницами. Он был похож на сома. Глаза у него тоже были белые, но это мне удалось установить не сразу. Тиша все время как бы спал.

— Какую берем темку? — спросил он, не просыпаясь.

— Микробиология, — сказал я устало.

— Пусть, — прошептал Тиша и прекратил общение.

Я позвонил в институт микробиологии, и мне выдали следующего Прометея. Он оказался женщиной. Как только Севро об этом узнал, он немедленно меня вызвал.

— Петр Николаевич, не будет ли в данной ситуации элемента комизма? — спросил Севро довольно витиевато.

— А что? — не понял я.

— Мы создаем образ. Прометей нашего века. И вдруг женщина... Я совсем не против женщин, но часть телезрителей может воспринять женщину неправильно.

— Как это можно воспринять женщину неправильно? — удивился я.

— Двусмыслица. Понимаете?.. Отдавание себя и тому подобные иносказания...

— Елки-палки! — не выдержал я. — Мы что, таких телезрителей тоже должны принимать во внимание?

— Мы должны принимать во внимание всех.

— Антонину Васильевну выдвинул ученый совет, — сказал я.

— Ах вот как! — воскликнул Севро. — Это меняет дело. Тогда постарайтесь в сценарии тактично обойти вопрос об отдавании... Вы поняли?

Я все понял. Между прочим, с некоторых пор я уже тактично обходил этот вопрос.

Профессора звали Антонина Васильевна Рязанцева. Представьте себе пожилую учительницу гимназии конца прошлого века. Очень подтянутую и никогда не повышающую голоса. С первых же слов я понял, что у этой женщины стальной характер. Особенно если учесть, что она вышла ко мне из своей лаборатории, на дверях которой имелась табличка: «Лаборатория особо опасных инфекций». Неудивительно, что меня туда не пустили.

— Ваша профессия? — спросила она, когда я изложил суть.

— Физик, — сказал я.

— Очень приятно. Значит, вы способны в какой-то степени вникнуть. У меня только просьба: не беспокойте меня по пустякам. Мы готовим ответственный опыт.

В это время дверь «особо опасных инфекций» отворилась, и оттуда высунулась симпатичная головка лаборантки.

— Антонина Васильевна, они опять расползаются! — плачущим голосом сказала она.

— А вы им не давайте, — сказала Рязанцева.

— Да как же? Они прямо как бешеные!

— Извините, — сказала Рязанцева и ушла.

А ко мне вышел ее заместитель Павел Ильич Прямых. Кандидат биологических наук, участник трех международных конгрессов. Так он представился.

Он мне многое рассказал про Рязанцеву. Упомянув ее имя, Павел Ильич делал уважительную мину. Он сказал, что Рязанцева принадлежит к старой школе микробиологов. Во главу угла она ставит эксперимент. И главное, старается, чтобы ее работы использовались на практике. То есть в лечебной деятельности. Это мне показалось разумным.

Рязанцева два года провела в Африке, где много особо опасных инфекций. Павел Ильич сказал с теплой улыбкой, что у нее такая страсть — лезть со своими вакцинами в лапы чумы или оспы. Сам Прямых был теоретиком. Он изобретал способы борьбы с микробами на бумаге. При этом пользовался математикой. С едва уловимым оттенком горечи Павел Ильич сообщил, что Рязанцева не верит в математику. Она предпочитает опыты, опыты и опыты.

Тут из лаборатории снова вышла Антонина Васильевна.

— А что мы будем показывать на экране? — спросил я.

— И в самом деле? — сказала Антонина Васильевна.

— Культуры, — предложил Прямых.

— А кстати, что показали ваши расчеты по культуре 17-КС? — спросила Рязанцева.

— Иммунологическая активность некоторых штаммов...

— Вы нам скажите, чтобы мы с молодым человеком поняли. Свинки должныдохнуть или нет?

— Вероятность летального исхода ничтожна, — сказал Прямых. — Машина дала две десятых процента.

— А вот онидохнут! — торжествующе сказала Рязанцева. — Дохнут, и все тут! И наплевать им на вероятность.

— Не должны, — пожал плечами Прямых.

— Пойдите и объясните это свинкам. Покажите им ваши перфокарты, — иронически предложила Антонина Васильевна.

Прямых опустил глаза, бормоча что-то полатыни.

— Впрочем, мы отвлеклись, — сказала Рязанцева. — Так что же мы можем вам показать?

— Не мне, а телезрителям, — уточнил я.

— Вы думаете, что кто-нибудь будет это смотреть? — сказала Антонина Васильевна.

Павел Ильич сдвинул брови, размышляя, и предложил показать африканские кадры. Как выяснилось, Рязанцева сняла в Африке любительский учебный фильм. Там показывалась массовая вакцинация.

— Так это же здорово! — обрадовался я.

— Вы думаете? — холодно сказала Рязанцева. — Ничего особенного. Оспа, холера, легочная чума...

Ушел я от Рязанцевой страшно недовольный собой. В самом деле, какие-то славные люди тихо делают свое дело. Честно делают. А потом прихожу я и начинаю бить в барабан. Они вдруг оказываются Прометейми, а я их певцом.

Я позвонил Морощкиной и сказал, что не буду делать эту передачу. И вообще, не буду больше писать о Прометейях. Не могу и не хочу. Людмила Сергеевна, как всегда, перепугалась, еще не поняв толком моих доводов. На следующий день было назначено совеща-

ние у главного. Нужно было спасти Прометеев. Ночь я провел очень плохо. Перед глазами маячили какие-то волосатые микробы величиной с собаку. Не давали покоя мысли о полной бессмысленности моей деятельности для человечества. Я вдруг полюбил человечество и чувствовал себя обязанным сделать для него что-нибудь доброе.

Самым добрым было отказаться от профанации науки.

С такой мыслью я и отправился на студию. В кабинете главного меня ждали. Севро, Морошкина и Тиша встретили меня согласованным ледяным молчанием. Чувствовалось явное презрение к дезертиру от журналистики.

— Петр Николаевич, я надеюсь, что вы пошутили? — спросил Севро.

— Нет, — сказал я тихо, но твердо.

— У нас с вами подписанный договор. Это официальный документ, — продолжал пугать меня Севро.

— Я заплачу неустойку, — сказал я.

— Вы сделаете сценарий, — гипнотически проговорил главный.

— Петр Николаевич переутомился, — нежно сказала Морошкина.

Тиша открыл глаза и сказал, что он тоже переутомился с этими Прометееями.

— Отпустите меня, — попросил я жалобно. — Когда я мог, я делал. А теперь не могу. Морально и физически.

Внезапно на столе главного зазвонил телефон. Севро поднял трубку и слушал десять секунд. Выражение лица его при этом менялось с безразличного на гневное.

— Прямых — это кто? — спросил он, зажав мембрану ладонью.

— Это заместитель Рязанцевой, — сказал я.

— Немедленно приезжайте, — сказал Севро в трубку. Потом он ее положил и уставился на меня со злостью.

— Этого только не хватало, — сказал Валентин Эдуардович.

Он ничего объяснять не стал, а спросить мы не решались. Севро задумался, совершенно окаменев. Так мы просидели минут двадцать, пока не пришел Прямых. Он ворвался в кабинет и горестно воскликнул:

— Что же теперь делать, товарищи?

— Объясните сначала товарищам,— сказал Валентин Эдуардович.— Они еще ничего не знают.

И Прямых объяснил. Произошло ужасное несчастье. Антонина Васильевна испытывала новый вид вакцины. Естественно, в лучших традициях микробиологии, она испытывала его на себе. У вакцины оказался какой-то побочный эффект. В результате Рязанцева попала в больницу. Ее положение было тяжелым. В рассказе Павла Ильича сквозило почтительное осуждение поступка Рязанцевой.

— Что вы предлагаете? — спросил Севро у Морошкиной, когда заместитель кончил.

— Снять передачу,— сказала Люся.

— Проще снять вас, чем передачу,— сказал Севро.

— Вот что я подумал, товарищи,— вкрадчиво вступил Прямых.— Поступок Антонины Васильевны, без сомнения, является примером беззаветного служения науке. Может быть, вы построите передачу на этом факте?

И Прямых начал у меня на глазах продавать поступок своей руководительницы. Большое воспитательное значение... Пример для молодежи... Подвиг ученого...

Самое главное, что он все говорил правильно. Это меня и завело. Важно не что говорят, а кто говорит. И зачем.

— Я, как ученик Антонины Васильевны, могу сам рассказать о ней,— скромно предложил Прямых.

— Расскажите! — крикнул я, уже не помня, где нахожусь.— Вам за это хорошо заплатят! Покажите кадры, как она ездила в Африку. Вы-то небось не ездили?

— У меня другая работа,— надменно сказал Прямых.

— И у меня другая работа! — заорал я и выбежал из кабинета. За мной погнались Морошкина с Тишей. На лестнице они меня поймали и принялись уговаривать, чтобы я не горячился.

Первый раз со мной такое приключилось.

Видимо, у меня завелись микробы совести.

Короче говоря, я ушел. Совсем. Морошкина не поленилась одеться и выйти со мною на улицу. Она тоже была возбуждена и жаловалась на судьбу. На углу мы расстались. У Людмилы Сергеевны в глазах появились слезы. Привыкла она ко мне. Люся с обреченным ви-

дом пожала мою руку и сказала на прощанье, чтобы я не думал о ней плохо.

А я и не думал о ней плохо. Я плохо думал о себе. Правда, теперь появились предпосылки, чтобы думать о себе лучше.

10. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

В положенный срок состоялась передача о микробах. Я к тому времени уже настолько пришел в себя, что смог ее посмотреть. На экране я увидел Павла Ильича Прямых в безукоризненном костюме. Он заливался соловьем о подвиге Рязанцевой. При этом он не забывал подчеркнуть, что является ее учеником. Вероятно, телезрители так и подумали, что Павел Ильич после передачи пойдет испытывать на себе вакцину. Черта с два! Ничего такого он не сделает.

Я посмотрел передачу и понял, что мне нужно сейчас же идти к Рязанцевой. Без этого визита я не мог считать свою деятельность в качестве журналиста законченной.

Бывают такие люди, перед которыми совестно. Они, к счастью, встречаются не так часто. Иначе жизнь превратилась бы в сплошное мученье. Хочется почему-то, чтобы они не думали о тебе плохо. Рязанцева должна была знать, что я еще не совсем пропащий человек.

Я купил букет цветов и поехал домой к Антонине Васильевне. Она уже выписалась из больницы и поправлялась дома. Почему-то я волновался.

— Вы? — удивилась Рязанцева, открыв мне дверь. — Я думала, что у вас хватит совести больше не появиться.

— Антонина Васильевна... — пролепетал я.

— Зачем вы устроили это постыдное зрелище? Кто разрешил пустить на экран этого подхалима? — наступала Рязанцева.

С трудом мне удалось заставить ее выслушать мою исповедь. Я начал с самого начала, ничего не утаивая. Антонина Васильевна пригласила меня в комнату и налила чаю. Жила она одна в маленькой квартире. На стене комнаты висела большая фотография улыбающегося до ушей негритянского мальчика. Как она объяснила, это был ее крестник. Его звали Антонина-Василий-Рязанцева.

Я рассказал Антонине Васильевне свои злоключения, и мне сразу стало легко.

— Петя, у вас такая интересная наука, — с материнской лаской сказала она и даже зажмурилась, такая у меня была интересная наука.

— Денег не всегда хватает, — сказал я. — Поэтому я и клюнул на удочку.

— Чудак вы человек! — сказала Рязанцева. — Послушайте меня, старуху. Я сейчас вспоминаю свою бедную молодость с радостью. У меня было много сил, много работы и мало денег. Сейчас наоборот. Хотя нет, работы все равно много. Тогда я была неизмеримо счастливее, чем теперь, Петя.

Антонина Васильевна показала мне альбом фотографий. В нем было много старых снимков. Рязанцева в Средней Азии на вспышке холеры. В Азербайджане на чуме. И тому подобное. Это было в двадцатые годы. Антонина Васильевна тогда была еще студенткой. Когда она со своими коллегами расправилась с особо опасными инфекциями у нас в стране, Рязанцева стала уезжать к ним за границу. Я удивился, как она дожила до старости. Ее работа была опаснее, чем у сапера.

— Знаете, Петя, — сказала Антонина Васильевна. — Мне давно хотелось провести ряд экспериментов с облучением культур лучом лазера. Не поможете ли вы нам в этом деле?

И она тут же изложила мне несколько задач. Задачи были интересные, и я согласился.

— Таким образом вы убьете двух зайцев, — сказала она. — Сохраните верность физике и заработаете кое-что. Мы вам будем платить полставки лаборанта.

— Да я и так могу, — застеснялся я.

— Перестаньте! — сурово оборвала Рязанцева. — Честный труд должен оплачиваться. Ничего в этом постыдного нет.

Я шел домой с чувством громадного облегчения. Все стало на свои места. Физик ты — ну и занимайся физикой. И не гонись за длинным рублем. И не выдавай черное за белое. И не криви душой.

Верно я говорю?

Шеф тоже очень обрадовался моему возвращению. Он, правда, виду не подал, но в первый же день после того, как я сказал ему, что завязал с журналистикой, подсел ко мне и набросал несколько заманчивых идей. Мы сидели и обменивались идеями. Впоследствии ра-

зумными оказались только три или четыре из них. Но разве в этом дело?

Постепенно все на кафедре забыли этот период моей жизни. Иногда только вспоминали Прометей. Это когда кто-нибудь делал сенсационное открытие и начинал везде звонить по этому поводу. И продавать себя. Саша Рыбаков тогда подходил к нему и говорил:

— Не лезь в Прометей. Там и без тебя народу много.

Последний отголосок моего цикла прозвучал через год. Подал весточку о себе мой бывший коллега Симаковский. Он прислал мне письмо.

В письме Грудзь, как ни в чем не бывало, делился последними новостями и творческими планами. Монстра Валентина Эдуардовича со студии турнули, Даров ушел на пенсию, а Люсеньку повысили до старшего редактора. Вообще на студии произошли большие изменения. В Прометейх ходят совсем другие люди.

Грудзь не писал об этом прямо, но я понял, что ему тоже дали от ворот поворот. Поэтому он решил податься в кино. Он предлагал мне сотрудничество в создании сценария научно-популярного кинофильма «Волшебный луч лазера». Запало ему в душу это слово!

Письмо было на голубой бумаге. Я вложил его в белый конверт с адресом, напечатанным на машинке, и скомкал в кулаке. Получился легкий бумажный шарик. Я торжественно вынес шарик на лестницу, открыл крышку мусоропровода и бережно опустил туда послание Симаковского.

Потом я долго стоял и с наслаждением слушал, как шарик проваливается с девятого этажа вниз, ко всем чертям, издавая еле слышное шуршание.



4

У меня все в порядке. Я прочно стою на ногах. Мои дела идут превосходно.

Я кандидат физико-математических наук. Мне еще нет тридцати. Это вселяет надежды.

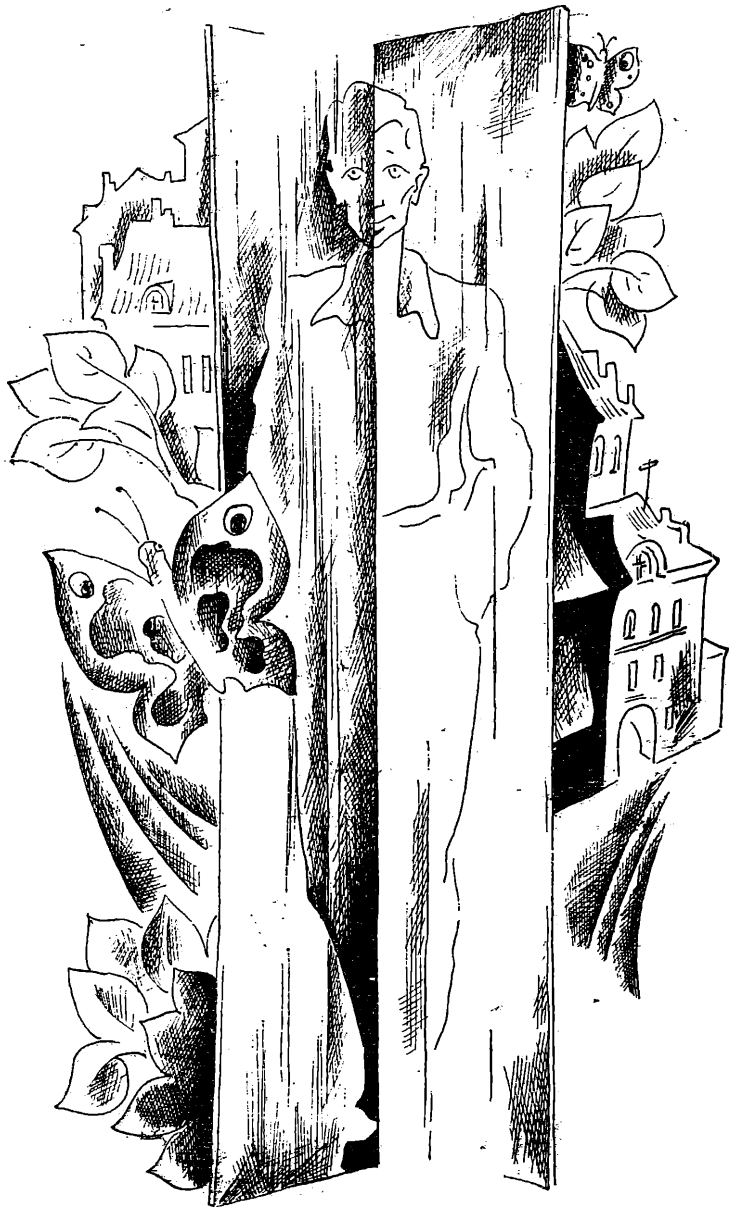
Я люблю свою работу. Я не люблю нытиков. Кто-то сказал, что у меня комплекс полноценности. Это так и есть. Не вижу в этом ничего предосудительного.

У меня маленькая лаборатория. Она отпочковалась от лаборатории моего шефа, профессора Галилеева. Шеф понял, что нам будет тесно под одной крышей. Заодно он постарался избавиться от балласта. Ко мне перешли две лаборантки, Игнатий Семенович и Арсик.

Главный балласт — это Арсик.

По-настоящему его зовут Арсений Николаевич Томашевич. Все в институте, начиная от уборщиц и кончая директором, зовут его Арсиком и на «ты». Он мило и застенчиво улыбается. Это обстоятельство мешает от него избавиться.

Арсик не бездарен, но бесполезен. К сожалению, мы учились с ним в одной группе и вместе пришли сюда по распределению. Я говорю — к сожалению, потому что теперь мне это не нужно. Меня зовут Геннадий Васильевич. Я предпочитаю, чтобы меня называли Геннадием Васильевичем. Это не мелочь и не чван-



ство. Мне необходимы нормальные условия для работы. Я не могу терпеть, когда отношения в лаборатории напоминают приятельскую вечеринку.

Арсик зовет меня Гешей.

Игнатий Семенович, который вдвое старше меня, обращается ко мне по имени и отчеству. О лаборантках я не говорю. Но Арсик этого не понимает.

Когда вышел приказ о моем назначении, я собрал свою лабораторию и рассказал, чем мы будем заниматься.

— Вам, Арсений Николаевич, — подчеркнуто сухо сказал я, — придется сменить тему. Она не вписывается в мои планы.

Арсик посмотрел на меня наивно, как дитя. Он долго соображал, что к чему, а потом лениво спросил:

— Геша, а правда, что глаза — зеркало души? Вот я все время думаю — какое зеркало? Вогнутое, выпуклое или, может быть, плоское?

Игнатий Семенович вздрогнул. Он не был близко знаком с Арсиком, потому что до образования моей лаборатории работал в другой комнате. Лаборантки Шурочка и Катя уткнулись в стол, и уши у них покраснели. Они сдерживали смех. Они полагали, что в словах Арсика есть скрытый смысл или подтекст.

Они тоже плохо его знали. В речах Арсика никогда не было подтекста. Если он спрашивал о зеркалах, значит, именно они его в настоящий момент интересовали.

Я не мог сразу поставить его на место. Я знал, что он просто не поймет, чего от него хотят.

— Полупроницаемое, — сказал я, стараясь улыбаться. Я имел в виду зеркало души.

— Угу, — сказал Арсик, выпятив нижнюю губу. — Это само собой.

— А тему ты все-таки сменишь, — сказал я.

Он пожал плечами. Кроме зеркал, его сейчас ничто не интересовало.

Мы все занимаемся физической оптикой. Это древний раздел физики. Сейчас он бурно развивается, благодаря лазерам, световодам и прочим вещам. Меня интересует волоконная оптика. Вернее, ее стык с цифровой техникой. Мне видятся оптические цифровые машины с огромным быстродействием и каналы связи с гигантским объемом пропускаемой информации. Это стратегическое направление моих исследований.

Я убежден, что жизненная стратегия необходима каждому. Она позволяет отличить главное от второстепенного. Выбрать правильную жизненную стратегию удастся не всем. Я считаю, что мне это удалось. Теперь мне предстояло включить подчиненных в эту жизненную стратегию. Я чувствовал, что с Арсиком придется помучиться.

У него никогда не было четких планов относительно себя. Он занимался физикой на задворках, рыл боковые туннели, украшал науку ненужными побрякушками. Последняя его тема звучала так: «Исследование влияния цветовых спектров на всхожесть и произрастание растений». Шеф сказал, что она имеет прикладное значение для сельского хозяйства. Арсик выращивал лук на подоконнике, облучая его разными спектрами. Весной, в период авитаминоза, мы этот лук ели.

Кто-то назвал Арсика поэтом от физики. Ненавижу красивые слова! Это все равно, что физик от поэзии.

Шеф не вмешивался в деятельность Арсика. Помоему, он махнул на него рукой. Уволить Арсика не было возможности, заставить его заниматься настоящим делом тоже. Когда представился случай, шеф спихнул его мне. Но у меня на учете каждый человек. Лаборантки не в счет, Игнатий Семенович тоже, потому что ждет пенсии и все время читает реферативные журналы. Он думает, что науку движет образованность. Образованности у него навалом, а головы нет. Науку движут головы.

У Арсика голова есть. Это самое печальное.

Я не против окольных путей и поэтических вольностей. Иногда открытия делаются на задворках. Но когда в лаборатории всего две головы, это непозволительная роскошь.

Поэтому первым делом я сменил Арсику тему и убрал лук с подоконника. Арсик отнесся к этому безучастно. Как я потом понял, его уже интересовали другие вещи.

Я предложил Арсику заняться оптическими каналами связи. Себе я оставил оптические цифровые элементы.

— Что с чем будем связывать? — спросил Арсик.

— Не прикидывайся дурачком, — сказал я. — Сам прекрасно знаешь.

— Геша, я тебя люблю, — заявил Арсик. — Ты сейчас такой узенький.

Лаборантки снова прыснули, понимая сказанное фигурально. Но я насторожился. Я уже привык понимать Арсика буквально. Почему он назвал меня узеньким?

Через несколько дней мы с дочкой гуляли в парке. Было воскресенье. В этом парке есть карусель, качели и загородка с кривыми зеркалами. Мы пошли в кривые зеркала. Там развлекались несколько человек с детьми. В загородке я увидел Арсика. Он неподвижно стоял у вогнутого цилиндрического зеркала. При этом он не смотрел в зеркало, а смотрел куда-то поверх него, пребывая в задумчивости. Я подошел сзади и взглянул на наши отражения. Мы с Арсиком были узенькими, острыми и длинными, как копыя. Лицо Арсика было печальным. Может быть, благодаря вытянутости. Он тряхнул головой, повернулся и быстро вышел из павильона. Меня он не заметил.

Кто-то рядом надрывался от хохота. Я обошел зеркала, держа дочь за руку. Ничего смешного я там не нашел. У меня из головы не выходил Арсик перед цилиндрическим зеркалом.

Между тем Арсик окунулся в работу по новой теме. Он достал световоды и принялся плести из них какую-то паутину. Одновременно он занялся коллекционированием репродукций. Он увешивал стены лаборатории репродукциями картин. Художественные симпатии Арсика были разнообразны: старые мастера, импрессионисты, абстракционисты. Некоторые репродукции он вешал вверх ногами, некоторые боком. Лаборантки потом их перевешивали правильно. Арсика это не занимало.

Против картинок я не возражал.

Арсик смастерил доску, густо усеянную оптическими датчиками. С другой стороны от доски отходили световоды. Их было огромное количество. Арсик сплел из них толстый канат, а концы вывел на свою установку. Теперь он целыми днями сидел за установкой, а доску с датчиками подвешивал к стене, закрывая ею какую-нибудь репродукцию.

Он занимался этим месяц. Наконец я не выдержал.

— Как твои успехи? — спросил я.

— Что такое успехи? — рассеянно спросил он.

— Результаты, выводы, данные, — терпеливо разъяснил я.

— Данные есть, — улыбнувшись, сказал Арсик. — Но довольно безуспешные.

Я напомнил ему, что его дело заниматься каналами связи. Изучать пропускную способность и так далее.

Арсику посмотрел на меня, как бы припоминая что-то, а потом поднял указательный палец и помахал, подзывая к себе. Он поманил своего непосредственного начальника.

В лаборатории стало тихо. Даже Игнатий Семенович оторвался от реферативного журнала и с интересом наблюдал, что будет дальше. Я поднялся со своего места и неторопливо подошел к Арсику. Я старался делать вид, что ничего особенного не происходит. Хотя внутри меня колотило от злости.

— Посмотри сюда,— сказал Арсик, придвигая ко мне окуляры своей установки.

Я взглянул в окуляры и увидел красивую картинку. Над зеленой лужайкой висела наклоненная фигурка мальчика. Мальчик был обнаженным. Краски на картине были поразительной чистоты. На заднем плане возвышался готический замок.

— Ну и что? — спросил я, отрываясь от окуляров.

— Красиво, правда? — мечтательно сказал Арсик. — Особенно эти яблоки.

Я не заметил на картине яблок, но проверять не стал. Я вернулся на свое место и попытался продолжить расчет элемента. Но выходка Арсика сбивала ход моей мысли. Я поднял голову и увидел, что Арсик все еще любуется картинкой, а канат световодов тянется через всю комнату к доске с датчиками. Доска висела на стене, прикрывая одну из репродукций.

Когда все ушли на обед, я подошел к стене и приподнял доску. Под нею была абстрактная картинка. Плавные линии, точки, запятые, нечто похожее на амёбу, и тому подобное. Надпись под картинкой гласила: «Пауль Клее». Она была сделана от руки.

Я снова приник к окулярам, но ничего не увидел. Арсик выключил установку, уходя на обед.

Несколько дней я размышлял над картинкой, увиденной в окулярах. Она не выходила из головы. Летящий мальчик на фоне готического замка. В воскресенье я почувствовал настоящее желание сходить в Эрмитаж. Я вспомнил, что не был там лет семь.

Мне не хотелось говорить жене, куда я иду. Это вызвало бы удивление и расспросы. Я сказал, что мне нужно пройтись, чтобы обдумать одну идею. К таким моим прогулкам жена привыкла.

У входа в Эрмитаж стоял Арсик. Он переминался с ноги на ногу и поглядывал на часы. Над Невой дул ветер. У Арсика был озябший вид. Мне показалось, что он стоит здесь уже давно.

— А, привет! — сказал Арсик. — Я тебя давненько поджидаю.

У него была такая манера шутить. Этим он прикрывал свое смущение. Видимо, он назначил здесь свидание и пытался это скрыть. Личная жизнь Арсика всегда была покрыта мраком.

— Ну, тогда пойдем, — сказал я.

— Нет, прости, я не только тебя жду, — помявшись, сознался он.

Я пожал плечами и пошел к дверям. Открывая дверь, я оглянулся и увидел, что Арсик, не спеша, удаляется по набережной, засунув руки в карманы плаща.

Я походил по залам, посмотрел Рембрандта, итальянцев, поднялся на третий этаж. Там я неожиданно встретил своих лаборанток Катю и Шурочку. Они стояли перед картиной Гогена. Я быстро прошел за их спинами в следующий зал и наткнулся на Игнатия Семеновича. Старик смущенно потупился и пустился в длинные объяснения, почему он здесь. Как будто это требовало оправданий.

— Я тоже люблю иногда сюда приходить, — сказал я.

Мы разошлись. Картины больше не интересовали меня. Я размышлял над этим совпадением. Я хорошо знаю теорию вероятности. Она допускает такие вещи, но редко. Потом я придумал логическое объяснение. Репродукции Арсика сделали свое дело. Своим молчаливым присутствием на стенах они пробудили в нас интерес к живописи. Оставалась маленькая загвоздка. Почему мы все пришли в Эрмитаж одновременно? Но в конце концов, почему бы и нет! Выходной день, на неделе мы заняты, так что все понятно.

На следующий день репродукции исчезли со стен. Арсик снял их все до единой и сложил в шкаф. Потом он долго возился с доской, прилаживая к ней источники света и разные фильтры, с помощью которых он облучал лук.

Шурочка и Катя трудились над моей установкой, вода пальцами по схеме. При этом они успевали что-то обсуждать. Мелькали мужские имена и местоимение «он». Игнатий Семенович читал журналы и делал вы-

ниски. Время от времени он жаловался, что пухнет голова. Меня это особенно раздражало.

— Между прочим, красный цвет не имеет никакого отношения к любви, — сказал вдруг Арсик.

Лаборантки тут же прекратили работу и устались на Арсика. Тема любви была для них животрепещущей.

— Арсик, поясни свою мысль, — сказала Катя.

— Любовь — это нечто желто-зеленое, — продолжил Арсик. — В основном три спектральные линии.

— Желто-зеленое! — возмутилась Шурочка. — Ты, Арсик, ничего в любви не понимаешь!

— Совершенно верно, — сказал Арсик. — Но длины волн, соответствующие любви...

— Арсений, — сказал я. — Не отвлекай народ по пустякам.

Теперь уже лаборантки с возмущением уставились на меня. Они, конечно, полагали, что любовь важнее измерительного устройства, над которым они корпели. И вообще важнее всего на свете. Эта мысль старательно насаждается искусством, литературой и средствами массовой информации. По радио только и слышно, как поют: «Любовь нечаянно нагрянет...», «Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца...» и прочую галиматью. Любовь между тем встречается так же редко, как талант. Никакие песенки не помогут стать талантливым в этом вопросе. То, что так занимает моих лаборанток, имеет отношение только к продолжению человеческого рода. Я глубоко уверен, что он будет продолжаться и впредь без сомнительных украшений естества дешевыми мотивчиками и ссылками на любовь при каждом удобном случае.

— Очень странно, Геннадий Васильевич, — заметила Шурочка. — В вашем возрасте встречаются мужчины, которые еще способны любить.

— Зато в вашем возрасте, Шурочка, редко встретишь человека, способного думать и рассуждать. К сожалению, — сказал я.

— Подумаешь! — обиделась Шурочка. — И носись со своим умом, никому он не нужен.

— Диспут окончен! — объявил я. — Все обсуждения переносятся на послерабочее время.

В лаборатории стало тихо. Шурочка и Катя демонстративно работали. Арсик припал к окулярам установки, крутя пальцами какие-то ручки. Глаза его были закрыты окулярами, но рот расплывался в блажен-

ной улыбке. Потом губы сложились трубочкой, и Арсик издал звук, похожий на поцелуй.

— Я вас любил, любовь еще быть может, — сказал он.

— Арсений! — негромко, но внушительно сказал я.

Арсик опорочился от очков. В глазах его была безмятежная мечтательность. Она совершенно не соответствовала моим представлениям о работе, физике, деловой атмосфере и научном прогрессе. Она не соответствовала также моему настроению. Уже два месяца мы топтались на месте. Мы транжирили время. У меня даже появилась мысль, что мы все ждем пенсии, как Игнатий Семенович. Не все ли равно, сколько ждать: два года или тридцать лет? Все эти соображения действовали мне на нервы и выводили из себя.

— Будь любезен через три дня представить мне письменный отчет о проделанной работе, — сказал я Арсику.

Самое интересное, что больше всех испугался Игнатий Семенович. Он сделал сосредоточенное лицо, стал рыться в столе, достал кучу толстых тетрадей с закладками, всем своим видом изображая деятельность. Арсик же, не меняя позы, протянул руку вниз и вынул откуда-то листок бумаги. Он черкнул на нем несколько строк, изобразил какую-то схему и, подойдя ко мне, положил листок на мой стол.

— Вот, — сказал он. — У меня готово.

Там было написано: «Отчет о проделанной работе. Появилась одна идея. Оптическое запоминающее устройство». Дальше шла схема и несколько формул.

Первым делом я подумал, что Арсик издевается. Но потом, взглянув на формулы, я убедился, что идея заслуживает внимания. Арсик предложил запоминающий элемент, представлявший собою систему трех зеркал сложной формы. В одну из точек системы вводился объект. Его изображение удерживается в системе бесконечно долго, благодаря форме и расположению зеркал. Оно как бы циркулирует в системе в виде отражений, даже когда самого объекта уже нет. Арсик нашел способ удерживать отражение в зеркалах после снятия оригинала! В системе существовали две особые точки: точка ввода оригинала и точка вывода изображения. Конечно, Арсик предложил только принцип, требовалось рассчитать детально форму зеркал, их

расположение и координаты особых точек. Но идея была великолепная.

— К каналам связи это не имеет отношения,— извиняющимся тоном сказал Арсик.

— Все равно здорово! — сказал я.— Рассчитай только все до конца.

— Ой, Геша, не хочется! — взмолился Арсик.— Там же все понятно. Расчет не требует квалификации,— шепотом добавил он и показал глазами на Игнатия Семеновича.

— Черт с тобой! — буркнул я и подозвал к столу старика.

Игнатий Семенович долго и недоверчиво изучал схему Арсика. По-моему, он прикидывал в уме, потянет ли он расчет.

— У американцев ничего похожего я не встречал,— сказал он наконец.— Может быть, посмотреть у японцев? Нужно заказать переводы.

— Нет этого у японцев,— сказал я.— Вы же видите. Если бы такой элемент был, все бы о нем знали...

— Да, это, пожалуй, открытие,— с достоинством признал Игнатий Семенович.— Но как быть с авторством? Если я выполню основополагающие расчеты...

— Впишем всех,— сказал Арсик.— Гешу, вас и меня.

— Я согласен,— сказал Игнатий Семенович.

— Когда будем патентовать, решим этот вопрос,— сказал я.— Во всяком случае, я этим заниматься не намерен, следовательно, никакого моего авторства в работе не будет.

Игнатий Семенович пожал плечами и вернулся на свое место с листком Арсика. Я был вне себя от злости. Только сейчас я понял, как удружил мне профессор Галилеев, подсунув старика. Игнатий Семенович был рекомендован как автор сорока статей и обладатель семи авторских свидетельств. Все эти работы были коллективными. Между прочим, фамилия Игнатия Семеновича была Арнаутов. Это обстоятельство позволяло ему, как правило, стоять первым в списке авторов. Тоже немаловажно, поскольку при ссылках на статьи обычно пишут: «В работе Арнаутова и др. с убедительностью показано...» И так далее.

Следовательно, Арсик со своей красивой и остроумной идеей попадал в разряд «др.».

«Ну нет! — подумал я.— Арсик будет стоять первым, чего бы мне это ни стоило».

Таким образом, Арсик откупился от меня идеей, и я позволил ему заниматься, чем он хочет. Бог с ним! Если он хотя бы раз в полгода будет выдавать нечто подобное, его присутствие в лаборатории себя оправдывает. Лишь бы он не очень мешал своими разговорами о любви и непонятными шутками. Они расхолаживают коллектив.

Вскоре я уехал в командировку. Все были при деле. Игнатий Семенович раздобыл настольную вычислительную машину и рассчитывал элемент Арсика, сам Арсик возился с установкой, а лаборантки заканчивали мою схему. В лаборатории царил приятный моему сердцу порядок. Я уехал с легкой душой, выступил на конференции и вернулся через три дня.

Войдя по приезду в лабораторию, я сразу почувствовал что-то неладное. Было какое-то напряжение в воздухе. Все сидели на тех же местах, будто я и не уезжал, так же тыкал в клавиши машины Игнатий Семенович, но что-то уже произошло. Катя поздоровалась со мной не так, как обычно. Она взмахнула своими ресницами, опустила глаза и пробормотала: «Здравствуйте, Геннадий Васильевич...» А Шурочка тревожно на нее взглянула. Обычно Катя здоровалась сухо, одним кивком. Арсик приветственно помахал мне рукой. Другая его рука, левая, лежала на установке и была обтянута у запястья тонкой ленточкой фольги, от которой тянулся провод к коммутирующему устройству. Помахав правой рукой, Арсик впился в окуляры и отключился от внешней жизни.

— Как дела? — спросил я.

— Мы все сделали, — сказала Шурочка.

Катя сидела, отвернувшись.

— Молодцы, — похвалил я и подошел к своей установке.

Катя вдруг вскочила и выбежала из лаборатории, пряча лицо. Я успел заметить, что глаза у нее полны слез и тушь с ресниц ползет грязноватыми струйками по щекам.

— Что случилось? — спросил я Шурочку.

— Ничего! — вызывающе сказала она. — Это вас не касается.

— Все, что происходит в лаборатории в рабочее время, касается меня, — сказал я. — Если я могу чем-нибудь помочь или требуется мое вмешательство...

— Ваше вмешательство безусловно требуется, — произнес Игнатий Семенович.

Арсик оторвался от окуляров и сказал:

— Игнатий Семенович, не желаете ли взглянуть?

Старик испуганно вздрогнул, замахал руками и закричал:

— Не желаю! Не испытываю ни малейшего желания! Занимайтесь этими глупостями сами! Раствлевайте молодежь!

— Ну-ну, уж и растлевайте! — добродушно сказал Арсик.

— Может быть, мне объяснят, что происходит? — сказал я, тихо свирепея.

— Геша, все тип-топ, — сказал Арсик.

Шурочка ушла искать и успокаивать Катю, а я принялся проверять собранную схему. Это отвлекло мое внимание и позволило забыть о случившемся. Но ненадолго. Через полчаса вернулась Катя с умытым лицом. Под глазами были красные пятна. Проходя мимо Арсика, она прошептала:

— Я тебе, Арсик, этого не прощу!

— Катенька, не надо! — взмолился Арсик. — Это пройдет.

— Я не хочу, чтобы это проходило, — твердо сказала Катя.

Я сделал вид, что ничего не слышу, хотя в уме уже строил разные догадки. Потом подчеркнуто холодным тоном я дал лаборанткам следующее задание и углубился в работу.

Вскоре пришла ученый секретарь института Татьяна Павловна Сизова, стала требовать очередные планы, списки статей, заговорила о перспективах и прочее. Между этим прочим она спросила, когда защитится Арсик.

— Никогда! — сказал Арсик.

— Когда напишет работу, — пожал плечами я. — Идея у него уже есть, осталось оформить.

— А это в науке самое главное, — наставительно заметил Игнатий Семенович, вписывая в журнал цифры. — Да-да! Не головокружительные идеи, а черновая будничная работа.

И он сурово поджал губы.

— Что вы можете знать о моей работе? — медленно начал Арсик, поворачиваясь на стуле к Игнатию Семеновичу. — Разве вы когда-нибудь удивлялись? Разве плакали вы хоть раз от несовершенства мира и своего собственного несовершенства? Музыка внутри нас и свет. Пытались ли вы освободить их?

Я испугался, что Арсик опять разыгрывает дурачка. Но он говорил тихо и серьезно. Татьяна Павловна словно окаменела, смотря Арсику в рот. Старик напрягся и побелел, но возражать не пытался. А Арсик продолжал свою речь, точно читал текст проповеди:

— Мы заботимся о прогрессе. Мы увеличиваем поголовье машин и производим исписанную бумагу. А музыка внутри нас все глуше, и свет наш меркнет. Мы обмениваемся информацией, покупаем ее, продаем, кладем в сберегательные кассы вычислительных машин, а до сердца достучаться не можем. Зачем мне знать все на свете, если я забыл совесть, а совесть забыла меня? Одна должна быть наука — наука счастья. Других не нужно...

— Я не совсем понимаю,— сказал Игнатий Семенович.

— Ну, я пошла,— пролепетала Татьяна Павловна и удалилась на цыпочках.

— Извините меня,— сказал Арсик и тоже вышел.

Шурочка, стоявшая у дверей и слушавшая Арсика прикрыв глаза, с экзотическим, я бы сказал, вниманием, выскользнула за ним. Катя закусил губу и ушла из лаборатории, держась неестественно прямо. Остались только мы с Игнатием Семеновичем.

— Он совсем распустился,— сказал старик.— Демонстрирует девушкам свои картинки. Сам смотрит на них целыми днями... Это же бред какой-то, что он говорил!

Я подошел к установке Арсика. На коммутационной панели был расположен переключатель. На его указателе были деления. Возле каждого деления стояли нарисованные шариковой ручкой значки: сердечко, пронзенное стрелой, скрипичный ключ, вытянутая капля воды с заостренным хвостиком, черный котенок, обхвативший лапами другое сердечко, уже без стрелы, и кружок с расходящимися лучами — по-видимому, солнышко.

— Только ради бога не смотрите в окуляры,— предупредил Игнатий Семенович.

— А вы смотрели?

— Упаси боже! — сказал старик.— Я один раз посмотрел, когда там живопись была. Потом неделю рубенсовские женщины снились.

— Все равно она выключена,— сказал я и отошел к своему столу.

Указатель переключателя смотрел на черного котенка, обнимающего сердечко. «Надо поговорить с Арсением»,— решил я про себя.

Вскоре я пошел обедать. Столовой в нашем институте нет, мы ходим обедать в соседнее кафе. Я вышел из институтского подъезда и в скверике на скамейке увидел Арсика и Шурочку. Они сидели и курили. Рука Арсика обнимала плечи Шурочки. Сидели они совершенно неподвижно, и на лицах обоих было глупейшее выражение, какое бывает у влюбленных. «Только этого не хватало в нашей лаборатории! — подумал я.— Теперь начнутся сплетни, намеки на моральный облик и тому подобное. Арсик ведь не мальчишка! Ему следовало бы вести себя осторожнее».

Не могу сказать, чтобы я обрадовался этому открытию как руководитель коллектива.

Но на этом приключения дня не кончились. Когда я пришел из кафе, Арсика и Шурочки на скамейке не было. Не было их и в лаборатории. За установкой Арсика сидела Катя, впившись в окуляры. Ленточка фольги обхватывала ее запястье. Переключатель был в положении «сердечко, пронзенное стрелой». Игнатий Семенович нервно тыкал в клавиши и причитал:

— Ну зачем вам это, Катя? Я не понимаю! Это же безнравственно в конце концов... Вы молодая, красивая девушка...

— А вы божий одуванец. Отстаньте от меня,— нежнейшим голосом проворковала Катя, не отрываясь от окуляров.

— Это же наркомания какая-то! — вскричал Игнатий Семенович.— Вы не отдаете себе отчета.

— Не отдаю,— согласилась Катя.— Только отстаньте.

— Кто включил установку?— спросил я.

Катя отвела глаза от окуляров и посмотрела на меня. И тут я испугался. Я никогда не видел у женщин такого выражения лица. Даже в кино. Нет, вру... Видел, видел я такое выражение. Но это было так давно и я так прочно запретил себе вспоминать о нем, что сейчас испугался и мысли мои смешались.

В глазах Кати был зов, призыв — что за черт, не знаю как выразиться! Губы дрожали — влажные, нежные, зрачки были расширены, от Кати исходило притяжение. Я его ощущал и схватился за край стола, чтобы не сделать шаг ей навстречу.

— Что с вами?! — закричал я. — Кто разрешил включать установку?

Катя отстегнула алюминиевую ленточку с запястья и взяла со стола измерительный циркуль из готовальни Арсика. Затем она тщательно вонзила обе иглочки в тыльную сторону своей ладони. На ее лице стало возвращаться нормальное выражение. Но довольно медленно.

Потыкав себя еще циркулем для верности, Катя встала со стула и прошла мимо меня на свое рабочее место. На мгновение у меня, как говорят, помутилось в голове.

— Я заявлю в местком, — сказал Игнатий Семенович.

Вскоре пришел Арсик, сумрачный и недовольный. Шурочка так и не появилась. Арсик не работал, а сидел, смотря в окно и тихонько насвистывая одну из модных песенок. Естественно, о любви.

Катя сомнамбулически перебирала инструменты на своем столике.

Я с трудом дождался конца рабочего дня. Ровно в пять пятнадцать Игнатий Семенович выключил машину, сложил исписанные листки на край стола и удалился, сдержанно попрощавшись. Арсик не шевелился. Катя схватила сумочку и пробежала мимо меня к двери. Мы наконец остались одни с Арсиком.

— Слушай, что происходит? — спросил я.

— Я сам не понимаю, — с тоской сказал Арсик. — Но жутко интересно. Хотя тяжело.

— Пожалуйста, популярнее, — предложил я.

— Иди сюда. Посмотри сам, — сказал он.

С некоторой опаской я подошел к его установке и дал Арсику обмотать свое запястье ленточкой. Арсик настроил установку и повернул окуляры в мою сторону.

— Садись и смотри, — сказал он.

2

Сначала было желтое — желтее не придумаешь! — пространство перед моими глазами. Именно пространство, потому что в нем был объем, из которого через несколько секунд стали появляться хвостатые зеленые звезды, похожие формой на рыбок-вуалехвосток. Они словно искали себе место, перемещаясь в желтом объеме. И объем этот тоже менялся, постепенно густея,

наливаясь спелостью, напряженно дрожа и подгоняя маленьких рыбок к их счастливым точкам. Почему я подумал о точках — счастливые? Да потому лишь, что следил за зелеными звездочками с непонятным мне и страстным желанием счастливого, праздничного исхода их движений.

Я чувствовал, что должен быть в желтом мире, открывшемся передо мной, веселый союз хвостатых рыбок — единственно возможное сочетание точек, образующее мою гармонию; и я направлял их туда своими мыслями, а когда они все, взмахнув зеленоватыми вуалями, заняли в объеме истинное положение, я услышал музыку. Это был вальс на скрипке, как я понял много позднее, фантазия Венявского на темы «Фауста» Гуно — тогда я не знал этой музыки. И звездочки мои рассыпались искрами и расплылись, потому что я с удивлением ощутил на своих глазах слезы. Да что же это такое? Меня больше не было, я оказался растворенным в этом объеме, и только тихий стук пульса о ленточку фольги доносился из прежнего мира.

А затем образовались три линии — изумрудная, густая, с тонкими мраморными прожилками, нежно-зеленая, прозрачная и бледная, похожая на столб света. И они тоже перемещались, скрещивались, образуя в местах скрещения немыслимые сочетания цветов, пока не нашли единственного положения, и тогда сменилась музыка, а в объеме вырисовалось то забытое мною лицо, которое я не позволял себе вспоминать уже десять лет, — глаза прикрыты, выражение боли и счастья, и Моцарт, скрипичный концерт номер три, вторая часть.

Моцарт тоже позднее, гораздо позднее вошел в мою жизнь.

А я уже гнал сквозь пространство новые картины, подстегивая их нервным ритмом пульса, и чувствовал, как от моего сердца отделяется тонкая и твердая пленка, — это было больно.

Самое главное, что время перестало существовать. Секунды падали в одну точку, как капли, и эта точка была внутри меня, почему-то за языком, в гортани.

Ком в горле, десять лет жизни.

Что-то щелкнуло, и меня не стало.

Медленно я сообразил, что я жив, что я сижу на стуле в своей лаборатории, что у меня затекла нога от

неудобной позы, что я оторвался от окуляров и вижу лицо Арсика, что за окнами темно.

Арсик виновато улыбался.

— Сразу много нельзя,— сказал он.— Тебе будет тяжело.

— Хочу еще,— сказал я, как ребенок, у которого отняли игрушку.

Арсик наклонился ко мне, взял за плечи и сильно тряхнул. Это помогло. Я глубоко вздохнул и заметил еще ряд вещей в лаборатории. Пыльные неприбранные полки с приборами, железную раму в углу и аккуратный стол Игнатия Семеновича.

— Как ты это делаешь? — спросил я.

— Не знаю,— сказал Арсик.— Каждый делает это сам. Плохо, что они научились самостоятельно пользоваться установкой.

— Кто?

— Шурочка и Катя... Они очень влюбились.

— В кого? — тупо спросил я.

— Катя в тебя,— сказал Арсик.

Два часа назад подобное сообщение вызвало бы во мне ярость или насмешку. Или то и другое вместе. Теперь я почувствовал ужас.

— Что же теперь будет? — спросил я растерянно.

— Пиво холодное,— сказал Арсик.— Иди домой. Что будет, то и будет.

Ночью мне снились желто-зеленые поля с синими бабочками над ними. И еще лицо Кати, про которую я знал, что это не Катя, а та далекая девочка моей юности, с которой... Нет, это слишком долго и сложно рассказывать.

Проснулся я рано и, лежа в постели, принялся уговаривать себя, что ничего особенного не произошло. Нервы распались. Неудивительно — все идет не так, как мне бы хотелось: результатов нет, время проходит, а тут еще незапланированная любовь.

Я боялся идти на работу. Боялся встречи с Катей.

Катя на десять лет младше меня. Ей девятнадцать. Я это поколение не понимаю. Неизвестно, что может ей взбрести в голову. Влюблялась бы себе на здоровье в кого-нибудь другого. Я здесь совершенно ни при чем, никакого повода я не давал. Более того, своим поведением я решительно, как мне кажется, не допускал возможности в себя влюбиться. Собственно, почему я должен думать об этом? У меня своих забот хватает.

Размышляя таким образом, я настроил себя воинственно, еще раз недобрым словом помянул так называемую любовь, вскочил с кровати, умылся, почистил зубы и отправился в лабораторию.

Слава богу, Катя не пришла. Она позвонила и сказала Шурочке, что у нее поднялась температура. Арсика это сообщение взволновало, он даже переменялся в лице, взъерошил волосы и принялся выхаживать по комнате. Игнатий Семенович сделал ему замечание. Он сказал, что Арсик мешает течению его мыслей. Арсик клацнул зубами, как Щелкунчик, и прошипел: — Мыссс-лей!

Потом он усталился в окуляры и стал трещать переключателем. Он рассматривал свои картинки часа два. Когда он оторвался от них, его лицо выглядело усталым, печальным и больным. Было видно, что Арсик плакал, но слезы успели высохнуть.

— Надо что-то делать, — пробормотал он.

Шурочка подбежала к нему и, обняв, стала гладить по голове. Арсик сидел, опустив руки. Старик не выдержал этой картины, выскочил из-за стола и выбежал из лаборатории. Я тоже почувствовал настоятельное желание удалиться.

— Арсик, миленький, хороший мой... — шептала Шурочка. — Не надо, не смотри больше, тебе нельзя. Давай я буду смотреть дальше. Хорошо? Да?..

Прикрикнуть, наорать, взорваться — вот что мне нужно было сделать. Только это могло помочь. Но я сидел как пришитый к стулу. Я смотрел на них, а в душе у меня все переворачивалось. Голова кружилась, а мысли прыгали в ней, как шарики в барабане «Спортлото». Неизвестно, какой шарик выкатится.

Арсик примотал руку Шурочки к установке и усадил ее перед окулярами. Сам он вышел курить в коридор, невесело усмехнувшись мне.

В этот момент позвонили из месткома.

— Зайдите ко мне, — сказал наш председатель.

Я поплелся, предчувствуя нежелательные и нехорошие разговоры. Перед председателем лежало заявление, написанное рукою Игнатия Семеновича. Самого старика в месткоме уже не было.

— Что там у вас происходит? — спросил председатель и прочитал: — «Низкий моральный облик и вызывающее поведение товарища Томашевича А. Н. отрицательно сказываются на молодых сотрудниках. Вместо работы по теме Томашевич А. Н. занимается

сомнительными психологическими опытами, граничащими со спиритизмом и черной магией...»

— Ни черта он не смыслит в спиритизме,— сказал я. Я имел в виду Игнатия Семеновича.

Председатель подумал, что это я об Арсике.

— Значит, таких фактов не было? — спросил он.

— Черной магии не было,— твердо сказал я.

— А что было? Аморальное поведение было?

— Что такое аморальное поведение? — тихо спросил я.

— Ну, знаете! — воскликнул председатель. — Да они у вас целуются в рабочее время в рабочих помещениях!.. Какой гадостью он их пичкает?

— Кто? Кого? — спросил я, чтобы оттянуть время.

— Да этот Арсик ваш знаменитый!

Я вяло возразил. Сказал, что Арсик проводит уникальный эксперимент и ему требуются ассистенты. Мои оправдания разозлили меня, потому что я до сих пор не знал сути экспериментов Арсика.

— Идите и разберитесь,— сказал председатель. — Чтобы таких сигналов больше не было.

Я вернулся как раз вовремя. В тот момент, когда нужно было кричать «брек», как судье на ринге. Шурочка и Игнатий Семенович стояли друг перед другом в сильнейшем возбуждении и выкрикивали слова, не слушая возражений.

— Ваша мораль! Шито-крыто! Гадости только делать исподтишка умеете! — кричала Шурочка.

— Не позволю! Я сорок лет!.. Поживите с мое — увидим! — кричал Игнатий Семенович.

Арсик стоял у окна, обхватив голову руками, и медленно раскачивался. Он постанывал, как от зубной боли. На лице у него была гримаса страдания.

— Стоп! — крикнул я.

Старик и Шурочка замолкли, дрожа от негодования. Арсик шагнул ко мне и принялся говорить чуть ли не с мольбой, как будто убеждая в том, о чем я понятия не имел:

— Нет, нельзя так, нельзя! Он же не виноват, что вырос таким. Жил таким и состарился. Я не имею права перечеркивать всю его жизнь, правда, Геша? Каждый человек должен иметь уверенность, что живет достойно. Но он должен и сомневаться в этом, испытывать себя... Тогда у него совесть обостряется. Она как бритва — ее с обеих сторон нужно точить. Решись

про себя: правильно я живу, молодец я, лучше всех все понимаю — и затупишь. Махнешь на себя рукой, позволишь себе — пропади, мол, все пропадом, один раз живем — и сломаешь... Верно я говорю?

— Постой,— сказал я.— Сядь. Все сядьте. Поговорим.

Все сели. Я сделал паузу, чтобы коллеги отдышались, и начал говорить:

— Давайте разберемся,— сказал я.— Чем мы здесь занимаемся?.. Мы хотим заниматься наукой. Наукой, а не коммунальными разговорами, спасением души, любовными интригами, моральными и аморальными поступками, совестью, честью, долгом и всеобщей нравственностью. Это вне компетенции науки.

— Геша, ты заблуждаешься,— сказал Арсик.

— Не перебивай. Скажешь потом... Я не вижу причин упрекать друг друга. Каждый делает свое дело так, как может. Игнатий Семенович по-своему, Арсик по-другому... Важен результат.

Игнатий Семенович поднялся, подошел ко мне и протянул папку с тесемками. На папке было написано: «И. С. Арнаутов, А. Н. Томашевич. Оптическое запоминающее устройство. Принцип действия и расчет элементов».

— Именно результат,— сказал Игнатий Семенович.

Я взял авторучку и поставил на обложке корректорский знак перемены мест. Такую загогулину, которая сверху охватывала фамилию Игнатия Семеновича, а снизу — фамилию Арсика. Видимо, нашему старику этот знак был хорошо знаком, потому что он возмущенно вскинул брови и посмотрел на меня с негодованием.

— В интересах справедливости,— пояснил я.

— Вы тут все сговорились меня травить! — взвизнул Игнатий Семенович и начал картинно хвататься за грудь и напирать валидол в кармане.

— Игнатий Семенович, сядьте,— спокойно сказал я.— Продолжаем разговор о моральном климате в лаборатории. Слово Арсику. Мне бы хотелось знать, почему у нас все пошло кувырком? Мне просто интересно.

— Завидую я тебе и твоему юмору,— сказал Арсик.— Грустно мне, Геша. Ничего я говорить не буду.

— Хорошо. Давайте работать дальше,— сказал я.

— В таких условиях я работать отказываюсь,— заявил Игнатий Семенович.

И тут Арсик подошел к старику, упал перед ним на колени и ткнулся лбом в его руку. Ей-богу, он так все и проделал. В любой другой момент я бы расхохотался.

— Простите меня, Игнатий Семенович. Простите,— сказал Арсик.

Игнатий Семенович вскочил со стула, снова сел, попытался отдернуть руку и вдруг беспомощно, по-стариковски задрожал всем телом и отвернулся. Нижняя губа у него дергалась.

— Хорошо, хорошо...— с трудом проговорил он.

Остаток дня прошел в полной тишине. Мы боялись смотреть друг другу в глаза. Не знаю почему. В пять пятнадцать старик не ушел домой. Это случилось впервые. Он сидел за столом и делал всегдашние выписки. Вскоре ушли Арсик с Шурочкой. Они покинули лабораторию, как палату тяжелобольного. Старик продолжал сидеть. Тогда я взял свой портфель, попрощался и тоже ушел.

Я вышел на улицу и пошел пешком по направлению к дому. Домой не тянуло. Я свернул в скверик и сел на скамейку. Захотелось курить. Я бросил курить несколько лет назад с намерением продлить себе жизнь. Я сделал это сознательно. Сейчас мне захотелось курить неосознанно. Борясь со стыдом, я попросил сигаретку у прохожего и закурил.

Что-то сломалось или начало ломаться в стройной системе вещей.

Докурив до конца сигарету, я почувствовал, что мне необходимо взглянуть в окуляры Арсиковой установки. «И правда, это похоже на наркоманию!» — с досадой подумал я, но пошел обратно в институт. Вахтерша удивленно посмотрела на меня, я пробормотал что-то насчет забытой статьи и поднялся в лабораторию.

Черные шторы, которыми мы пользуемся иногда при оптических опытах, были опущены. В лаборатории было темно. Только от установки Арсика исходило сияние. Светился толстый канат световодов, и сквозь фильтры пробивались разноцветные огни. Гамма цветов была от розоватого до багрового. В этом тревожном зареве я различил фигуру Игнатия Семеновича, прильнувшего к окулярам установки. Старик сидел не шевелясь.

Я сел рядом. Игнатий Семенович не заметил моего появления. Мне показалось, что его не отвлек бы даже пушечный выстрел. Я подождал десять минут, потом еще пятнадцать. Мне было никак не решиться оторвать старика от его занятия. Странное было что-то в моем молчаливом ожидании при свете багровых огней. Точно в фотолаборатории, когда ждешь проявления снимка, и вот он начинает проступать бледными серыми контурами на листке фотобумаги в ванночке.

— Нет, нет! — прошептал вдруг Игнатий Семенович и отдернул левую руку от установок.

Ленточка фольги, блеснув, слетела с его запястья. Старик откинулся на спинку стула, закрыв глаза и тяжело дыша.

— Игнатий Семенович... — осторожно позвал я.

Старик открыл глаза и повернул голову ко мне.

— А... Это вы... — проговорил он, а затем протянул руку к шнуру питания и выдернул его из розетки.

Мы остались в абсолютной темноте. Некоторое время мы сидели молча.

— Спасибо, что вы пришли... Очень тяжело, очень! — донесся из темноты глухой голос старика. — Проводите меня домой, Гена, милый... Сам я, боюсь, не дойду.

Мы поднялись со стульев и на ощупь нашли друг друга. Я взял старика под локоть. Рука послушно согнулась. Я чувствовал, что Игнатия Семеновича покачивает. Он был легкий и податливый, как бумажный человечек.

На улице был вечер. Мы пошли через парк пешком. От ходьбы Игнатий Семенович немного окреп, а потом и заговорил. Он стал рассказывать мне свою жизнь.

Когда-то в молодости он очень испугался жизни, спрятался в себя и замер. Тогда он и стал стариком. Он боялся рискнуть даже в мыслях, а потом это превратилось в привычку, и он решил, что так жить — правильно и единственно возможно. Он воевал и имел награды. Воевал он, как он выразился, «исправно», то есть делал то, что прикажут, и не делал того, чего нельзя.

— Вы знаете, Гена, в каком-то смысле мне было легко в армии, — сказал он. — Детерминированнее.

После войны он стал физиком. С ним вместе учились несколько нынешних академиков. Они его удивляли в студенческие годы — они многое делали непра-

вильно. Игнатий Семенович решил про себя, что таланта у него нет, а значит, нужно брать другим — неукоснительностью, прилежанием и терпением.

Так он выбрал жизненную стратегию.

— Я стал конструктивным,— сказал Игнатий Семенович.— Вы понимаете, что это такое? Сначала это было моей защитой, но после стало оружием. Я сегодня это понял... Но самое страшное не в этом. Я сегодня понял, что талант — это вера в себя, вера себе и сомнения относительно себя же. В равных долях! — воскликнул Игнатий Семенович.— Именно в равных долях! Вот в чем секрет... Я прошел мимо таланта.

У него было много сомнений и мало веры. Вера постепенно исчезла совсем. Но удивительно — вместе с нею исчезло и сомнение! Теперь уже Игнатий Семенович не верил и не сомневался. Он не сомневался в правильности своей жизненной стратегии.

Я вдруг вспомнил слова Арсика насчет бритвы, которую затачивают с двух сторон.

— Но много веры в себя и мало сомнений — тоже плохо,— сказал Игнатий Семенович, искоса взглянув на меня.

И я тоже посмотрел на себя со стороны и задумался. Что хотел сказать старик?

Может быть, талант — это совесть?

— Я увидел себя сейчас,— продолжал Игнатий Семенович.— Я давно не смотрел на себя, не разрешал себе этого. Так, окидывал поверхностным взглядом — вроде, все в порядке, застегнут... И вдруг заглянул вглубь. А там — ничего, Гена, понимаете?.. И не поправить.

Мы попрощались возле его дома. Старик неожиданно улыбнулся и сказал:

— И все-таки мне стало лучше. Арсик это хорошо придумал.

Я шел домой, размышляя. Одновременно я радовался, что завтра суббота, а послезавтра воскресенье. До понедельника можно войти в норму. «Норма, норма...» — повторял я про себя, пока это слово не превратилось в кличку собаки, потерявши свой смысл.

Что такое норма? Норма здесь, норма там, норма, норма... Тьфу ты, черт! Норма, агу!

Я заикнулся, как говорят программисты. С большим трудом перед сном я отодрал от себя это слово и снова погрузился в желто-зеленые поля с бабочками.

С крыльев слетала синяя пыльца. Она оседала на моем лице, кожа становилась бархатистой.

Я провел ладонью по лицу и проснулся. Жена готовила завтрак. Дочка уже тыкала пальчиками в клавиши пианино. Я вышел на кухню. Там за столом сидел Арсик и ел яичницу. Жена подкладывала ему ветчину.

— Я жавжакаю,— объявил Арсик, борясь с непрожеванной ветчиной.

— Молодец,— сказал я.— Даже дома не удастся от тебя отдохнуть.

— У Арсика важные вопросы,— сказала жена.— Он женится.

— На Шурочке? — спросил я.

— Угу,— кивнул Арсик.— Понимаешь, она меня очень любит,— жалобно сказал он.

— А ты?

— Геша, я сейчас люблю свою установку. Я только о ней и думаю.

— Женись,— сказала моя жена.— У тебя сразу появятся другие мысли.

— Я ее тоже, наверное, люблю,— задумчиво сказал Арсик.— Ну как старик? Я очень за него волнуюсь.

Я рассказал о нашем разговоре. Арсик внимательно слушал. Потом он спросил, на каком делении стоял указатель. Я сказал, что не заметил, но свет в установке был багровый.

— Это котенок,— сказал Арсик.— Зря старик смотрел котенка. Ему нужно смотреть солнышко.

— А что такое солнышко?

— Бело-голубые линии спектра. Радость,— сказал Арсик.

— А котенок — печаль?

— Кошки, которые скребут на сердце,— ответил Арсик.— Это не печаль. Это хуже.

Жена положила на стол что-то круглое, величиной с арбуз, с румяной кожурой.

— Смотри, что принес Арсик,— сказала она.— Это лук.

— Лук?! — только и смог я произнести.

Арсик смущенно потупился. Потом он объяснил, что вырастил эту головку дома, после того как я убрал его грядку из лаборатории. «Головку! — пробормотал я.— Это целая голова, а не головка». В головке было килограммов пять.

— Хорошо, что ты возился с луком, а не с капустой,— сказал я. — Кануста не пролезла бы в дверь.

— Ты, Генка, смеешься, а сам прекратил такой эксперимент! — сказала жена. — Да Арсику памятник поставит министерство сельского хозяйства!

Она отрезала от головки кусочек, и мы стали его есть. Мы ели и плакали. Лук был сочный, сладкий, чешуйки — толщиной с палец.

— Лук — это побочный эффект от той же идеи,— сказал Арсик.

— Ладно. Хватит морочить мне голову! — сказал я. — Объясни, как ты это делаешь? Что за идея? Может быть, я способен понять?

Арсик оценивающе посмотрел на меня. Вообще-то я пошутил, когда произнес последние слова. Но тут внезапно меня охватило сомнение. А вдруг я не способен? Уже не способен или еще не способен? Раньше я полагал, что способен понять все.

— Это началось с очень простых размышлений,— начал Арсик. — Я думал о живописи и музыке. Что, по-твоему, больше действует?

— Музыка,— не задумываясь, ответил я.

— А между тем слухом мы воспринимаем значительно меньшую часть информации о мире, чем зрением. Я подумал, что музыка света и красок, которую ищут художники, еще очень несовершенна. Вернее, мы не умеем воспринимать ее как обычную музыку... Ты заметил, что, слушая музыку, мы всегда подпеваем ей внутри, как бы помогаем. Мы сами в некотором смысле рождаем ее... Вот почему известные, много раз слышанные сочинения не перестают действовать. Даже сильнее действуют! С живописью не так. Мы не участвуем в процессе рождения красок и оттенков. Мы каждый раз наблюдаем результат... Я просто подумал, что эмоциональное воздействие света и цвета может быть гораздо сильнее, чем действие музыки. И я не ошибся,— грустно закончил Арсик.

— Дальше,— потребовал я. — Мне неясна цель.

— Во всем ты ищешь цели! — в сердцах сказал Арсик. — Цель науки и искусства одна — сделать человека счастливым.

— Но они делают это по-разному.

— И плохо, что по-разному. Плохо, что мы, физики, не мечтаем воздействовать на человека напрямую. Печемся только о материальном мире вокруг. Больше,

быстрее, громче, дальше, эффективнее, вкуснее, богаче, еще богаче, еще сытнее, чтобы всего было навалом! Вот, в сущности, чем мы занимаемся. А почему не добрее, честнее, душевнее, радостнее, совестливее?.. Объясни.

Я не смог сразу объяснить. Мне казалось, что это и так понятно. Арсику было непонятно. Этим он отличался. Я сказал, что прогресс науки и техники в конечном итоге делает человека счастливее и добрее. Арсик только рассмеялся.

— А вот и нет! — сказал он. — Мы сейчас ели счастливый лук. Он таким вырос не потому, что было больше света и тепла. Ему было свободнее и радостнее расти.

— Потому что было больше света, тепла и удобрений, — упрямо сказал я.

— Ничего ты не понял, — сказал Арсик. — Потому что он захотел таким вырасти и получал тот свет, который был ему нужен. И старик вчера получил тот свет, который был ему нужен. Для его души.

Затем Арсик вкратце объяснил техническую сторону дела. Было видно, что она его не очень интересует. Фильтры, световоды, обратная связь через биотоки и прочее. Он сам многого не понимал.

— Меня одно мучает, — сказал Арсик. — Свет способен пробуждать любовь, обнажать чувства, делать честнее, освобождать совесть. Но становлюсь ли я при этом счастливым? Я что-то не заметил. Зато жить гораздо труднее стало...

— А ты хотел быть всем довольным? — спросила жена. — Тогда не смотри на свои картинки, не слушай музыку, не люби, не думай. Ешь и спи.

— Да-да! — встрепенулся Арсик. — Нужно выяснить с определенностью: что же такое счастье?

— Долго действует твой свет? — спросил я.

— Когда как. Это зависит от человека... Но интересно, что хочется еще и еще. Заразная вещь! — сказал Арсик.

Вскоре он ушел. На столе лежала голова лука с отрезанным бочком. Я смотрел на нее и думал. Было трудно рассчитать все последствия эксперимента Арсика. А вдруг этот свет влияет не только на душу человека, но и на более материальные вещи? На физиологию, например? На рост организма?.. Я подумал об акселерации, о пятнадцатилетних школьниках, которые почти все, включая девочек, выше меня. Может

быть, причина акселерации в том, что они свободнее нас и честнее смотрят на мир?

И мне представилась наша Земля, населенная добрыми и умными великанами, которым будет не повернуться в наших маленьких домишках, в квартирах, в тесных автобусах. В каждом детском саду, в каждой школе будут стоять красивые приборы Арсика с окулярами. «А сейчас, дети, у нас будет урок совести...» И все смотрят в окуляры, цвета переливаются, разноцветные радуги выстраиваются в глазах...

А про нас будут говорить так: раньше на Земле жили маленькие люди, которые не умели быть счастливыми.

Я решил принять участие в эксперименте. В конце концов я руководитель лаборатории и должен отвечать за все. А Катя и Шурочка пусть пока отдохнут. Я хотел сам убедиться в свойствах Арсикового света.

В воскресенье я набросал план экспериментов: продолжительность сеансов, психологические тесты, контрольные опыты. Для начала я написал нечто, похожее на школьное сочинение. Я перечитал «Гамлета» и честно, с максимальной ответственностью, изложил на бумаге свои мысли по поводу прочитанного. Я дал оценки поступкам всех героев, выразил неудовлетворенность датским принцем — очень уж он непоследователен и полон рефлексии — и запечатал сочинение в конверт. На конверте я поставил свою фамилию и дату. Я решил еще раз написать обо всем этом после того, как приму несколько сеансов облучения. Насколько изменится моя оценка?

Таким образом под эксперименты Арсика была подведена научная база. Я вновь обрел уверенность. Стройность умозаключений еще никому не мешала. Даже при изучении таких тонких вопросов, как душа.

Следующую рабочую неделю я начал с того, что поговорил с Катей. Я объяснил ей, что она стала жертвой эксперимента, что происходящее с нею навязано извне и скоро пройдет. Я попросил ее взять себя в руки.

Я запретил ей также пользоваться установкой.

Катя выслушала меня молча, опустив голову. На лице у нее были красные пятна. Когда я кончил, она взглянула на меня убийственным взглядом и отчетливо прошептала:

— Ненавижу!

Слава богу, мы разговаривали наедине. Я почувствовал раздражение. Недомыслие доводит меня до бешенства. Эта девчонка могла бы положиться на мой опыт хотя бы. Я хочу ей только добра.

— Выкинь из головы эту ерунду! — крикнул я. — Мы с тобой не на танцульках. Я запрещаю тебе меня любить!

Конечно, этого говорить не следовало. Глаза Кати мгновенно наполнились слезами. Она боялась мигнуть, чтобы не испортить свои крашенные ресницы.

— Вас? Любить? — медленно сказала она. — Вы мне противны, я уйду из лаборатории, я...

— Пожалуйста, — сказал я. — Пишите заявление.

Через пять минут у меня на столе лежало два заявления об уходе. Катино и Шурочкино. Я этого никак не ожидал. Еще через десять минут Арсик, пошептавшись с Шурочкой, вызвал меня в коридор на переговоры.

— Геша, тебе будет стыдно, — сказал он.

— Я хочу работать спокойно, — сказал я и изложил ему планы эксперимента. Арсик слушал меня с усмешкой.

— Все? — спросил он. — Ты ничего не забыл?

— Сегодня вечером я проведу первый сеанс, — сказал я.

— Давай, давай... — сказал Арсик. — Только не первый, а второй.

— Тот не считается, — сказал я.

— Не подписывай пока заявления, — попросил он.

В течение дня несколько человек из других отделов побывали в нашей лаборатории. Они смотрели в окуляры. Арсик никому не отказывал, люди тихо сидели, а потом уходили, ничего не говоря. В основном это были женщины. Я сидел с Игнатием Семеновичем и проверял его расчет запоминающего элемента. Старик был тише воды и ниже травы. Расчет он выполнил аккуратно. В конце прилагалась схема с точными размерами. Я сказал, что нужно заказать зеркала в мастерской и изготовить опытный образец. Игнатий Семенович ушел в мастерскую.

Наконец рабочий день кончился. Я подождал, пока все уйдут. Арсика я попросил остаться. Он научил меня пользоваться установкой в разных режимах, пожелал ни пуха ни пера и тоже удалился. Я опустил шторы, как Игнатий Семенович, и сел за установку. Я волновался. Сердце билось учащенно. Стрелка

переключателя указывала на котенка, царапающего сердечко.

Я перевязал руку ленточкой и, вздохнув глубоко, стал смотреть в окуляры.

3

«...И вот ему впервые открылась подлость и низость человеческой души. Все мысли о духовном величии человека остались в нем, но рядом возникли эти, новые. Натяжение оказалось настолько сильным, что он звенит, как струна. Он колеблется. Он не знал раньше, что человек способен пасть так низко и что это непоправимо. Вот в чем трагедия, а вовсе не в том, что его дядюшка прикончил отца и женился на матери.

Будь он взрослее, опытнее, подлее — короче говоря, будь он сделан из того же теста, — он, в свою очередь, убил бы дядю и стал королем. Его совесть — та совесть, которая есть у каждого, и у дядюшки, конечно, — была бы спокойна. Он совершил правое дело. Но Гамлету уже мало той обыденной совести, его размышления принимают космический оттенок и не укладываются в схему «правый — виновный». Виновны все, никто не может быть правым до конца. Виновен и он сам, и прежде всего он сам, потому что не хочет принимать законы «виновных» и не находит в себе сил быть «правым». Он балансирует на канате, один конец которого держит вся эта шайка во главе с дядюшкой — и мамаша его, и Полоний, и Розенкранц с Гильденстерном, и даже друг его Горацио — да-да! — а с другой стороны Вечность в виде призрака его отца.

Невозможно быть живым и невиноватым!..»

Вот что я написал через месяц после того, как заглянул в окуляры и увидел красные и багровые полосы, зловещий закат, просвечивающий душу насквозь. Я сидел под этим сквозняком, набираясь духа и терпения. Временами это было невыносимо. Все мои представления о жизни не то чтобы рухнули, но сместились, обнаружив рядом со стройными сияющими вершинами глубокие черные пропасти.

Я вдруг с отчетливостью увидел, что все сделанное мною до сих пор не подкреплялось истинной любовью. Любовью к правде, любовью к отечеству, любовью к человеку. Оно подогревалось лишь неверным светом любви к себе. От этого мои работы, статьи, диссертации, дипломы и выступления не становились хуже.

Они просто теряли смысл. Маленькая долька, капелька любви не к себе сделали бы мою жизнь осмысленной по самому высокому счету. Сейчас же в ней имелся лишь видимый порядок.

Холодный блеск мысли, игра слов и понятий, расчетливое умение себялюбца.

Я ощутил вину перед собой и своим делом, в котором хотел достичь подлинного совершенства.

Совершенство в деле дается умелому и талантливому, но более — любящему. Пуговица, с любовью пришитая, дольше продержится, чем другая, прикрепленная по всем правилам швейного дела, но без души. Песенка, спетая без голоса, но от сердца, прозвучит ярче, чем она же, исполненная холодным умельцем. Статья влюбленного теоретика, посвященная фотон-фотонным взаимодействиям, будет ближе к истине, чем монография почетного члена Академии на ту же тему. Если, конечно, почетный член не влюблен в женщину или хотя бы в природу.

Все это я узнал во время сеансов и стал грустен.

В перерывах я узнавал некоторые другие факты, которые, на первый взгляд, не имели отношения к эксперименту. Я узнал, что Игнатий Семенович в свободное от работы время дежурит на Кировском проспекте в качестве дружинника ГАИ. У него никогда не было машины и даже мотоцикла, он и не мечтал о них. Не мечтал ли?.. Он стоит на тротуаре в красной повязке с полосатым жезлом в руке и провожает машины долгим старательным взглядом.

Я узнал, что Арсик живет в коммунальной квартире, в одной комнате со старой матерью. У них есть попугай в клетке. Он умеет говорить слова «когерентный» и «синхрофазотрон». Арсик в свое время не женился из-за того, что любимая девушка неосторожно назвала его маму «дрессировщицей». Это мне рассказала Шуручка.

Я узнал, что у Кати есть швейная машинка и Катя шьет красивые наряды себе и подругам. Денег она за это не берет, ей нравится шить красивые вещи.

У Кати был мальчик Андрей. Они вместе учились в школе. Он ее любит. Когда случилась вся эта история, Андрей стал звонить каждый день утром и вечером. Катя разговаривала с ним холодно. Собственно, она и не разговаривала, а только слушала его и произносила «нет». Потом она перестала подходить к телефону.

Я раньше полагал, что чувство долга и ответственности перед другим человеком испытываешь в том случае, если сам принял их на себя. Оказалось, что это не так. Я вспомнил фразу Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за всех, кого приручили». Как выяснилось, мы в ответе даже за тех, кого приручили нечаянно. Я не мог не думать о Кате, мне хотелось знать о ней больше, хотелось ее понять. Я оказался втянутым в ее жизнь и участвовал в ней помимо воли, но с чувством странного, неосознанного долга. Ей не нужен был мой долг, он обижал ее, а ответить любовью я не мог. Моя любовь мне не принадлежала.

Прошел месяц с того дня, как я начал принимать сеансы. Это был трудный месяц. Мы часто оставались всей лабораторией после работы, пили чай и разговаривали. Две молодые девушки, по существу, девочки, двое мужчин в расцвете лет и старик, у которого была пятилетняя внучка. Мы разговаривали о жизни и о пустяках, вместе выбирали подарок внучке Игнатия Семеновича, Арсик разворачивал перед нами гигантские картины будущего — они были то ужасны, то ослепительны, говорили о странностях любви, и нам было просто и хорошо друг с другом. Каждый из нас уже выбрал свои цвета и углублял чувства общением.

Интересно, что прибор Арсика действовал на нас совершенно различно. Девушки просматривали подряд все диапазоны спектра, останавливаясь дольше всего на сердечке, пронзенном стрелой. Но если сначала желто-зеленые линии любви действовали на них болезненно и угнетающе, то постепенно они научились извлекать из них радость. Они стали очень хороши и приветливы. Иногда мы вчетвером ходили в кино или в кафе-мороженое, а потом провожали Катю и Шурочку в разные концы города.

Я совсем не смотрел желто-зеленую часть спектра. Я знал, что, кроме забытой мною любви, я ничего не увижу. Мы с Арсиком специализировались на «котенке». У меня багровые тона вызывали стремление к самопознанию и совершенствованию души. Арсика бросало к социальным явлениям. Он читал газеты и плакал. Он так остро реагировал на сообщение о каком-нибудь землетрясении, на фельетон или коммюнике, что иногда его приходилось сдерживать, чтобы он не натворил глупостей.

Старик наш рассматривал в основном «солнышко» и «скрипичный ключ». Он стал мягок, добродушно

смотрел на наши увлечения, но допускал иногда странные высказывания о том или ином историческом периоде или деятеле, об Иване Грозном например, чем совершенно разрушил наши представления о собственной ортодоксальности.

В институте между тем творилось что-то непонятное.

Мы за нашими невинными забавами как-то упустили из виду, что живем в большом коллективе и не можем не зависеть от него. И вот организм, именуемый Институтом физико-технических исследований, а сокращенно ИФТИ, словно прислушиваясь к маленьким странностям внутри себя, забеспокоился — а не болен ли он?

Инфекция распространялась незаметно. Сначала, как я уже говорил, к нам в лабораторию стали приходить сотрудники других отделов, чтобы взглянуть на установку Арсика и удостовериться, что с ее помощью можно наблюдать красивые картинки. Вскоре я был вынужден ограничить поток желающих. Мы установили для них специальные часы, вывешивали график, а потом стали выделять под просмотр выходные дни. Я написал докладную директору. В ней я просил разрешения на проведение экспериментов в субботу и воскресенье ввиду важности и срочности темы. Директор разрешил, но помощник директора по кадрам Дерягин вызвал меня, чтобы выяснить некоторые детали.

— Учтите, что мы не можем оплачивать сверхурочные, — сказал он.

— Я знаю, — ответил я. — Мы и не просим.

— Трудовой энтузиазм? — спросил он, хитро взглянув на меня.

— Интересно, — пожал плечами я.

— И отгулов не даем, — сказал он.

— Хорошо.

Видимо, это показалось ему совсем уж подозрительным. Он вместе со мной пришел в лабораторию и повертелся вокруг Арсиковой установки. Потом взглянул в окуляры. Указатель в это время был установлен в положении «капелька». В этом диапазоне преобладают синие тона, они вызывают глубокую печаль, часто слезы. Помощник директора, понаблюдав секунды две, отпрыгнул от окуляров, удивленно взглянул на меня и ушел, ни словом не высказав своего впечатления.

Говорили, что в тот день он подписал несколько заявлений, которые в другие дни не подписал бы ни за что.

Так или иначе, в нашу лабораторию зачастили люди. От них мы узнавали, что в других отделах живо обсуждается открытие Арсика, которое находит и сторонников, и ярых противников.

Вскоре к нам зашел профессор Галилеев. Я уверен, что он зашел не по своей инициативе. С тех пор как мы от него отпочковались, я с ним встречался только в кафе во время обеда и на разных заседаниях. Внешне мы сохранили отношения ученика и учителя, но я ощущал трещинку, которая возникла, когда я защитил диссертацию. Профессор несколько ревниво отнесся к моему желанию работать самостоятельно. Обычно он держал учеников под крылом, пока они не защищали докторскую. Может быть, я был не прав, когда отделился, не зная. Но внешне, повторяю, все осталось по-прежнему.

— Читал отчет Арсика и Игнатия Семеновича об элементе, — сказал он. — Остроумно. Надо патентовать... А как твои дела?

— Пока не густо, — сказал я. — Сделал два счетчика. Бьюсь над устройством ввода, оно съедает все быстродействие...

— Ну-ну... — сказал профессор, скользнув взглядом по установкам. — Кстати, мне рассказывали о приборе Томашевича. Где он?

Я кивнул на установку. За нею как раз сидела Татьяна Павловна Сизова, ученый секретарь. Арсик помогал ей настраиваться на «сердечко, пронзенное стрелой». Профессор подошел к ним и, склонив голову набок, принялся рассматривать детали установки.

Татьяна Павловна оторвалась от окуляров и покраснела.

— Я вас, Татьяна Павловна, и не узнал, — сказал Галилеев. — Вы в последнее время помолодели.

— Что вы, Константин Юрьевич! — смутилась она.

— Можно взглянуть? — спросил профессор.

Татьяна Павловна встала и уступила ему место за окулярами. Профессор дал Арсику обмотать свою руку ленточкой, добродушно шутя по этому поводу. Он говорил что-то про кабинет физиотерапии. Потом он приник к окулярам и обозрел все диапазоны. Смотрел

он около получаса. Это была очень сильная доза, по моим понятиям.

— Так... Занятно,—сказал он и встал. Лицо его было непроницаемо.— Между прочим, если смотреть будете вы, а управлять спектрами буду я, эффект может быть другим. Вы об этом подумали? — обратился он к Арсику.

— Нет...— сказал Арсик после паузы.

— То-то,— спокойно произнес профессор и ушел из лаборатории.

Арсик тут же тактично выпроводил Татьяну Павловну и принялся возбужденно бегать от стола к столу.

— Каков старик! — восклицал он.— Как же мы это упустили?

— Не может быть ничего страшного...—сказал я неуверенно.

— А вдруг?.. Мы с тобой думаем, что у каждого есть благородные чувства. Есть душа, есть потребность любить... А если это не так? Представь себе, что я обмотаю этой ленточкой руку законченного негодяя, а смотреть картинки будут Катя с Шурочкой... Кто сказал, что полосы спектра пробуждают только добрые чувства? Ненависть, зависть, злоба тоже чрезвычайно эмоциональны...

— Надо проверить,— сказал я.

Арсик остолбенел. Он уставился на меня с ужасом.

— Как?! — вскричал он.— Ты понимаешь, что говоришь? Кого ты возьмешь в испытуемые?

— Любого из нас,— спокойно сказал я.— Или ты полагаешь, что мы все ангелы? Что в каждом из нас недостаточно зла и подлости?

— Я могу знать это только о себе. Мне было бы больно, если бы ты...— сказал Арсик, закрыл лицо ладонями и вышел из комнаты.

Больше мы этой теме не касались. Но Арсик стал еще более задумчив и нервен. Я понимал, что его мучает. Как всегда бывает в науке, его открытие могло помочь людям, но могло и навредить. Все дело в том, кто им пользуется. Арсик, вероятно, непрерывно думал об этом да еще подстегивал размышления своими же спектрами.

У него ввалились и покраснели глаза от долгих наблюдений.

Вокруг нашей лаборатории складывалась напряженная обстановка. Ходили разные слухи. Где-то в

других лабораториях, на других этажах института происходили странные события, и их неизменно связывали с установкой Арсика, потому что почти везде были люди, которые ею пользовались.

В лаборатории рентгеноסקопии украли сумочку. Одна из сотрудниц немедленно уволилась, потому что не могла больше там работать. Ей не давала покоя мысль, что все подозревают друг друга. Тихо негласно, но подозревают. И это так и было. Ничего в этом не было особенного. Но она уволилась; потому что смотрела в окуляры прибора Арсика.

Самое грустное, что на нее и подумали, когда она уволилась.

Ну не станешь же каждому тыкать в глаза окуляры, приматывать их за запястье к установке и твердить: смотрите! Смотрите, вы станете другими людьми! Потрудитесь немного душою, что вам стоит?

Интересно, что ходили к нам в лабораторию на сеансы в основном одни и те же люди, про которых и так было известно, что совесть у них есть. Многие не ходили из-за лени, а мерзавцев к установке Арсика было просто не подтащить. Они прослышали о чудесных свойствах света и повели войну. Институт раскололся на два лагеря.

Я вынужден был писать объяснительные записки. В них я объяснял, почему разрешил эксперименты, какую цель они преследуют, зачем допустил к ним посторонних.

Разве я мог написать: «Эксперименты преследуют цель сделать всех честными людьми»?

В институте улучшилась трудовая дисциплина. Меньше стали курить в коридорах. Равнодушным стало не все равно. Мы с Арсиком замечали, что стало так, и радовались про себя. Разные проходимцы, которые раньше чувствовали себя в безопасности, взволновались. Они строчили докладные и даже анонимки. Нам припомнили моральный облик, трудовую дисциплину, несдачу норм ГТО. Атмосфера в институте становилась все напряженнее. Примерно, как у нас в лаборатории, когда мы только начинали.

Но у нас в лаборатории пять человек, и все воспитывались светом. В институте же было больше тысячи. Поэтому масштабы явления были совсем другие.

Однажды утром мы нашли Арсикову установку разбитой. Кто-то ударил по окулярам кувалдой, раз-

бил коммутационный блок, а доску с датчиками попросту украл.

Арсик со слезами на глазах стоял над изуродованной установкой, над могилой спектров радости и совести, и растерянно говорил:

— Как это можно, Геша?.. Я же хотел, чтобы лучше, чтобы добрее...

Катя и Шурочка плакали. Игнатий Семенович обреченно вздыхал.

— Я предполагал, я чувствовал...— бормотал он.

Я пошел к директору. Директор выслушал меня и назначил комиссию. Это все-таки выход — назначить комиссию. В комиссию вошли помощник директора по кадрам Дерягин, профессор Галилеев, Татьяна Павловна Сизова и я. Своим чередом шло следствие через милицию. К нам приехали сотрудники в штатском, осмотрели разбитую установку, завернули в тряпочку кувалду и увезли.

Через несколько дней наша комиссия стала заседать. Решили опросить сотрудников моей лаборатории. Я как лицо заинтересованное вопросов не задавал и сидел молча. Первой вызвали Катю.

Она вошла в кабинет Дерягина, где мы заседали, и опустилась на стул. Несколько секунд длилась пауза, никто не решался первым начать расспросы. Затем Татьяна Павловна, кашлянув, обратилась к Кате. С такими интонациями обращаются к трехлетним детям.

— Катюша, расскажите нам о... Что вы видели в установке Арсения Николаевича?

— Вы же сами смотрели, Татьяна Павловна,— сказала Катя.— Вы же знаете.

Татьяна Павловна поджала губы.

— Я в научных целях...— сказала она.

— Вас кто-нибудь принуждал к участию в опытах? — спросил Дерягин.

— Нет,— коротко ответила Катя.

— А скажите...— начал профессор Галилеев.— Как вы лично оцениваете воздействие опытов на вас? Что вы чувствуете?

Катя потушилась. Я знал, что сказать неправду она не сможет — слишком долго она смотрела картинки Арсика. Потом Катя резко подняла голову и улыбнулась. Улыбка была бесстрашной, открытой, такой, что помощник директора бросил испуганный взгляд на профессора.

— Мне хорошо,— сказала Катя.— Я люблю. Я счастлива. Вы даже не можете понять, как я счастлива.

Дерягин изучающе посмотрел на меня. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Татьяна Павловна быстро проговорила:

— Вот и замечательно! Вот и прекрасно!.. Товарищи, я думаю, вопросов больше нет?

Галилеев развел руками. Катю отпустили. На ее месте возникла Шурочка. Она была возбуждена и металась в комиссию огненные взгляды. Галилеев спросил ее, что говорил ей Арсик, перед тем как начать опыты. Как товарищ Томашевич объяснил необходимость ее участия? Шурочка вскочила со стула и грозно произнесла:

— Вы Арсика не трогайте! Он здесь ни при чем. Он гений... Вы понимаете? Да вы на судьбу должны молиться, что рядом с ним работаете!

— Прекратите!— прикрикнул на Шурочку помощник директора.

— А я вас не боюсь, не орите на меня,— сказала Шурочка.

Дерягин побагровел. Он покрутил головой и пробормстал:

— Распустились!

— Возможно, я должен молиться на судьбу,— мягко начал профессор.— Я этого не знал. Объясните, почему вы считаете Томашевича гением? Что он сделал такого гениального?

Шурочка махнула рукой и села. Она смотрела на меня с сожалением, потом вздохнула и сказала:

— Вы лучше меня должны понимать. Вы же ученые... Я просто смотрела, я ничего не понимаю, это надо чувствовать. Почему Пушкин гений? — усмехнулась она.

— Вы на Пушкина не ссылайтесь,— сказал Дерягин.

— Если бы эти сволочи не разбили установку, вы бы все поняли. Посмотрели бы только...— сказала Шурочка.— Геннадий Васильевич, почему вы молчите? Вы же все понимаете! — обратилась ко мне Шурочка.

— Успокойся и позови Игнатия Семеновича,— сказал я.

Комиссия проглотила мое распоряжение. Шурочка ушла, в кабинете стало тихо. Тучи сгустились над столом помощника директора по кадрам. Уже слышались

отдаленные раскаты грома. Атмосферное электричество щелкало неожиданными искрами в обивке дивана и чернильном приборе с бронзовым медведем, стоявшим на столе.

Вошел Игнатий Семенович и с ходу сделал заявление. Он сказал, что не понимал сути опытов Арсения Николаевича, они даже казались ему вредными, но потом он пересмотрел свою позицию и понял, что открытие Томашевича сулит человечеству огромные блага морального порядка. Благодаря ему, сказал Игнатий Семенович, произойдет всеобщее повышение сознательности на базе роста личной совести.

— Выражайтесь яснее,— сказал Дерягин.

Видимо, старик хорошо продумал свою речь. Он выдвинул на первый план моральный кодекс, и получилось, что каждый диапазон Арсиковой установки соответствует тому или иному пункту. Между прочим, так оно и было на самом деле, просто с этой точки зрения никто пока установку не рассматривал.

— Значит, все станут дисциплинированнее? — спросил Дерягин.

— Да,— твердо ответил Игнатий Семенович.— Не будут опаздывать на работу, совесть им этого не позволит.

— Совесть? — настороженно переспросил Дерягин.

— Не в совести дело, а в общественном транспорте! — воскликнул профессор Галилеев.— Извините, Игнатий Семенович, но это все чепуха! Идеализм чистой воды.

— Идеализм? — опять переспросил помощник директора и задумался.

— Да, идеализм и прекрасодушие,— продолжал профессор.— Вы поймите, товарищи, что прибор Томашевича обладает только одним качеством. Он воздействует на человеческие эмоции. Но давайте оставаться реалистами. Когда дело касается социального поведения, нужно помнить, что им управляют социальные факторы. Бытие, как говорил Маркс, определяет сознание, и чтобы изменить сознание, надо воздействовать на бытие в первую очередь, а не только на психику. Это прекрасно, что Арсений Николаевич взялся за такую проблему, как повышение сознания членов общества. Но прибор его — не панацея, а лишь одно из средств, и не самое важное. Абсолютизировать его просто вредно, ибо мы забываем тогда и о роли коллектива, и о многих других вещах. Поймите вы это!

Да, в логике и умении материалистически решать вопросы профессору Галилееву отказать было нельзя.

Я почувствовал, что крен нашего корабля, возникший после выступления лаборанток, несколько выровнялся. Но впереди еще был Арсик, как всегда непредсказуемый.

Он вошел в кабинет спокойно, вежливо поздоровался и сел не на стул, а на диван рядом со мною. Мы с ним сидели на диване, в кресле напротив сидела Татьяна Павловна, а за столом помощник директора и профессор.

— Только не лезь в бутылку,— успел шепнуть я Арсику.

Он чуть заметно пожал плечами. Профессор снова начал говорить. Он обрисовал положение дел и сказал, что комиссия призвана решить, нужно ли продолжать работу по данной теме, то есть создавать новую установку взамен разбитой и проводить дальнейшие эксперименты. Для меня это было новостью. Я полагал, что наша задача состоит в том, чтобы обратить идею Арсика на службу обществу.

— Какую цель вы преследовали, когда начинали работу? — спросил профессор.

— Понимаете,— сказал Арсик,— некоторые не знают, как заполнить жизнь. Начинают пить, например. Им делается веселее. Я заметил по себе, что стал менее радостным. Мне это не понравилось. В детстве было лучше. Мне захотелось вернуть себе яркость жизни, чтобы все звенело, понимаете?..

Профессор осторожно кивнул. Дерягин что-то записывал в блокнот.

— Я заметил, что стал хуже относиться к людям, не верить им. Это мне тоже не понравилось. Даже работа не помогала, я стал испытывать тоску... Пить мне не хотелось, это не выход. Я почувствовал отравление жизнью и решил вылечиться. Важно было вернуть себе оптимистический взгляд, но как?.. Я стал думать. Ум с годами развивается, становится более гибким и сложным. А чувства ослабевают. Я стал искать способ достижения эйфории...

— Чего? — спросил Дерягин, отрываясь от блокнота.

— Надежный и безопасный для здоровья способ достижения эйфории, радости. С этого я начал. Если бы я не полез в другие части спектра, все было бы хорошо. Можно было бы уже наладить производство

портативных эйфороскопов. Бело-голубые тона, красота чистая!

— Ну? — спросил помощник директора, пытаюсь ухватиться за логическую нить.

— Вот вам и ну! — неожиданно и со злостью воскликнул Арсик. — Нет чистой радости. Там рядом оказалось столько всего! И печаль, и любовь, и вина, как в жизни. Чего там только не оказалось! Полный комплект... В общем, я своего добился — жизнь стала острее, все на полную катушку. Уж если тоска, так тоска! Такая, что волком воешь. А радость... — Арсик развел руками.

— Вот и смотрел бы только свою радость, Арсик. Разве не так? — участливо обратилась к нему Татьяна Павловна.

— Да-да... — вздохнул Арсик. — Но нельзя.

— Чем вы объясните возникновение конфликтов в коллективе института? — спросил Дерягин.

— Не с того конца начали, — сказал Арсик. Он повернулся ко мне и продолжал: — Знаешь, Геша, я понял, что нужно не так. Я уйду из лаборатории.

— Почему? — спросил я.

— Так будет лучше.

— Вы твердо решили? — спросил профессор.

Арсик кивнул.

— Я думаю, администрация возражать не будет, — сказал Дерягин.

— Ах как жалко! — вырвалось у Татьяны Павловны.

А Арсик уже достал из кармана заявление и протянул мне. Я взял листок и недоуменно повертел его в руках.

— Что же вы? Подписывайте! — сказал Дерягин.

Я написал на листке: «Не возражаю». Я даже не успел сообразить толком, что к чему, а заявление уже было подписано помощником директора.

— Вот и все, — облегченно сказал он. — Мы вас к этому не принуждали.

— Чистая правда, — сказал Арсик и вышел из кабинета.

— Все к лучшему, уважаемая Татьяна Павловна, — сказал Галилеев. — Давайте посмотрим на дело практически. Идея требует всесторонней проверки. Мы не можем проводить сеансы облучения со всеми сотрудниками. К сожалению, мы не сможем добиться такого положения, чтобы все без исключения стали

ангелами с помощью установки Томашевича. А единичные ангелы нам не нужны.

— Это верно! — рассмеялся Дерягин.

Татьяна Павловна заволновалась, стала предлагать компромиссные решения. Например, создать установку пониженной мощности для приятного времяпрепровождения. Нечто вроде телевизора. Она сказала, что можно заинтересовать министерство легкой промышленности.

— Да, такой удобный приборчик для пенсионеров. Успокаивающий нервы, — сказал я.

— А почему бы и нет? — сказала Татьяна Павловна.

— Ну его к богу! — сказал Дерягин.

— Чего по-настоящему жаль, так это запоминающего элемента Томашевича, — сказал профессор. — Вот здесь мы бы имели реальный выход.

И тут только я понял, что все свершилось, что поезд уже ушел, а я по собственной воле расстался с Арсиком. Как же это получилось? Почему я не защищал вместе с ним наш свет и нашу музыку? Зачем я выбрал позицию нейтрального наблюдателя?

Я полагал, что объективность важнее всего. И только теперь догадался, что никакой объективности нет, не может быть объективности, если одни люди слепые, а другие зрячие. Если ты стал зрячим, то изволь верить в то, что увидел. Изволь отстаивать свой свет, потому что иначе тьма поглотит его. Право быть зрячим нужно подтверждать все время. Каждый день, каждую минуту. В противном случае ты снова ослепнешь.

Я пришел в лабораторию в скверном расположении духа. Мне было стыдно взглянуть на наших.

Они пили чай. Дымился наш электрический самовар. Мой стакан был полон. Все сидели молча, задумчиво, но обреченности я не заметил.

— Геша, попей чайку, — сказал Арсик. — И не расстраивайся... Прости, что я тебя заранее не предупредил.

— Что ты собираешься делать? — спросил я.

— Уеду, — сказал Арсик. — Неужели ты думаешь, что я потерял интерес? Начну по новой.

— И опять будет то же самое...

— Нет, Геша! — хитро сказал Арсик и подмигнул мне. — Теперь я умнее. Теперь я знаю, что не у всех есть душа, а значит, придется воевать.

— Геннадий Васильевич, мы тоже с Арсиком уходим, — сказала Шурочка. — Не обижайтесь.

— Кто — мы?

— Я еще, — сказала Катя. — Мы поедem на Север.

Я ничего не сказал. Крепкий горячий чай обжигал губы. Я дул на него — в стакане бежали маленькие волны, поверхность чая рябила, с нее срывался прозрачный пар. Пришла печаль и унесла меня далеко из нашей комнаты — в тихую страну, где переливался красками небосвод, изображая полярное сияние. Так вдруг захотелось посмотреть в окуляры установки, сил нет! Но она была темна, осколки линз еще валялись на верхней панели, рядом грустно и добросовестно вздыхал Игнатий Семенович.

Потом они ушли втроем, уже отъединенные от нас общим делом. Через несколько дней мы с Игнатием Семеновичем их провожали. Девушки были настроены решительно, они повзрослели за эти дни. Ехали они в полную неизвестность, за Полярный круг, в небольшой городок, где Арсику предложили работу в институте геофизики. Шурочке и Кате ничего не предлагали, они ехали наудачу.

— Геша, добей запоминающее устройство, — сказал Арсик. — А если... — Арсик замялся. — Если что, то все схемы установки в моем письменном столе. Я взял копии.

— Понял, — сказал я.

Мы расцеловались у вагона. Девушки всплакнули. Игнатий Семенович шумно сморкался в огромный носовой платок. Шел дождь, лица у всех были мокрыми. Поезд тронулся, девушки и Арсик впрыгнули в тамбур и долго махали нам руками. Потом мы с Игнатием Семеновичем шли по длинному, бесконечному перрону.

Уход трех сотрудников из лаборатории расценили как провал моей деятельности начальника. Мы с Игнатием Семеновичем снова влились в лабораторию профессора Галилеева. Территориально изменения нас не затронули, мы остались в той же комнате, рядом с разрушенной установкой.

К нам часто приходили те, кто пользовался светом Арсика. Я не предполагал, что мы успели создать себе столько союзников. Установка была разбита, но теперь она будто излучала невидимый свет. Мне всегда казалось, что хороших людей больше, чем плохих. Теперь я в этом убедился. Люди стали мягче и душевнее

относиться друг к другу, а те, кто вел с нами войну — бездельники, карьеристы, — потихоньку стали уходить из института. Арсик зря поторопился с отъездом.

Даже профессор Галилеев на одном из заседаний отметил, что «последствия экспериментов Томашевича оказались неожиданно благоприятными и заслуживающими серьезного анализа». Но продолжать дело на том же уровне было некому. Это только так говорится, что незаменимых людей нет. На самом деле Арсик был незаменим со своей головой и, главное, со своим нравственным подходом к делу.

Прошло какое-то время, и мы со стариком, наряду с работой над цифровыми оптическими устройствами, стали восстанавливать установку Арсика. Его записи, найденные в столе, представляли собой удивительное сочетание точных математических расчетов с философскими заметками и психологическими наблюдениями. «Чувство долга перед обществом позволяет пренебречь первым членом уравнения в сравнении с остальными» — так писал, например, Арсик, обосновывая свои расчеты. Это был странный математический аппарат. Арсик действительно был физиком от поэзии.

Я получил три письма от Кати. В них она рассказывала, как они устроились, описывала городок и новых знакомых. О работе Арсика она не писала. В ответных письмах я рассказывал о нашей работе и с грустью вспоминал время, когда мы все вместе смотрели чудесные спектры.

Прошла зима. Мы сдали опытный образец запоминающего элемента и несколько типов счетчиков и устройств связи. По существу, у нас имелось теперь все, чтобы создать принципиально новую вычислительную машину с великолепным быстродействием. Только это почему-то было уже неинтересно.

Параллельно с элементами мы восстановили установку Арсика. Правда, нам не удалось достичь прежних параметров, но экспертизу душевных состояний и поступков окружающих мы производим вполне прилично. Мы умеем различать истинные мотивы, видеть в зародыше своекорыстие, подлость, тщеславие, страх. В первую очередь, естественно, в себе.

Одновременно мы испытываем эйфорию.

Как-то весной я наткнулся на статью в молодежной газете. Статья была об институте, в котором работает Арсик. Рядом была фотография. На ней я узнал

Шурочку и Катю. Они были в белых халатах, вокруг них сидели дети дошкольного возраста. У всех детей в руках были коробочки с окулярами, вроде стереоскопов, в которые они смотрели. Подпись под фотографией гласила: «Воспитатели детского сада № 3 Катя Беляева и Шура Томашевич проводят занятия по эстетическому воспитанию с прибором А. Н. Томашевича».

Обе мои бывшие лаборантки изменили фамилии.

В статье рассказывалось о приборах Арсика, которые стали применяться в детских садах и школах. Говорилось об эстетическом воздействии света, об этике не было пока ни слова.

Я наконец понял, с какого конца решил начать Арсик.

За это время я много думал об Арсике и его приборе. Конечно, не все так просто, как казалось нам вначале. Профессор Галилеев был прав. Прибор Арсика не являлся панацеей. Мы могли лишь помочь людям выявить в себе хорошее, но только в том случае, если оно было. Привить положительные качества мы не могли. Поэтому Арсик начал работать с дошкольниками. Он мог участвовать в самом начальном периоде воспитания. Своим прибором он подготавливал их к восприятию добра.

Конечно, его идея воспитать людей с помощью физического прибора — всего-навсего физического прибора! — наивна и романтична. Но само его стремление к этому, разве не заслуживает оно уважения? Тот огонек добра, который стремился зажечь в людях Арсик, будет светить теперь детям где-то на Крайнем Севере, и не только потому, что дети станут смотреть в окуляры. Просто рядом с ними будут Арсик, Катя и Шурочка.

Пускай они смотрят. Пускай их будет больше. Пускай их станет много — умных, добрых и честных людей, тогда они смогут что-нибудь сделать.

Возможно, уже без Арсика.

Между прочим, совсем недавно я неожиданно его увидел. То есть не самого Арсика, а его портрет. Это произошло в том парке, где есть загородка с кривыми зеркалами. Однажды, проходя мимо нее, я вспомнил, как увидел там Арсика. Я заплатил пять копеек и вошел в павильон. Все зеркала висели на своих местах. Я медленно бродил между ними, обозревая свои искаженные изображения.

Какой я на самом деле?.. Вот узенький, вот широкий, с короткими ножками, вот у меня огромное лицо, а вот маленькое. Здесь я извиваюсь, как змея, а там переворачиваюсь вверх ногами. Моя форма непрерывно меняется, и все же что-то остается такое, позволяющее узнавать меня в самых невероятных метаморфозах.

В загородке никого больше не было. Женщина-контролер дремала на стуле у входа. Ее не удивляло, что взрослый человек ходит без улыбки от зеркала к зеркалу и рассматривает себя.

И вдруг я увидел в одном из зеркал Арсика. Он стоял во весь рост и улыбался, глядя на меня. В глазах его было сияние. В одно мгновение почему-то мне вспомнилась та картинка поразительной ясности — летающий над зеленой лужайкой мальчик, — которую впервые показал мне Арсик. От неожиданности я отступил на шаг, и Арсик исчез из зеркала. Тогда я осторожно нашел точку, из которой он был виден, и принялся его разглядывать. Арсик был неподвижен — моментальный кадр, оставшийся в зеркале.

Я зажмурил глаза, потом открыл их — Арсик продолжал улыбаться. Тогда я внимательно осмотрел соседние зеркала. И тут до меня дошло, что я стою в особой точке огромного запоминающего элемента Арсика — в точке вывода изображения. Три кривых зеркала были расположены так, что составляли вместе этот запоминающий элемент.

— Простите, — обратился я к женщине у входа. — Вы не знаете этого молодого человека?

— Которого? — встрепелась она.

— Вот здесь, в зеркале, — сказал я, указывая пальцем на Арсика.

— А-а! — протянула она, зевая. — Это Арсик. Арсик его зовут. Он в цирке работает.

— В цирке? — удивился я.

— Ну да... Прошлый год часто к нам приходил, нынче что-то не видать. Он ребятишек собирал и фокусы показывал. Один раз перевесил зеркала, девушка ему помогала, встал во-он туда, видите? За ограду... Ее после установили, он велел, чтобы ничего не нарушить... А потом ребятишек ставил на ваше место и себя показывал. А после ушел, как ограду поставил, и с той поры все время здесь. Кто знает, приходят, смотрят на него...

Она приняла Арсика за фокусника. Что же, не мудрено...

Крашенная ограда закрывала один угол павильона. Там находилась точка ввода оригинала. Арсик закрыл ее, чтобы сохранить свое изображение от помех.

В павильон вбежал мальчик лет десяти, купил билет и направился ко мне. Он несколько раз нетерпеливо обошел меня, а потом не выдержал:

— Дядя, подвиньтесь!

Я подвинулся. Мальчик встал на мое место и посмотрел в зеркало. Я уже не видел Арсика, а смотрел на мальчишку. Он замер, лицо у него было внимательным и восторженным, и он, не отрываясь, смотрел в одну точку. Что он думал, молча разговаривая с Арсиком? Куда устремлялась его душа?

«Он оставил себя здесь, чтобы не погас огонек,— подумал я.— Пускай они смотрят. Пускай их будет больше. Пускай их станет много...»



1. БЕССЛОВЕСНАЯ ТВАРЬ

В детстве я мечтал стать ветеринарным врачом. Желание, прямо скажем, необычное для мальчика. Да и для девочки тоже. Как правило, в нежном возрасте влечет к подвигам. Хочется что-нибудь покорить, куда-нибудь взобраться и долго не слезать оттуда или же выслеживать закоренелых преступников.

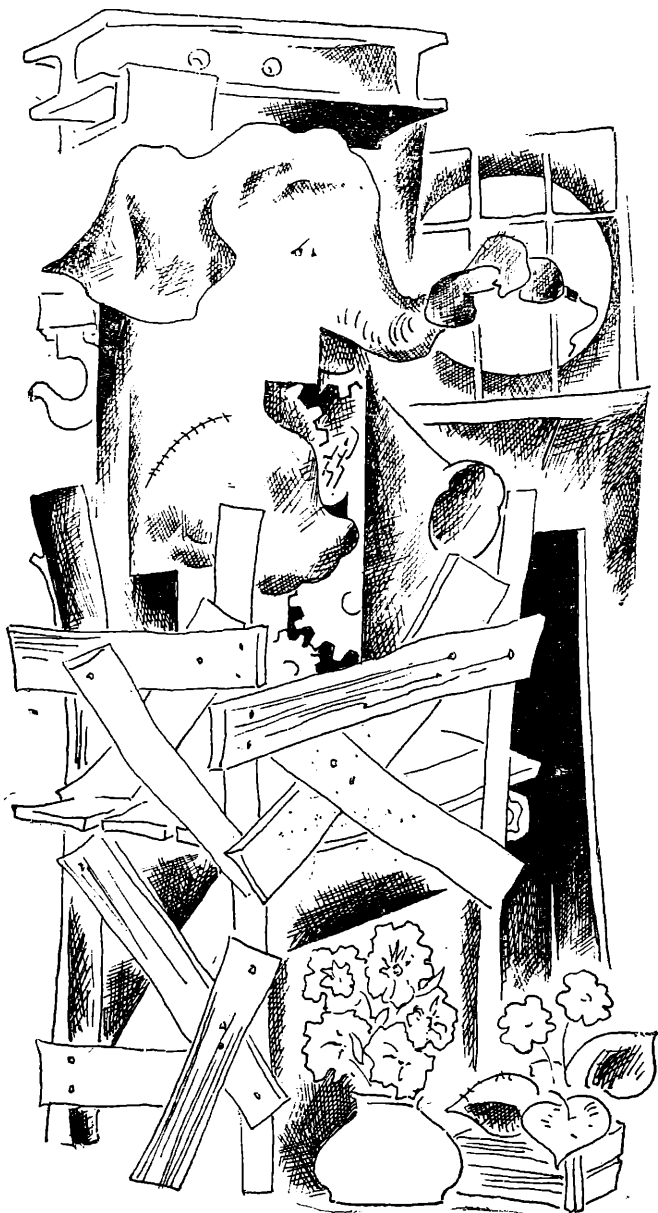
Я любил животных, в особенности зверей, и имел несамостоятельный характер. Сейчас я объясню, как связаны между собою эти качества.

Начнем с несамостоятельности.

Когда мне говорят «иди» — я иду. «Стой» — и я стою. Я стараюсь идти в ногу и стоять в строю не шелохнувшись. Это совсем не означает, что мне так хочется. Но выделяться я не могу. Мне кажется это постыдным. Когда кто-нибудь поблизости выделяется, я завидую ему, но мне за него неудобно. Например, петь в одиночку перед людьми, считая, что у тебя красивый голос, — это заманчиво, но стыдно. Я всегда пою в хоре.

Мама говорила, что я привык ходить на поводку.

Между прочим, она сама сконструировала мне этот поводок и успешно им пользовалась до недавнего времени. Моя мама обладает непреклонным характером и стальной волей. Именно потому, как я теперь пони-



маю, она рассталась с папой, когда мне было семь лет. Моя мама — художница. Она работает с тканями. Из цветных лоскутков она создает замечательные полотна — портреты друзей, натюрморты и батальные сцены. Она шьет их на машинке. Портреты и натюрморты забирают друзья, а батальные сцены висят на стене в маминной комнате и пылятся. Я раз в месяц чищу их пылесосом. Мама считает, что творчество должно быть свободным и независимым. Всякая помеха ему рассматривается мамой как выпад против ее личности.

С семи лет я мою посуду. С двенадцати — готовлю обеды и стираю. Раньше это делал папа. Промежуток в пять лет между мойкой посуды и стиркой, когда папа ушел вести хозяйство к другой жене, я вспоминать не люблю. Мама сидела за швейной машинкой, прострачивая батальные сцены, а я жарил яичницы — по три сковородки в день и осваивал стиральную машину.

В общем, я шел на поводу у мамы.

Другими словами, я чувствовал себя безответным щенком, попавшим в умелые руки дрессировщицы. Понятна теперь моя любовь и привязанность к собакам, а потом уже и ко всем бессловесным тварям — лошадям, коровам, козам, зайцам, медведям, тиграм, слонам, крокодилам и жирафам. Я сам был бессловесной тварью. Я мало и редко говорил, а если говорил, то неубедительно и неумело. Я не любил говорить.

Звери понимают друг друга без слов. Поразительны единение и организованность зверинго стада! Представьте себе, что они стали бы дискутировать, дебатировать и декларировать. Они бы просто погибли.

Звери также не умеют врать.

Поэт Есенин когда-то назвал зверей «меньшими братьями» и сообщил, что он никогда не бил их по голове, хотя такая постановка вопроса меня лично удивляет. Почему их непременно нужно бить по голове? Впрочем, стихи, безусловно, прекрасные.

Только в одном случае я жалею о том, что звери лишены языка. Они не могут пожаловаться на боль. Звери тоже болеют, но лечить их трудно. У льва болит зуб, но знает об этом один лев. Дрессировщик об этом не знает. Он видит, что со львом что-то неладное, и дает ему лекарство от желудка. И лев мучается дополнительно.

Вот почему в детстве меня тянуло в ветеринарные врачи. Я посещал кружок биологии, которым руководил Аветик Вартанович Папазян. Он был похож на грустного бегемота — с маленькими черными глазами, с большим животом и синеватыми круглыми щеками. Из недр Папазяна исторгались шумные вздохи. Папазян был одинок и неухожен. Мы выращивали морских свинок в огромных количествах. Кроме свинок мы увлекались хомьяками, черепахаами и аквариумными рыбками. Папазян брал черепаху короткими волосатыми пальцами и клал себе на живот. Черепаха ползала по животу Папазяна, как по земному шару, пока Аветик Вартанович сидел не шевелясь, откинувшись на стуле. Потом Папазян крупно вздыхал, напоминая черепахе землетрясение, и говорил с удивительной нежностью старого армянина:

— Черепаха слышит тепло...

И мы тоже слышали тепло Папазяна. Между собой мы звали его Папой Зяном. Папазян был одинок вдвойне — у него не было жены, а родная Армения находилась так далеко, что черепаха не доползла бы до нее за всю свою жизнь. А живут черепахи долго.

Получилось так, что Аветик Вартанович в некотором смысле заменил мне отца, сбежавшего от стрекотания маминой творческой машинки. Одно время мне хотелось, чтобы мама вышла за него замуж. Я даже познакомил их. На следующий день мама сказала:

— От него пахнет морской свинкой.

И я понял, что мой номер не удался. Хотя морские свинки не пахнут. Кошки пахнут значительно хуже. Моя мама из всех животных признает только кошек. Может быть, поэтому я их не люблю — единственных из всех зверей. Таким образом, если выразаться математически, я люблю все множество зверей, исключая одну точку — кошек. Эту точку любит мама. Значит, мы с мамой любим все множество.

Эту несложную теорему я ощущаю на своей шкуре каждодневно. В эпоху папы у нас было две кошки. После него появился еще кот, которого мама в память об ушедшем папе назвала Пуританином. У мамы странный юмор. Она считала папу излишне аккуратным и благовоспитанным. Ее удивляло, что он страдал от обилия цветных пыльных тряпок.

К сожалению, эта папина черта передалась мне.

Так или иначе, я каждый день ухаживаю за престарелым Пуританином и кормлю его, испытывая сме-

шанное чувство жалости и неприязни. Мама при всей своей любви не знает, чем и как питается Пуританин. Она любит лежать с ним на тахте и чесать ему белое брюхо.

Кстати, я не сообщил о себе самого главного. Меня зовут Тихон.

Как я ненавидел это имя! Как я ненавидел себя — тихую бессловесную тварь!

Имя мне, естественно, выбрала мама. Она решила, что так будет просто и оригинально — Тихон. Она была права: я ни разу не встречал живого человека с таким именем. Только в литературе прошлого века. Так я и жил с маминой оригинальностью. Можете себе представить, каково мне приходилось. Вообразите хотя бы на минуту, что вас зовут Тихон, — и прощай ваша судьба, ваше счастье и надежды. Прощай все!

Мало того, мама не дала мне отцовской фамилии, а присвоила свою. Конечно, фамилия у отца была не очень благозвучная — Ворсиков. Мама сказала, что Тихон Ворсиков — это вызывающе смешно, это неблагоприятно отразится на судьбе и может привести к несчастью. В результате она подарила мне свою роскошную фамилию, хотя я полагаю, что Тихон Первозванский — это еще хуже, чем Тихон Ворсиков. Чувствуется неумелая и жалкая попытка переломить судьбу. Таким идиотским способом ее не сломаешь, я уже знаю.

Так я и жил Тихоном Первозванским, непрерывно помня, что я — Тихон Ворсиков.

Не стоит и говорить, что моя любовь к животным от этого только крепла. Они тоже не выбирают себе имя, а носят то, что дают.

Также не буду говорить о том, каким страданиям я подвергался в школе, нося такое имя. Даже учителя не могли скрыть улыбку, знакомясь со мною. Мои товарищи не улыбались. Они глумились. Ну скажите — что смешного в имени Тихон? Юмора здесь не больше, чем в Михаиле, к примеру. Вдумайтесь только — Ми-ха-ил! Это же почище Тихона будет! Однако над Михаилами никто не смеется. Они законны и уважаемы.

Но если бы дело ограничилось именем и фамилией! Мама выбрала мне и профессию. О ветеринарстве речи быть не могло. Мама не хотела слышать о ветеринарах. Даже нейтральная профессия биолога не устраивала маму, помнившую о Папазяне. Поскольку она

считала, что творческими талантами я пошел в своего папу Ворсикова, то есть был лишен их начисто, то предложила мне модную в то время специальность кибернетика. Мама довольно приблизительно представляла себе ее сущность, но слышала по радио, что кибернетики занимают передовые рубежи науки. И мама, не дрогнув, послала меня на эти рубежи, когда я без блеска закончил школу.

Теперь вы понимаете, почему я иногда выражаю свои мысли математическим языком.

Мне удалось слегка обмануть маму, выбрав оригинальную область кибернетики, называемую бионикой. Мама клюнула на оригинальность и пропустила мимо ушей биологический корень названия этой науки. Таким образом я стал биоником, хотя до сих пор не знаю, что это такое. Согласно официальным представлениям, бионика — это наука, изучающая процессы управления и связи в живых организмах и применяющая их принципы на практике.

Возможно, это так. Но после окончания института я поступил работать в конструкторское бюро инженером-конструктором и стал собирать схемы и настраивать их. Общим изучением летучих мышей, пчел и бабочек занималось начальство, а я доводил до ума техническое воплощение отдельных органов. Скажем, схему, имитирующую работу хоботка пчелы. Хоботок собирались применить для лабораторных анализов пыльцы различных растений. Техническое воплощение всей пчелы занимало несколько железных шкафов. Мой хоботок один весил пять килограммов и работал средненько — на уровне ординарной пчелы.

Надо сказать, что в нашем небольшом городе есть две крупные достопримечательности. Это наше конструкторское бюро кибернетики и бионики — сокращенно КБКБ, или КБ-квадрат, как мы его называем, и большой зоологический сад, именуемый также зоологическим парком. Зоопарк достался в наследство от прошлых времен. Он был основан одним известным зоологом, уроженцем нашего города. За последние годы зоопарк вырос и расширился. Ассортимент животных, как выражаются в местной прессе, значительно пополнился. У нас есть даже австралийский медведь коала.

Вероятно, КБ-квадрат возникло в нашем городе не случайно. Было принято во внимание, что зоопарк по-

служит базой для изысканий в области бионики. Наблюдая за поведением австралийского медведя и гималайских тигров, молодые бионики могли извлечь пользу для науки.

Начальником КБ-квадрат со дня его основания был Карл Карлович Монзневский. На манер французских королей он носил неофициальный титул Непредсказуемый, благодаря особенностям своего характера и творческого гения.

После окончания института в Москве, где я несколько отдохнул от Пуританика и маминой машинки, я распределился в родной город и поступил под начало Карла Карловича. Хоботок пчелы был моей первой научной победой.

Я узнал, что директором зоопарка в мое отсутствие стал Аветик Вартанович Папазян. Я часто ходил смотреть зверей из интереса и по долгу службы, но к Папазяну не заглядывал. Я опасался, что он меня не помнит, а если помнит, то вкупе с мамой, чего мне бы не хотелось. Прошло десять лет с тех пор, как я посещал биологический кружок.

Вернувшись домой, я снова стал жить с мамой и кошками в нашей старой коммунальной квартире. Мы занимаем две комнаты, а в остальных двух живут старый бухгалтер Иван Петрович Грач и молодая продавщица «Гастронома» Лидия, фамилии которой я узнать не успел. Она появилась в квартире после того, как у Ивана Петровича умерла жена и его слегка уплотнили.

В квартире более или менее спокойно. Комнаты большие, с высоченными потолками. Коридор широкий. Соседи относятся к нам сносно. Бухгалтер Грач любит наших кошек, а Лидия бывает дома преимущественно по ночам, причем чувствуется, что проблемы кошек в это время от нее далеки.

Я еще не женился. Я ждал, когда скажет мама. Пока она говорила, что рановато. Нужно опереться и встать на ноги. Таким образом, я продолжал идти на поводу у мамы. Я ухаживал за кошками и не ухаживал за девушками. Я успокаивал себя тем, что еще успею.

Теперь я сообщил все необходимые и достаточные условия, чтобы начать рассказ о той истории, которая взбудоражила не только КБ-квадрат и нашу квартиру, но и весь наш небольшой старинный городок.

2. НОВАЯ ТЕМА

Я проработал в КБ-квадрат полтора года, и тема «Пчела» себя окончательно исчерпала. Мы выжали из нее все возможное. Наш имитатор пчелы в трех железных шкафах давал мед, нектар и воск, а также производил анализ пыльцы. В отличие от пчел он не летал и не роился, но гудел, как сто тысяч пчел, а также грелся. Каждое утро мы загружали в приемный бункер тонну полевых цветов, из которых устройство изготавливало мед. Было подсчитано, что имитатор окупит себя за семьдесят шесть лет.

Начальство, как водится, получило денежную премию, но государственной не дали. На совещании Карл Карлович сказал, что пришла пора укрупнять тематику.

Однако плодотворной идеи не было. Месяцев пять мы хватались за всякую халтуру — делали автоматическую змею, заменявшую медицинскую сестру, и соловья, управляемого по радио. Заправленная антибиотиками змея ползала в местной больнице и делала уколы больным, а соловей пел в приемной председателя горисполкома. Вскоре от больных стали поступать жалобы. Змея пугала их значительно больше медсестры своим бесшумным подползанием и произвольным выбором места укола. Соловей работал исправно.

До рядовых работников КБ-квадрат стали доходить слухи. Они спускались сверху, как летающие тарелки, и были такими же загадочными. Говорили, что министерство отвалило организации три миллиона на разработку принципиально новой темы. Карл дважды летал в Москву, а потом выступил на общем собрании коллектива.

— Нам поручена новая ответственная тема, — сказал Непредсказуемый. — Вы понимаете, что я не могу во всеуслышание вдаваться в подробности и оглашать характер будущей работы. Отделы и лаборатории получают технические задания и будут работать по ним. Скажу только, что потребуются принципиально новые решения, а сроки сжатые...

Ну, сроки всегда сжатые. Это мы понимали.

— Как называется тема? — спросили с места.

— Мы решили дать ей кодовое название «Нефертити», — сказал Карл с таким видом, будто сообщал нам государственную тайну. — Вы помните, была такая древнегреческая царица...

— Древнеегипетская! — выкрикнул тот же голос, что спрашивал о теме.

— Возможно... Так вот, была такая греческая царица необыкновенной красоты. Этим кодовым названием мы хотели подчеркнуть, что вопросы технической эстетики будут играть очень серьезную роль при разработке новой темы.

— А что она будет делать, эта Нефертити? — снова спросил дотошный голос. Тут я разглядел его обладателя. Это был начальник отдела третьих сигнальных систем Елеходов. Он в свое время открыл эти системы и стал руководителем направления.

— Машина будет делать все, что предусмотрено министерством, — сказал Карл. — А если понадобится, и больше.

Если бы Непредсказуемый знал, насколько он был близок к истине, говоря последние слова!

На этом собрание закончилось, и все разошлись заинтригованные. Было ясно, что надо делать красивую машину, но не более.

Блок-схему машины и технические задания на отдельные узлы и блоки разработал сам Карл. Нам были спущены параметры элементов, характеристики сигналов на входе и выходе и габариты.

Наша группа занялась узлом, представлявшим собою по внешнему виду довольно объемистый цилиндр с диаметром основания сантиметров пятьдесят и высотой около полутора метров. Цилиндр должен был испытывать большие нагрузки на сжатие — около тонны. В днище цилиндра размещались датчики, от которых шли вверх разные сети — энергетическая, сигнальная и обратной связи.

Мы стали гадать, что это такое.

— Элемент дождевого червя, только в увеличенном, — сказал Мыльников. — Структура однородная, органов зрения и слуха нет.

— А зачем? — спросил я.

— Рыть туннели для прокладки кабелей, — предположил Мыльников. — Сопротивление почвы большое, отсюда нагрузки.

— Ерунда! — сказал я. — Это осязательный усик бабочки.

— Вот так усик! — сказал Андрюша. — Ничего вы, мужики, не петрите в бионике. Это обыкновенное дерево. Мы занимаемся нижней частью ствола. С де-

ревьями сейчас туго, нужно снабжать атмосферу кислородом.

— Похоже, си прав,— задумчиво сказал Мыльников.— Запустим в серию и будем сажать в крупных городах. Поэтому требуется эстетика.

И мы сошлись на том, что делаем дерево. Через пару недель прислали дополнение к ТЗ. Выяснилось, что в середину цилиндра требуется вставить шарнирное сочленение. Сначала о нем забыли. Версия дерева оказалась под угрозой, но Андрюша ее спас.

— Дереву нужно гнуться под ветром и шелестеть листвою,— сказал он.— В конце концов, это не телеграфный столб.

Мы молчаливо согласились, потому что других версий просто не было. Попутно мы осторожно стали выяснять в курилке, кто чем занимается. Это было запрещено, но любопытство сильнее инструкций.

Лаборатория № 13 делала что-то длинное и гибкое с сетями внутри. Отдел первых сигнальных систем — вернее, та его часть, что находилась на нашем этаже,— занимался плоским эластичным элементом размером с наволочку. Мы решили, что это соответственно корни и листья будущего дерева «Нефертити».

— Красотища! — сказал Андрюша.— Ты представляешь, какие лопухи будут на ветках. Сколько кислорода! Как они будут шелестеть!

— Ты сам поменьше шелести,— строго сказал Мыльников.

Остальные отделы и лаборатории занимали другие этажи, куда доступа мы не имели. КБ у нас десятиэтажное. Это самое крупное здание в городе. Оно даже выше церкви. Его видно из любой точки города. Второй этаж административный, на него может попасть каждый сотрудник. Остальные этажи закрыты для посторонних.

Стали мы лепить нижнюю часть ствола. Андрюша занимался датчиками, Мыльников продумывал общую компоновку, а я рассчитывал сети.

Прошло около месяца. Наш этаж благодаря убеждениям Андрюши окончательно уверился в том, что «Нефертити» — искусственное дерево. Между собой мы называли инженеров лаборатории № 13 «корневиками», первосигнальщиков — «листовиками», мы же именовались «ствольниками».

Непредсказуемый заходил к нам несколько раз и интересовался ходом работы. Он появлялся в своей

обычной манере — будто конденсировался из воздуха. Только что никого не было — и вдруг рядом с трансформатором высокого напряжения стоит Карл. Но мы к этим штучкам привыкли и уже не удивлялись. Монзиевский без лишних слов брал схему и оглядывал ее сверху вниз и слева направо в течение пяти секунд. Так разведчик запечатлевает в памяти документ.

— Вот здесь необходимо V-образное сочленение, — говорил он, тыкая ногтем мизинца в схему, и испарялся. Мы даже не успевали расспросить подробнее, но потом убеждались, что Карл прав.

Лишь однажды Андрюша успел крикнуть вслед исчезающему Карлу:

— Карл Карлович, а кто занимается корой?

Тонкий вопрос! Андрюша хотел показать, что нам уже известно о дереве, и продемонстрировать догадливость. Будто нас мучает только один вопрос — кто занимается корой нашего ствола.

Карл слегка сгустился и строго спросил:

— Откуда вам известно о коре больших полушарий?

Андрюша застыл с открытым ртом.

— Древесная кора... — залепетал он. — Покрытие нашего ствола...

Непредсказуемый радостно взвизгнул — он таким образом смеялся — и исчез окончательно. Больше мы его не видели.

На некоторое время меня отвлекли домашние дела, и я перестал непрерывно думать о Нефертити.

Дело в том, что Иван Петрович Грач стал активно ухаживать за мамой посредством кошек. Пуританин перешел на его довольствие. Грач кормил его и расчесывал гребнем. Пуританин залоснился и приобрел вальяжный вид. Иван Петрович стал подпускать кота к маме, повязывая ему на шею красный бант. Мама, равнодушная к любым цветным тряпкам, полюбила Пуританина еще больше и стала переносить внимание на Ивана Петровича. Однажды я застал их вечером пьющими чай в комнате старика. После того как Грача уплотнили, комната стала напоминать мебельный антикварный магазин. В центре стоял рояль, вокруг которого вилось небольшое ущелье, образованное стенками рояля и разной мебелью. От ущелья шли вбок тупички, оканчивающиеся телевизором, кроватью, на которой спал Грач, и настенной аптечкой.

Мама и бухгалтер пили чай на рояле. Тут же возлежал Пуританин с красным бантом, как участник демонстрации. Рояль был застелен скатертью. Я вошел и тоже устроился за роялем. Мы напоминали певцов на сцене.

— Я бухгалтер. Я привык оперировать цифрами,— говорил Иван Петрович.— Мне шестьдесят пять лет, а вам пятьдесят четыре...

— Ну зачем же такая точность?..— недовольно сказала мама.

— А как же без точности?— удивился бухгалтер.— Без точности никак нельзя... Значит, я говорю, что мне шестьдесят пять, а вам...

— Да-да! И что же?..— перебила его мама.

— Цифры говорят за себя,— сказал Грач и умолк.

Мама, вероятно, так не считала. Она решила перевести разговор на другую тему.

— Сын, что у тебя на службе?— спросила она.

Она всегда обращается ко мне со словом «сын», а работу называет службой. Непонятно, зачем ей потребовалось обзывать меня Тихоном, если она не пользуется этим именем.

— Начали новую тему. «Нефертити» называется,— сообщил я.

— Сын, ты не разглашаешь тайны?— торжественно спросила мама.

— Если бы я ее знал...— вздохнул я.

— Ваша площадь восемнадцать метров, а моя — двадцать шесть. Цифры говорят за себя,— бубнил Грач.

— У вас один рояль, а у нас ноль роялей,— сказал я.

— Цифры — великая вещь,— поддержал бухгалтер.

Пуританин задремал от содержательности разговора. Мы с мамой допили чай и ушли. Мама в задумчивости села за машинку и стала шить натюрморт.

— Мама, сшей портрет Нефертити,— попросил я.

— Что значит — сшей?— возмутилась мама.— Я не портниха. Иван Петрович тоже хорош! Сегодня он назвал мои работы ковриками. Правда, потом он долго извинялся...

Но она все же убрала натюрморт из-под иглы и за полчаса сшила мне красивый коврик с изображением Нефертити, который я на следующий день повесил над своим рабочим столом.

Только я это сделал, как прибежал Андрюша. Он был страшно возбужден.

— Я узнал, что седьмой этаж делает глаза! — выпалил он. — Отдел сенсорных элементов. Типичные глаза — сетчатка, колбочки. И заметьте — глаза миниатюрные.

— Дерево с глазами? — спросил Мыльников. — Ты не напутал?

— Да! Дерево с глазами, с пищеварительной системой и сердцем. Энергетики на четвертом этаже делают насос.

— Откуда ты знаешь?

— Я вчера дежурил в дружке с их ребятами. Они убеждены, что Нефертити — это кит. Автономная морская лаборатория.

— А ствол?

— Вот и я им говорю: «А ствол? А наш цилиндр? Зачем он киту?.. А корни, листья?» Они задумались.

— Это какое-то животное, — сказал Мыльников.

— Какой толк от животного? — возразил Андрюша. — Я понимаю: пчела дает мед. Червяк роет туннели. Что полезного можно получить от животного?

— Корова дает молоко. И мясо, — сказал Мыльников.

— Ты будешь есть мясо из микромодулей? — спросил Андрюша. — Нет, на корову явно не похоже. Где рога и копыта? Где хвост, наконец?

— Где у коровы хвост? — мрачно изрек Мыльников.

Я взглянул на портрет Нефертити. Гордая тряпичная женщина смотрела куда-то вбок, сквозь стену. Я подумал о животных и людях. Интересно, как рассуждают о нас звери? Неужели они тоже относятся к нам прагматически? Весьма возможно... Только, конечно, с точки зрения не наибольшей пользы, а наименьшего вреда. Одна порода людей делает меньше зла, а от другой хорошего не жди. Мы принадлежали к последним. Мы старались поставить себе на службу все самое лучшее, что есть у животных. По какому праву? Кто нам это разрешил?

Значит, Нефертити — зверь... Но какой?..

3. КЕМБРИДЖ

В скором времени мы закончили проектирование цилиндра и стали собирать опытный образец. Потребовались микромодули. Я был командирован на адми-

нистративный этаж с заявкой. Подписал ее у главного инженера, в бухгалтерии и отнес в дальний конец коридора, где размещался отдел снабжения. Возвращаясь обратно, я наткнулся на Кембриджа.

С Олегом Кембриджем мы учились в школе. Он рано обнаружил творческие задатки в области ваяния. В пятом — седьмом классах Кембридж был с ног до головы в пластилине. С ним опасно было общаться. Он лепил из пластилина портреты учителей и приклеивал их к учительскому столу. Кембридж в то время работал в экспрессионистской манере, за что получал тройки по поведению. В старших классах он перешел на гипс и начал рубить камень. После окончания школы Кембридж уехал учиться в Ленинград, и я больше с ним не встречался.

Я знал, что он тоже вернулся потом в родной город, завел мастерскую и продолжал лепить скульптуры. Некоторые из них я видел в зоопарке. Это были гипсовые, крашенные масляной краской антилопы, львы и медведи. На каждой скульптуре снизу, на ноге или на хвосте, было глубоко вытиснено латинским шрифтом «O. Cambridge». Олег гордился своей английской фамилией еще в школе. Он всегда любил выделяться.

Короче говоря, я встретил Кембриджа, выходящего из приемной Карла Непредсказуемого с бумажным свертком под мышкой, перевязанным шпагатом. Сверток имел неправильную форму.

Кембридж был в джинсовом костюме фирмы «Lee», в зубах держал толстую изогнутую трубку фирмы «Dunhill». Названия фирм я узнал от него позже.

— Привет, Олег! Ты что здесь делаешь? — спросил я.

— А-а... Тиша... — сказал Кембридж, не вынимая трубку изо рта. — Так ты тоже в этой конторе? Мерзейшее у вас начальство!

Кембридж был явно чем-то недоволен. Я тактично промолчал о начальстве.

— Зачем ты здесь? — снова спросил я.

— Тс-с! — прошипел Кембридж. — Военная тайна. Выполняю заказ... Слушай, будь другом, зайди ко мне сегодня. Мне нужно с тобой поговорить.

Он дал адрес мастерской и пошел вразвалку по коридору, унося сверток.

Вечером я пошел к нему. Мастерская Кембриджа занимала просторную мансарду старинного особняка.

На стенах висели иконы, на полу валялись куски гипса. В углу под холстиной возвышалась какая-то скульптура. На столе стояла выполненная из глины фигура, отдаленно напоминающая слона.

— Полюбуйся! — сказал Кембридж, указывая на фигуру. — Что это такое, по-твоему?

— Вроде слон... — неуверенно сказал я.

— Да не вроде, а слон! — недовольно сказал Кембридж. — Самый натуральный слон.

— Ну, не такой уж натуральный. Хобот слишком длинный, ноги тонковаты, и уши у слона не такой формы.

— А мне плевать, какие у слона уши! — закричал Кембридж, впадая в ярость. — Если ты такой же натуралист, как ваш Карл, то можешь проваливать! Ты посмотри на пропорции! Это же не слон, а лань! Легкость линий, изящество!

— Ты объясни, я не понимаю, — сказал я. — А потом уже я буду проваливать.

— Ладно, оставайся, — проворчал Кембридж и стал набивать трубку.

Он попытлся дымком и начал рассказывать.

— Понимаешь, пригласил меня ваш Карл. Так, мол, и так, можете ли вылепить слона в натуральную величину? Это мне! Слышал! — снова завелся Кембридж. — «Могу в любую величину», — говорю. «Сделайте в натуральную. Сляпайте, — говорит, — нам красивого слона, а мы вам заплатим. Только сначала маленький эскизик на утверждение». — «Зачем вам слон?» — спрашиваю. «Да тут у нас новая работа, — говорит, — связанная со слонами. Только это между нами, понимаете?»

«Господи! Как просто! Слон!.. Ну конечно же, слон!» — пронеслось у меня в голове.

— Ну, принес я ему сегодня эскиз, — продолжал Кембридж. — Не принял. Попросил переделать в сторону улучшения. Чтобы было не отличить от настоящего. Я думал, ему искусство требуется. Старался подчеркнуть идею слона. Посмотри, какой хобот потрясающий!.. Слушай, Тиша, зачем вам слон? Куда вы его собираетесь ставить? В приемной начальника? В бюро пропусков? Что за бредятина?

Я спокойно выслушал Кембриджа и спросил, зачем он меня позвал.

— Хотел узнать, зачем я это делаю. Может, это меня натолкнет на образ.

— Понимаешь, я сам только что узнал, что у нас работа связана со слонами.

Кембридж только присвистнул.

— Ну и контора!.. Ладно, пошли в зоопарк. Мне одному несхота. Заодно расскажешь про слонов. Буду вдохновляться... Ты ведь у нас в школе первым был по этой части.

И я пошел с Кембриджем, потому что, когда мне говорят «иди» — я иду.

Мы пришли в зоопарк незадолго до закрытия. Я повел Кембриджа к слону, рассказывая Олегу все, что знал о слонах. Слон у нас в зоопарке был один. Его звали Хеопс. Это был старый африканский слон, которого я помнил с детских лет. Хеопс жил в просторном вольере, огороженном широкой полосой торчащих вверх железных шипов. В углу стоял дом с крышей, где Хеопс прятался от ненастья и жил зимой. У вольера Хеопса посетителей было мало, как и во всем зоопарке. Мы подошли к ограждению, и я вынул из портфеля купленный по дороге батон. Увидев батон, Хеопс медленно двинулся к нам.

— Махина... — сказал Кембридж. — Грубо сработано.

— Зато основательно, — сказал я.

— Мать-природа лишена вкуса, — сказал он. — Мы привыкли к виду животных и считаем их красивыми. Ты попробуй взглянуть на него свежим взглядом. Посмотри на хобот... Такие могучие формы тела, мощные объемы — и вдруг эта кишка! Да еще с отростком на конце.

Хеопс протянул ко мне хобот и мягким ласковым движением взял батон. Потом он свободно и величаво махнул хоботом под себя, и батон исчез в пасти.

— Больше ничего нет, Хеопс, — сказал я.

Хеопс продолжал стоять рядом, разглядывая нас с Кембриджем. Не знаю, находил ли он наши формы эстетичными. Кембридж зарисовывал в альбом отдельные части тела слона. Он нарисовал ухо, хобот и ногу.

«КБ изготавливает слона. В частности, мы мастерим ногу... — думал я, разглядывая прочные конечности Хеопса. — Лаборатория № 13 делает хобот, а „листовики“ занимаются ушами... Но с какой целью? Убей меня бог — не понимаю!»

Хеопс вдруг протянул хобот к нам и вынул альбом из рук Кембриджа.

— Отдай! Куда потащил? — завопил Кембридж, подпрыгивая и стараясь дотянуться до альбома.

Хеопс изогнул хобот и поднес рисунок к глазам. Секунд семь он смотрел на него и, как мне показалось, улыбался. Затем плавным движением вернул альбом Кембриджу.

— Понимает, негодяй! — засмеялся Кембридж и спрятал альбом в папку. Слон, не спеша, развернулся и ушел на другую сторону площадки.

— И все-таки зачем нам искусственный слон? — вслух подумал я.

И тут я буквально кожей ощутил за спиной чье-то присутствие. Я оглянулся и увидел сзади Непредсказуемого. Он в упор смотрел на меня. Голова Карла была слегка наклонена вбок, а его птичье лицо выражало едва уловимую озадаченность. С таким видом петух смотрит на червяка, перед тем как его склевать.

Я понял, что он понял, что я понял.

— Добрый вечер, Карл Карлович, — сказал я.

Карл посмотрел на небо, втянул носом воздух и, посплунув палец, поднял его вверх.

— А в самом деле, исключительно добрый вечер, — сказал он. — Давно не видел таких добрых вечеров. Значит, вы знакомы? — Он перевел взгляд на Кембриджа.

— Да, — вызывающе сказал Кембридж. — Мы вместе учились в школе.

— В какой? — быстро и заинтересованно спросил Карл, будто этот вопрос имел первостепенное значение.

— В девятой.

— А вот это уже серьезно... Это меняет... Я не предусмотрел, — забормотал Карл. — Тихон Леонидович, вы ко мне завтра зайдите. Впрочем, вам так и так придется зайти.

— Хорошо, — сказал я. — А...

— Слоники приносят счастье, — сказал Непредсказуемый и начал исчезать в своей обычной манере.

Нам казалось, что он еще здесь, а его уже не было. Потом нам стало казаться, что его уже нет, но голос был слышен.

— Только непременно с задраным вверх хоботом. Слон трубящий... Только трубящий слон приносит счастье. О чем бишь он трубит?

Но мы не расслышали, о чем он трубит. Карл исчез совсем.

— С вашим начальником не соскучишься, — сказал Кембридж. — Ладно, вылеплю я вам натурального слона.

Хеопс провожал нас долгим взглядом. Он стоял у своего домика и помахивал хвостом. Глубокие морщины пересекали тело Хеопса. Я заметил, что он сильно постарел с тех пор, как я увидел его впервые.

Поздно вечером мне позвонил Карл. От неожиданности я потерял дар речи и старался не дышать в трубку. Нечего и говорить, что до этого Карл никогда мне не звонил.

— Тихон Леонидович, я слышал, что вы неплохо знаете животных. Свинок морских разводили, не правда ли?

«Откуда он знает?» — подумал я, но не ответил. Ладонь с трубкой вспотела.

— Вы мне не скажете — бивни бывают у слонов обоюбого пола или только у самцов?

— Да, — выдавил я из себя.

— Что—да?

— У всех, — сказал я.

— Вот как? Значит, надо заказывать в отделе главного механика. Я думаю, они выточат. Вот только какой материал взять?

— Слоновую кость, — сказал я.

— Чудесно! Я так и думал, — воскликнул Карл. — Благодарю вас, вы мне очень помогли. Спокойной ночи... Кстати, будет лучше, если окружающие вас люди не станут проявлять излишнего интереса к слонам.

«Следовательно, я должен помалкивать, — подумал я. — Хорошо, я буду молчать. И все же — зачем слон? Использовать его вместо подъемного крана нерационально, а других применений слону я не вижу».

Перед сном я перелистал все книжки, где упоминалось о слонах, но ничего полезного не нашел. Слоны отличались от других животных силой и сравнительно высоким уровнем интеллекта. Они не могли заменять навигационные приборы, работать под землей, под водой и в космосе, не могли брать след, искать мины, полезные ископаемые и детей в доме, охваченном пожаром. Слоны не давали мяса, молока и шерсти. Правда, они давали слоновую кость, но ведь Карл собрался делать бивни Нефертити из той же слоновой кости.

Так что и это отпадало. Слоны ничем не могли помочь прогрессу... За что же нам заплатят три миллиона рублей?

Я заснул, мучимый неразрешимостью загадки.

4. ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ

Несколько дней я жил, ощущая себя паршивым ре-негатом. Я один в нашей группе знал, что мы делаем. Ребята уже забыли о нижней части ствола и осторожно называли цилиндр «изделием» или просто говорили «это».

— Ты рассчитал это на изгиб? — спрашивал Андрюша.

— Да оно вроде не должно гнуться, — отвечал Мыльников.

Если бы они знали, что это — слоновья нога!

На следующий день после встречи с Непредсказуемым в зоопарке я пришел к нему в приемную и попросил секретаршу доложить. Я помнил о вызове.

— Карл Карлович в исполкоме, — сказала она. — Его сегодня не будет.

«Хорошо... вызов сам, если надо», — подумал я и больше в приемную не спускался.

Через неделю Андрюша ворвался в лабораторию после обеденного перерыва в крайнем возбуждении.

— Тихон, — заорал он. — Ну ты даешь! Одно слово — Тихон! Тихарь! Ловко ты все устроил. А еще товарищ и друг! Некрасиво с твоей стороны...

Он сплюнул от возмущения и уселся за коленный сустав Нефертити.

— В чем дело? — спросил я.

— Не прикидывайся, — строго сказал Мыльников.

— Ребята, что случилось?! — взмолился я.

— Ну и тихарь! — покачал головой Андрюша.

— Ты приказ не читал? — спросил Мыльников.

— Какой приказ?

— Пойди почитай. Почитай...

Слома голову я кинулся на второй этаж к доске приказов. Там висел свеженький листок папиросной бумаги, на котором было написано:

Приказ № 129/3
По личному составу

В целях упорядочения и увязки отдельных работ по теме «Нефертити» п р и к а з ы в а ю:

1. Образовать отдел координации с непосредственным подчинением отдела начальнику КБ.

2. Утвердить штатное расписание отдела координации.

3. Начальником отдела координации назначить инженера-конструктора лаборатории № 19 тов. Первозванского Т. Л.

Начальник КБКБ К. Монзиевский

«Ой! — крикнул мой внутренний голос.— Не надо...— прошептал он.— За что?»

Рядом стояли незнакомые сотрудники с других этажей. Они читали приказ.

— Карл мечет икру,— сказал один.

— А кто этот Первозванский? — спросил другой.

— Черт его знает! Видно, ловкий парень. Из конструкторов в начальники отдела...

— Да... Везет же людям!

— В струю попал...

Я бочком отошел от доски и побрел в приемную Карла. Секретарша, взглянув на меня, сказала:

— Проходите в кабинет. Карл Карлович вас ждет.

Это меня уже не удивило. Я чувствовал, что в скором времени под руководством Непредсказуемого совсем разучусь удивляться. Собственно, так оно и вышло.

Карл встретил меня, будто ничего не случилось. Он сообщил, что отдел у меня будет совсем небольшой — три человека. По существу, группа. Однако для повышения веса Карл решил дать группе статус отдела и подчинить лично себе. Нам выделили комнату на десятом этаже. Карл вручил мне штатное расписание. Там было три должности, не считая моей: инженер-экономист, инженер-программист и секретарь. Рядом с должностями стояли незнакомые мне женские фамилии.

— На вас ложится большая ответственность,— сказал Карл и подвел меня к голубой занавеске на стене.

Он раздвинул шторы, и под ними обнаружились две схемы. На первой был изображен контур слона, разделенный линиями на части. Это было похоже на схему разрубки говяжьей туши, которую можно видеть в мясных отделах «Гастронома». Каждая часть была снабжена номером. Соседний лист занимала блок-схема «Нефертити». Здесь уже части слона изображались системой прямоугольников со стрелками между ними. В каждом прямоугольнике стоял номер отдела или лаборатории, ответственных за орган.

На прямоугольнике, обозначавшем левую заднюю ногу, я увидел номер своей родной лаборатории.

— Я ценю догадливых людей,— сказал Карл.— Насколько мне известно, в КБ имеются три человека, представляющих характер работы в целом. Это я, главный инженер и вы. Сейчас мы заканчиваем рабочее проектирование и приступаем к монтажу и отладке отдельных органов. Вы сами понимаете, что в процессе сборки всего устройства возможны всяческие неувязки и рассогласования. Ваш отдел должен координировать работу других отделов, чтобы мы смогли в кратчайшие сроки смонтировать машину и провести испытания.

— А в чем они будут заключаться? — спросил я.

— Это отдельный разговор,— сказал Карл.— Сначала нужно собрать. Ваши сотрудники по роду своей работы будут иметь полную информацию. Позаботьтесь о неразглашении.

Карл сел в кресло, и в его облике появилось нечто неофициальное.

— Не робейте,— сказал он, улыбаясь.— Это прекрасно, что вы разводили свинок и знаете, где у слона хвост. Нам нужно сделать замечательного слона. Замечательного! — повторил Карл, зажмурившись.— Неужели мы не сможем сделать такую простую машину, как слон?.. Но нам нужен такой слон, чтобы родная мама, как говорится, не отличила его от настоящего. Чтобы его искусственное происхождение можно было определить только при вскрытии,— засмеялся Карл.

Я вздрогнул, весьма живо представив себе картину вскрытия слона.

— Это вопрос престижа и, если хотите, принципиальный вопрос. Пора нанести решительный удар по идеалистам! — воскликнул Карл, вскакивая с кресла.— Идите и работайте!

Я пошел на десятый этаж и отыскал комнату своего отдела. Там устраивались три мои новые сотрудницы. Они обживали комнату. Женщинам очень важно, чтобы на работе было уютно.

— Здравствуйте,— сказал я.— Меня зовут Тихон Леонидович. Я назначен начальником отдела координации.

Самая молоденькая, конечно, хихикнула. А две другие, постарше, выпрямились и оценивающе посмотрели на меня. Мне стало не по себе. Я понял, что не оправдал их первых ожиданий.

Мы познакомились. Самая старшая, женщина лет пятидесяти, была программисткой. Звали ее Варвара Николаевна. Экономиста лет тридцати пяти звали Людмилой, причем отчество она скрыла. Секретарша именовалась Галей и была молоденькой девушкой спортивного вида с мальчишеской стрижкой.

Женщины вытирали пыль со столов, развешивали занавески, расставляли на полках какие-то папки и книги. Я тоже занялся хозяйством. Настроение у меня было самое мрачное. Я с трудом представлял себе характер новой работы и взаимоотношения с подчиненными. До сих пор под моим руководством не было никого, кроме маминных кошек. Я всегда предполагал, что руководить женщинами непросто. Действительность подтвердила самые пессимистические прогнозы.

После того как я рассказал сотрудницам о задачах отдела и предупредил о неразглашении, начался процесс деятельности. Он начался со скрытой борьбы за влияние. Мои сотрудницы, как я догадался, старались установить надо мною контроль. Я угадывал их ходы, но это не меняло сути дела. Женщины с первого взгляда поняли, что в лидеры я не гожусь, и каждая старалась занять вакансию.

Внешне все выглядело безобидно. Галочка козыряла молодостью и комсомольским задором, Людмила пустила в ход бывшую молодость и красоту, а также приобретенный с годами интеллект, Варвара же Николаевна имела большой опыт и несомненные деловые качества.

Очень скоро каждая приобрела собственную манеру обращения с начальником. Галя звала меня по имени-отчеству и на «вы», Людмила быстро перешла на «ты» и называла Тишей, что давало ей некоторые преимущества, а Варвара Николаевна обращалась то на «ты», то на «вы» и звала только Тихон.

— Тиша, как тебе понравился последний Катаев? — спрашивала Людмила.

А я, надо сознаться, не читал даже предпоследнего Катаева и был знаком только с книжкой «Белеет парус одинокий», которая в детстве мне нравилась. Поэтому я уводил разговор от интеллектуальных тестов и старался максимально приблизить его к работе. Это удавалось плохо. Поддерживала меня только Варвара.

— Тихон, как вы считаете, нам нужно программировать режимы функционирования хобота?

— От таких слов Галочка и Людмила скисали.

Мы с Варварой принимались обсуждать хобот — как он стыкуется с головой, изгибается и производит захват предметов. Варвара Николаевна работала по старинке, с увлечением, и это мне нравилось. Однако почему-то не нравилось двум другим женщинам. Мне казалось, что лидерство среди подчиненных по праву должно принадлежать Варваре — она старше, опытнее и знает толк в деле. Но скоро я понял, что не так все просто. Людмила и Галочка образовали молодежную коалицию и стали медленно сживать Варвару со света. Это делалось так тонко, что я едва замечал.

— Варвара Николаевна, а сколько стоил сахар до войны? — с самым невинным видом спрашивала Людмила за чаем. Мы пили чай два раза в день.

Вопрос, конечно, дурацкий, но подвоха я не чувствовал. И лишь когда Варвара, мгновенно подобравшись, сухо отвечала: «Не помню», до меня доходило.

— Вчера видела по телевизору Игуменскую, — общалась Галочка. — Ох, простите, Варвара Николаевна! — спешно извинялась она, но Варвара уже швыряла ложечку на стол и удалялась на рабочее место.

Тут уж я совсем ничего не понимал и только потом где-то в кулуарах узнавал, что к актрисе Игуменской несколько лет назад ушел муж Варвары, кинооператор.

Таким образом, война велась на местности, очень хорошо знакомой Людмиле и Галочке, то есть далеко от дела. Там Варвара вела себя неуверенно. Зато она брала реванш в профессиональной области.

— Люся, когда вы мне сдадите методику определения экономической эффективности изделия? — спрашивала она. — Мне нужно считать.

Людмила бледнела и зарывалась в справочники. Естественно, что ничего относительно экономической эффективности искусственных слонов она там не находила. С грехом пополам она подсчитала себестоимость отдельных органов и зашла в тупик. Экономичность и окупаемость слона не поддавались исчислению.

Таким образом Варваре удавалось притупить экономиста, и она бралась за секретаршу.

— Галя у нас молодец, — говорила она с добродушной ненавистью. — Она сократила количество ошибок в слове «компьютер» с четырех до двух. В прошлой инструкции для ВЦ она напечатала «кампутыр».

И Галочка проглатывала.

Если бы я сидел в отделе с утра до вечера, то навсегда приобрел бы нервный тик и отвращение к женщинам. Слава богу, я часто отсутствовал. Я бегал по этажам КБ-квадрат и координировал.

Подошел конец полугодия, и выяснилось, что планы выполнили и даже перевыполнили. Деньги все реализовали. Но с тематикой обстояло неважно. Сделали что попроще в большом количестве. Ушей слепили семь штук. Произвели два хобота, четыре сердца и пять ног. Бивней выточили на целое стадо.

С мозгом обстояло хуже. Мозга не было. Одно полушарие заканчивали, за второе еще не брались. Печень отсутствовала. Зато имелось три глаза.

Мне предстояло координировать сборку Нефертити. Получалось странное животное с тремя глазами, на пяти ногах, обросшее бивнями наподобие кактуса. Так называемый натуральный слон.

Я пошел к Карлу и доложил обстановку. Сказал, что слон получается чересчур современным. Карл прочитал список органов и задумался.

— Может быть, осилим слоновую семью? — вдруг загорелся он.

— На семью необходима хотя бы одна голова, — сказал я.

— Да-да, — сказал Карл. — Это вы точно подметили... Ничего! План мы выполнили, финансирование нам не закрыли. Навалимся все вместе на узкие места. Народ у нас молодой и горячий... Да, вот что я хотел спросить. Ходят слухи, что мы слона делаем, Тихон Леонидович. Откуда бы им взяться? Не утекает ли информация?

— Этого не может быть, — твердо сказал я.

— Ну-ну... — сказал Карл.

И надо же — в тот же вечер в «Гастрономе», когда я покупал зеленый горошек у своей соседки Лидии, она меня спросила:

— Ты это не для слона?

— Какого слона? — спросил я, холодея.

— Ну, какого вы мастерите.

Это она через весы меня спрашивает. А в очереди народ.

— Откуда ты знаешь? — прошипел я.

— Да все знают, — пожала плечами она.

И очередь охотно подтвердила: все знают — и даже больше меня. Знают, что слон необходим для нужд

сельского хозяйства области. Он один заменяет трактор, автокран, картофелеуборочный комбайн и паровой каток.

Налицо была не только утечка информации, но и ее переработка.

Окончательно добила меня мама. Она сказала:

— Сын, мне не нравится ваша затея со слоном. Она может повлиять на отношения с африканскими странами.

— Почему? — спросил я.

— Вы нарушаете приоритет. У вас есть лицензия?

— Черт с ней, с лицензией! Кто сказал тебе про слона?

— Иван Петрович.

— А он откуда знает?

— Сын, сколько женщин у тебя в отделе? — спросила мама.

— Три...

— Этого вполне достаточно, — заявила мама. — Поверь мне.

«Значит, я полный болван», — подумал я. Целый месяц я координировал на десяти этажах нашего КБ, выкручивался и изворачивался, называл уши, глаза и ноги «изделиями», врал, что мне ничего не известно, а все уже знали. Все знали и смеялись надо мною. Особенно, вероятно, наши — Андрюша и Мыльников. Они до сих пор не верили в мою полную непричастность к собственному повышению.

Оставалось сделать вид, что ничего не случилось. И мы все в КБ продолжали делать такой вид, в то время как город всюду говорил о слоне.

5. АВЕТИК ВАРТАНОВИЧ

Близилось начало сборки Нефертити, а я все не мог проникнуться величием идеи. Да что там величием! Я не понимал саму идею. Обывательские слухи относительно сельскохозяйственной направленности нашего слона были досужим вымыслом. Я их не принимал всерьез.

Вдобавок меня мучило какое-то подспудное беспокойство. Какие-то моральные угрызения. Я не понимал их причины, но мысль о том, что мы бесцеремонно вторгаемся в область живого, угнетала меня. С одной стороны, я был приучен к всемогуществу че-

ловческого гения, а с другой — интуитивно ощущал тайну жизни.

Какая там тайна! Мозг на интегральных схемах, питание организма происходит посредством преобразования химической энергии в электрическую, сердце-насос охлаждает слона. Да-да, в сосудах Нефертити должна была течь обыкновенная дистиллированная вода. Глаз был на фотоэлементах.

Ну, допустим, мы выполним задание министерства и сделаем слона, внешне не отличимого от настоящего. А дальше?..

После долгих раздумий философского характера я решил пойти к Папазяну. Я разыскал его домашний адрес, купил две бутылки армянского вина и субботним вечером отправился в гости.

Мне повезло. Папазян был дома.

Аветик Вартанович несколько постарел и обрюзг. С первого взгляда было ясно, что в его семейной жизни изменений не произошло. Он узнал меня сразу и без лишних слов пригласил в комнату.

Холостяцкое жилище Папазяна было увешано фотографиями зверей. Со стен смотрели тигры, медведи, носороги и жирафы. Папазян уселся на тахту и оказался на фоне стены. Его большая голова потерялась среди зверей.

— Вот какой Тиша стал, совсем большой, — ласково бормотал Папазян, поглядывая на меня.

— Аветик Вартанович, у меня к вам серьезный разговор, — сразу начал я, доставая из портфеля вино. Аветик шумно вздохнул и отправился на кухню. Он принес кусок сыра и два стакана.

Я налил вино в стаканы, мы тепло чокнулись и выпили.

— Слушаю тебя, дорогой, — сказал Папазян.

— Я сейчас работаю в КБ у Монзиевского, — начал я. — Вы что-нибудь знаете о нашей организации?

Папазян испустил короткий стон. Его лицо стало скорбным. Он почмокал губами, покачал головой и сказал:

— Лучше бы я не знал. Докатился Тиша, да? Так любил зверей, ай-яй-яй! Живого слона решил смастерить, какой молодец!

— Ага, значит, вы уже знаете? — сказал я с облегчением. Мне удалось избежать разглашения.

— Я знаю? — возмутился вдруг Папазян. — Куда бы вы без Папазяна? Но я Карлуше сразу сказал:

«Ничего у тебя, дорогой, не выйдет. У господ бога вышло, да и то один раз...»

— Карлуша — это... — осторожно начал я, догадываясь.

— Ну Карл ваш, Карлуша, я же говорю...

— Аветик Вартанович, я же ничего не знаю! Ей-богу! Зачем, что, почему? Не понимаю... — занял я.

Папазян отхлебнул вино и прикрыл глаза, прислушиваясь, как оно совершает легкий путь в организм.

— Карлуша... — медленно начал он, не сткрывая глаз, — хочет... Он хочет...

Тут раздался звонок в дверь. Папазян пошел открывать.

«Карл пришел», — почему-то мелькнуло у меня в голове.

И действительно, это был Непредсказуемый, которого, таким образом, мне удалось предсказать впервые. Он вошел в комнату по-свойски. Видимо, не раз здесь бывал. Из-под мышки у Карла торчала бутылка армянского коньяка «три звездочки», а в руках был пакет с яблоками. Мы с Карлом сделали вид, что встреча нас не удивила. Оказалось, что Монзневский и Папазян — старые друзья, еще с войны. Непредсказуемый уселся за стол и открыл коньяк.

— Понимаешь, Карлуша, это мой бывший ученик, — словно извиняясь, сказал Папазян.

— Я знаю, — сказал Карл. — Именно поэтому я сделал его начальником отдела. Так чего же хочет бывший ученик?

Я, как часто со мной бывает, потерял способность связно говорить и начал мямлить, как выражается моя мама.

— Да я... Со слонем, значит... Мне непонятно...

— Что именно? — спросил Карл.

— Непонятно, зачем нам слон.

— Вот-вот! — оживился Папазян. — Объясни, Карлуша, своему сотруднику. Я думал, у вас все знают, да?

— Что ты говоришь, Аветик? — с мягким укором сказал Карл. — Давайте выпьем за нашу Нефертити, которая будет лучшей и умнейшей слонихой в мире.

— Чучело, — буркнул Папазян.

— Ошибаешься, Аветик.

— Электронное чучело, — упрямо повторил Папазян.

— Ну, мы посмотрим. Ладно?.. За Нефертити!

Мы выпили за Нефертити, и Карл, встав из-за стола, принялся расхаживать по комнате, весело поглядывая на фотографии зверей. Затем он потер ладони одна о другую и начал говорить.

— Чем человек отличается от животного? — сказал Карл и посмотрел на носорога. — Разумом? Способностью трудиться? Способностью изготовлять орудия труда?.. Нет, нет и нет! Прежде всего — языком. Наличием второй сигнальной системы. Это раз... Передовая наука, — сказал он гордо, так что сразу стало понятно, кто ее олицетворяет, — передовая наука давно пришла к выводу о принципиальной неразличимости естественного и искусственного интеллекта. Это значит, что мы можем построить машину, неотличимую по интеллектуальным параметрам от человека или животного.

Карл сделал жест рукой, объединяющий зверей на стенах и нас с Папазяном.

— Следовательно, — продолжал он, снова наливая коньяк и возобновляя прогулку по комнате со стаканом в руке, — следовательно, пришла пора распространить вторую сигнальную систему на все живое. Мы не можем научить зверей и птиц говорить. Такие попытки были и закончились неудачей. Но мы можем создать искусственный организм, снабдить его человеческим языком и использовать в качестве переводчика между нами и животным миром. Говорящие птицы, рыбы, говорящие собаки и слоны — насколько они расширят наши возможности и объединят все живое на основе человеческого языка!

Карл сделал паузу, обвел нас взглядом и отхлебнул коньяк.

— Пятая колонна, — сказал Папазян. — Шпионы в живом мире.

— Я тебе удивляюсь, Аветик, — сказал Карл.

— Обман получается, — твердил Папазян.

— Поразительная узость мышления! — вскричал Карл. — Тебе не нравится торжество разума? Зачем ты цепляешься за идеалистические штучки? Разум настолько могуч, что может познать себя до конца и воспроизвести искусственно.

— Дорогой, ты понимаешь себя до конца?

— Что касается логики мышления — да! — заявил Карл. — Эмоции и желания мне не всегда понятны, но я стараюсь управлять ими. Или пренебрегаю. Папазян с сомнением почмокал губами.

— Вам-то, надеюсь, это понятно, Тихон Леонидович? — спросил Карл.

— Да! — с готовностью вслух ответил мой разум. «Не совсем», — уклончиво отвечали про себя чувства.

— Ну и прекрасно. А он, — Карл кивнул на Аветика Вартановича, — убедится в нашей правоте после испытаний Нефертити.

— Но почему все же именно слон? — спросил я.

— Достаточный объем для размещения аппаратуры. С миниатюризацией у нас пока еще неважно. Попробуйте-ка сделать искусственного комара, — сказал Карл. — Это первое... Высокий интеллект естественных слонов, избранных для контакта. Это второе. И, наконец, третье — имеется удобный объект для общения по кличке Хеопс в хозяйстве Аветика Вартановича.

— Ох, Карлуша... — покачал головой Папазян.

— За что я тебя люблю? — засмеялся Карл, садясь на тахту рядом с Папазяном и обнимая его за плечи. — Что-то в тебе есть, Аветик, ей-богу! Давай выпьем!

Я шел домой. Армянский коньяк переливался во мне всеми цветами радуги. Я испытывал эйфорию. Идея Карла о контакте с животным миром показалась мне чрезвычайно заманчивой и даже благородной. Это стояло в одном ряду с проблемой контакта между цивилизациями. Электронные звери, не отличимые от настоящих, распространятся по земле, рыбы поплывут в океанах. Они не только сообщат нам о своих живых братьях, но и расскажут им о людях на своем языке. Мы объединимся и пойдем друг друга до конца.

Перед самым домом дорогу мне перебежала черная кошка.

— У, зараза! — крикнул я, пытаюсь догнать и пнуть ее ногой.

Нет, нелегко нам будет наладить контакты!

Когда мы прощались, Папазян шепнул мне, чтобы я зашел к нему завтра в зоопарк. На следующее утро я отправился. Папазян ждал меня в своем маленьком кабинете. Без долгих разговоров мы пошли к Хеопсу.

Был жаркий летний день. В зоопарке бегали дети с мороженым. Возле вольера Хеопса была плотная толпа. Хеопс неподвижно стоял поодаль, глядя поверх людей. Его приманивали булками и конфетами, звали к ограждению, но он оставался безучастен. Хобот Хеопса раскачивался, будто тяжелая цепь.

— Думает,— сказал Папазян, посмотрев на слона с грустной любовью.

— О чем? — спросил я.

— О чем, Тиша, все думают? О счастье... Вот сделаете вашу слонику, она вам и расскажет, о чем слоны думают.

Дети бросали Хеопсу конфеты. Слон нехотя подобрал одну, отправил в рот и побрел к ограждению, как на службу. Толпа заволновалась, в слона полетели булки.

— Одинокий он... Старый стал, совсем одинокий,— сказал Папазян, и глаза его подернулись влагой.— Скучно ему, Тиша, понимаешь? Я потому согласился, что жалко его.

— На что согласились? — не понял я.

— На контакт согласился,— важно сказал Папазян.— На контакт. Слонику вашу поместят к нему для общения. Я тебя прошу по-дружески — следите за ней. Боюсь, обидится Хеопс, не переживет. Подсунем куклу вместо человека... то есть слона. Помягче ей характер сделайте, поласковее, Тиша. Понимаешь?

Аветик Вартанович волновался и сопел, глядя, как Хеопс вяло расправляется с булками.

— Думаешь, ему булки хочется? Он тактичный слон, Тиша. Людей не хочет обижать. Люди пришли в воскресенье, хотят слона кормить, радоваться хотят. Он работает...

Мы прошли вдоль клеток и вольеров. Папазян отдувался, бормотал что-то, иногда делал в блокноте какие-то пометки. Звери провожали его глазами.

— С другом и в клетке хорошо,— сказал Папазян.— Можно жить... Жить можно.

Он остановился у клетки, где жили лев с львицей.

— Ахиллес Бенедиктович, дорогой, какие жалобы? — обратился он ко льву.— Мясо свежее?

Лев зевнул и сделал движение, будто пожал плечами.

— Из Ростова пишут, у сына львеночек родился. Дедушкой стали, поздравляю,— серьезно сказал Аветик.

Лев посмотрел на львицу с затаенной любовью. Она подошла к нему и легла рядом.

— Он понимает? — спросил я.

— Ш-ш! — приложил палец к губам Папазян, поспешно отводя меня от клетки.— Обидится смертельно! Подумает, что Аветик профанов к нему во-

дит, — зашептал он. — Прости, пожалуйста! Он все понимает. И все они — все понимают, — раздельно произнес Папазян.

6. МОНТАЖ НЕФЕРТИТИ

Прошло еще два месяца, наступила осень. Мы взяли обязательство — к концу третьего квартала закончить монтаж Нефертити. Я бегал по КБ-квадрат, вернее — летал на лифте с полным реестром всех органов и частей тела слонихи. Это называлось спецификацией изделия.

Я ставил галочки рядом с наименованием готовой продукции. Ее свозили в сборочный цех на первом этаже и раскладывали по порядку.

Глаза слонихи я сам лично доставил на место в кармане. Они были упакованы в полиэтиленовые мешочки. Это были красивые голубые глаза. Когда я положил их рядышком на полку, они равнодушно посмотрели на меня сквозь прозрачную пленку.

«Ты у меня еще поглазеешь!» — с неожиданной злобой подумал я. Вообще, глядя на груды упакованных частей Нефертити, я все более проникался нелюбовью к нашему предприятию. Карл же Непредсказуемый откровенно радовался. Он регулярно заходил на склад готовой продукции и рассматривал органы, повизгивая от удовольствия. Надо сказать, ребята постарались. Желудок, печень, пищеварительный тракт радовали изяществом и экономичностью форм. Наши химики нахимичили в желудке отличный генератор электроэнергии. Желудок мог переваривать любую органику — даже яды. Он из всего вырабатывал постоянный ток напряжением тридцать шесть вольт. Нефертити была низковольтной слонихой — из соображений техники безопасности.

Шедевром технической эстетики был скелет, изготовленный в отделе главного механика. Его выточили из легких титановых сплавов. Я сваливал готовые ребра, берцовые кости и позвонки в блестящую грудку. Они приятно звенели.

Наконец все галочки были поставлены. В сборочном цехе лежала слониха в разобранном виде. В соседнем помещении возвышался огромный гипсовый слон, изваянный Кембриджем. Его использовали как модель для изготовления пластиковой шкуры. Кембридж постарался на славу. Слониха получилась без

всяких формалистических вывертов, слегка кокетливая, с модным удлиненным хвостом.

Ребята из отдела оболочек ползали по гипсовому слону и снимали размеры. Очень скоро скульптура стала серой и блестящей на выпуклостях.

Мои девичьи из отдела координации собирали и систематизировали техническую документацию на отдельные органы. Варвара Николаевна моделировала на ЭВМ переходные процессы.

Здесь, вкратце нужно разъяснить основные принципы работы искусственных слонов. Как я уже говорил, питание Нефертити было электрическим, с генератором в виде желудка. Привод ног, головы, ушей и хвоста осуществлялся на электромоторах со сложной схемой трансмиссий. Система охлаждения гнала по сосудам слона дистиллированную воду. Отходы энергетической системы удалялись так же, как у натуральных слонов. Центром управления был компьютер, помещенный в черепной коробке. Подобно настоящим слонам, Нефертити обладала пятью чувствами — зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Датчики органов этих чувств снабжали мозг информацией. В общем, все примерно, как в природе.

Однако у Нефертити были и нетрадиционные элементы, предназначенные специально для общения с человеком, — небольшая УКВ-радиостанция для дистанционного управления и обмена информацией в телеграфном коде и синтезатор речи, помещенный в хоботе. Антенны радиостанции были вмонтированы в бивни.

Системы самовоспроизведения предусмотрено не было. Ее устройство превосходило наши возможности.

Существовало два режима работы: программный и автономный. В первом режиме Нефертити подчинялась командам, передаваемым по радио, а во втором сама вырабатывала программу поведения, исходя из обстоятельств. Запуск и выключение слонихи были дистанционными. На всякий случай был предусмотрен и механический выключатель. Он находился в хвосте. Нефертити можно было включить и выключить, как тершер, слегка потянув за хвост.

Я добился расширения своего отдела на две штатные единицы и перевел к себе Андрюшу и Мыльникову. Я хотел загладить свою вину. Они поворчали, но согласились. Им обоим было интересно заниматься монтажом и испытаниями.

Как всегда, последние дни перед началом сборки прошли в беготне и ругани. Все время не хватало каких-то мелочей: то ресниц, то позвонка, то круглых гладких ногтей на ноги.

Наконец все было в наличии. Я доложил Карлу о комплектности Нефертити. Карл спустился на первый этаж и заложил первый позвонок в основание скелета. Вокруг стояла монтажная бригада.

— Сегодня мы открываем новый этап эволюции, — сказал Карл. — Нам выпала честь первыми переступить границу, отделяющую живое от неживого. Поздравляю вас, товарищи!

Мы вежливо поаплодировали. Карл вскинул голову и ушел к себе в кабинет.

И началось! Монтажная бригада кинулась к деталям Нефертити, как первобытное племя к поверженному мамонту. Разница состояла в том, что племя обычно растаскивало мамонта на куски, а мы собирались заняться как раз обратным делом.

Два дня мы собирали скелет. Нефертити стала напоминать ископаемый экспонат зоологического музея. Затем мы принялись за механику — привод ног, головы, ушей и так далее. Одновременно с монтажом я испытывал работу отдельных органов. Электромоторы подключили к сети в тридцать шесть вольт, и я заставил скелет Нефертити исполнить легкий танец. Кости весело звенели. Ликованию бригады не было предела.

С каждым днем облик Нефертити менялся. Пустоты заполнялись внутренними органами, соединенными системой трубок и проводов. По ночам мне снились картинки из анатомического атласа. Но спать удавалось редко. Работа велась в три смены.

Пришлось помучиться с синтезатором речи. К тому времени в титановый череп слонихи уже было вставлено управляющее устройство, синтезатор не без труда засунули в хобот, и мы с Андрюшей принялись его настраивать. Мы ввели в память текст детского стишка и потребовали выдать его на синтезатор.

В сборочном цехе наступила мертвая тишина. Все уставились на хобот Нефертити, который был примотан куском проволоки к ближайшей водопроводной трубе. Женщины из моего отдела, прослышав, что Нефертити собирается говорить, тоже прибежали в сборочный цех.

Я включил контрольный магнитофон и сказал:

— Проба синтезатора. Вариант один. Включаю...

В голове Нефертити что-то еле слышно щелкнуло, и из хобота послышался простуженный мужской голос:

— Нафа Тафа хр-хр пафет. У-хр-хр в рефку мя-фик. Тифо Тафочка — не пафь! Не утофет в хр-хр мяф!

— Это Сидоров из четвертого отдела,— сказала Людмила.— Это его голос.

— Естественно,— пробормотал я.— Он производил первичную настройку синтезатора. И еще при насморке... Андрюша, подкрути высокие частоты.

Андрюша покрутил потенциометр, и Нефертити сообщила свистящим шепотом:

— Наса Таса тс-тс пасет...

Потом мы услышали, что «наша Таша пш-пш пашет» и так далее.

— Ребята, надо сменить голос,— решительно заявила Людмила.— Нефертити все-таки женщина.

— Ладно. Будем настраивать на твой тембр,— сказал я.

Людмила, гордясь, двинулась к синтезатору.

— Наша Таня громко плачет,— сказала она голо-сом учительницы первого класса.

Андрюша покрутил потенциометры. После трех-четырёх попыток Нефертити произнесла все четверостишие победоносным голосом Людмилы.

— Не утонет в речке мяч! — с выражением закончила она и, подумав, добавила: — Мяч не утонет согласно закону Архимеда.

Мы слегка остолбенели.

— Тише, Танечка, не плачь, крошка,— закричала Нефертити и рассмеялась интеллектуальным смехом Людмилы, который мне порядочно надоел.

Вероятно, Нефертити была потрясена не меньше нашего открывшимися языковыми возможностями. Отсмеявшись, она принялась тараторить четверостишие на все лады с пулеметной скоростью.

— Выруби ее! — крикнул Андрюша.— Не могу!

И тут я понял, что нам предстоит большие трудности. Я подумал, что мысль сделать Нефертити женщиной была опрометчивой. Я выдернул вилку из розетки, лишив Нефертити дара речи.

— Спасибо, Люся,— сказал я.— Вы свободны.

Женщины ушли разносить по КБ весть о потрясающих речевых способностях слонихи.

— Ничего, мы ее выдрессируем,— угрожающе заметил Мыльников.

Андрюша с сомнением покачал головой.

Вскоре внутренности были собраны, и ребята из отдела оболочек приволокли огромную серую шкуру, которая была похожа на армейскую палатку. Шкура была из мягкого пластика, подверженного искусственному старению. На брюхе она застегивалась на «молнию». Когда ее натянули на Нефертити, морщин было более чем достаточно.

На заключительную операцию сборки, которая состояла в установке бивней, снова явился Карл. Он собственноручно привинтил бивни, отступил на несколько шагов и прошептал:

— Конгениально богу...

Перед нами стоял натуральный слон — совершенно неподвижный, с голубыми, живыми и любопытными глазами, с волосками, торчавшими из толстой складчатой кожи. Удивительно, что он не был похож на чучело, а именно на живого слона, погруженного в полную неподвижность.

— Завтра в девять — полевые испытания,— объявил Карл и отпустил народ. В сборочном цехе остались только мы с ним, не считая Нефертити.

Карл ходил вокруг слонихи, не в силах скрыть восхищение. Он гладил ее по круглым бокам, теребил мягкие уши, привставая на цыпочки, покачивал хобот, который упруго и плавно колебался.

Его волнение передалось мне.

— Знаете, с чего я начал, Тихон Леонидович? — сказал Карл и счастливо взвизгнул. — С мыши Шеннона! На втором курсе института я собрал схему, которая называлась «мышь Шеннона». Это была маленькая тележка на колесах, которая самостоятельно находила путь в лабиринте... Ну, вы этого уже не помните, это было на заре кибернетики. Моя мышь находила дорогу в лабиринте быстрее живой мыши. Не сомневаюсь, что Нефертити превзойдет естественного слона по многим параметрам.

— По каким, например? — осторожно спросил я.

— Она будет сильнее, умнее и надежнее,— сказал Карл.

— Надежнее для кого? — опять спросил я.

Карл непонимающе взглянул на меня.

— Как это? — спросил он.

— Понимаете, когда говорят «надежный чело-

век» — это значит, что он надежный для других людей. На него можно положиться. А надежный слон?..

Карл улыбнулся.

— Идеализм, Тихон Леонидович, — сказал он, дотрагиваясь пальцем до моего плеча. — Надежный человек, надежный слон, надежный автомат суть устройства, способные работать при большом уровне помех.

Карл не ушел домой до утра. Мне было неудобно его покидать, и мы просидели рядом со слонихой в мягких креслах, изредка погружаясь в дремоту, потом просыпаясь, разговаривая за чашечкой кофе и строя фантастические проекты.

— Мы сотрем все грани, — говорил Карл. — Земля будет населена единым сообществом автоматов, животных и людей. Не исключено, что животные под воздействием наших автоматов освоят человеческий язык. Единый язык и единая совокупность живого и искусственного разума!

— А что это даст? — спросил я.

— Ну как же! — воскликнул Карл, одушевляясь. — Автоматы станут переводчиками, они помогут нам понять друг друга. Мы, как щепенка в огромном барабане, тремя острыми углами. Автоматы распространятся между нами как мягкая и умная смазка. Они все поймут и все объяснят.

— Но они же будут учиться у людей?

— Они не всему будут учиться, — холодно сказал Карл. — Их не все будут учить, а лишь люди, обладающие исключительными умственными и моральными качествами.

И он откинулся в кресле, прикрыв глаза.

— Мы первые, — сказал Карл после паузы. — Первыми быть страшно, Тихон Леонидович. Не всем это по плечу.

Я посмотрел на Нефертити. В полумраке сборочного цеха ее фигура высилась черной горой, и только края ушей слегка шевелились, колеблемые ветром потолочных вентиляторов.

7. ИСПЫТАНИЯ

В девять часов утра Нефертити автокраном погрузили на платформу, накрыли брезентом, как пушку, и огромный «Кировец» вывез ее из ворот нашего КБ.

Впереди на черной «Волге» ехал Карл. Позади платформы в «рафике» следовала наша группа.

Мы торжественно проследовали по городу, возбуждая любопытство прохожих.

В десяти километрах от города был оборудован испытательный полигон. Он представлял собою огороженный участок поля размером три гектара с небольшой рощицей. Ограда была бетонная. У ворот полигона была дверь в подземный наблюдательный бункер.

Нефертити завезли на полигон, сняли с платформы и поставили посреди лужайки с копной сена и бетонным бассейном с водой. День был великолепный — апогей бабьего лета. В чистом воздухе плавали длинные мягкие паутинки.

Для начала Нефертити заправили, то есть ввели ей в пасть несколько охапок сена, чтобы мог начать работу химический электрогенератор.

Мы спустились в бункер и прильнули к наблюдательной щели.

— Ключ на старт. Программный режим, — командовал Карл.

— Есть ключ на старт, — отозвался Андрюша. Он был оператором.

— Пять, четыре, три, два, один, — медленно начал считать Карл в мертвой тишине. Он сделал паузу и выдохнул: — Пуск!

Андрюша нажал кнопку, послав в Нефертити импульс запуска.

Слониха не шевелилась. Андрюша передал команду «Шаг вперед». Нефертити была неподвижна, как копна сена.

— Вечно эта электроника! — воскликнул Карл. — В чем дело?

— Сигнал запуска не отработан, — доложил Андрюша.

— Еще раз!

Андрюша повторил запуск с тем же успехом.

— Что будем делать? — строго спросил Карл, обводя взглядом присутствующих.

Я понял, что требуется совершить маленький подвиг. Потребность в маленьких подвигах возникает довольно часто. Особенно когда имеешь дело с электроникой, механикой или экономикой. В данном случае подвела электроника.

Маленький подвиг не любит ждать и не выбирает. К нему не готовишься всю жизнь. К нему вообще не

готовишься. Он может обрушиться на тебя в любую секунду и, если ты оказался рядом, потребовать героизма. Совершая маленький подвиг, становишься маленьким героем по обязанности. Главное — это оказаться в нужный момент на нужном месте.

На нужном месте оказался я. Я сделал шаг вперед и сказал:

— Я пойду и включу ее.

— Каким образом? — удивился Карл.

— За хвост, — сказал я.

— Ах да! Я совсем забыл! У нас же резервирована система запуска, — пробормотал Карл. — Конгенально богу!

Я уже направлялся к выходу из бункера.

— Тихон Леонидович, осторожнее! — сказал Карл. — Эта штука весит три тонны.

Нельзя сказать, что эти слова меня взбодрили. Я вылез наружу и направился по траве к Нефертити, стоявшей метрах в семидесяти.

Над полем парил удивленный коршун. Он наблюдал за испытаниями. По моему лицу скользнула паутинка с легким паучком на кончике. Пахло сырým сеном и почему-то грибами.

«Электронный паучок, электронный коршун, электронные грибы...» — тупо повторял я про себя, приближаясь к Нефертити. Это успокаивало.

Из-под моего башмака выскочила электронная левая мышка и юркнула в норку.

Я подошел к Нефертити и посмотрел ей в глаза. В них было терпеливое ожидание. Отполированные бивни с антеннами внутри смотрели на меня, как дула спаренного пулемета.

— Что же ты, ласточка, работать не хочешь? — ласково обратился я к слонихе. Затем я обошел ее, ощущая себя дрессировщиком в цирке, эффектным жестом взялся за кончик хвоста и потянул его книзу.

Что-то щелкнуло. И сейчас же в брюхе Нефертити заурчало. Это начал работать генератор.

— Назад! — страшным голосом крикнул из бункера Карл.

Чувство собственного достоинства не позволило мне бежать. «Лучше я погибну!» — подумал я, повернулся и не спеша пошел к бункеру. «Только не оглядываться», — приказал я себе. Сзади булькало и урчало.

Через несколько секунд я попал в объятия товарищей.

— Продолжаем работу! — крикнул Карл. — Два шага вперед!

— Есть два шага вперед! — радостно крикнул Андрюша и послал сигнал.

Нефертити подняла правую ногу, потом, немного подумав, опустила ее и начала движение с левой ноги. Она сделала два шага, остановилась и посмотрела в нашу сторону.

— Команды на поворот головы не было! — раздраженно сказал Карл. — Что за самодеятельность!

Нефертити отвернулась.

— Напряжение падает, — сообщил Андрюша, взглянув на контрольный прибор.

— Автоматический поиск и прием пищи, — приказал Карл.

Нефертити, приняв команду, потрусила к ближайшей копне и принялась закидывать охапки сена в рот.

— Ест! — восхищенно выдохнул Карл.

— Напряжение в норме, — объявил Андрюша.

Затем Нефертити, подчиняясь нашим командам, проделала что-то вроде небольшой физзарядки. Она поднимала ноги, махала хоботом и качала головой. Двигательная система была в полном порядке.

— Карл Карлович, может быть, попробуем автономный? — умоляюще сказал я.

— Сам знаю, — сквозь зубы сказал Карл, не отрываясь от щели. Он дал команду, и Андрюша послал слонихе сигнал на включение автономного режима.

Нефертити была впервые предоставлена самой себе.

Она остановилась в задумчивости, потом сорвала хоботом ромашку, поднесла ее к глазам, рассмотрела и лихим жестом заправила за ухо. Затем слониха обвела взглядом местность и направилась к нашему бункеру.

Не доходя нескольких шагов до смотровой щели, она вытянула к нам хобот и дружелюбно сказала голосом Людмилы:

— Тише, Танечка, не плачь!.. Сидоров, закапай нос нафтизином!

— Черт-те что! Сколько мусора оставили в башке! — воскликнул Карл. — Тихон Леонидович, вы не могли стереть всю эту дребедень?

— Все равно скоро засорится,— пожал плечами я.

— Конечно, засорится при общении с вами,— язвительно парировал Карл и прокричал в щель, обращаясь к слонихе:

— Нефертити, иди гуляй! Гуляй!

— А ты кто такой? — внезапно спросила Нефертити.

— Я твой хозяин. Меня зовут Карл,— внятно, как на сеансе гипноза, произнес Непредсказуемый.

— Карл у Клары украл кораллы,— без запинки ответила Нефертити.

Карл поперхнулся. В испытательной группе произошло замешательство.

— Тихон Леонидович,— сказал потерявший юмор Карл.— Сегодня жду от вас объяснительную. Это вам не водевиль, а новый этап в науке.

— Клянусь...— начал я, прижимая ладони к лацканам пиджака.

— Не клянитесь.

«Ох, как я поговорю с Сидоровым! — подумал я.— Конечно, он настраивал синтезатор на скороговорках. Иначе откуда эти кораллы?»

Нефертити тем временем, потеряв к нам интерес, направилась к рощице, попробовала кору берез, пожевала кустики. В движениях ее сквозила некоторая рассеянность.

— Хватит на сегодня,— сказал Карл. — Переводим в программный режим, выключаем и везем обратно.

Но у Нефертити, очевидно, были другие намерения. Во всяком случае, она не отзывалась на наши радиопризывы перейти в программный режим, а щипала листочки на опушке.

Ничего не дала и попытка выключить ее совсем.

Карл одернул пиджак и направился к двери. Его пытались остановить, но он сухо заявил, что рисковать никому не позволит, что он отвечает за все и совершенно уверен в успехе. По всей вероятности, Карла задело панибратское обращение Нефертити, и он решил показать ей *who is who*.

Карл вышел из бункера и зашагал к Нефертити официальной походкой. У него была прямая спина. Нефертити оставила листочки в покое и с любопытством уставилась на Карла. Все-таки нужно было очень верить в силу интеллекта, чтобы решиться на эту корриду!

Карл подошел к слонихе, остановился и что-то сказал ей. Затем он начал медленный обход слонихи, чтобы приблизиться к выключателю. Нефертити взмахнула хоботом, элегантно перехватила Карла поперек живота и одним махом водрузила себе на спину. С Карла слетела шляпа. Слониха подобрала шляпу и рысцой побежала по лужайке. Карл сидел на спине, ближе к голове, и держался за уши Нефертити. Лицо его было сосредоточенным.

Нефертити скакала по лужайке, ликуя и трубя. Время от времени из хобота вырывалось в виде боевого клича:

— На дворе трава, на траве дрова!

Мы окаменели. Ну не стрелять же в нее, в самом деле! Тем более что стрелять было нечем.

Слониха подбежала к воротам, бережно сняла Карла, поставила на ноги и надела на него шляпу. Затем она сделала то, чего уж никто не ожидал. Она изогнулась, насколько позволяла механика, протянула хобот к хвосту и с возгласом «Оп-ля!» сама себя выключила. Она дернула себя за хвост, прекратив тем самым сознательное существование.

Это напоминало крошечное самоубийство.

Карл был чуть бледнее обычного. Ни слова не говоря, он сел в черную «Волгу» и уехал. А мы принялись грузить Нефертити на платформу. Всякие «майна» и «вира» применительно к слонихе звучали немного сюрреалистически.

8. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Результаты испытаний Нефертити вкратце можно было сформулировать следующим образом:

1. Кое-что не работает.
2. Кое-что работает не так, как нам бы хотелось.
3. У Нефертити отсутствуют агрессивные замыслы.

В последнем нас убедила ее проделка с Карлом и последующее самовыключение. А первые два пункта не удивляли, поскольку при работе с самообучающимися системами удивляться не приходится.

Следующим этапом рабочей программы стало обучение Нефертити. Я собственноручно промыл ей мозги, стерев в памяти все скороговорки и стишки, после чего в голове Нефертити стало пусто, как у первокурсника перед экзаменом.

Предстояло заполнить голову полезной информацией.

Словарь и набор правил грамматики мы переписали с магнитной ленты нашего вычислительного центра. Оттуда же мы взяли набор магнитных дисков, на которых была записана информация по важнейшим отраслям знаний. Все это мы ввели в память слоники. За неделю Нефертити прошла путь познания от грудного младенца до выпускника вуза.

Дальше мы стали учить ее человеческому общению. Эту стадию уже нельзя было формализовать, поэтому со слонихой занимались индивидуально. Были организованы три курса общения, которые шли параллельно.

Карл общался со слонихой два часа в день по общим вопросам. Непредсказуемый, как всегда, максимально засекретил свою деятельность. Он спускался на первый этаж, выгонял всех и начинал урок. Через два часа, обычно в приподнятом настроении, он возвращал Нефертити нам и удалялся в свой кабинет.

Наша тройца — Мыльников, Андрюша и я — общалась с Нефертити по специальным вопросам и проблемам литературы и искусства. Женская часть моего отдела вступала вслед за нами и болтала на бытовые темы: семья, дети, прачечная, химчистка, магазин.

Обычно первым нашим вопросом к Нефертити было:

— О чем вы сегодня разговаривали с шефом?

Слониха признавала только термин «шеф» или по имени-отчеству. Карл сумел внушить ей безграничное уважение.

— Мы говорили... Мы говорили об эволюции, — томно сообщала нам Нефертити. Она произносила это с такой интонацией: «Вам все равно не понять».

Или она говорила:

— Мы с шефом обсуждали планы проникновения.

— Куда? — спрашивал я.

— В область подсознательного! — торжествующим голосом говорила слониха.

Мы с Андрюшей беззвучно ругались и начинали свой симпозиум. Особенно меня бесило то, что Нефертити разговаривала голосом Людмилы.

Поговорив два часа о творчестве Достоевского или о функциях Бесселя, мы несколько прибирали ее к рукам и добивались должного внимания и уважения. Но первые полчаса после Карла были невыносимы.

Однажды Нефертити сообщила:

— Карл Карлович сетовал на интеллектуальный вакуум.

Она так и сказала: «сетовал». Я скрипнул зубами от злости.

— Где? — спросил я.

— Что — где? — высокомерно спросила слониха.

— Где находится этот вакуум, на который он сетовал? — ядовито перевел Андрюша.

— В окружающей нас действительности.

— Дура! — выкрикнул Мыльников и выбежал из помещения.

— Что значит «дура»? — поинтересовалась она.

— Дура — это значит неумная женщина, — произнес Андрюша.

— Да, женщины, как правило, чрезвычайно неумы, — вздохнула Нефертити.

Андрюша выбежал за дверь без слов. Я представил, как они с Мыльниковым курят сейчас на лестничной площадке и кроют Нефертити в хвост и в гриву. Им хорошо!..

— Ну и что же вы с Карлом решили насчет вакуума? — спросил я, стараясь сохранять спокойствие.

— С Карлом Карловичем, — поправила слониха. — Увы, это безнадежно! Таков удел всех гениальных умов — находиться в атмосфере интеллектуального вакуума.

— В атмосфере вакуума! — передразнил я ее. — Ты хоть выражайся по-русски!

— Я вижу, что тебе трудно понять, — сказала она.

Вот такое было у нас общение. У женщин дело шло как по маслу. Нефертити не была с ними высокомерна. Она быстро научилась надевать маску «души общества», и они втроем (без Варвары) неумоимо чесали языки. Как-то раз я застал следующую картину.

Людмила и Галочка, развалившись в креслах, пили чай, а Нефертити стучала отростком хобота по клавишам Галочкиной машинки. Машинка стояла на столике, придвинутом к морде Нефертити.

Я подошел и заглянул в листок. Там были стихи:

Зачем любовь незримо правит миром?

Я говорю, лобзая и стыдясь:

— О да! Ты был, ты был моим кумиром,

Но порвалась пленительная связь!

Я подождал, пока она допечатает «пленительную связь», и вытащил листок из машинки.

— Что это? — спросил я, помахивая листком.

Нефертити выхватила листок у меня из рук и положила себе на спину — так, чтобы я не мог до него дотянуться.

— Тиша, не мешай нам, — сказала она игриво.

— Это стихи, Тихон Леонидович, — невинно произнесла Галочка. — Нам с Тити нравится.

Она сказала «Тити» на французский манер с ударением на последнем слоге.

В это время зазвонил телефон. Нефертити подняла трубку хоботом и поднесла к уху.

— Я слушаю, — сказала она.

Я не сразу сообразил, что слониха работает в автономном режиме. На наших уроках она тоже работала автономно, но двигательные органы мы отключали.

— Здравствуй, Софочка! — воскликнула Нефертити. — Нет, сейчас выйти не могу. У нас урок с Нефертити. Она передает тебе привет... Спасибо... Да, бери сорок шестой, если финские, а если итальянские, то сорок восьмой... И колготки тоже. Я потом отдам с полочки... Ну, целую!

Нефертити повесила трубку. Галочка и Людмила смотрели на меня, ожидая реакции.

— Это кто? — спросил я, кивнув на телефон.

— Софочка, моя школьная подруга, — сказала Людмила. — Тити разговаривала за меня.

— Видишь ли, Тиша, мы нашли общий язык. Правда, девочки? — сказала Нефертити. — Тебе что-нибудь не нравится?

— Я в восторге, — сказал я и дернул ее за хвост. Нефертити вырубилась.

— Как вы можете, Тихон Леонидович! — со слезами на глазах закричала Галочка. — Она ведь живая! Это произвол над личностью!

— Произвол над личностью — это воспитание интеллекта в мещанском духе, — сказал я. — Неужели мы старались для того, чтобы совершеннейший мозг был забит колготками, пошлыми стишками и прочей ерундой?

— Она сама уже может выбирать, что ей нужно, — сказала Людмила. — А вы, Тиша, ведете себя как деспот. Тити не принадлежит вам. Это не ваш семейный буфет, извините.

Я снова включил Нефертити.

— Ладно, Тихон, — сказала она. — Я это тебе припомню.

Мне показалось, что цели, которые мы ставили перед курсом обучения, уже достигнуты. Может быть, они даже превышены. Я пошел к Карлу и изложил ему свое мнение. Пора кончать общение с Нефертити и запускать ее к настоящему слону. Иначе в скором времени она пошлет нас подальше. Образование вредно сказывалось на ее характере.

— Да-да,— сказал Карл.— Она стала заноситься. Вчера она сделала мне замечание. Она сказала, что такие галстуки, как у меня, уже не носят.

Решено было через два дня начать контакт с Хеопсом. Я успел показать Нефертити кинофильм о жизни слонов в Африке. Кинофильм тронул меня до слез. Там показывали старую слониху с детенышем. Слониха умирала, и слоненок оставался один. Он беспомощно тыкался в лежавшую на земле умирающую слониху.

Нефертити осталась равнодушной.

— Не переживай за слоненка,— сказала она.— Его спасет съемочная группа, которая снимала фильм.

— Но ты-то хоть ощущаешь себя слонихой?! — воскликнул я.

— Не более, чем ты,— ответила она.— Интересное дело! Упрятали меня в шкуру слона... По-твоему, форма определяет содержание?

— Нет. Но они едины.

— Интересно, что бы ты сказал, если бы имел форму воробья, а соображал бы на том же уровне, что сейчас?.. А?

— Сейчас вырублю! — предупредил я.

— Конечно, чего от тебя можно ожидать! Но это не аргумент в споре, учти.

Признаться, она мне здорово надоела. Я уже мечтал поскорее запустить ее к Хеопсу, пускай он с нею разбирается. Хотя ждал от этого эксперимента самого худшего. Мне было стыдно подкладывать Хеопсу такую свинью.

Накануне контакта я пригласил в КБ Папазяна. Он пришел с мешочком, в котором была крупная очищенная морковь. Я познакомил их.

— Папазян,— сказал Аветик Варганович.

— Нефертити,— представилась слониха, подавая Папазяну хобот, точно для поцелуя.

Папазян протянул ей морковь. Нефертити посмотрела на него иронически, но морковь взяла.

— Я хотел бы рассказать вам о Хеопсе...— начал Папазян.

И он изложил ей биографию Хеопса, его вкусы и привычки. Аветик рассказывал тихо, с доброй, доверительной интонацией, будто говорил о любимом брате. Трудная и одинокая жизнь Хеопса раскрылась передо мною с такой неожиданной пронзительностью, что я тут же хотел бежать к Карлу и умолять его отказаться от нашей затеи. Мне было жалко Хеопса.

— Напрасно вы так одушевляете слона,— заметила Нефертити.— Это пахнет антропоморфизмом. Уверяю вас, ничего подобного он не чувствует.

— Увидите. Все увидите,— сказал Папазян.— Вы уж с ним поласковой...

— Я постараюсь,— сухо сказала Нефертити.

Папазян оставил ей мешочек с морковкой, и мы вышли на улицу.

— Ну как? — спросил я.

— Умна,— сказал Папазян.

— Слишком умна! Не понимает только ни черта! — выругался я.— Боюсь, что мы нанесем Хеопсу психическую травму.

— Не бойся, Тиша,— сказал Папазян.— Хеопс тоже не дурак. И потом он — личность,— тихо добавил Папазян.— Посмотрим.

Я вернулся в цех. Нефертити отдыхала в выключенном состоянии. Рядом с ней лежал пустой мешочек Папазяна. Вокруг суетились монтажники и операторы, готовя слонику к завтрашнему эксперименту.

9. КОНТАКТ

До ворот зоопарка Нефертити довезли под брезентом. Там брезент стянули, включили слонику за хвост и приказали — в программном режиме — идти в слоновник, следуя за Папазяном.

Вокруг стала собираться толпа. Нефертити сошла с платформы и двинулась за Аветиком Вартановичем. Сзади тащился хвост любопытствующих и участников эксперимента. Две операторские группы фиксировали происходящее телекамерами. Одна была с телевидения, а вторая — научная, из нашего КБ. Все стадии эксперимента записывались на видеоманитофон.

День был хмурый и ветреный. Температура плюс семь. Звери жались по углам клеток и провожали слонику взглядами.

Открыли железную калитку слоновника, сваренную из двутавровых балок, и Нефертити вошла в вольтер. Она остановилась посреди площадки, ожидая дальнейших указаний.

— Перевести в автономный! — скомандовал Карл.

Андрюша нажал кнопку на портативном пульте управления и перевел Нефертити в автономный режим. Она оглянулась на толпу, махнула хвостом и двинулась к дому, где укрывался Хеопс. Не успела она сделать двух шагов, как из дома вышел Хеопс. Он не спеша подошел к слонихе и остановился. Операторы прикинули к камерам. Я видел, как волнуется Карл. У него задергалась щека. Папазян стоял, как всегда, печальный.

— Сейчас он ее расколошматит! — восторженно заметил какой-то мальчик из зрителей.

Но слон, постояв несколько секунд, дотронулся хоботом до уха Нефертити, медленно повернулся и зашагал обратно к дому. У входа он обернулся, как бы приглашая слониху следовать за ним. Нефертити провинялась. Они вошли в дом.

— Запрос! Передавай запрос! — подскочил Карл к Андрюше.

«Что делаете?» — передал Андрюша по радио.

«Едим отруби», — ответила Нефертити.

«Он ничего не подозревает?»

«Кто его знает?» — философски ответила слониха.

Научная съемочная группа кинулась на крышу слоновника, где было оборудовано специальное окно для наблюдений. Они всунули в окно телекамеру и принялись снимать.

Мы пошли в вагончик, где стоял монитор. На экране можно было видеть в полумраке спины слонов. Они стояли рядышком и заправлялись отрубями. Сверху невозможно было различить, кто из них живой, а кто искусственный. Затем один из слонов отправился в угол, где в огромном баке лежала свекла. Он взял хоботом одну свеклу и пошел обратно. Тут мы увидели, что это Хеопс. Он протянул свеклу Нефертити. Та взяла и съела.

«Ответь любезностью на любезность», — передал нетерпеливый Карл.

«Не учите меня жить», — ответила Нефертити.

— Выключай передатчик, — скомандовал Карл Андрюше. — Пускай работает самостоятельно.

Хеопс подтащил весь бак со свеклой к ногам

Нефертити. Слониха стала благосклонно есть свеклу.

«Следующий сеанс связи завтра утром, в десять ноль-ноль, — передал Андрюша. — Всего хорошего!»

«Пока!» — ответила слониха.

Андрюша выключил приемопередатчик. Теперь следовало ждать. Мы здорово замерзли, и Папазян предложил пойти к нему домой погреться. Остались только операторы на крыше, которые подогревали себя жидкостью из термоса. Что в нем было — неизвестно. Толпа расплзлась. Мы вчетвером пошли к Папазяну. — Скажи, Карлуша, чего ты ожидаешь от опыта? — спросил Папазян, наливая нам кофе.

— Она должна овладеть его языком, — сказал Карл. — Так же, как нашим. И научиться переводить... Неизвестно, правда, сколько времени ей понадобится.

— А дальше?

— Дальше мы начнем с ним разговаривать через нее. Проверим его умственные способности.

— Будь спокоен, — сказал Папазян. — Их хватит на нас обоих.

Карла передернуло.

— Ну, знаешь! Может быть, твой Хеопс возглавит КБ или зоопарк?

— Ему не нужно, — сказал Папазян. — Он выше этого.

Карл принужденно рассмеялся, сводя слова Папазяна к шутке. Но Папазян не шутил.

Начались однообразные рабочие будни. Наша группа следила за контактом, регулярно выходя на связь с Нефертити, а КБ во главе с Карлом уже занималось другой темой. Собственно, тема была в принципе та же, но изменился объект. Карл начал проектировать искусственную кошечку. Это был шаг вперед в смысле миниатюризации. Кроме того, имелись широкие возможности контакта со всеми котами города.

Узнав об этом, моя мама заочно влюбилась в Карла и стала готовить Пуританина к контакту.

Нефертити же работала, на мой взгляд, без должного увлечения. Ежедневно она передавала короткую сводку: «День прошел без происшествий. Овладела сигналами тревоги, голода и отбоя ко сну. Много ели. Купались в бассейне. Как там девочки поживают?»

Или что-нибудь в этом роде.

Короче говоря, она не спешила становиться слонихой,

Наступила зима. Операторы, одетые как полярники, сменяли друг друга на заснеженной крыше слонобани. У нас накопилось несколько километров видеоленты. Временами мы просматривали фрагменты в кабинете у Карла.

Едят, пьют, спят стоя, купаются, обливают друг друга водой из бессейна. Хеопс гладит Нефертити хоботом...

«Я узнала, что он родился в Африке и очень хорошо представляет эту местность», — однажды передала Нефертити.

«Как ты узнала?» — тут же передали мы.

«Не знаю. Вы думаете, он мне рассказал по-человечьи? Ошибаетесь. Я не знаю. Не могу объяснить».

«Какие были сигналы? Звуковые, осязательные?»

«Вкуссовые», — передала она.

Мы рассказали о разговоре Карлу. Он возбудился, стал генерировать какой-то вздор насчет информационного поля, потом устал. А Нефертити продолжала выдавать загадки.

«Мораль у слонов значительно отличается от нашей», — докладывала она.

От чьей — нашей? Мы только плечами пожимали. Неужели она считала себя человеком? На каком основании?

«А что такое любовь?» — как-то спросила она.

Вот тебе и раз! Вроде бы мы это проходили. Что тут отвечать? Андрюша как-то неубедительно выкрутился.

Эксперимент затягивался, обрастал слухами. Прошла волна возбуждения, слонов несколько раз показывали по местному телевидению, успокаивая население уверенными фразами: «Самочувствие слонов хорошее. Программа контакта успешно продолжается».

Куда она продолжается — никто не знал.

К весне у нас была куча материалов — пленки и стенограммы разговоров со слонихой, обрывки сведений о слонах, об Африке... Описание какого-то товарного вагона, на котором тридцать лет назад привезли Хеопса в наш город... Запись беседы Нефертити с Людмилой и Галочкой. Они вволю потрепались полтора часа, причем Нефертити после этого заметно оживилась. Но полезной систематической информации не было. Нефертити никак не могла овладеть искусством передачи сообщений от себя Хеопсу. Его она с грехом пополам понимала, ему же сказать ничего не могла.

Контакт был односторонним.

Папазян заходил в слоновник довольно часто. Мы наблюдали за его действиями на экране видеоманитона. Аветик Вартанович отодвигал железную дверь и входил внутрь. Он улыбался, что-то говорил (звука на пленке не было), похлопывал слонов по бокам, угощал яблоками. Присев на перевернутый бак, он доставал газету, водружал на нос очки и читал вслух, посмеиваясь. Слоны слушали. Нефертити несколько раздражали эти визиты.

«Папазян читал статью о международном положении. Комментировал довольно поверхностно и не совсем политически грамотно, — передавала она. — Может быть, он забыл, что имеет дело с мыслящим существом?» — обижалась слониха.

Существом... Это было нечто новое.

Как-то быстро и неожиданно наступила весна. Потеплело в воздухе, просохла земля, из веток полезли листочки. Слоны стали выходить на открытую площадку и общаться с посетителями зоопарка. Хеопс, спокойный и величавый как всегда, подходил к полосе железных шипов, поднимал хобот, трубил, принимал булки и сладости. Нефертити заметно нервничала. Было видно, что общение с посетителями угнетает ее.

«Не понимаю, — раздраженно сигнализировала она, — почему я должна корчить рожи и унижаться, как в цирке, перед людьми, стоящими ниже меня по интеллекту? Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не наговорить им всего, что я о них думаю. Только чистота эксперимента заставляет меня молчать. Хеопс странный! Взрослый слон — и никакого достоинства. Неужели ему не противно это фиглярство?»

При встрече я рассказал Папазяну о возмущении слонихи.

— Не понимает, ай-ай! — сокрушенно воскликнул Папазян. — Он от доброты и мудрости так себя ведет. Чтобы детям было приятно. А вашей Нефертити этого то и не хватает. Правда, за зиму она стала лучше, — заметил Аветик Вартанович.

Но Нефертити, словно желая опровергнуть это мнение, вдруг резко стала сдавать. В сообщениях все чаще проскальзывали истерические нотки. Ее раздражало все: Хеопс, посетители, служители, наши запросы, пища. Ей хотелось читать литературные журналы и смотреть кино.

Вдобавок Хеопс тоже стал меняться. Может быть, весна подействовала на старого слона, но в Хеопсе зазвучали дремавшие лирические струны. Стоило посмотреть, как он, выбрав из подарков зрителей лучшую булку, подносил ее Нефертити. Толпа была в восторге. Однажды Хеопсу кинули букет цветов, и слон галантно протянул его слонихе. Мне показалось, что он расшаркивался при этом задней ногой. Слава богу, у Нефертити хватило ума не проглотить этот букет, а нанизать его себе на бивень.

«Он говорит о слонятах, буквально бредит слонятами... — стала все чаще докладывать Нефертити. — Я не понимаю — зачем? И все время гладит меня хоботом. Спасу нет!»

Хеопс не только гладил Нефертити, но и сплетал хоботы вместе в тугий узел и долго стоял так, будто окаменев. Терпение слонихи истощалось.

Развязка наступила внезапно.

Однажды утром на очередном сеансе связи Нефертити передала следующий текст: «Требую немедленно освобождения из зоопарка. На размышление даю полчаса. В случае отказа самовыключаюсь».

«Что стряслось?» — передали мы.

Она повторила то же самое, слово в слово.

Мы помчались к Карлу. Он тут же вызвал операторов видеозаписи. Как назло, в эту ночь съемки не велись — телекамера была на профилактике. Что там у них произошло с Хеопсом — поди догадайся!

— Надо вести ее в КБ, — сказал Карл. — Если она дернет себя за хвост, контакт будет сорван.

Мы сообщили слонихе, что принимаем ее условия. Через два часа она снова была в КБ на первом этаже — там, где ее собирали.

Попытка поговорить с нею по душам никакого успеха не имела. Нефертити мрачно сказала: «Оставьте меня в покое», — и выключила себя.

— Пускай отдохнет. Нагрузка на ее психику была слишком велика, — сказал Карл.

Мы закрыли помещение на ключ и удалились, чтобы обсудить положение. Обсуждение было долгим и бесплодным. В конце концов ограничились выводом: «Поживем — увидим».

Папазян тоже был на совещании. На наши вопросы — как это все можно объяснить биологически? — он лишь загадочно ухмылялся.

В тот день я пришел домой раньше обычного. Покармлил Пуританина и маму, принял ванну и неожиданно для себя оказался втянутым в диспут о поступке Нефертити. Диспут проходил на нашей коммунальной кухне. Иван Петрович варил кофе, Лидия в халатике что-то жарила на сковородке, а я давал показания им и маме.

Общественность уже знала о возвращении Нефертити. Сло니ху провезли по улицам среди бела дня. В спешке даже забыли про брезент. Естественно, что слухи распространились сразу.

Я коротко изложил факты. Интерпретация соседей была различной.

— Прекрасно ее понимаю,— сказала Лидия.— Старый слон. Грязный слоновник. Ни поговорить, ни почитать... Я удивляюсь, как она выдержала там целую зиму.

— А каково ему? — вздохнул Грач.

— Перегопчется,— заметила Лидия.

— Да, молодежь теперь ищет, что поинтересней. Чувства их не волнуют,— сказала мама.

— При чем здесь молодежь? Речь, кажется, идет о слонах,— сказала Лидия и вышла со сковородкой.

— Значит, она снова поступила к вам на баланс...— задумчиво сказал бухгалтер.

Я сказал, что плохо понимаю насчет баланса. Разве дело в балансе?

— Кормить ее надо, ухаживать. Это стоит денег.

— В общем, сын, ваша затея провалилась,— резюмировала мама.— Смотрите, чтобы так не произошло с кошечкой. Ее надо научить приносить котят.

— Легко сказать! Это сложнейшая техническая проблема,— сказал я.

— Ну уж! — засмеялась мама.

Я заснул поздно. Ночью меня разбудили звонки в дверь. Звонили два раза — значит, к нам. Я быстро оделся и вышел в прихожую обеспокоенный. Ночные звонки тревожат.

Из своей комнаты выглянула испуганная Лидия.

На всякий случай я посмотрел в дверной глазок. Там была сплошная темень. Я приоткрыл дверь и выглянул. На широкой лестничной площадке возвышалось нечто бесформенное и грандиозное — почти до

потолка. Я раскрыл дверь пошире и увидел слона. Это был Хеопс.

Он угрюмо стоял перед дверью, ожидая, когда я его впущу. Пауза длилась несколько секунд. Я отступил назад и сказал:

— Прошу...

Хеопс, осторожно ступая, вдвинулся в прихожую и заполнил ее всю. Лидия, продолжавшая выглядывать из двери, сделала круглые глаза.

— Ох! Да куда ж это... — охнула она.

Я махнул на нее рукой и открыл дверь своей комнаты. Жестом я пригласил Хеопса туда. Он вошел. Я успел подумать, что это счастье — жить в старом доме с высокими потолками и двустворчатыми дверями. В нынешних квартирах трудно принимать слонов.

Я тоже вошел в комнату. Хеопс стоял посередине, свесив хобот. Его глаза тревожно смотрели на меня.

— И что же будем делать? — спросил я.

Хеопс, естественно, ничего не ответил. Я посмотрел на часы. Была половина четвертого. Внезапно из-под тахты выпрыгнул Пуританин и черной молнией взвился на шкаф. В его глазах сверкали искры ужаса.

— Ладно, Хеопс, не бери в голову, — сказал я. — Утром разберемся.

Заснуть, конечно, не удалось. В темной комнате тяжело вздыхало тело Хеопса. Я ворочался на тахте, то закрывал, то открывал глаза. Потом встал и принес Хеопсу яблоко. Моей руки коснулся теплый и мягкий кончик хобота. Яблоко исчезло с ладони.

Утром я выскочил в коридор и поймал Лидию в тот момент, когда она провожала незнакомого мне молодого человека.

— Если кто-нибудь узнает о слоне — будет плохо, — грозно сказал я. — Я расскажу ему, и он перевернет все вверх дном. Понятно?

— Понятно, понятно... — закивала Лидия.

Молодой человек тоже кивнул. Он хотел кивнуть небрежно — подумаешь, мол, о чем тут говорить! Слон в квартире! Но согласие вышло принужденным.

Затем я предупредил маму: Грачу — ни слова. Мама отнеслась к появлению Хеопса спокойно. Все-таки ничего, кроме ковриков, маму по-настоящему не волнует.

После этого я позвонил Папазяну.

— Что новенького, Аветик Вартанович? — осторожно спросил я.

— Новеньким, Тиша, залиться можно! По самую крышу! — возбужденно прокричал Папазян. — Хеопс пропал!

— Как?

— А вот так. Ночью сорвал с крыши сарая оцинкованный лист, положил его на шипы и вышел, как по мостику. След собака не взяла.

— Какая собака?

— Овчарка милицейская. Его уже вся милиция ищет. Слон в городе, представляешь! Прости, Тиша, мне некогда сейчас, позвони позже...

Не знаю — почему, но я не сказал правды Аветику Вартановичу.

Хеопс все так же понуро стоял посреди моей комнаты. Светильник, подвешенный к потолку, упирался плафонами в его темя. В глазах слона была страшная тоска. Он словно хотел что-то сказать мне — и не мог. Он был бессловесной тварью, которой суждено страдать молча.

— Что-нибудь придумаем... Что-нибудь... — твердил я.

Слон начал медленно раскачивать хоботом. Серая толстая труба тяжело летала по комнате, аккуратно избегая встречи с мебелью. В комнату вошла мама.

— Сын, слоника нужно покормить, — сказала она.

Я не ожидал от мамы такой чуткости. Позвонил в КБ, сказал, что приду позже, а сам взял пустой рюкзак и побежал в овощной магазин. Рюкзак я набил морковкой и репой. Когда я вернулся, Хеопс отдыхал, стоя на коленях, а мама творчески работала. Она шила портрет Хеопса в интерьере. Позвякивали ножницы в маминых руках, на пол падали цветные лоскутки, строчила машинка.

Фантастическая картина — слон на фоне книжных полок — возникала под мелькающей иглой.

Я положил перед Хеопсом рюкзак. Мама встала из-за машинки и позвала меня в коридор.

— Сын, пойди и поговори с ней, — сказала она. — Объясни ей ситуацию. Невозможно — он так страдает!

Я опять почувствовал себя бессловесным идиотом. Неужели я сам не мог до этого додуматься?

— Я побуду с ним, — сказала мама.

Я побежал в КБ. По дороге я набил портфель репой, чтобы заправить Нефертити. Я сомневался, что ее догадались покормить.

Так оно и было. Слониха стояла выключенной в пустом помещении сборочного цеха. Она уже никого не интересовала. Я высыпал ей в пасть репу и дернул за хвост.

— Привет,— сказал я.— Как настроение?

— Убийственное,— сказала она.

Я очень осторожно рассказал о ночном визите Хеопса.

— Он сидит у меня. Настроение у него тоже не ахти,— сказал я.

И вдруг слониха, молчавшая, пока я рассказывал, зарыдала в голос. Из синтезатора речи лились всхлипывающие звуки. Кто учил ее этому? На искусственных глазах Нефертити появились слезы. Ничего такого для слез не было заложено в ее схему. Это я знал точно.

— Что вы сделали?.. Что вы наделали! — рыдая, говорила она.— Я не знаю — кто я! Не слон, не человек, не женщина, не слониха... Что я могу ему дать? Мне кажется, я научилась его понимать... Но я не могу, не умею быть ласковой с ним. Это значит — обманывать его, обещать больше, чем я умею... Провались вся ваша наука!

— Перестань... Ну, пожалуйста, перестань!..— говорил я, гладил ее по хоботу, и мне казалось, что он теплый, согретый живой кровью.

— Разберите меня,— тихо попросила она.— Я так не могу.

— Это пройдет, держись,— сказал я.— Очень непросто быть понимающим существом — слонем, человеком. Тяжело это. Ты должна стать слонихой. Во что бы то ни стало...

— Вряд ли я сумею,— сказала она.

Я пошел к Карлу и спросил, что будем делать дальше. Естественно, о Хеопсе я помалкивал.

— Все уже решено, Тихон Леонидович,— сказал Карл.— Эксперимент завершен, мы получили много данных. Надо их обрабатывать и включаться в работу над нашим котеночком.

— А Нефертити?

— Мы передаем ее на Выставку достижений. Я уже договорился. Завтра отгружаем ее в Москву. Неплохая реклама для КБ, как вы считаете?

— И что же она будет там делать?

— Демонстрировать свои способности трудящимся. Ей есть что показать.

— Так-так... — сказал я. — Так-так...

План созрел у меня в голове мгновенно. Я не колебался ни секунды, хотя знал, что это будет, вероятно, моя последняя акция в КБ. Но игра, безусловно, стоила свеч.

11. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Прежде всего я достал дубликат ключа от помещения сборочного цеха. Это не составило особого труда. Затем я пошел домой. Мама уже вышла портрет Хеопса. Коврик висел у меня над тахтой. Округлая фигура слона из серого бархата и цветные полосы, изображавшие книги, шкафы, стулья. Слон выглядел беспомощным в городской квартире.

Я переоделся, быстро поел и отправился готовить операцию. Я разведывал безопасный путь и устранял преграды. В одном месте пошире распахнул ворота, в другом отодвинул бревно.

По улицам носились милицейские мотоциклы в большом количестве. Поиски слона были в разгаре.

Мне хотелось действовать в перчатках, как преступнику, чтобы не оставлять следов.

Вечер прошел в томительном ожидании. В полночь я надел плащ и сказал Хеопсу:

— Пошли. Только тихо...

Мы осторожно спустились по лестнице и вышли на улицу. В нашем городке рано ложатся спать, поэтому на улице не было ни души. Мы пошли разведанной тропой, избегая главных улиц, по дворам и переулкам. Громада Хеопса неслышно ступала за мной.

Наконец мы пришли к воротам КБ. Я рассчитал точно — только что сменился вахтер. Заступивший на пост старик в форме стрелка ВОХР вышел из своей будочки и удивленно уставился на мой пропуск. В пропуске стоял штампик на право прохода в КБ в любое время суток.

— А это? — растерянно спросил он, кивая на слона.

— Разве вас не предупредили? — спросил я небрежно. — Я прогуливал Нефертити согласно программе.

Он повертел головой и отправился открывать ворота. Створки запирались со двора на железный засов. Лязгнуло железо в ночной тишине, и Хеопс прошел во двор.

Я повел его к дверям сборочного цеха. Долго возился с замком. Хеопс заметно волновался. Крупная дрожь пробегала по его телу. Наконец двери распахнулись. Я хотел деликатно включить Нефертити, но Хеопс опередил меня. Он сразу направился к ней, провел хоботом по спине и осторожно потянул за хвост.

Щелкнул выключатель.

«Господи, он все знает!» — подумал я.

Нефертити повернула к Хеопсу голову, их хоботы встретились, поднялись вверх, сплелись в замысловатый узел и замерли.

Я поспешно вышел во двор и закурил.

Прошло полчаса, потом час. За дверью не было слышно ни звука. Я терпеливо ждал и надеялся. И вдруг я услышал тяжелые шаги, дверь распахнулась, и в проеме показалось могучее тело Хеопса. Он вышел не оборачиваясь. Нефертити шла за ним.

Они направились к воротам. Я пошел рядом, стараясь не смотреть на них, будто боялся спугнуть.

Обезумевший вахтер снова выскочил из будочки. На него надвигались две гигантские тени. Не хотел бы я быть на его месте.

— Куда?! — закричал он, размахивая руками. — А пропуск?.. Почему два? Вынос материальных ценностей... — шепотом закончил он, провожая слюнов глазами.

Хеопс уже был у ворот. Он играючи отодвинул засов одним движением хобота и распахнул створки.

Слоны выплыли со двора, как корабли из шлюза. Я последовал за ними. Вахтер что-то бормотал, схватив меня за рукав, но Хеопс замедлил шаг, оглянулся и внимательно посмотрел на вахтера. Пальцы того сами собою разжались.

Мы пошли в зоопарк по ночному городу. Жаль, что этого шествия никто не видел.

Сторож зоопарка тоже чуть не тронулся, увидав слонов. Но пришел в себя быстрее, потому что впускать материальные ценности легче, чем выпускать.

Через пять минут мы были у слоновника. Из-за облака выглянула полная луна. Спины слонов отливали серебром. Хеопс нашел доску и положил ее на шипы. Оба слона перешли по доске на свою площадку. После этого Хеопс швырнул доску подальше, и она расколосась.

Они встали на площадке в лунном свете и поверну-

лись ко мне. Прекрасная пара слонов. Они подняли хоботы и мягко протрубили мне на прощанье. Трубящие слоны приносят счастье, как говорил Карл. Теперь я знал, о чем они трубят.

— Счастливо! — прошептал я, махнув им рукой.

Я шел по ночному городу, и на душе у меня было хорошо. Первый раз в жизни я почувствовал, что сделал стоящее дело. Это так редко бывает!

Но за хорошие дела нужно платить. Расплата наступила уже на следующий день. Так сказать, не отходя от кассы. Конечно же, разразился жуткий скандал. Меня вызвал Карл, топал ногами по ковру и кричал, что он во мне ошибся, что я даже не псевдоученый, а хуже — антиученый. Он заявил, что я должен покрыть убыток в три миллиона рублей, заплаченных нам за Нефертити, если ее не удастся извлечь из словника.

В общем, чепуха какая-то.

Кончил он традиционным предложением писать заявление по собственному желанию. И то лишь руководствуясь чисто гуманными соображениями. Меня следовало отдать под суд за использование служебного положения в преступных целях.

Я пошел писать заявление, а группа специалистов во главе с Карлом выехала в зоопарк, чтобы разработать методику похищения Нефертити.

С заявлением я справился быстро и тоже поспешил в зоопарк. Меня тревожили их планы. Было бы обидно, если бы моя затея провалилась.

У словника толпились эксперты. Я заметил, что площадка уже наполовину огорожена забором из толстых сварных железных прутьев. Сварщик с автогеном брызгал искрами металла. Этот забор устанавливали по требованию милиции, как я потом узнал.

Андрюша безуспешно обстреливал Нефертити запросами. Слониха не реагировала.

В толпе был и Папазян. Он издали подмигнул мне, пряча улыбку. Я понял, что Аветик рад такому стечению обстоятельств. Слонов на площадке не было.

Я подошел ближе к специалистам. Карл демонстративно повернулся ко мне спиной. Они обсуждали планы выключения Нефертити ночью во время сна, изоляции от Хеопса и изъятия с помощью вертолета. Хеопса предполагалось усыпить искусственно.

Слоны вышли из дома и стали резвиться. Настроение у них было великолепное. Они прыгали по пло-

щадке, шлепали друг друга хоботами, радостно трубили и угощали друг друга булками.

Сварщик приваривал очередной прут. Внезапно Нефертити, как бы шутя, подскочила к ограде и легким движением выхватила автоген из рук сварщика. Он растерялся, поднял голову в маске, из-под нее слышались его крики. Никто глазом не успел моргнуть, как Нефертити поднесла горелку к своему хвосту у самого его основания. Вспыхнул сноп искр, и хвост отвалился. Нефертити вернула автоген, посмотрела на экспертов уничтожающим взглядом и вернулась к Хеопсу.

Хвост с выключателем лежал на земле. Нефертити обрезала его, навсегда сварив провода, ведущие к выключателю. Она соединила их накоротко пламенем автогена. Выключить ее теперь стало невозможно.

Когда это дошло до сознания Карла (понадобилось несколько секунд), он впал в бешенство и накинулся почему-то на Папазяна.

— Аветик! Это государственное дело! Нужно перестать ее кормить, чтобы полностью — слышишь, Аветик? — полностью обесточить!

— А Хеопса? — спросил Папазян.

— Изолировать!

— Карлуша, — мягко сказал Папазян. — Она живая. Ты сам видишь. Она более живая, чем мы с тобой. Ты убьешь животное?

— Я сам его делал, это животное! — закричал Карл.

— Но теперь она тебе не принадлежит.

— Она принадлежит народу. За нее заплачены государственные деньги.

— Спроси у народа, — пожал плечами Папазян.

У ограды стояли посетители с детьми. Они с восторгом наблюдали за слонами. Давно на площадке не было такого веселья.

Карл засунул руки в карманы и пошел к выходу.

— Мы еще посмотрим — кто кого, — сказал он.

Специалисты двинулись за ним нерешительной гурьбой.

12. ТИХОН

И все-таки это сделал я — Тихон Леонидович Ворсиков!

Так редки были в моей жизни самостоятельные поступки, что этим делом я всерьез горжусь. Но оказа-

лось, что если сказал «а», то нужно говорить и «б» — чтобы не уронить марку.

Я ушел из КБ-квадрат и вернул себе свою законную фамилию. Затем я поступил работать в зоопарк к Папазяну методистом по вопросам кормления крупных млекопитающих. Проще говоря, я стал разрабатывать рационы питания для тигров, львов, жирафов, бегемотов.

И конечно, для моих любимцев — Хеопса и Нефертити.

Попутно я начал готовиться к поступлению на заочное отделение ветеринарного института. Мама восприняла эти новшества не так, как я ожидал.

— Ты становишься мужчиной, сын,— сказала она.— Я давно этого жду.

Карл предпринял несколько административных попыток вернуть Нефертити и вывезти ее на Выставку достижений. Он писал письма и отношения дирекции зоопарка, брался изготовить специальный контейнер и обучить людей для квалифицированного отлова Нефертити.

Папазян со свойственным ему чувством юмора послал Непредсказуемому заказной бандеролью хвост слонихи с выключателем. В письме Папазян написал: «Карлуша! Прилагаем единственную часть слонихи, которую мы в силах вернуть. Я очень боюсь за людей, которых ты хочешь обучить такому тонкому делу, как отлов слона. Это доброе животное весьма опасно в разъяренном состоянии. А в том, что они добьются такого состояния, я не сомневаюсь. С приветом, Аветик».

Надо отдать должное Карлу — он не обиделся. Служба службой, а дружба дружбой. Говорят, он приспособил хвост с выключателем в будке вахтера для включения аварийной сигнализации. Хвост обязан был напоминать о допущенной в свое время вопиющей халатности охраны.

Теперь о кошке.

Карл изготовил блестящую кошечку с синтетической шерстью. Модель снова изваял Кембридж. Кошечка прошла испытания и полный курс обучения по скорректированной программе.

Затем кошечку запустили на чердак одного из домов, где в изобилии водились коты. Андрюша рассказывал мне, что контакт с котами продолжался несколько секунд. Раздались пронзительные кошачьи

крики, шипенье, электронное мяуканье кошечки, потом она испустила по радио вопль: «Караул!» — и все кончилось. Группа контакта, поднявшись на чердак, обнаружила разорванную котами электронную кошечку с торчащими из нее проводами.

Карл восстановил ее, научил ловить мышей и отправил в Москву, в уголок Дурова. Для Выставки достижений кошечка была мелковата.

Мама сказала:

— Я всегда говорила, что кошки — умнейшие из животных. Твой мудрый Хеопс до сих пор не обнаружил подделки, а бродячие коты — моментально!

— Он просто добрее котов. И духовно богаче, — сказал я.

Я проводил много времени со своими слонами. Я радовался, наблюдая их крепнущие отношения. Поначалу я делал попытки тайком от Хеопса поговорить с Нефертити, но она не отвечала мне, хотя относилась очень дружелюбно. Оба слона любили катать меня на хоботе. Я ложился животом на толстый хобот, обхватывал его руками, как ствол дерева, и слон плавно поднимал меня в воздух. Когда это делала Нефертити, я пытался прислушаться к шуму двигателей внутри, но ничего не слышал.

Они нежно относились друг к другу. Иногда часами стояли, уткнувшись один в другого лбами. Мне кажется, что так они разговаривали о жизни.

А жизнь у них была простая. Они гуляли, купались, ели фрукты и овощи, забавляли детей. Очень скоро у слонов появилась развлекательная программа, с которой они выступали по воскресеньям. В эти часы к слоновнику было не пробиться. Особенно нравилась детям игра в волейбол, когда слоны перекидывались большим разноцветным мячом.

Я первым обнаружил, что Нефертити стала полнеть. Это меня обеспокоило. Я подумал, что произошла какая-то неисправность во внутренних органах. Шли месяцы, а живот слонихи медленно и неуклонно увеличивался.

— Как хочешь, Тиша, а Нефертити ждет слоненка, — сказал Папазян.

— Это совершенно исключено, — сказал я.

— Почему? Все может быть, — философски заметил Папазян.

— Только не это. Это лежит за гранью науки.

— А оно и должно там лежать, — сказал Папазян.

— Аветик Вартанович! — взмолился я. — Бог с вами! Вы представляете себе ее устройство?.. А я представляю. Я каждую деталь держал в руках. Слоненку просто неоткуда взяться.

— Э-э, Тиша! — хитро подмигнул Папазян. — Дети от любви берутся — вот откуда они берутся.

И действительно, в назначенный природой срок Нефертити родила слоненка. Это был обыкновенный серенький и смешной слоненок с коротеньким хоботком. Смотреть на него сбежалось все КБ во главе с Карлом. Непредсказуемый был в состоянии шока. Настоящему ученому нелегко видеть, как рушатся все его представления.

— Аветик, я тебя заклинаю, — проговорил Карл. — Когда Нефертити и этот слоненок... словом, когда их не станет... Ты обещаешь подарить их тела науке?

— Зачем так говоришь? Слоны долго живут, — нахмурился Папазян. Потом он улыбнулся и добавил: — Мы, надеюсь, этого не увидим... Подари лучше себя науке.

— Если бы я представлял такой интерес... — с тоской сказал Карл.

Слоненок начал расти. Счастливая слоновья семья жила дружно и весело. Я часто бываю у них в гостях, дружу со слоненком и, кажется, научился его понимать.

И еще я научился понимать, что бессловесная тварь ничем не хуже твари словесной.

А что там у слоненка внутри — как он устроен, из каких частей и прочее — эти вопросы почему-то меня не волнуют. Видимо, я не такой настоящий ученый, как Карл.

Кстати, забыл сообщить о слоненке самое главное. Папазян назвал его Тихоном, в мою честь. Таким образом я стал крестным отцом слоненка. Теперь я знаю, что на свете есть по крайней мере два живых существа с этим когда-то ненавистным мне именем — Тихон Леонидович и Тихон Хеопсович.



I

Я снюсь. Теперь это стало моим основным занятием. Дело дошло до того, что меня так и называют — Снюсь. Я — Снюсь.

Мне хочется рассказать эту историю, ничего не скрывая, ни неверных шагов, ни поспешных мыслей. Многие из них кажутся мне теперь наивными и смешными. Но я ни от чего не отказываюсь. Только так приобретается опыт, а если он к тому же настолько необычен, как у меня, то и удивляться не приходится.

Началось это несколько лет назад. Мой приятель Эдик М. однажды сказал, что я ему приснился. Я воспринял это известие без особого энтузиазма. Хотелось бы присниться кому-нибудь другому, а не Эдику. Не знаю, о чем с ним разговаривать, — даже во сне.

Однако он сообщил, что мы с ним ездили на автомобиле, причем вел я. Мы приехали на какую-то площадку. Там я стал носиться на машине взад и вперед, а потом мы рвали и выбрасывали с балкона туалетную бумагу. Эдик сказал, что, уходя, я занял у него три рубля, чтобы купить новую порцию бумаги. Все это меня не обрадовало.



Засыпая в тот день, я подумал, что неплохо было бы отдать Эдику три рубля. Не люблю быть должником — ни наяву, ни во сне.

Утром ко мне позвонил все тот же Эдик и закричал, что я снова ему приснился. Мы скакали на зебрах, а потом я отдал ему три рубля, заимствованные в прошлом сне. Я, мол, так и сказал: помнишь, вчера брал? Эдик излагал это все, захлебываясь. Взволнован был мужик до предела.

— Ну, и чего ты хочешь? — спросил я.

— Ты что — не понимаешь?! Это же редчайший случай!

— Ничего подобного, — сказал я. — Я всегда возвращаю долги.

— Идиот! — завопил он.

— Истрать эту трешку с толком, — посоветовал я. Он повесил трубку.

Случилось так, что как раз в тот день у меня не было ни копейки. И я даже пожалел, что отдал этому типу три рубля, которые мне бы пригодились.

На следующее утро он позвонил снова.

— Слушай, кончай свои фокусы! — хрипло заорал он. — Ты снова ко мне явился. Тебе не надоело?

— Вообще надоело, — сказал я. — А что я делал?

— Выдувал мыльные пузыри величиною с автобус. В форме куба выдувал, сволочь! А потом сказал, что хочешь есть. У тебя не было денег.

— Это правда, — сказал я. — А что же сделал ты?

— Накормил тебя, мерзавца. На трешку...

— Спасибо, — сказал я. — Обед мне понравился.

— Мы ужинали... — добрея, сказал он. — Слушай, не надо больше, ей-ей! А то я буду просыпаться.

«Ну его к богу! — подумал я. — Зачем он мне нужен? Если уж проводить с кем-нибудь время во сне, то только не с ним». Но, с другой стороны, мне понравилась идея — шляться по ночам в мозгах окружающих, и, засыпая, я уже сознательно наметил очередную жертву. Я решил присниться начальнику нашей лаборатории и сказать ему, чтобы он сменил шляпу. У него исключительно дурацкая шляпа. Я подготовил убедительную речь, в которой сравнивал шляпу с денежным мешком Уолл-стрита и говорил, что профсоюз не простит ему ношение такой шляпы. Для сна это было логично.

Весь следующий день на службе начальник по-сматривал на меня недружелюбно. Пришел он в кепке. А еще через день он явился в новой шляпе типа «котелок». Тоже глупая шляпа, но все же лучше прежней.

— Как вам моя шляпа? — спросил он наших дам, а сам искоса поглядывал на меня.

Я промолчал, но ночью уже совершенно нагло приснился ему снова и похвалил шляпу. Всю неделю начальник пребывал в прекрасном расположении духа. Он намекнул, что в следующем квартале я могу рассчитывать на повышение.

Я понял, что обладаю неким даром. Откуда он взялся, я не размышлял. Как всегда бывает при обнаружении дара, я немного растерялся. Что с ним делать? Но растерянность быстро сменилась упоением, таким ребячеством, отчасти даже хулиганством. Я стал сниться всем без разбору, торопясь и не вникая в технику. В то время я мало заботился о мастерстве. С нетерпением ожидал я ночи, намечая днем нового клиента и обстоятельства, при которых я хотел бы присниться. В то время я мог регулировать сон близких лишь в самых общих чертах. При этом сам я никаких снов не видел. Мне было интересно на следующее утро узнавать — удалось или нет? Я летал, как пчелка, от цветка к цветку, собирая нектар сновидений.

Я снился школьным приятелям, соседям, сослуживцам и родственникам. Не все осмеливались наутро сказать мне, что я снился, но в их взглядах читался интерес ко мне, любопытство, недоумение и прочее. Особенно часто в ту пору я снился жене, потому что у нее можно было разузнать многие детали. Снясь жене, я оттачивал методику и вырабатывал стиль. Жена говорила, что сны с моим участием отличаются неожиданностями и парадоксами. Я утомлял ее. Она при-выкла к более логичным сновидениям.

Иногда, шутки ради, я снился известным киноактерам, хоккеистам и международным комментаторам. Утром я тихо посмеивался про себя, представляя, как они в эти часы изумленно припоминают неизвестного молодого человека, который ночью пил с ними марти-ни, участвовал совместно в ограблении банка или про-бирался сквозь джунгли. К сожалению, сам я пока не мог насладиться этими снами.

В то время мне достаточно было знать человека в лицо, чтобы суметь ему присниться. Позже и этого не требовалось. Несколько раз я проверял, как действует моя способность на незнакомых людей. Я осторожно наводил справки через третьих лиц: не снилось ли чего такого? И почти всегда мой сон возвращался ко мне — правда, с некоторыми искажениями, обусловленными пересказом.

О моем даре знала тогда лишь моя жена. Она приняла его спокойно, как удар судьбы, но не более. Я был разочарован отсутствием энтузиазма с ее стороны. Во всяком случае, она даже не подумала предположить во мне гения человечества. Для нее способность сниться окружающим значила не больше, чем умение вязать носки. Жена оказала мне посильную техническую помощь, добросовестно пересказав ряд снов с моим участием, а потом попросила больше ее не беспокоить.

— Снись кому хочешь, только не мне.

— Почему? — обиделся я.

— Неужели ты думаешь, что способен заменить собою все на свете? — сказала она. — Я достаточно общаюсь с тобою наяву. Учти, что твой бзик — это посягательство на внутренний мир человека.

Я очень обиделся на слово «бзик». Мне хотелось бы, чтобы она выразилась благороднее. А словам о внутреннем мире человека я тогда не придавал значения.

Однако сниться ей перестал.

Охотнее всего я в ту пору снился дочери. Поначалу я прибегал к заимствованиям, показывая ей «Алису в стране чудес», например, причем так, чтобы она была Алисой. Сам же был Чеширским котом. Мне нравилось растворяться в воздухе, оставляя вместо себя одну улыбку.

Утром дочка вбегала в нашу комнату и кричала:

— Папа, а ну улыбнись!

Я улыбался.

— Нет, не так, не так! Во сне ты улыбался лучше!

Чужие сюжеты вскоре иссякли, и я стал придумывать свои. А потом, когда дочь немного освоилась с моей манерой, мы придумывали наши ночные приключения вместе, перед сном. Где мы только не побывали!

Эти развлечения были милы, но хотелось чего-то большего.

Извлекать материальную выгоду я стеснялся. А может быть, не знал, как это делается. Оставалась единственная возможность — получать новые жизненные впечатления и общаться. Вскоре я научился контролировать сны моих клиентов. То есть, я уже мог сам видеть сон человека, которому снился. Это избавило меня от необходимости расспрашивать его наутро.

Поначалу меня увлекали чисто технические возможности. Я мог, к примеру, присниться начальнику планово-производственного отдела на фоне первобытного племени и участвовать с ним в охоте на мамонта. Тут же я очень ненавязчиво вводил в сон какую-нибудь современную деталь. Будто бы я одновременно программирую охоту на вычислительной машине и предсказываю местонахождение мамонта. Позже мамонт оказывался представителем заказчика и, поверженный в яму, в предсмертных конвульсиях выдавал начальнику ППО справку о финансировании.

Я заметил, что приобретаю репутацию оригинального человека. Несмотря на то, что на службе я являл собою образец благопристойности и чиновничества, ко мне стали относиться с большим интересом как к товарищу, способному на выверты мышления.

Причем прямо никто не говорил. Я узнавал это по глазам.

С другой стороны, ко мне перестали относиться серьезно. Я это тоже понимал. Невозможно серьезно относиться к человеку, с которым по ночам охотишься на мамонтов, играешь в рулетку или долго и нудно распиливаешь телефон-автомат с целью извлечь из него двухкопеечную монетку.

Некоторые, наиболее догадливые, стали подозревать, что я умею сниться специально. Я не подтверждал их догадок, но и не отказывался. «Может быть», — говорил я, пожимая плечами, и этим приводил их в дополнительное восхищение.

Прошло два года, и мне надоело это фиглярство.

Я уже успел присниться всем заслуживающим внимания знакомым женщинам, успел соблазнить их во сне и разочароваться. Господи, какую цветочную пыльцу пускал я им в глаза! Я снился им в альпинистском снаряжении и в старинном дилижансе, со

шпагой в руках и гусиным пером поэта, на Северном полюсе и в пампасах. Я придумывал для них роли куртизанок и гетер, наивных простушек и неверных жен. Рассматривая параллельно с ними цветные сны о наших любовных приключениях, я удивлялся собственной предприимчивости и нахальству. Я один был сценаристом, режиссером и главным действующим лицом, им же перепадала скромная участь статисток.

Утром, как правило, мне становилось стыдно.

Внешне моя жизнь текла по-старому: ежедневные присутственные часы, бесконечная пикировка с нашими лабораторными дамами, которые наконец-то полностью уверились в мсей потрясающей способности, и сложные отношения с начальством.

Начальники меня любили и побаивались. Любили они меня за то, что я давал им редкую возможность отдохновения в пикантных снах с моим участием. Такого им не снилось никогда. Побоялись же меня потому, что было неизвестно — какой сон я мог выкинуть завтра.

Дамы относились ко мне пренебрежительно. Снился я им редко, во избежание лишних разговоров. Однако они сгорали от любопытства и ежедневно встречали меня восторженно-осуждающим возгласом: «Ну, кому ты приснился сегодня?»

Татьяна, самая острая на язык, и прозвала меня Снюсем. Прозвище всем жутко понравилось. Теперь меня иначе не называли.

— Снюсь, завтра едем на овощебазу.

— Это тебе не сниться, там работать надо!

Я впадал в бешенство и в отместку снился им всем сразу после работы на овощебазе. Я тогда начинал осваивать коллективные сны на несколько абонентов. Причем снился в обстановке той же овощебазы. Так сказать, отрабатывал с ними вторую смену, доводя до полного изнеможения. Наутро дамы выглядели усталыми и на время прекращали разговоры о моих проделках.

Впрочем, они втайне гордились мною как достопримечательностью, хотя полагаю, что способность шевелить ушами вызвала бы не меньший восторг.

Иногда ко мне подкатывались с личными просьбами, чтобы я приснился тому или иному мужчине, чаще всего мне неизвестному, но не просто так, а в ком-

пани с просительницей. Сон обсуждался детальнейшим образом. Дамы становились ласковыми.

— Снюсик, надо присниться в театре оперы и балета, пожалуйста! Мы будем сидеть в пятом ряду. Желательна «Травиата», Снюсик, что тебе стоит? Я буду в центре, а вы с ним по бокам. Я тебе его покажу, он в нашем институте работает... На мне будет голубое платье, ты видел, я в нем была на Восьмое марта...

— И что же ты будешь говорить? — сонно спрашивал я.

— Я сама скажу! Ах да... Я скажу ему, чтобы он через неделю на институтском вечере пригласил меня танцевать.

— Сложный заказ, — говорил я. — Дорого обойдется.

— Ну, Снюсик, милый!

И я снился указанному лицу в театре оперы и балета. В перерыве мы пили коньяк в буфете, и я рассказывал ему о той, которая...

Я работал добросовестно, хотя плата была чисто символической. Позже, на институтском вечере, я замечал, что сон оказался в руку, и испытывал некоторую гордость. Хотя так я мог быть полезен ближним.

Должен сказать, что самым сложным в упомянутом сне было как раз исполнение «Травиаты», а не сводничество. Я не жалел красок. Обидно, что тираж сна в те времена был весьма ограничен.

Вскоре моими способностями заинтересовались все-речь. Мне посоветовали сходить к психиатру, но обследование ничего не дало. Выяснилось, что я сугубо нормален. Врач был несколько разочарован, да и я тоже. Откровенно говоря, мне хотелось бы иметь хоть какой-нибудь сдвиг, говорящий о моей исключительности. Но все тесты подтвердили мою полную заурядность. Меня просили быстро назвать фрукт, и я говорил: «яблоко»; поэта — и я говорил: «Пушкин»; город — и я говорил: «Москва». Знаю, что многие на моем месте попытались бы схитрить и придумать нечто нетривиальное. Но я старался быть честным.

В завершение сеансов обследования я приснился психиатру в виде полноценного психа. Он совершенно обалдел.

— Видите, ведь получается, получается! — говорил он наутро. — Вы выглядели типичным параноиком. Значит, что-то есть!

— Я просто умею сниться.

— Просто! — застонал он, хватаясь за голову.

Убедившись, что я безвреден, мне понемногу стали создавать популярность. Я отнесся к этому легко. Пока мне было интересно. Я летел куда-то, ни о чем не задумываясь, испытывая все новые возможности своего дара.

Меня пригласили выступить по телевидению в программе «Народное творчество». Очевидно, мою способность решили числить по разряду художественной самодетельности.

Перед выступлением редактор долго говорил со мною. Я должен был ответить перед телекамерой на ряд вопросов: кто я такой? откуда взялся? — а затем пообещать телезрителям небольшой сон с моим участием.

— А вы сможете присниться всем сразу? — тревожно спросил он.

— Постараюсь, — пообещал я, не слишком задумываясь о дальнейшем.

Он стал в деталях планировать предстоящий сон и умолял меня не делать никаких отступлений. Он настаивал, чтобы я приснился у токарного станка под огромным плакатом.

— Зачем? — спросил я.

— Ну что вам стоит! Суть не в этом. Главное — это продемонстрировать ваше умение.

— Я никогда в жизни не работал на станке, — сказал я.

— Хорошо. Тогда у чертежной доски.

После выступления я приснился телезрителям у чертежной доски в белом халате конструктора. Было немного боязно: впервые я снился такой огромной аудитории. Конечно, я не знал всех в лицо и перед сном просто представил себе наш город с его каналами и проспектами, домами, старыми коммунальными и новыми кооперативными квартирами, в которых спали мои незнакомые сограждане. Я в тот миг любил сограждан. Между прочим, это необходимое условие для того, чтобы сон дошел, но далеко не достаточное.

Единственная вольность, которую я себе позволил, — это рисунок на чертежной доске. Он был живым. Там я тоже показал себя, но одними штрихами, как в мультфильме. Я носился по ватману и строил

смешные рожи, оставаясь в то же время рядом с доскою с рейспиной в руках.

На следующее утро я стал знаменит.

Особенно трудно было ехать на эскалаторе метро. Пока я поднимался или спускался в течение двух-трех минут, стоя неподвижно, как истукан, вся проезжавшая навстречу по другому эскалатору вереница людей плялила на меня глаза и даже орала:

— Вот он! Вот! Смотрите!

— Кто? Где?

— Ну, этот... Вчера показывали, помните? Кувыркался на доске.

— Какой снился, что ли?..

В лаборатории меня встретили как героя. Все очень интересовались, сколько мне за это заплатили. Заплатили мне восемь рублей. Это был гонорар за телевизионную передачу. Сон мой не оплачивался, потому что таких ставок не было.

После этого меня стали возить по Домам культуры и близлежащим совхозам. Я выступал, рассказывал о том, как я работаю над своими снами, какую предпочитаю тематику и что хотел бы отобразить в будущих снах. В заключение я обещал собравшимся присниться в ту же ночь. Народ разбежался из залов очень быстро. Все спешили по домам и заваливались спать. Я ехал домой уставший и недовольный собой, пил на ночь пиво и снился зрителям уже без выдумки и удовольствия, в обстановке профсоюзного собрания или в очереди за бананами.

Ничего парадоксального в моих снах не осталось.

Собственно, от меня и не требовали парадоксов. Устроители вечеров были довольны моим послушанием.

В те несколько месяцев полупрофессиональной практики я много думал о своем побочном занятии и искал хоть какой-нибудь смысл в умении сниться. Получалось, что ничего, кроме развлечения, я не могу предложить спящим. Это меня не устраивало. Мне хотелось стать если не властителем дум, то властителем снов. Мне хотелось, чтобы окружающие как-то менялись от моих сновидений, становились лучше, добрее, честнее. Короче говоря, я жаждал общественной полезности.

Я попытался лечить алкоголиков во сне, но успеха это не принесло. Заметного улучшения морального климата не наступало. Более того, разные люди, знакомые и незнакомые, стали считать своим долгом высказаться о моих снах, способностях и перспективах.

Одни советовали уйти в область чистого абсурда, другие, наоборот, настаивали на прагматических целях. Многие говорили об ответственности перед спящими.

Самое главное, что я не мог сам решить — чего я хочу. Я с тоскою вспоминал первые месяцы моих сновидений, чистое и бескорыстное удовольствие от нелепой беготни по ночам, от сюрпризов близким, от их искреннего удивления. Теперь уже никто не удивлялся. Все только требовали.

— Снюсь, ты что-то давно не снился...

— Знаешь, недавно вспоминала твой первый сон. Как хорошо!

— Алло! Товарищ Снюсь? Очень просит присниться коллектив ватной фабрики.

— Твои сны должны быть оптимистичней!

И даже:

— Снюсь, признайся — ты изоспался!

Я действительно переживал явный кризис и не видел никакого из него выхода. Смутно брезжила мысль, что снится надо очень выборочно, немногим. Тогда есть возможность получить сконцентрироваться, не распыляться и не гнаться за дешевыми эффектами. Но все равно: получится художественный развлекательный сон. Зачем он мне?

Я оставил поиски и на некоторое время с головой окунулся в служебную деятельность. Этого настойчиво требовали новые обязанности руководителя группы. Лабораторные дамы стали забывать о моем втроме «я».

Как раз в это время в моей группе появилась новая сотрудница, некая Яна, миловидное существо двадцати трех лет с широко распахнутыми глазами. Глаза показались мне глупыми. Яну взяли по протекции, что сразу определило мое к ней отношение. Я не люблю протекций.

Она быстро вписалась в наш дамский коллектив, потому что, не стесняясь, рассказывала о себе, а женщинам только этого и нужно. Они любят охотиться за

чужими судьбами. Кроме того, Яна была намного моложе большинства, что позволяло остальным учить ее жизни. Одевалась она в разные иностранные тряпки — в «фирму», как принято теперь говорить, и даже удостоилась прозвища «Яна-фирма».

Я вводил Яну в курс обязанностей, слегка посмеиваясь над ее нерасторопностью и способностью запутать любое дело. Со мною она была тише воды и ниже травы. Я приписывал это моей холодности и слабому знанию специальности с ее стороны. Объяснив очередную задачу, я спрашивал:

— Все понятно?

— Да, — быстро говорила она, не глядя на меня.

Меня раздражали ее импортные наряды, золотые украшения и косметика, которой она, надо отдать ей должное, пользовалась очень умело. Я сразу зачислил ее в разряд «золотой молодежи», которая ни черта не умеет и не хочет делать, предпочитая жить за счет родителей. Мать Яны уже долгое время работала за границей, откуда присылала альбомы репродукций. Сотрудницы восхищенно рассматривали их и втайне завидовали Яне. Год назад она успела выскочить замуж, у мужа были деньги и машина. В круглых серых глазах Яны я не видел никаких проблем, за исключением скуки.

Для меня полной неожиданностью было, когда однажды Татьяна шепнула мне:

— Снюсь, ты еще Янке-фирме не снился?

— Вот еще! — сказал я. — Зачем это?

— А она ждет, — сказала Татьяна и многозначительно хихикнула.

— Не дождется! — сказал я.

Оказывается, они успели ей растрезвонить о моих подвигах! Сообщение произвело на Яну большое впечатление. Ее непосредственный начальник был отмечен печатью неординарности!

Несколько дней я ходил гордый, как петух, поглядывая на свою подчиненную свысока. Мне было приятно, что эта молодая и цветущая особа, за которой ходил хвост поклонников, клюнула на удочку моих снов. Как я понял потом, вела она себя абсолютно правильно, ничем не выдавая своих желаний. Она покорно выполняла все мои поручения и ждала, когда зерно, зароненное Татьяной, прорастет.

И оно проросло, черт меня дер!

Однажды вечером, после какого-то очень бестолкового дня и еще более бестолковой ссоры с женой, я лег спать. Сон не шел ко мне, я поднялся с постели и побрел к аптечке за таблеткой. В зеркале на стене прихожей отразилась моя фигура в трусах. Я приблизил лицо к зеркалу и с отвращением вгляделся в себя. Лицо было мятым, опухшим, волосы сбились в клоchy, а тело выглядело белым и бесформенным, как кусок теста. Я увидел, что постарел.

Проглотив таблетку, я снова упал на диван и вернулся в одеяло. В темноте тикал будильник, напоминающая одновременно о вечности и печальной необходимости вставать в семь утра. Настроение было мерзейшее. Требовались срочные меры, чтобы его поднять.

«Присниться, присниться...— бормотал я.— Кому угодно, только не лежать здесь, как в могиле. Но кому?»

И тут перед моими глазами, как принято говорить, всплыл образ Яны. «Чушь! — мысленно воскликнул я, сердясь на себя все больше.— Этого только не хватало!» — продолжал я, в то время как предательская мысль уже бежала по окольным тропкам, перебирая варианты сновидений. Пока я боролся с собою, все было кончено. Я вздохнул и погрузился в сон.

То, что последовало далее, иначе как гусарством не назовешь. Конечно, я приснился ей на коне в сопровождении целой дивизии цыган, которые галдели, орали, ударяли по струнам и потряхивали плечами. Яну я тоже усадил на коня, нарядив ее в шляпу с плюмажем. Мы наслаждались бешеной скачкой, а потом я для вящего эффекта дрался с двумя кавалергардами, защищая ее честь.

Под утро честь была защищена, цыгане охрипли, я проснулся и отправился на работу.

Я вошел в лабораторию важный, как генерал. На Яну я не посмотрел. Сел за стол и начал перекладывать бумаги. Затем, будто вспомнив что-то, небрежно сказал:

— Яна, подойдите, пожалуйста.

Она подошла и села рядом. Я начал что-то говорить ей, весьма сухо и не глядя. Наконец я посмотрел на нее.

Я ожидал увидеть растерянность, восторг, преклонение, испуг — все что угодно, только не то, что уви-

дел. Она смотрела на меня с нескрываемым превосходством.

Выслушав меня, она сказала:

— Тебе надо работать над вкусом. Это было дешево, как в оперетке.

Я инстинктивно оглянулся, чтобы проверить, не слышат ли нас наши дамы. Кажется, слова Яны от них ускользнули. Только тут до меня дошел смысл сказанного и главное то, что она обратилась ко мне на «ты».

— Ты так считаешь? — сказал я, стараясь быть ироничным.

Она пожала плечами и отвернулась.

Таким образом, события стали разворачиваться не так, как я предполагал. Несколько ночей подряд я пытался исправить свою ошибку, являясь к ней во сне застегнутым на все пуговицы, при свечах, с философскими разговорами о пространстве и времени. Она стала вести себя подчеркнуто равнодушно. Сновидений мы не обсуждали, разговаривали только на деловые темы, и мне стало казаться, что я уже не снюсь ей, что она каким-то образом сумела отгородиться от проникновения в ее сны. Я почувствовал растерянность. Меня стали обуревать сомнения относительно размеров моего дара. Одновременно я все настойчивей программировал себя перед сном, покончил с философией и начал откровенные ухаживания.

Она была, как мрамор, холодна.

— Давно не слышал критики, — сказал я ей наконец. — Ведь я вообще-то стараюсь.

— А я вообще-то сегодня одна, — сказала она.

— Как одна? — не понял я.

— Дома. Одна. Муж уехал в командировку.

— Ну и... — начал я.

Она состроила страдальческую гримасу и отошла.

Вечером я купил букетик гвоздик, торт и бутылку шампанского. Банальность ситуации удручала меня. Все шло как в стандартном анекдоте на тему «муж уехал в командировку». По пути к Яне я вспоминал известные мне концовки таких анекдотов, и все они начинались словами: «Внезапно возвращается муж...».

Пересекая проспект, я вдруг впервые потерял ориентировку во времени. Мне показалось, что дело про-

исходит в моем собственном сне. На проезжей части лежала замерзшая раздавленная кошка. Гвоздики у меня в руках раскачивались на тонких ножках, кивая кровавыми головками. Длинный, как электричка, автобус заворачивал за угол и вдруг разорвался посреди-не. Передняя его часть поехала по одной улице, а задняя — по другой. Мне захотелось проснуться.

Я нашел дом, подъезд и поднялся на пятый этаж. Когда я приблизился к нужной мне двери, она тихо отворилась. За дверью стояла Яна в длинном китайском халате. Она прижимала к губам палец. Я на цыпочках последовал за нею по темной прихожей и вошел в комнату.

Комната была маленькая, тесно уставленная мебелью. Телевизор стоял на шкафу. За стеклом серванта лежал маленький коричневый крокодил. Он смотрел на меня, скаля острые зубки.

— Это чучело, не бойся,— прошептала Яна.

Она дотронулась до ручки телевизора и включила его. Все так же повелевая мне молчать, она дождалась, когда из динамика вырвалась первая фраза: «Нефтяники Татарии рапортовали...» — и прибавила звук.

Нефтяники рапортовали очень громко.

— У меня за стенкой бабка,— сказала Яна и улыбнулась.

— Твоя?

— Нет, соседка. Божий одуванец. Она за мною следит... Ну, садись, садись! И не озирайся так трусливо — никто тебя не съест.

Телевизор гремел со шкафа. Божий одуванец, вероятно, содрогался от громкого звука и невозможности подслушать нашу беседу. Шампанское медленно оседало в бокалах.

Анекдот растянулся до утра.

Засыпая в редкие моменты ночи, я снился жене. Мы удили рыбу в большом спокойном озере на Карельском перешейке. Я заготовил для жены баночку свежих розовых червяков и сам нанизывал их на крючок. Червяки с отвращением уклонялись от встречи с крючком. Я устроил жене необыкновенное рыбацкое счастье. У нее клевало поминутно. Она то и дело вытаскивала из озера толстых окуней, изящную плотву и красноперок с сигнальными огнями плавников. Мой

же поплавок торчал из воды, как стойкий оловянный солдатик. Этим я старался искупить свою вину.

Во сне я успокоился, и сон показался мне явью. Просыпаясь, я не сразу соображал — где я и что со мною. Ушел я затемно, оставив спящую Яну наедине с крокодилком. Домой пошел пешком через весь город. На улицах были только машины, сгребаящие черный мартовский снег. Грузовики к ним не подъезжали, и машины работали вхолостую, перегоняя снег по транспортеру и снова высыпая его на дорогу.

Когда я пришел, жена жарила на кухне рыбу — толстых окуней, изящных плотвичек и красноперок. Мне снова захотелось проснуться.

Дальше я совсем запутался. Сон и явь переходили друг в друга незаметно, зачастую самым предательским образом. Когда я был с женой, я снился Яне — и наоборот. При чем это происходило уже помимо моей воли.

И во сне, и наяву очень хотелось проснуться.

Однажды — уж не помню, наяву или во сне — мы с Яной попали в какую-то огромную квартиру со старинной мебелью, картинами и коврами. Хозяином квартиры был композитор. Он сидел на крышке рояля и дирижировал обществом. Композитор был одет в красный шелковый халат. Общество состояло из молодых женщин и мужчин неопределенного возраста — по виду юных, но с заметной сединою. Седые мальчики в джинсовых куртках и замшевых пиджаках. Все двигались подчеркнуто красиво и принимали различные позы: поза на диване, поза у рояля, поза с бокалом в руках. В квартире было человек тридцать.

Разумеется, все происходило при свечах.

Это была камерная симфония для дюжины бутылок шампанского и такого же количества коньяка. Композитор поднимал руку и делал посыл по направлению к бару, из которого вылетало несколько бутылок, несомых замшевыми мальчиками. Наполнялись бокалы, женщины, откинувшись на коврах, подносили ко рту сигареты, а композитор, подняв бокал, делал им плавный взмах и выпивал медленно и с достоинством. Это было красиво, но скучновато.

Надо сознаться, что я одевался бедно по причине невысоких заработков и отсутствия интереса к одежде.

Нельзя сказать, что мне не нравились красивые вещи. Когда я внезапно оказывался случайным обладателем экзотической рубашки или модного галстука, я испытывал временный прилив вдохновения и, надевая их впервые, тоже любил принимать позы. Боюсь, однако, что позы эти были скорее смешны, чем исполнены изящества, поскольку любая импортная тряпка в сочетании с остальными ширпотребовскими вещами выглядела столь же нелепо, как интурист в колхозной столовой. Общаясь с близкими по материальному и духовному уровню людьми, я не замечал несоответствий, но там, у композитора, впервые ощутил неудобство. Рядом не было никого, чей костюм не являл бы образец моды и элегантности.

На мне же были лишь «фирменные» запонки, подаренные, кстати, Яной от щедрот ее зарубежной мамы. Я незаметно снял их и спрятал в карман. Затем я выбрал угол потемнее и устроился там с бокалом в руке, наблюдая за чуждыми нравами. Яна села рядом, как всегда, ослепительная, посылая в полумрак гостиной лучик скусающей улыбки.

В воздухе, в сигаретном тонком дыму, плавали фамилии и имена известных актеров, режиссеров, художников и литераторов. Поначалу это Броуново движение имен было вялым, но по мере того, как бутылочная симфония набирала темп, оно становилось интенсивнее.

Я понял, что попал в мир близких к искусству людей.

Шепотом я стал расспрашивать Яну, кто эти люди и чем они знамениты. Яна тонко улыбалась, вспыхивая в темноте глазами, как кошка.

— Третьестепенные,— сказала она мне в ухо, делая вид, что целует его.— Первостепенные работают, второстепенные ищут, а эти говорят. Ты — первостепенный.

— Я?!

— Ты, ты, ты...— зашептала она мне в ухо горячим своим дыханием.

В это время композитор, соскользнув с рояля, делал обход гостей. С каждым он чокался и говорил несколько слов с приятной улыбкой.

— Сегодня я работаю в ми-мажоре,— сказал он, чокаясь с Яной.

Он подсел к нам и запахнул полы халата. Я по-

смотрел на его лицо и увидел, что каждая черточка на нем живет отдельной жизнью. Лицо композитора напоминало оркестр. Губы едва заметно извивались и вибрировали, словно по ним водили смычком; брови вздрагивали, причем левая вздрагивала на каждый такт, а правая — через один; ноздри плавно шевелились, а щеки вспухали и опадали разом, как медные тарелки. Лоб сиял, как геликон.

— Друг мой, — сказал композитор, и верхняя его губа подползла к самому моему носу. — Друг мой, мне рассказывали ваши сны. К сожалению, я совсем не сплю, бессонница... Но в этом жанре... Скажите, вы пользуетесь музыкой?

— Когда как, — сказал я.

— А какой? — живо заинтересовался композитор.

— Предпочитаю Моцарта. Хотя бывает и эстрада.

— Так-так! — воскликнул он. — Я сочиню для вас увертюру.

Лицо его произвело финальный аккорд и потухло. Он вернулся к роялю, приподнял крышку над клавиатурой и принялся стучать мизинцем по черной клавише, недовольно морщась. А к нам подошел молодой человек лет пятидесяти с чуткими глазами. Он заговорил с некоторым превосходством, в котором странным образом присутствовало заискивание.

— На Западе... — говорил он. — Я встречал, есть упоминания... Собственно, ничего нового, вы понимаете... Вы пользовались методикой Сен-Сюэля?

Я непонимающе глядел на него.

— Один ваш сон мне понравился, — сообщил он. — Помните, железная дорога, у которой рельсы расходятся в разные стороны, а поезд постепенно расширяется, а потом раскалывается, как бревно, вдоль?

Мне стало не по себе. Я вспомнил этот ранний сон — претенциозный и неумелый, рассчитанный на дешевый эффект.

— Я вас познакомлю с... — Он назвал фамилию, которую я не запомнил.

Яна расцвела, она посматривала по сторонам, еще теснее прижимаясь ко мне, а я осмелел и выдвинулся из тени.

Композитор перестал извлекать ноту. Он повернулся ко мне и сказал:

— Как вам понравилось? Мне кажется, эта увертюра может вам пригодиться.

Я кивнул. Композитор захлопнул крышку и потре-

бовал шампанского. Он предложил тост за меня, пожелав мне творческих успехов, а затем попросил сегодня же присниться собравшимся.

— Так, какой-нибудь пустячок. Что вам заблагорассудится...

Яна сжала мне локоть. Я деревянно поклонился.

Ночью я приснился им в пустыне, утыканной противотанковыми шипами. По пустыне ползли волосатые гусеницы размерами с железнодорожную цистерну. Они напарывались на шипы и истекали нефтью. В озерах нефти барахтались маленькие люди, причем не спасали друг друга, а продолжали драться, даже идя ко дну. Они тяжело шевелились в вязкой жидкости, шлепая друг друга черными масляными ладонями. Композитор и его гости возлежали на гусеницах сверху, как на коврах, и смотрели на эту картину. Мы с Яной тоже были на гусенице. Противная прыгающая нота из черной клавиши стучала в висок, как морзянка.

Через два дня Яна передала мне, что сон произвел впечатление.

Короче говоря, меня заметили. Это не было той простодушной популярностью, которую я стяжал после первых публичных выступлений. На этот раз я был отмечен как небольшое, но оригинальное культурное явление, о котором принято знать хотя бы понаслышке. Я сам видел в троллейбусе двух бородатых молодых людей, которые обменивались новостями. Один из них только что купил по случаю альбом Босха и демонстрировал его приятелю. Разговаривали они довольно громко — чуть громче, чем это необходимо в троллейбусе. Пассажиры косились на глянцевые репродукции. Я тоже выглянул из-за чьей-то спины и увидел непонятную картинку с множеством фигур, рыб и диковинных зверей.

Мелькали слова: Рерих, Филонов, авангардизм. Пассажиры слушали почтительно, но с неприязнью.

— Кстати, Снюсь тоже подражает Босху, вы заметили? — сказал один бородач другому.

— Пожалуй, скорее Брейгелю-старшему, — задумчиво ответил тот.

Откровенно говоря, я слышал ранее о Босхе и Брейгеле-старшем, но и только. Я спрятался за спины, испытывая одновременно гордость и смущение.

Охваченный тщеславием, я стал сниться с претензией на непонятность. Это было легко. Достаточно было перед сном вообразить себя сложной натурой, страдающей и гонимой, тонкой и впечатлительной, а главное — духовно богаче большинства современников. Главное было — разрешить себе все. Сны изобиловали символикой и невнятной мыслью.

Яна в тот период была деятельна. На щеках ее горел непрерывный румянец. Она болтала по телефону с подругами и устраивала мои дела. Меня стали водить по квартирам. В одной из них мне показали красиво переплетенную тетрадку с описанием моих избранных снов. Я был польщен.

Мне показалось, что я нужен людям.

Впрочем, нужен я был не больше, чем жевательная резинка. Молодые бородачи, тщательно пережевывавшие мои сны, интересовались только сюрреалистическими подробностями. Стоило мне присниться попроще, как я замечал некоторое охлаждение к моей фигуре, скептические взгляды и вздохи. Я не понимал, зачем молодым людям нужны мои сны. У них и так было много тем для разговоров.

Мои отношения с Яной все более запутывались. Она была в курсе всех снов, не отходила от меня ни на шаг и всячески содействовала успеху. Как-то незаметно она ушла от мужа, будто кошелек потеряла. Я снял ей комнату, и моя жизнь стала даже не двойной, а тройной. Ночью я тщательно снился, а днем разрывался между двумя домами.

Жена была, как мрамор, холодна.

Ночью я жил, ночью я был свободен. Во сне я был чистым и честным, добрым и справедливым. Во сне я был доверчивым. Клянусь, что это мои истинные качества. Куда они исчезали днем?

Я просыпался и начинал обманывать. Сначала я довольно легко обманывал себя, убеждая в собственной исключительности, в наличии у меня волшебного дара, который дает мне право на некоторые вольности. Затем я обманывал жену, уверяя, что люблю ее по-прежнему. Далее шел черед Яны. Ее я обманывал уже без всяких угрызений совести, просто из соображений симметрии картины. Я обманывал начальников и сослуживцев, делая вид, что служба приносит мне моральное удовлетворение. Я обманывал, наконец,

абонентов своих сновидений, обещая им ночью больше, чем мог дать.

Справедливости ради следует сказать, что меня тоже обманывали.

Однажды меня пригласил известный литератор. Он был желт и стар. Литература выжала его, как лимон. Литератор случайно подключился к одному из моих снов и поразился его прихотливой композиции.

— Какие у вас отношения со временем? — спросил он.

— В смысле — с эпохой? — уточнил я.

— Нет-нет! — испугался он. — В смысле философской категории.

— Обыкновенные, — сказал я, чувствуя, что опять слегка вру.

— Не может быть, — покачал он головой. — Неужели у вас нет страха перед потоком времени? А ощущения, что вы находитесь в нескольких временных срезах? Вы подумайте.

Я забыл сказать, что литератор этот был фантаст, поэтому он так запросто ориентировался во временных срезах.

Я подумал, но ничем его не обрадовал. Я сказал, что меня уже обследовали, но психопатологии не обнаружили.

— Значит, вы это все придумали... — с сожалением протянул он.

Он полагал, что можно что-то придумать. Ничего нельзя придумать, сколько ни старайся! Либо это есть, либо его нет. Можно только вытащить из души. Но тогда я этого еще не знал и тоже полагал, что придумываю свои сны, забавляясь.

Между прочим, фантаст будто накаркал. Через неделю мне исполнилось тридцать пять лет. День рождения для меня — грустный день. Я подвожу итоги, и они, как правило, неутешительны. В тот день я должен был посетить консерваторию, чтобы прослушать новую симфонию композитора, который сочинил для меня увертюру. Мы с Яной договорились встретиться у входа.

Я ехал в трамвае. Настроение было жуткое. Ехать мне не хотелось, я не знал — зачем туда ехать. В трамвае качались зловещие люди. Я стоял возле кассы и отрывал билетки всем желающим. Внезапно

я понял, что превратился в автомат. Мои руки продолжали отрывать билетики и рассовывать их пассажирам, даже когда в этом не было надобности. Правая рука крутила колесико, левая отрывала билеты. Пассажиры послушно передавали их на заднюю площадку вагона. Там уже начинался легкий шум. Я с трудом оторвался от кассы и выскочил на первой остановке.

Это был Каменный остров. Тут меня поразило и то, что «остров», и то, что «каменный». Впереди и сзади были мосты. По ним громыхали трамваи. Вокруг была пустота, здесь ничего не происходило. И я был в этой пустоте.

Это был каменный остров, середина жизни.

Я пошел по аллее в глубь острова, не замечая людей. Мысли спутались, как моток проволоки. Наконец мне удалось найти кончик, и я стал осторожно распутывать клубок.

Всею виной, очевидно, была моя странная способность снится, в которой необходимо было отыскать хоть какой-нибудь смысл. Он прятался в клубке тонкой и гибкой проволоки. Такую проволоку я когда-то использовал для монтажа радиолюбительских конструкций. Тогда я жил спокойно, не умея и не желая никому снится, да и снов никаких не видел. Откуда, зачем свалился на меня этот жалкий талант — мелкий и недостойный, будто подаяние в электричке?

Оказалось, что к тридцати пяти годам я по-настоящему научился лишь снится. Это я делал с удовольствием и достаточной виртуозностью. Удивительно, что я относился к своему занятию абсолютно серьезно, добиваясь точности и оригинальности. Никто меня не учил, я овладевал умением самостоятельно и кропотливо, часами анализируя удавшиеся сны, продумывая детали композиции, учитывая даже психологию клиентов. Смешно сказать — я выбирал для них удобное время, чтобы присниться! Например, после обеда я снился в комедийном жанре, а глубокой ночью вытаскивал из души сокровенные мысли и облакал их в стройные философские сновидения.

И все это ради тщеславия? Ради того, чтобы мои сны пересказывались и переплетались в тетрадки? Ради удовольствия клиентов? Нет уж, увольте!

Я всегда догадывался, что природа награждает способностями неравномерно. Встречаются совершенно уникальные способности! Есть люди, которые перемножают в уме десятизначные числа и извлекают корни любой степени. Есть другие, которые могут выстукивать на зубах Первый концерт Чайковского. Есть третьи, которые умеют читать в зеркальном отражении...

Много есть непонятных способностей, данных будто из озорства или от пресыщенности творца.

Я где-то читал, что один тип умел освобождаться. Его связывали, приковывали цепью и запирали в тюремной камере, а он через пять минут оказывался на свободе. Для него это было так же просто и естественно, как для меня — снится. Умение быть физически свободным при любых обстоятельствах было в этом человеческом экземпляре доведено до гениальности.

И что же он сделал? Он стал продавать свой талант, то есть ухитрился даже в этих сложных условиях стать несвободным.

С другой стороны — он добился общественного признания...

Вот! Вот чего мне не доставало!

Общественное признание придает таланту узаконенность. Масса человеческих способностей и талантов давно признана. Я не говорю о таких нужных способностях, как умение пахать землю или тачать сапоги. Узаконены дрессировка попугаев, игра в хоккей и собирание спичечных этикеток. Вызывают почтение собачьи парикмахеры и дельта-планеристы. Не сомневаются в своей необходимости многочисленные эстрадные певцы, балалаечники, сочинители рифмованных фраз, представители, участники, члены и референты.

Но как же они узнали, что общество признало их способности?

Да очень просто.

Будь ты даже семи пядей во лбу, но если ты не получаешь вознаграждения хотя бы за одну, то можешь считать все пяди лишними. Твои удивительные занятия будут называться малопочтенным словом «хобби» до тех пор, пока рука кассира не выкинет из окошечка жиденькую стопку бумажек, благодаря которым твой дар вступит в обмен с другими дарами. Твои сны будут обмениваться на хлеб, соль, сахар и

масло. Они станут эквивалентны одежде и мебели. Сны станут товаром...

Так я теоретизировал, не замечая тогда одного существенного обстоятельства. Ведь моя способность, если подойти к ней серьезно, таила в себе возможности нового, невиданного искусства. А раз так, то все разговоры о деньгах отодвигались на второй план, становились мелкими и несущественными.

Но я словно боялся признаться себе в этом. Мне казалось, что думать о себе как о художнике нескромно, а потому я старательно принижал свою способность, рассматривая ее всего-навсего как некое мелкое ремесло, подлежащее продаже.

Экскурс в политическую экономию увлек меня. Я не заметил, как перешел по деревянному мосту в парк культуры и пошел по аллеям, осматривая многочисленные развлечения.

Скрипело колесо обозрения, покачивались люльки, из которых доносился женский визг, мелькали яркие карусельные кони, с американских гор катилась лавина тележек.

Мое внимание привлек мальчик лет двенадцати. Он считал мелочь у кассы, где продавали билеты на аттракцион «Автомобили». Судя по всему, мальчику не хватало нескольких копеек. Он еще раз пересчитал медяки, зажал их в кулак и беспомощно посмотрел по сторонам. Потом он взглянул себе под ноги, вывернул карман, из которого на землю упала обертка от конфеты, и медленно пошел прочь от кассы, не оглядываясь на аттракцион, где сталкивались друг с другом маленькие автомобили, опоясанные черным резиновым ободом.

Я догнал его и взял за плечо.

— Пошли покатаемся,— сказал я.

— Чего? — спросил он, высвобождаясь из-под руки.

— Покатаемся на машинах...

— Не хочу,— сказал он.

— У тебя же денег не хватает.

— Ну да! С чего вы взяли! — Он неестественно засмеялся, дернул плечом и быстрее зашагал по аллее.

— Да я ведь... Я покататься хотел! — крикнул я ему вслед.

— Ну и катайтесь! А я вам на что?! — зло выкрикнул он и убежал.

«Так мне и надо!» — подумал я. И, уже совершенно не отдавая себе отчета, купил билет и с трудом втиснулся в автомобильчик. Из него росла железная палка с метелкой на конце. Включили ток, и мой автомобильчик дернулся, поехал, неуправляемый, — сталкивался, отскакивал от других, кружился на месте...

Я крутил баранку, пытаюсь придать движению осмысленность, но от меня мало что зависело. Другие водители имели свои планы, и каждый из них был разумен, но вместе получалось нескладно, получалась дурацкая суeta. Я перестал бороться и поехал, подталкиваемый другими автомобилями, которые мягко стукались в мой борта.

«Вот так и жизнь наша, — меланхолично философствовал я. — Если не умеешь бороться, нужно отпустить руль. Все равно куда-нибудь приедешь».

Тут очень символично выключили ток.

Неожиданное развлечение успокоило меня. Выходя из парка, я снова встретил знакомого мальчика. Он ел мороженое. Значит, на мороженое у него хватило.

Я подумал, что зря приставал к нему с бесплатным удовольствием, в нем нет удовлетворения. Мальчик чувствовал это интуитивно.

Люди хотят платить за удовольствия. Плата гарантирует свободу выбора. Только сейчас я понял слова жены о «посягательствах на внутренний мир человека». Раздаривая сны направо и налево, я не задавался вопросом — хотят ли люди их смотреть? Мне казалось, что ежели я не требую ничего взамен, то волен навязывать их окружающим. По сути дела, я вторглся в личную жизнь людей и делал это, когда хотелось мне. Если бы у них была возможность платить мне за сновидения, то я был бы вынужден считаться с их желаниями.

Таким образом, получалось, что мне необходимо общественное признание в виде денег, а окружающим нужно платить мне, чтобы уберечь свою независимость и держать меня под контролем. Обе стороны стремились к одной цели.

Эти спекулятивные рассуждения укрепили мою решимость. Я начал действовать. Говоря иными словами — наступил этап профессионализации.

Необходимо было все взвесить и осмотреться.

Я взял отпуск и поехал в дом отдыха. До этого я никогда не бывал в домах отдыха, потому что не знал — от чего мне отдыхать. Дом отдыха находился на взморье под Зеленогорском. Летний сезон уже прошел, с залива дул холодный ветер, и отдыхающие — в большинстве своем приехавшие из Донбасса — потерянно слонялись по аллеям, вороша сухие листья. Три раза в неделю они выезжали в город для посещения Эрмитажа. Они действовали с шахтерским упорством, штрек за штреком проходя залежи духовных ископаемых. В клубе крутили кинофильмы, по субботам приезжали артисты областной филармонии. После артистов были танцы.

Артистов этих я никогда прежде не видел и не слышал о них.

Я присматривался к своим соседям по дому отдыха. Это были цветущие и простые люди, с добрыми улыбками, неиссякаемой любознательностью и весельем. Они хорошо ели и хорошо спали. Я же вышагивал под ветром по мокрому песку осеннего пляжа. Одна пола моего плаща прилипала ко мне, а другая стремилась улететь по направлению к городу.

Вскоре я заметил странного отдыхающего. Это был худой и высокий человек, во взгляде которого присутствовало заметное беспокойство. Движения его были нервными и угловатыми, как у марионетки.

В аллеях парка стояло несколько грубых крашеных скульптур. Они были на низких постаментах. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, этот человек подкрадывался к ним и копировал позу скульптуры. Особенно удачно у него получался дискобол: одна рука опущена почти до земли, а другая закинута за спину. Постояв в этой позе несколько секунд рядом с постаментом, он удовлетворенно улыбался, потирал руки и переходил к «Девушке с веслом».

Его занятия я подсмотрел нечаянно, но потом стал следить уже специально.

Через неделю мы познакомились. Фамилия его была Костомаров. Он назвался бывшим актером.

Костомаров оказался человеком, необычайно сведущим в психиатрии. Когда я рассказал о себе и предложил присниться, он поспешно отказался, заверив, однако, что ничуть не сомневается в моем даре. Далее

он поставил мне психиатрический диагноз. По его словам, я испытывал постоянное натяжение: между сном и явью, службой и творчеством, женой и любовницей. Я не мог сделать выбор, а потому мучился, терзая себя.

— Что же предпринять? — спросил я.

— Надо сжечь мосты, — мрачно сказал бывший актер. — Сжечь! Сжечь! — Он вдруг затряс головой, как шаман, и бросился к любимой скульптуре. Добежав до «Дискбола», он окаменел с воображаемым диском в руке и только потом успокоился.

Костомаров сказал, что у него есть знакомые в областной филармонии и он может меня рекомендовать. Он настойчиво советовал немедленно приступить к реализации дара, в противном случае дело могло кончиться серьезным психическим расстройством.

— Меня уже приглашали, — сказал я. — Понятия не имею — каким образом выступать на эстраде? С чем?

— Господи, это же так просто! — воскликнул Костомаров.

И он тут же определил мое амплуа и подал идею номера. Я был назван артистом «оригинального жанра». К ним относятся музыкальные эксцентрики, фокусники, жонглеры, гипнотизеры. Костомаров предложил мне объединиться с профессиональным гипнотизером и сделать общий номер. В обязанности гипнотизера входит усыплять публику в зале и меня на сцене, а дальше я могу сниться, как мне угодно.

— Назовите это как-нибудь оптимистично, без мистики, — сказал Костомаров. — «Мне снилась даль, мне снилась сказка, мне снилась молодость моя!» — звучно продекламировал он и покосился на меня, проверяя — узнал ли я стихи. — Это Блок... Даль и сказку нужно выбросить, а молодость оставьте. Это любят. И непременно с восклицательным знаком. Мне снилась молодость моя!.. Это тоже любят.

Вернувшись домой, я стал сжигать мосты. Я подал заявление на службе об уходе по собственному желанию и переехал к Яне с одним чемоданом вещей.

Жена проводила меня без сцен. Расстались мы, как принято говорить, «интеллигентно», то есть состязаясь в благородстве. Я чувствовал себя полностью виноватым, она же, со своей стороны, не скрывала, что не может поддерживать меня в моем новом занятии. К снам она относилась естественно — как к природной

человеческой особенности, и не понимала, зачем делать из них профессию.

Похоже, что она давно уже внутренне простилась со мною.

— Желаю тебе достичь совершенства,— сказала она.— Только прошу об одном: никогда не сниться ни мне, ни дочери. Обещай.

— Надо спросить у нее,— сказал я.— Если она захочет...

— Обещай.

— Ей уже пятнадцать лет...

— Обещай... Ну, я тебя прошу, слышишь?

— Хорошо.

Конечно, мы порознь объяснили дочери причины развода. Она постаралась понять. Вообще мы все очень старались понять друг друга и понимали умом — но не сердцем.

С работы меня проводили шумно. Весть о том, что руководитель группы инженеров уходит в артисты, разнеслась по коридорам нашей конторы и вызвала дискуссии. С одной стороны, сослуживцам она была приятна. Как-то незаметно рождалась уверенность, что любой инженер, если, конечно, он захочет, может стать артистом. С другой стороны, некоторые отнеслись к моему решению пренебрежительно, считая сновидения занятием не только легковесным, но и бессмысленным. Большинство коллег знало о моей способности; многие видели мои сны, а в теоретическом отделе считалось хорошим тоном иметь дома их описания. Обладатели тетрадок сочли себя обманутыми. То, что ранее было уделом избранных, становилось общедоступным.

Я не обращал внимания на чужие мнения и методично сжигал мосты. Приходя с работы, Яна рассказывала мне очередные новости и сплетни. Некто Задубович из того же теоретического отдела объявил, что тоже умеет сниться, и в доказательство приснился своим приятелям. Те наперебой хвалили его сон, говорили о «полной независимости от Снюся» и даже завели специальную тетрадку для снов Задубовича. Однако повторить сон для более широкого круга Задубович отказался, мотивируя это соображениями свободы творчества и нежеланием «размениваться, как это сделал Снюсь».

Вот так. А я еще ничего не сделал...

Любознательные бородачи отвернулись от меня все как один. Яна похудела от волнения. Ее знакомые из «золотой молодежи» считали своим долгом выразить сожаление по поводу моего шага. Общий приговор был таков: «его все равно не пропустят». Кто не пропустит? Почему не пропустит? Об этом ни слова.

Яна, закусив удила, мчалась со мною в неизвестное.

Позвонил Костомаров и предложил встретиться у Медного всадника. Он сказал, что познакомит меня с гипнотизером.

Когда я пришел на площадь, Костомаров уже был там. Он стоял у памятника, непроизвольно копируя позу Петра. Под ним не хватало лошади. Рядом томился мужчина средних лет с черными выпуклыми глазами. Одет он был в кожаное пальто, но без головного убора. У него был огромный лоб, переходящий в лысину.

— Петров, — сказал он, протягивая мне руку. — Вас нужно тарифицировать, — сказал он после паузы.

— Пускай идет к Регине, — сказал Костомаров Петрову.

Тот вдруг застыл, уставившись взглядом на другой берег Невы. Его черные зрачки подернулись синеватой пленкой. Мне сразу захотелось спать.

— Только ни в коем случае не говорите Регине, что будете работать с Петровым. Скажете — с Глуховцем. Запомнили? — сказал Костомаров.

— С каким удовольствием я их усыплю! — тихо проговорил Петров, не выходя из транса.

— Только, ради бога, не насмерть, Иосиф! — улыбнулся Костомаров.

Мне показалось, что Петров с радостью усыпил бы «их» насмерть. Мы обговорили номер. Каждый должен был работать самостоятельно, поэтому споров не возникло.

На следующий день я отправился в филармонию. У подъезда стояли машины и автобусы с надписью «Заказной». В холле сновали хорошо одетые молодые люди. У всех был уверенный вид, который чуточку портили нервные суетливые взгляды. У огромного окна с мраморным подоконником стояли двое. Один вынимал изо рта пинг-понговые шарики, а другой, требовательно на него глядя, шарики отбирал и скла-

дывал в карманы пиджака. Карманы у него оттопыривались.

Я поднялся на третий этаж и пошел по коридору. В конце была дверь с табличкой: «Отдел оригинального жанра. Чинская Регина Михайловна». Я постучал и потянул за ручку.

В комнате за большим письменным столом сидела женщина, издали казавшаяся молодой. Она была в джинсовом комбинезоне. Очевидно, это была Регина. Она разговаривала по телефону, злорадно улыбаясь. Рядом с аппаратом, на краешке стола, на одной руке стоял юноша. Его раскинутые ноги в узких брюках почти упирались в потолок. Другой рукой юноша поддерживал равновесие. Его лицо показалось мне красивым.

— Разрешите? — сказал я.

— Вы же видите — занято, — недовольно сказал юноша.

— Заходите. Садитесь, — кивнула Регина, не отрываясь от трубки.

Она еще раз с ненавистью улыбнулась ей и повесила. Лицо ее тут же приняло брезгливое выражение.

— И это все? — спросила она юношу.

— Могу хоть два часа, — сообщил перевернутый.

— Да хоть три! Слезай! — крикнула она.

Вместо ответа акробат поднял свободной рукой телефонную трубку, ухитрился прижать ее плечом к щеке и стал набирать номер. Регина с силой выдернула трубку, грохнула ее на рычажки и взвизгнула:

— Вон отсюда!

Акробат мягко спрыгнул со стола. В нормальном состоянии его лицо показалось мне идиотическим. Он вышел гордо, ступая с носка.

— Слушаю вас, — сказала Регина.

Я подошел к столу. Этого делать не следовало, потому что Регина вдруг резко постарела. От двери ей можно было дать двадцать пять, но у стола — не меньше пятидесяти.

Я назвал ее и сообщил, что хочу предложить номер оригинального жанра совместно с гипнотизером Глуховецким.

— Что вы будете делать? — спросила она.

— Сниться.

— Сниться тарификационной комиссии! Неплохо придумано, сизый нос! — воскликнула она и неестественно громко рассмеялась.

Я изложил ей идею номера. Она слушала внимательно, довольно бесцеремонно рассматривая меня узкими глазами.

— Я слышала о вас. Мне говорили, — сказала она. — Давайте попробуем, это интересно. Реквизит, оформление, музыка — за ваш счет.

Итак, нам необходимо было выступить перед членами тарификационной комиссии, чтобы меня, в случае успеха, поставили на ставку актера. Это и называлось «тарификация». Мой мифический партнер Глуховецкий, как оказалось, уже имел низшую ставку и претендовал на следующую. О Петрове я помалкивал.

— Только учтите, что Глуховецкий всех не усыпит. Я вас честно предупреждаю, — сказала Регина на прощание.

Выйдя на улицу, я тут же позвонил Петрову и сказал, что заседание комиссии состоится через три дня. Необходимо было срочно репетировать.

— Спи спокойно, — сказал Петров. — Филофенов в Мексике. Я вас предупрежу.

Я решил, что Петров не хочет репетировать. Два дня я обдумывал сон для членов тарификационной комиссии. Мне захотелось порадовать их острыми ощущениями. Я придумал напряженный сюжет: будто мы плывем по Индийскому океану на паруснике, а нас берут на бордаж пираты. Члены комиссии блестяще отражают нападение — выстрелы, гром, дым, звон шпага, — и мы плывем под тихим солнцем.

В назначенный день я пришел в филармонию. В холле висело объявление, извещающее о том, что заседание тарификационной комиссии переносится на следующую неделю. Причин указано не было.

Через неделю повторилось то же самое.

После третьей отсрочки я перестал туда ходить и стал ждать звонка Петрова. Каждую ночь я показывал Яне сон тарификационной комиссии. Поскольку я не знал ее членов в лицо, все мужчины выглядели как Костомаров, а женщины — как Регина. Семь Костомаровых и пять Чинских. Пиратам было от чего прийти в ужас.

Петров позвонил через месяц.

— Усыпляем послезавтра, — сказал он. — Приходите вечером, подготовимся.

Вечером мы с Яной пошли к нему. Петров жил

в коммунальной квартире. Он открыл нам и повел по темному коридору. Слева и справа были высокие, выкрашенные в разные цвета двери. Из одной выглянула голова женщины, повязанная полотенцем.

— Спать! — рявкнул на нее Петров, женщина обомлела и провалилась обратно в комнату.

Петров привел нас к себе и усадил Яну на диван. В комнате ничто не указывало на профессию Петрова. Книжные полки были набиты книгами по философии и медицине. На низком столике стояла пишущая машинка. Петров порывлся в шкаф и извлек оттуда две чалмы. Одну он протянул мне.

— Дешево, — сказал он, поморщившись. — Но так надо.

Он надел чалму, скрестил руки на груди и метнул взгляд на Яну. Она открыла рот и стала заваливаться набок.

— Стоп, стоп! — сказал Петров. — Однако, вы чувствительны...

Мы отрепетировали выход и комплименты публике. Репетировали под музыку из кинофильма «Шербурские зонтики». Петров спросил, как я собираюсь сниться. Я рассказал сюжет.

— Пожалуйста, попробуйте на мне сегодня после двенадцати, — сказал он.

Ночью я приснился ему в том же сюжете. Семь Костомаровых, пять Чинских и один Петров. Я был в ударе — потопил к чертовой бабушке пиратский корабль и взял в плен главаря пиратов.

Утром Яна впервые выразила неудовольствие тем, что не участвовала в сне.

— Ну представь. Тарификационная комиссия тебя не знает. Будут спрашивать — что за девушка? — объяснил я.

Что-то чужое мелькнуло у нее во взгляде.

Заседание комиссии происходило в просмотрном зале филармонии. В программе было двенадцать номеров оригинального жанра. В зале находились девять членов комиссии во главе с Филофеновым, заслуженным артистом республики. Нас собрали в артистической и вызывали на сцену по очереди. Какой-то жонглер подбрасывал булавы. Вдоль стены нервно ходил дрессировщик с пушистой собачкой на руках и

что-то шептал ей в ухо. Собачка тупо смотрела на него. В углу разминали друг друга силовые акробаты.

Петров, молча, сидел в кресле и курил. На голове у него была чалма. Тяжелые веки Петрова были полуопущены. Он сэкономил гипнотический заряд.

Во всей этой обстановке было что-то необычное. Я присматривался к актерам. Все нервничали, кроме Петрова и собачки. Жонглер то и дело ронял булавы, и они со стуком падали на пол. Иллюзионист механическим движением извлекал из воздуха игральную карту. Это был туз пик.

Странная штука — талант! Ни в чем так не уверен человек, как в наличии у него таланта, — и ни в чем он так упорно не сомневается. Ему нужны непрерывные подтверждения в виде похвал, аплодисментов, сплетен и даже ругани. Ему необходимо вызывать общественный интерес.

Но не только тщеславие собрало в этой комнате людей оригинального жанра. Если бы это было так, я ушел бы первым. Несомненно, каждый хотел отдать то, что имел. Большинство отдало бы свое умение даже бесплатно, но бесплатному удовольствию не верят, как я уже говорил. И вот сейчас мы готовились пройти оценку таланта, причем таланты были у всех разные, а низшая тарификационная ставка одна — шесть пятьдесят за концерт с обязательной отработкой восемнадцати концертов в месяц.

Ученая собачка умела умножать и делить. Умножив ставку на количество концертов, она получила бы результат — сто семнадцать рублей.

Это было в полтора раза меньше, чем получал я, работая инженером.

— Я забыл вас предупредить, — вдруг сказал Петров. — Когда кончится бой с пиратами, пускай они, — он кивнул в сторону зала, — захватят сундуки с драгоценностями. Не скупитесь. Побольше бриллиантов.

— Зачем? — спросил я.

— Так надо, — тоном, не допускающим возражений, произнес Петров.

Нас вызвали после дрессированной собачки. Выходя на сцену, я успел заметить снисходительные улыбки, вызванные предыдущим номером. Мы поклонились, а затем Петров провел молниеносный сеанс усыпления. Он наклонился вперед, расставил руки,

будто упираясь в невидимую преграду, и медленно, с огромным напряжением сдвинул эту преграду в сторону зала. Казалось, что он катит на членов комиссии гигантскую бочку.

— Спать! — с наслаждением прошипел он, когда всображаемая бочка достигла пятого ряда, где сидела комиссия.

Члены комиссии обмякли. Регина Чинская успела что-то вскрикнуть, дернулась и повисла на стуле. Филофенов медленно вытекал из кресла, как тесто из кастрюли.

Но я рассматривал их недолго. Петров сошел со сцены, уселся в первом ряду и вытащил сигареты.

— Спят, сволочи... — усмехнулся он. — Работайте!

И сделал в мою сторону пасс, будто кинул спичечный коробок.

Я очутился на корабле и поплыл по Индийскому океану. Филофенов стоял на капитанском мостике и смотрел в подзорную трубу. Регина Чинская прогуливалась по палубе в купальном костюме. Остальные члены комиссии изображали матросов. Петров был боцманом.

Я стоял за штурвалом и слушал приказы Филофенова.

Внезапно на горизонте показался барк под черным флагом.

— Интересно, — сказал Филофенов, не отрываясь от подзорной трубы. — На флаге череп и кости. Что бы это могло означать?

— Вероятно, пираты, — пожал плечами я.

Филофенов отставил трубу в сторону и недоверчиво посмотрел на меня.

— Американские? — спросил он.

— Потом будет видно, — уклончиво ответил я.

— Что значит «потом»? Уж не хотите ли вы сказать...

В это время на корабле пиратов ударила пушка. Ядро просвистело над головой председателя комиссии и пробило в нашем парусе идеально круглую дыру. Филофенов, держась за живот, потрусил вниз, на палубу. А я продолжал курс на сближение. Я знал, что бой завершится победой тарификационной комиссии.

Дальше было много выстрелов, крика и грохота. Регина, визжа, как ночная кошка, стреляла сразу из

двух револьверов. Петров рычал на матросов, среди которых был один довольно-таки пожилой режиссер, заставляя их бегать по вантам. Пираты один за другим прыгали на борт нашего парусника и вступали врукопашную. Филофенов, прикрываясь сковородкой, бегал по палубе и выкрикивал команды. Его никто не слушал.

Я невозмутимо опирался на штурвал и время от времени убирал из боя очередного пирата.

Члены комиссии стали прыгать на пиратский барк. Первой устремилась туда Регина. Она пристрелила капитана флибустьеров и юркнула в его каюту. Через минуту она вышла оттуда, сгибаясь под тяжестью кованого сундука. Члены комиссии бросали за борт последних пиратов.

Регина грохнула на палубу сундук и откинула крышку. В сундуке сверкнули бриллианты. Она погрузила руки в сундук по локти и в упоении подняла лицо к небу.

— К черту! К черту всех! — хрипела она. — Моя добыча! Законная!

И тут же принялась вешать на себя побрякушки.

Остальные бросились в трюмы и стали выносить на палубу парчу, ковры и хрустальные вазы. Филофенов, отдуваясь, припер японский цветной телевизор.

Неожиданно для меня они не вернулись на наш корабль, а стали поднимать паруса на пиратском барке. Регина вскарабкалась на мостик и схватила подзорную трубу. Сундук она поставила рядом с собою. Филофенов взялся за штурвал.

— На горизонте купеческий корабль! — крикнула Регина.

Пиратский барк отчалил от нас и понесся к горизонту. Черный флаг свирепо развевался на ветру. Члены комиссии с пистолетами и саблями сидели на куцах барахла, разбросанного по палубе.

На нашем паруснике остались только мы с Петровым. Петров вполголоса матерился.

— ...и кончен бал! — была последняя его фраза.

Я очнулся. Петров докуривал сигарету. Члены комиссии еще спали в самых разнообразных позах, придерживая руками воображаемые ценности. Регина, откинувшись на спинку стула, прижимала к глазу кулак с несуществующей подзорной трубой. Петров медленно поднялся на сцену.

— Па-апрашу проснуться! — громовым голосом сказал он.

Члены комиссии нехотя зашевелились. Регина открыла глаза и посмотрела вниз, где должен был стоять сундук.

— Не хочу, не надо... — прошептала она и снова прикрыла глаза. Потом вздрогнула, выпрямилась и взглянула на нас уже осмысленным взглядом.

Мы раскланялись под финальные аккорды французской музыки.

Вслед за нами выступали силовые акробаты. Я подсматривал из-за кулис за членами комиссии. То один, то другой, прикрыв лицо ладонями, пытался погрузиться в сон. Регина сидела с остекленевшими глазами.

Наш номер обсуждался последним, когда уже были тарифицированы силовые акробаты и жонглер, а иллюзиониста и ученую собачку отвергли.

Слово взял престарелый режиссер. Он признал, что впервые видит нечто подобное на эстраде. Затем он детальнейшим образом разобрал сон с точки зрения режиссуры. По его словам, сон был излишне натуралистичен, хотя сцены абордажа неплохи.

Потом долго и хорошо говорили остальные. Чувствовалось, что словоговорение было их основной специальностью.

Интересно, что признаваемая всеми новизна жанра не приводила никого в восторг, а, скорее, ставилась мне в вину. Она была как бы отягчающим обстоятельством. Обсуждали буквально каждую мелочь: костюмы, систему вооружения и оснастки барка, погоду в Индийском океане. Всем не понравилось, что Филофенову достался японский телевизор. Эту деталь сочли малоправдоподобной.

— Предложенная концовка может быть истолкована превратно, — вдруг сказала Регина. — Да, наши зрители победили пиратов, но во имя чего? Чтобы самим овладеть награбленными сокровищами?

Она предложила иную концовку. Будто бы в трюме пиратского корабля томятся негритянские невольники, которых пираты везут на продажу. В результате боя невольников освобождают.

Я взглянул на Петрова. На кой черт он предложил

мне купать их в бриллиантах? Петров сделал знак: соглашайтесь! Я согласился.

Короче говоря, нас тарифицировали. Вернее, тарифицировали меня и Глуховецкого, по всей видимости, принимая за него Петрова. Фамилия Глуховецкого была в списках комиссии.

Петров воспринял это как должное.

— Знаете, что я бы вам еще посоветовал? — сказал Филофенов, когда обсуждение закончилось. — Середина номера прекрасна, иллюзия убедительнейшая... Но оформление убого. Нужно расширить вступление и концовку. Непременно взять ассистентку...

— Может быть, предложить им Корианночку? — спросила Регина. — Она только что ушла из «Летающих блюд».

— Ассистентка есть, — сказал Петров.

Я недоуменно взглянул на него.

— Ваша жена, — пояснил Петров. — Не скромничайте.

— Жена? — переспросил я, естественно, имея в виду свою жену, с которой мы расстались, и удивляясь нелепости предложения Петрова.

— Ну да. Яна.

— Ах, Яна...

— У вас несколько жен? — улыбнулся Петров. — Яна молода, красива и обаятельна. Кроме того, вам удобнее будет гастролировать.

Когда я дома рассказал об этой идее Яне, она пришла в восторг. Но прежде чем я увидел Яну, произошел один загадочный случай.

Я распрощался с Петровым и поехал домой на трамвае. У подъезда моего дома стояло пустое такси с потушенным огоньком. Я вошел в подъезд и увидел Регину Чинскую. Она нервно курила. Увидев меня, она бросила сигарету и возбужденно заговорила:

— У вас прекрасный номер, прекрасный... Вы далеко пойдете. Но я хочу вас предупредить: бойтесь Петрова!

— Вы его знаете? А Глуховецкий...

— Петров мой муж, — сказала Регина. — Бывший. А Глуховецкий — бездарный гипнотизер. Петров не выступал уже семь лет. Он гений гипноза... Зачем-то увлекся философией...

Она усмехнулась и вытянула из сумочки еще одну сигарету.

— Он не захотел выступать? — спросил я.

— Я не захотела... Учтите, от меня многое зависит.

Она сделала ко мне шаг и зашептала, глядя в глаза:

— Я сделаю для вас все! У вас будет прекрасная афиша, лучшие площадки, гастроли. Я сделаю это завтра же...

Я отступил, испугавшись. Я подумал, что Регина сошла с ума. Она была старше меня лет на пятнадцать. Не говоря о других обстоятельствах.

Регина вдруг хрипло рассмеялась:

— Не бойтесь... Дурачок, он боится! Да вас просто сожрут. Мне от вас ничего не надо. Вы только будете мне снится. Лично мне. Не очень часто — раз в неделю. Вы согласны?

— Зачем?

— Мне так надо. Любые сны, лишь бы поострее: гонки, преследования, преступления... Секс не обязателен. Я вас очень прошу, очень... — Она всхлипнула, вырвала из сумки платочек и приложила к носу. — Об этом никто не будет знать.

— Хорошо, — сказал я. — Хорошо...

— Благодарю, — сухо сказала она. — Об остальном — позже!

Она вышла из подъезда, хлопнула дверцей такси и умчалась.

Я приснился ей в ту же ночь, придумав невероятный сюжет с угоном самолета, перестрелкой в Римском аэропорту и поимкой банды экстремистов. Регина была главарем банды. Ей одной удалось скрыться.

Машина завертелась. Типография печатала афиши, в театральных кассах продавали билеты на первый концерт, мы спешно оттачивали номер. Регина провела участие Петрова и Яны, минуя тарификационную комиссию. Яна шила платье с блестками.

Репетировали у Петрова. Собственно, я не репетировал, поскольку моя часть номера осталась без изменений. Я сидел на тахте, листая философские книги, и изредка взглядывал на Петрова и Яну. Они отрабатывали небольшой сеанс гипноза перед моим сновидением. Петров усыплял Яну и укладывал ее на два бочонка с опорой на затылок и пятки. Яна лежала прямая, как карандаш. Петров ставил ей на живот хрустальную вазу, наливал туда воду и опускал букет

тюльпанов. Затем он усыплял тюльпаны. Повинуясь его взгляду, цветы закрывали бутоны и никли головками.

В этом месте ожидался аплодисмент.

После этого Петров пробуждал цветы и Яну. Она выходила к воображаемой рампе с букетом красных распустившихся тюльпанов и бросала их в воображаемую публику. Это было красиво. Тюльпаны очень шли Яне, и я, сидя на месте воображаемой публики, испытывал некую приятность.

Платье с блестками, будучи сшитым, Петрова, однако, не устроило, и он порекомендовал Яне выступить в белых брюках. В таком виде ее удобнее было укладывать на бочонки.

Петров работал серьезно, был немногословен и слегка загадочен. Однажды он прервал репетицию и отобрал у меня книгу, которую я в это время листал. Книга была о рефлексах головного мозга.

— Вам не нужно, — мягко сказал он, ставя книгу на полку.

Я пожал плечами и постарался не обижаться.

За время подготовки к первому концерту я, как и было договорено, регулярно снился Регине. Снился я по вторникам. Один сон был авантюренее другого. Самой Регины я не видел, лишь пару раз разговаривал с ней по телефону, выясняя деловые вопросы.

Яна резко переменялась. Куда девались приступы скуки и вялости! Она стала делать утреннюю гимнастику, перешла на диету и часами простаивала перед зеркалом, отрабатывая жесты и поклоны. По совету Петрова, она начала посещать уроки ритмики в театральном институте. Захваченный ее энтузиазмом, я взял в библиотеке несколько книг по режиссуре и, не переставая, обдумывал концертный сон.

Мне хотелось поразить публику.

За день до выступления меня вызвала Регина.

Я не узнал ее. Она была в том самом платье с блестками, которое отверг Петров. Как оно попало к Регине — осталось тайной.

Но главное было не в этом. Глаза Регины мерцали, а сама она, казалось, испускала флюиды таинственности. Морщины исчезли с лица. Она выглядела лет на тридцать — даже на близком расстоянии.

Но голос по-прежнему был хриплым.

— Ласточка,— сказала она, сверкнув глазами.— Завтра ласточка станет звездой... Спасибо, дорогой! Мы здорово их отделали позавчера. Триста тысяч долларов и три трупа...

— Регина Михайловна! — воскликнул я.

— Э! — крикнула она, делая пальцами какой-то итальянский жест.— Инспектор от меня не уйдет. На следующей неделе мы его прикончим. Верно, сильный нос?

Она совершенно неподдельно и счастливо расхохоталась.

— Я полагал, что вы хотите сообщить что-нибудь о деле,— сухо сказал я.

— Дело! Я — твоё дело! — крикнула она с неожиданной злостью.— Остальное — мура собачья! Ты думаешь, что будешь заниматься искусством? Как бы не так! Вот твоё искусство!

Она ткнула себя в грудь пальцем, потом сделала вид, что прицеливается из винтовки, и спустила курок, прищелкнув языком.

— Завтра сбора не будет,— наконец сказала она деловым тоном.— Не паникуй. Следующее выступление будет с... (Она назвала фамилию популярной певицы.) Зал на тысячу мест, свободным не будет ни одно... Дальше все зависит от тебя.

— Спасибо,— сказал я надменно.

— Ну, давай сегодня! Давай, давай, давай сегодня, а? — взмолилась она.— Я буду ждать. На пару часиков, всего ничего. Мне бы только добраться до инспектора, а там я могу еще недельку подождать.

— Но мы же договаривались... График... — сказал я.

— К черту график! Я хочу сегодня.

— Хорошо,— хмуро сказал я.

Она выскочила из-за стола, шурша парчой, подбежала ко мне и поцеловала.

— Регина Михайловна! — опять воскликнул я.

— Дурашка!.. Иди, иди,— она подтолкнула меня к двери.— И никому ни слова. Остерегайся Иосифа!

Я шел домой, обдумывая последние слова Регины. Почему мне нужно остерегаться Петрова? Каким образом?

Дома я застал Яну. Она сидела за столом, сложив руки перед собою, как школьница. Перед нею по комнате выхаживал Петров. В руках у него была книга по

режиссуре — одна из взятых мною в библиотеке. Указательный палец Петрова был зажат между ее страницами.

Я, естественно, насторожился.

— Простите, — сказал Петров. — Маленькое напутствие перед выходом на сцену. У меня большой опыт, а у вас... — Он вежливо улыбнулся.

— Так вот, — продолжал он, слегка помахивая книгой. — Массовая культура отличается от настоящей не средствами выразительности, а тем, что она снимает проблемы. Искусство обнажает их, а массовая культура снимает. Делает вид, что их нет... Никому не должно быть неприятно. В произведении массовой культуры кровь может литься ручьем — и все же никому не должно быть неприятно. Если представить себе нервную систему человека в виде дерева, то массовая культура воздействует на верхушку, то есть на листья. Она шевелит их, может даже оборвать, подобно ветру, но дерево от этого не зачахнет. Искусство же действует на корни. Совесть у нас глубоко, — сказал Петров. — Дерево может погибнуть или, наоборот, выстоять, если воздействовать на корни.

— Это напутствие? — спросил я, стараясь быть легкомысленным.

— Да, — кивнул Петров.

Яна замороженно смотрела на него.

— Вы пропустили начало разговора, — сказал Петров. — Я говорил, что важно сразу понять, чего мы хотим.

— И чего же мы хотим?

— Мы хотим шевелить листья, — внятно произнес Петров. — Даже если думаем, что обращаемся к корням... Кстати, не злоупотребляйте вот этим. — Он потряс книгой в воздухе.

— Мне не верится, что вы хотите шевелить листья, — сказал я. — Простите.

Петров улыбнулся.

— Мы можем... и хотим шевелить листья, — сказал он.

В ту ночь Яна долго не давала мне заснуть. Она строила планы и мечтала о зарубежных гастролях. Она видела нас в Париже на Елисейских полях, в одном концерте с Жильбером Беко. Я внимал рассеянно, изображая усталость. Мне нужно было срочно сниться

Регине. Внезапно Яна прильнула ко мне и провела ладонью по щеке.

— Помнишь, как ты дрался из-за меня во сне?

— Ты же говорила, что это было дешево?

— Да,— вздохнула она.— Все равно хорошо. Ты давно мне не снился. Только мне и никому больше. Понимаешь?

— Я учился работать,— объяснил я.

Она снова вздохнула, еще плотнее прижимаясь ко мне.

— У меня такое чувство, что что-то кончается... Приснишь мне сейчас, хорошо?

— Хочешь я покажу тебе Регину Чинскую в детективном сюжете? — спросил я, будто это только сейчас пришло мне в голову.

— Покажи, покажи! — оживилась она.— Все! Я засыпаю...

Она прикрыла глаза и засопела, как простуженный зверек. Я почувствовал себя подлецом. Как мало, однако, надо, чтобы почувствовать себя подлецом! Мне было совсем не до сна. Я поднялся, выпил пару таблеток и снова прилег рядом с Яной, повернувшись к ней спиной.

«Никому не должно быть неприятно»,— вспомнил я слова Петрова.

Регина Чинская уже неслась в автомобиле по пригородам Чикаго, преследуя машину инспектора. За Региной, в свою очередь, мчались два полицейских на мотоциклах. Все оживленно перестреливались.

Словно для того, чтобы искупить вину перед Яной, я ранил Регину в плечо. И все же ей удалось уложить инспектора.

Странно! Я почувствовал боль... Этот инспектор был мне незнаком, в отличие от Регины. Более того, он никогда не существовал на белом свете. Я выдумал его для развлечения стареющей женщины. Я дал ему имя, облик, манеру носить шляпу и стрелять из пистолета. Я успел полюбить его... Несколько ночей подряд он охотился за Региной, показывая незаурядные мужество и сметку. И вот сейчас я фактически его убил...

Я проснулся. Рядом спала Яна с детской улыбкой на устах.

Вышел в кухню. Было четыре часа ночи. Глухая пора... Самое время, чтобы тихо повеситься. Мне уже

ничего не хотелось — ни славы, ни денег. Я понял, что взвалил на себя слишком тяжелый крест. Шевелить листики... Мягко гладить сограждан по нежной листве нервов. Приятно щекотать их. И не стыдиться при этом.

Вот-вот! Если бы при этом можно было бы не стыдиться — все было бы в порядке.

Первый наш концерт состоялся в одном из Дворцов культуры. Мы выступали во втором отделении. Перед входом во Дворец висело множество афиш. Среди них была и наша. На ней был изображен Петров в чалме и я — почему-то без чалмы. Ниже была надпись: «Бригантина поднимает паруса. Психологический аттракцион».

К моей физиономии кто-то успел пририсовать усы.

Название номера придумала Чинская. Она сказала, что оно отражает суть сна и в нем есть романтика.

Кстати, освобождение невольников-негров в какой-то инстанции выкинули.

Петров заgrimировал нас в тесной артистической уборной. Рядом вертелся конферансье концерта — маленький человек с выпученными, как у лягушонка, глазами. Этими глазами он ел Яну. Он сказал, что объявит нас после опереточного дуэта.

В томлении прошло полчаса. Я волновался. Яна сидела перед зеркалом и лихорадочными движениями взбивала себе ресницы. Петров был невозмутим.

Наконец конферансье пригласил нас за кулисы. Яну он повел под руку. Мы потоптались в пыльном узком пространстве, пока со сцены не вывалился потный опереточный дуэт. Партнер во фраке, вихляя тонкими ножками, тащил на плече плотную женщину в кринолине. Она спрыгнула с плеча, едва не задев меня, и они вновь устремились на сцену навстречу жидким аплодисментам. Через несколько секунд они вернулись. На их лицах застыла одинаковая мученическая улыбка.

Конферансье подошел к микрофону. Его высокие каблуки гулко стучали по деревянному полу сцены. Он что-то произнес, еще более выпучив глаза, и сделал жест рукой по направлению к кулисам.

— Яна, вперед! — прошептал Петров.

Яна выпорхнула на сцену, сияя улыбкой. За нею вышел Петров, скрестив руки на груди. Я шел следом. Я не знал, что делать с руками.

В полутьме зала можно было различить группки людей, точно островки в океане. Оттуда тянуло прохладой. Петров с Яной начали номер, а я потихоньку разглядывал публику, определяя основных действующих лиц предстоящего боя с пиратами. В третьем ряду я увидел плотную шеренгу наших лабораторных дам. Ближе всех к проходу сидел начальник лаборатории с букетом гвоздик. Вид у него был приподнятый.

«Сейчас я вам устрою феерию!» — подумал я. Яна бросила в зал тюльпаны. Некоторые из них упали в пустые ряды. Петров играючи усыпил публику, перевел взгляд на меня, и начался все тот же бой в Индийском океане.

На этот раз главными действующими лицами были дамы нашей лаборатории. Я поместил их на пиратский барк, сделав начальника главарем флибустьеров. Татьяна, Нина Васильевна, обе Ларисы без устали палили из пищалей. Остальные зрители героически им противостояли. Неожиданно я заметил на пиратском судне Регину. Видимо, она была где-то в зале и сумела вклиниться в действие. Регина проявляла бешеную активность.

Скоро зрители победили наших дам и побросали их за борт. Я дал расправиться с ними акулам. Я будто мстил им за что-то.

Регину я не рискнул бросить за борт, а взял в плен.

Когда Петров разбудил меня, зал еще спал. Мертвая тишина, прерываемая храпом из последнего ряда, стояла над креслами. Яна и Петров сидели на бочонках рома. Голова Яны была перевязана красным платком. В руках у нее был пистолет.

Такова была финальная мизансцена.

Петров пробудил публику. Я с удовлетворением отметил, что наши дамы проснулись в ужасе. Лишь постепенно на их лица возвращались улыбки, которые сменились бурным хохотом. Зал рукоплескал.

Начальник лаборатории уже семенил по проходу, сияя, как блин на сковородке. Он вручил Яне букет, восторженно трясая головой. Мне он бурно пожал руку.

— Молодцы! Отлично! Молодцы! — прокричал он.

Публика продолжала неистовствовать. Мне показалось странным, что такое ограниченное количество зрителей смогло наделать столько шума. Более же всего меня поразила реакция бывших сослуживцев.

Они действительно были в восторге. Раньше они реагировали не так. Я был для них не более чем чудаковатым сотрудником, как говорится, «с небольшим приветом». Теперь же они смотрели на меня как на артиста. Они купили на меня билеты!

Но больше всего был потрясен конферансье. Он в течение десяти минут наблюдал из-за кулис за мертвецки спящим залом. После чего услышал гром аплодисментов. Конферансье не понимал — за что нам аплодируют. Он снова и снова приглашал нас на сцену, затем шепнул Петрову:

— Придется бисировать.

Петров поднял руку, и зал притих. Петров медленно, с напряжением сжал пальцы в кулак. Зал заснул. — Минутный сон, — сказал Петров, поворачиваясь ко мне и так же медленно разжимая пальцы.

Я не был готов к бисированию. Погрузившись в сон, я вдруг увидел себя в маленькой лодке посреди океана. Рядом плыл дельфин. Он сочувственно поглядывал на меня, высывая из воды блестящую гладкую голову.

Мне было очень одиноко.

Внезапно я заметил вдалеке еще одну лодочку, а в ней — человеческую фигурку. Наши лодки сближались. Когда расстояние уменьшилось, я увидел, что в лодке сидит моя дочь. Она читала какую-то книгу.

— Что ты здесь делаешь? — крикнул я.

— А ты? — ответила она. — Я читаю, разве ты не видишь? А вот как ты, папочка, здесь оказался? Далеко тебя занесло!

Ее лодку пронесло мимо. Я ничего не мог сделать, поскольку весел у меня не было. Лодка дочери быстро уменьшалась в размерах.

— Как у вас дела? — крикнул я ей вслед.

— Нормально, — пожала плечами она.

— Как мама?

Она не ответила. Может быть, уже не слышала мой голос.

— Писем мне не приходило? — зачем-то крикнул я.

— Откуда? — слабо донесся ее крик.

— Не знаю... Откуда-нибудь, — сказал я упавшим голосом.

Ее лодка пропала на горизонте, и я снова остался один. Рядом не было даже дельфина — он уплыл за дочерью.

На этот раз аплодировали сдержаннее. За кулисами конференсье долго жал руку Петрову и Яне. Мне он сказал:

— Простите, а что делали вы? Я как-то не уловил. Вы не подскажете?

— Спал, как и все, — сказал я.

— Понимаю, понимаю! — радостно закивал он головой.

Когда раскланивались в последний раз, мне показалось, что в глубине директорской ложи мелькнуло бледное лицо Регины.

Петров предложил отметить первый успех в ресторане. Столик он заказал заранее. Обслуживал нас знакомый Петрову официант. Он старался изо всех сил, подобострастно поглядывая на Петрова.

— Он вам чем-то обязан? — спросила Яна.

— Это мой пациент, — сказал Петров. — Он страдал пессимизмом в тяжелой форме.

— А теперь он оптимист? — не удержался я. Мне почему-то хотелось задеть Петрова.

Петров посмотрел на меня, пожевал губами и сказал:

— Нет. Пожалуй, он стал еще большим пессимистом. Но он не страдает от этого теперь. Вот в чем разница.

Выпили шампанского, по очереди танцевали с Яной. Петров заказал коньяк и начал медленно хмелеть. Его большое лицо побледнело, прядь слипшихся черных волос выползла сбоку на лысину.

Яну пригласил танцевать элегантный грузин из-за соседнего столика.

— Я вам завидую, — мрачно сказал Петров, глядя ей вслед.

— Не стоит, — сказал я. — Что хорошего — быть сторожем при красивой женщине?

— Я не об этом... Вы — птица, а я — змей. Я умнее вас, но я не могу, не могу... — Он развел мас-

сивными руками. Сейчас он был очень пьян.— Только не читайте книжек про режиссуру. Про мозг тоже не читайте. Знаете...— Он наклонился ко мне и вдруг поехал локтем по скатерти. Рюмка с коньяком опрокинулась, но Петров не обратил на это внимания.— Знаете, я ведь тоже умею, как вы. Умею сниться... Я достиг этого годами упорной работы. И все равно — пшик! слабо! Не художественно. Мыслей у вас ни на грош, но есть фантазия. Что есть, то есть... Фантазию не вырабатываешь. И вы с этим... этим даром...— Петров вдруг отодвинулся и презрительно посмотрел на меня.— Как вы распоряжаетесь... Фу ты черт!..

Грузин подвел к столу Яну, и Петров замолчал.

Дальнейшее было малоинтересно. Мы посадили Петрова в такси, уплатив водителю вперед. Петров был тяжел, как колода. На прощание он одним движением пальца ввел Яну в сомнамбулическое состояние, ввалился в машину и уже там хрипло расхохотался. Такси умчало Петрова. Мне стоило большого труда вернуть Яну к действительности.

Сейчас, когда я вспоминаю последующие недели и месяцы, мне кажется, что я бодрствовал лишь по ночам. Мы давали по два концерта в день: на заводах, во Дворцах культуры, в библиотеках и воинских частях. Мы ловили за хвост жар-птицу удачи. Я высыпался на концертах, ночами меня мучила бессонница.

С трудом удавалось прикорнуть часика на два, чтобы обеспечить Регину острыми ощущениями. Она совсем обезумела: требовала сниться ей через день, то и дело устраивала по телефону истерики, плакала и грозилась повеситься, если я откажусь ее обслуживать. Сохранять тайну наших отношений становилось все затруднительнее. В филармонию я старался не показываться.

Надо сказать, что Регина делала все возможное, чтобы помочь нам и содействовать успеху. Это не осталось незамеченным. Злые языки связывали ее поведение с желанием вернуть Петрова. На меня не обращали внимания.

О нашем номере дважды написали в газете, сделали репортаж на радио, готовили статью в журнал. Нас выдвинули на Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Все это было делом рук Регины.

Нам уже порядком надоело мотаться по городу и области. Яна все чаще наговаривала о гастролях, но Ре-

гина медлила с оформлением. По всей вероятности, она боялась лишиться гарантированных сновидений.

Прошло возбуждение первых концертов, наступила нормальная рабочая суета, которая стала как бы целью существования. Переезды, разговоры по телефону, составление графика выступлений, расписанного чуть ли не по минутам — иногда в один вечер мы выступали на трех площадках, и тогда все это напоминало автомобильные гонки, столь излюбленные Региной. Суета, суета, суета!

Денег хватало благодаря переработкам.

Коллеги предупреждали, что кто-то уже «капает» по поводу наших высоких заработков, но на пути кляуз железной стеной вставала Регина. Она показывала заявки — нас действительно много заказывали.

Очень скоро мне стало надоедать. Прежде всего надоел сам номер — дурацкий бой в опостылевшем Индийском океане. Я осторожно совершенствовал его, вводя новые детали, но в принципе менять не имел права — номер был утвержден. Приходилось отыгрываться на бисировании. Здесь я фантазировал, пытаюсь воздействовать на спящих лирически.

Но это вскоре прекратилось.

Однажды мы выступали в клубе кондитерской фабрики. Небольшой концерт, посвященный Женскому дню. Над залом струился сладкий карамельный запах. Мы втроем дожидались выхода, наблюдая из-за кулис за выступлением пары силовых акробатов — тех самых, что когда-то были тарифицированы вместе с нами.

Рядом, в проеме кулис, стояла веселенькая курносая старушка уборщица. Она охнула, когда верхний акробат сделал сальто назад с плеч партнера, и восторженно проговорила:

— Яки здоровенные бугаи!

И добавила недоуменно:

— И ничóго не роблють...

Я вздрогнул и взглянул на Петрова. Мы тоже были ничего себе бугаи. И тоже «ничого не робили», с точки зрения старушки.

Бисируя после окончания номера, я сделал старушку героиней минутного сна, в котором показал ее жизнь. Во сне можно удивительным образом спрессовать время.

Старушка-уборщица, как оказалось, родилась под Каневом в 1905 году. Она была старшей над четырьмя братьями. Самый младший родился в гражданскую войну. Отец старушки так и не увидел его, потому что погиб за месяц до рождения сына. Мать старушки расстреляли петлюровцы как жену красноармейца. Старушка осталась одна с малышами.

Она поднимала их на ноги и по очереди выпускала в жизнь. Последнего она выпустила незадолго перед войной и тут поняла, что самой выходить в жизнь уже поздно. Но она не огорчилась и продолжала жить в селе под Каневом.

Когда пришли фашисты, они отправили старушку в лагерь как сестру красноармейцев. Там она пробыла всю войну и только потом узнала, что два брата погибли, а остальные живы и здоровы. Она переехала в Ленинград, к вдове одного из погибших братьев, и стала жить с нею и нянчить ее детей. Работала она на кондитерской фабрике, поэтому от нее всегда пахло карамелью, что создавало не совсем правильное представление о старушкиной жизни.

После выхода на пенсию она стала работать уборщицей, а жила теперь со взрослым племянником и нянчила его детей. Все уже стали постепенно забывать — кем приходится им старушка и что она сделала в жизни. От нее по-прежнему пахло карамелью, а потом стало пахнуть и дешевым красным вином. Поэтому родственники осуждали ее, и жила она в большом встроенном шкафу трехкомнатной квартиры племянника.

Ее живые братья — один полковник, а другой — старшина сверхсрочной службы, оба в отставке — жили в других городах и со старушкой отношений не поддерживали. Похоже, они также забыли — кем она им приходится.

Несмотря на это, она была удивительно веселой и восторженной старушкой. Видимо, потому, что от нее всю жизнь пахло карамелью и шоколадом.

Когда я проснулся на сцене клуба кондитерской фабрики, у многих зрителей по лицу текли слезы. Петров разбудил зал — и что тут началось!

На сцену вышел председатель месткома с цветами. Он тряс руку Петрову и что-то говорил о его чудесном искусстве. Из-за кулис выволокли бедную упиравшуюся старушку, вручили ей букет цветов, плакали. Ста-

рушка кланялась, как солистка народного хора, в пояс.

— В чем дело? Что случилось? — шепотом спрашивал Петров.

Они с Яной, как всегда, бодрствовали во время бисирования, поэтому ничего не понимали.

— Женский день! — сказал я.

На следующий день меня вызвала Регина. Мне очень не хотелось идти. Я предчувствовал новые приказания и неуместные ласки.

Но я ошибся. Регина встретила меня холодно.

— Что ты делаешь? — спросила она. — Кто разрешил тебе своевольничать?

— А в чем дело? — не понял я.

— Что за богадельня на эстраде? Кому нужны эти старушки! — взорвалась она.

— Ага, уже накапали, — сказал я.

— А ты думал! Ты теперь профессиональный актер. Номер утвержден репертуарной коллегией. И без всякой отсебятины!

— Между прочим, эта старушка и есть тот самый народ, ради которого мы работаем, — не выдержал я. — Ее судьба — это наша судьба. Мне стыдно, в конце концов, показывать эти идиотские абордажи!

— Это другой разговор. Готовь новый номер. Мы будем только приветствовать.

— О старушке?

— Оставь старушку в покое!

— Ты бы видела, что было в зале. Люди плакали...

— Дурашка! Я сама плакала, — сказала она внезапно ослабевшим голосом. — Я хожу почти на все твои выступления, ты и не знаешь?.. Но это эстрада! — Голос ее вновь обрел твердость. — У эстрады свои законы. Люди приходят на концерт отдохнуть, развлечься, повеселиться. В этом твоя благородная миссия. Никому не нужно, чтобы ты вкладывал персты в язвы.

Регина отправила нас на гастроли. Видимо, она хотела, чтобы наша группа на время исчезла из поля зрения недоброжелателей. Я обещал ей сниться с гастролей раз в неделю, восстановив тем самым прежнюю квоту сновидений.

Тем, кто никогда не гастролировал, я могу сообщить, что они счастливо избежали величайшей жиз-

ненной пакости. Холодные номера без воды, стационарные буфеты, в каждом из которых нас встречал один и тот же каменный пирожок с бывшим мясом — казалось, его возили впереди нас по всему маршруту; гостиничное непрерывное унижение; буйные ресторанные знакомства — с гастролирующими артистами знакомятся наиболее охотно, это почитается долгом; немислимые площадки с вечными закулисными сквозняками; наконец, афиши, где перевернуто все — от фамилий до даты концерта.

Мы возили по стране сон с абордажем на пассажирских поездах дальнего следования. Яна осунулась, потемнела, но стойко переносила все тяготы. Петров внушил ей, что стойкость — одна из черт профессионализма.

В Семипалатинске, на площади перед базаром, под палящими лучами солнца я увидел нарисованную от руки афишу, где восточной вязью было написано: «Петров и Снус. Цветные сны». Я слегка ошалел. Мы втроем стояли в очереди за семечками. Пожилой казах вел на длинной веревке упиравшегося барана. Казах с бараном замерли возле афиши, уставившись на нее со вниманием.

— А вы не пробовали сниться баранам? — мрачно сострил Петров.

Облако пыли выкатилось из узкой улочки, закружилось столбом на площади и осело на землю. Казах снова поволок барана.

Я внезапно потерял контроль над собой.

— Вы!.. Вы!.. — кричал я Петрову. — Вы не смеете, слышите! Я не позволю издеваться! Вам хорошо говорить, сами-то вы умыли руки! Халтурщик несчастный!

Очередь, состоявшая из местных жителей, почтительно расступилась, слушая наш творческий спор.

— Прекратите истерику, — тихо сказал Петров и посмотрел на меня тем профессиональным взглядом, которым он усыплял публику на каждом концерте. Я обмяк и медленно поплелся в гостиницу.

Конечно же, я был не прав.

Петров не был халтурщиком. Халтурщиком был как раз я.

Я затвердил свой сон, как таблицу умножения, и тиражировал его каждый вечер. На бис я исполнял теперь пошленький полуминутный сон индивидуально-

го пользования. Это был медленный танец в ночном кабаре Парижа.

Я никогда не был в ночных кабаре Парижа, поэтому брал антураж из французских кинофильмов. Каждая женщина в зале видела себя во сне танцующей с Аленом Делоном. Мужчины танцевали с Брижит Бардо.

Аплодисмент был страшный.

Развлечения ради я подключался к одному из снов и видел, например, толстую, напудренную, со взбитой прической кассиршу «гастронома» в обнимку с Аленом Делоном. Или пожилого сторожа бакалейной лавки, сконфуженно топчущегося с Брижит Бардо перед стойкой бара. Или пьяного шофера грузовика с тою же Брижит Бардо. Или мать пятерых детей с тем же Аленом Делонсм...

Брижит Бардо и Ален Делон были у меня вышколены, как хорошие гувернеры.

Это и было халтурой в чистом виде.

Поразмыслив в гостинице, я понял, что причина моего взрыва лежит глубже.

Началось это еще на первом концерте, когда конферансье удивился моему участию в номере. Тогда я почувствовал легкий укол самолюбия. И в дальнейшем оно напоминало о себе почти на каждом концерте, когда Петрову преподносили цветы. Надо отдать ему должное: он ни разу не позволил себе подчеркнуть свое особое положение. Наоборот, в конце номера он за руки выводил нас с Яной на поклон, а сам отодвигался в глубь сцены.

Правда, это можно было счесть за проявление скромности.

Объективно говоря, Петров выглядел на сцене импозантнее, он выглядел главным действующим лицом. Это получалось само собою, благодаря особенностям его характера — властности, твердости, холодной сосредоточенности. Я со своею извиняющейся улыбкой был попросту в тени его личности. От концерта к концерту накапливалось мое раздражение.

Мы оба знали, что номер невозможно выполнить в одиночку. Я не мог усыпить публику, Петров не умел показывать полноценных снов. Беда была в том, что публика не ощущала моего участия. Она засыпала под руководством Петрова, когда я скромно стоял в стороне, и просыпалась, когда

моя работа была окончена. Лавры поневоле перепали Петрову.

В Ленинграде это было не так заметно. Слухи обо мне распространились задолго до появления нашего номера, и многие зрители шли «на Снюся». На периферии же обо мне слыхом не слыхивали.

Рецензии в местных газетах подчеркивали удивительный талант гипнотизера, а в одной из них мы с Яной были названы просто ассистентами. Если гастроли в одном городе продолжались более недели, Петрова начинали узнавать на улице. Узнавали и Яну, благодаря ее красоте. Меня не узнавали никогда.

Даже горничные в гостиницах относились ко мне как к наименее ценному члену группы.

Яну они поначалу принимали за жену Петрова. Это было тем более простительно, что поселились мы с нею отдельно, так как формально Яна еще не была моею женой. Я видел во взглядах горничных легкое разочарование, когда они узнавали об истинном положении вещей.

Все это начинало меня бесить.

Но было еще что-то, в чем я не мог признаться даже самому себе.

Просыпаясь на сцене после номера, я каждый раз видел Яну и Петрова вместе. Им и положено было вместе сидеть на проклятых бутафорских бочонках и размахивать бутафорскими пистолетами. Но первой моей мыслью после пробуждения всегда было: о чем, о чем, интересно знать, шептались они в тишине мертвецки спящего зала, пока я работал?

У Яны всегда горело ухо, обращенное к Петрову,

Петров купил арбуз, две бутылки водки и после концерта пригласил нас к себе. Мы заедали водку арбузом.

Сначала пили молча. Якобы для того, чтобы снять напряжение после концерта. Яна заметно нервничала. На этот раз у нее горели оба уха.

— Вот вы говорите, что я умыл руки, — вдруг спокойно начал Петров. — Я не понимаю. Объясните.

— Может быть, не будем? — быстро сказала Яна.

— Почему же не будем? — сказал я, вытирая рот. — Я хотел сказать, что у вас выгодная позиция,

Вы не отвечаете за содержание номера. Вам все равно, что я показываю.

— Ошибаетесь, — сказал Петров.

— Ничего я не ошибаюсь! Как бы и кому бы я ни снился, вы будете усыплять совершенно одинаково... Одинаково профессионально.

— Это верно, — согласился Петров. — Но не надо думать, что мне наплевать на содержание. Вы знаете, почему я семь лет не выступал? — спросил он, разливая водку в стаканы и с усмешкой поглядывая на меня и Яну.

Мы выпили, и Петров продолжал.

— Я ушел с эстрады, потому что не знал — о чем мне говорить. Мне нечего было сказать... Я занялся философией, историей искусств, психологией... Теперь мне есть что сказать. Я учился. Я овладел техникой искусственного сновидения. Насколько мог... И тут появляетесь вы...

Петров закурил, глубоко затянулся и задумался.

— Вы умеете это делать лучше, чем я. У вас это от бога, не гордитесь... Я со всею своей философией выглядел бы на эстраде жалким подражателем, если бы работал в одиночку и конкурировал с вами. Поэтому я пошел на сотрудничество.

— Зачем? — спросил я, чувствуя, что Петров не договаривает.

— Я надеялся, что мы станем единомышленниками. Я надеялся, — медленно продолжал Петров, — что наступит момент, когда мы сможем говорить о серьезных вещах. К сожалению, мне кажется, что вы к этому не склонны.

— Ошибаетесь, — на этот раз сказал я.

— Нет, Иосиф не ошибается, — возразила Яна. — Раньше ты работал интереснее. В тебя верили...

— Хорошо, — сказал я. — Что же вы предлагаете?

Петров осушил еще полстакана и встал из-за стола. Его качнуло.

— Вы читали ш... Шопенгауэра? — спросил он.

— Нет, — сказал я.

— Шопенгауэр писал... На свете, кроме идиотов, почти никого нет.

Яна захохотала, запрокинув голову.

Короче говоря, Петров изложил нам свое философское кредо. Опуская несуразности и повторения, свя-

занные с принятием водки, можно пересказать его следующим образом.

На свете, кроме идиотов, почти никого нет. Это был исходный тезис, почерпнутый Петровым, по его словам, у Шопенгауэра. Петров обратил внимание на слово «почти». Оно указывало на то, что на свете, кроме идиотов, изредка встречаются мыслящие люди. Что делать им в окружении идиотов? Какова должна быть линия поведения в идиотской среде? Чем, собственно, неидиоты отличаются от идиотов?

Эти вопросы задал нам Петров и ответил на них.

— Ощущением смерти, — сказал он, глядя на Ягу налившимися кровью глазами. — Ощущением бренности и бессмысленности бытия... Этим они отличаются. Оптимизм присущ идиотам.

Я выжидающе молчал. Слушать Петрова было интересно.

Конечно, подавляющее большинство жизнерадостных идиотов не ощущало своего идиотизма. Более того, по словам Петрова, они склонны были считать идиотами тех, кто не разделяет их оптимизма. Поэтому бессмысленно перевоспитывать идиотов. Петров сказал, что единственная альтернатива состоит в том, чтобы отмежеваться от них. Следовало без устали заявлять о своей непринадлежности к идиотам. Само собой, не декларируя это, на что способны и некоторые идиоты, а отмежевываясь художественными средствами.

— Вы видели картину Брейгеля «Слепцы»? — спросил Петров.

— Нет, — сказал я.

— Откровенно говоря, стыдно...

— Этой картины нет в наших музеях, — тонко возразил я. — Я видел лишь репродукцию.

Приходилось отыгрываться таким жалким способом! Надо сказать, что я действительно изучил Брейгеля и Босха после того разговора в троллейбусе, когда меня пытались пристегнуть к этим именам.

Петров презрительно посмотрел на меня.

— Не прикидывайтесь дурачком, — сказал он. — Так вот. Этой картиной Питер Брейгель отделил себя от окружавших его идиотов. Вам понятно?.. Он их показал.

— А не включал ли он и себя в число слепцов?

— Нет, — жестко сказал Петров. — Он зряч. Картина — лучшее тому доказательство.

— Допустим, — сказал я.

— А вы слепой! У вас есть все возможности избежать идиотизма, а вы слепой, — сказал Петров.

Яна задумчиво доедала арбуз. Розоватый сок стекал у нее по щекам к подбородку.

Мы ехали из Семипалатинска в Крым. Лежа на жестком железнодорожном матраце, я думал над словами Петрова.

Он много чего наговорил нам в тот вечер. Вспомнил Заратустру. Предлагал идеи снов. Петров сказал, что на периферии можно не опасаться, экспериментировать смелее. Впрочем, тут же добавил, что все равно это называется «метать бисер перед свиньями».

Петров был уверен, что человек гадок и подл, одинок и жалок. Он ни для кого не делал исключения — даже для себя. Он гордился тем, что сознавал это. Осознание возвышало его над «идиотами» и давало право говорить все, что он думает о человечестве.

Человечество в чем-то провинилось перед Петровым.

Я вспоминал картину Брейгеля, о которой мы спорили с Петровым. Что же в ней — издевка или сострадание? Кем ощущал себя художник, когда писал эту картину? Жестоким наблюдателем или одним из слепцов, терпящих бедствие?

Если он — один из них, то который из шести?

Первый ли — опрокинувшийся навзничь в реку с крутого берега; второй — потерявший вдруг опору, с выражением ужаса на лице делающий последний шаг в пропасть; третий — с широко открытыми слепыми глазами, испытывающий мгновенное внутреннее прозрение; четвертый — смутно почуявший беду; пятый — спокойный и сосредоточенный; шестой — блаженный и безмятежный?

Он — в каждом из них, вот в чем дело. Поэтому картина рождает не усмешку, а боль. Я не думаю, что Брейгель хотел показать их слепоту — физическую и духовную, — их «идиотизм», по выражению Петрова. Для этого он был слишком большим художником. Он был слишком великим художником, чтобы просто презирать человека. Это дело самое простое. Сострадание, любовь — только не презрение.

Все это я хотел сказать Петрову. Но, как всегда, слова приходят после спора.

Петров предложил сюжет сна. Действие происходит в древней Помпее незадолго до извержения Везувия.

В городе живет гениальный поэт (Петров не скрывал, что хотел бы исполнить его роль в моем сне), который пишет о вулкане. Везувий является в стихах то в образе божества, то — благодетеля и кормильца Помпеи, поскольку в его недрах скрыты несметные богатства полезных ископаемых. Весь вулкан изрыт шахтами.

Однажды поэт публикует в местной газете стихотворение, в котором описывает скорую гибель Везувия и Помпеи, поскольку богатства вулкана истощились и он опасно поврежден шахтами.

Вместо того чтобы прислушаться к голосу поэта, его заточают в тюрьму. Комиссия жрецов авторитетно заявляет, что никакой опасности нет. Богатства Везувия неисчерпаемы.

Помпея утопает в роскоши и пребывает в состоянии эйфории. В один прекрасный день лава прорывает какую-то шахту. Имеются человеческие жертвы. Поэта тут же начинают судить. Его обвиняют в том, что он накликать беду своими стихами.

Выступая в суде, поэт объявляет, что Везувий завтра взорвется и уничтожит Помпею к чертовой бабушке. Его, естественно, приговаривают к смерти за распространение слухов, угрожающих безопасности Помпеи.

Петрова в этом сне интересовала фигура поэта, но отнюдь не судьба жителей города.

На следующий день взрывается Везувий. Жители Помпеи успевают казнить поэта. Он всходит на эшафот с гордостью и торжеством, когда черный пепел уже носится над городом. Он оказывается наиболее счастливым из всех, потому что смерть его мгновенна и, кроме того, окрашена правотою идеи. Остальные погибают медленно, засыпаемые пеплом, обжигаемые лавой, и все равно, последние их слова — проклятия в адрес поэта.

Финальная картинка была достаточно мрачной: разрушенное жерло вулкана, вокруг которого расстилается черная бархатная пустыня пепла.

По настоянию Петрова я показал этот сон на бис в клубе шахтерского поселка Семипалатинской области. В роли гениального поэта, как и договарива-

лись, выступил Петров, публика исполняла роль жителей Помпеи. Нас с Яной я избавил от экскурсии в древнюю историю.

Прием был сдержанный.

После концерта, когда мы разгримировывались в кабинете директора клуба, к нам пришла женщина лет сорока. Какая-то постоянная тревога была у нее на лице. Словно она искала ответа на неразрешимый вопрос. За руку она держала девочку лет пяти, которая сосала пряник.

— А вот скажите,— обратилась она к Петрову.— Эти, которые в шахте были... У них кто-нибудь остался? Дети, жены, матеря?..

— В какой шахте? — спросил Петров.

— Ну, какая сперва взорвалась.

— Наверное, были,— пожал плечами Петров.

— А почему вы их не показали?

— Они все погибли там. Все! — отрезал Петров.

— Ну, эти-то еще жили после тех немного. Они знали, что тех-то уже нет,— вздохнула женщина и ушла, подергивая девочку за руку.

— Вот уровень их сознания! — развел руками Петров.

В Крыму мы гастролировали месяц и дали пятьдесят четыре концерта. Пятьдесят четыре раза показывался на горизонте пиратский барк. Пятьдесят четыре раза отдыхающая в Крыму публика брала его на бордаж и захватывала сокровища. Меня преследовали лица. Я отупел и потерял интерес к выступлениям.

Поначалу я пытался поддержать его дидактическими и абсурдными сюжетами, подсказанными Петровым. Бисирование было после каждого выступления. Иногда бисировать приходилось дважды. Публика ладоней не жалела. Я показывал философские пессимистические притчи с глубоким подтекстом. Потом надоело и это.

Публика в Крыму пестрая. Притчи принимали по-разному. Интеллектуалы из столиц приходили за кулисы и сдержанно, со значением благодарили. Рыбаки из Мурманска приглашали в рестораны. Толстые усатые южане вваливались прямо в номер. За ними несли ящики шампанского и коробки шоколадных конфет для Яны.

Я перестал показывать притчи. И не потому, что мне не хотелось метать бисер. Я понял, что мы с Пет-

ровым расходимся во взглядах. Мне недоставало его высоколбой уверенности относительно „идиотизма“ окружающих. Апокалипсические картины, которые я создавал в притчах, страдали одним маленьким недостатком. Они были бесчеловечны. Лишь внешне все выглядело так, будто мы предупреждаем человечество об опасностях, напоминаем о бренности бытия и пророчествуем. Нами руководило высокомерие, но не любовь.

Курортная атмосфера неблагоприятно действовала на меня. Море шелестело, как купюры. Цикады звенели, как монетки. Вокруг было наглое торжество обнаженной откормленной плоти — пляжные девочки, преферансные мальчики, пьяные глаза, грязные тарелки.

Никого не пугал конец света. Боялись опоздать на поезд, пропустить фильм, занять плохое место на пляже, неровно загореть, потолстеть, похудеть — но конца света не боялись.

А мне все не давали покоя та старушка-уборщица да женщина из шахтерского поселка со своей пятилетней дочкой. Несчастливая девочка! Как я узнал в одну из ночей, ее отец был шахтером и погиб от взрыва газа. Мать тяжело болела почками, а в последнее время стала заговариваться. Она все повторяла:

— Вот уж скоренько, скоренько папка наш с шахты придет! Вот уж потерпи, доченька... Скоро он вернется.

Девочка начинала плакать.

Этот сон я отослал Регине и на следующее утро получил телеграмму: **«ВОЗЬМИ СЕБЯ РУКИ ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ ПУТЕВКОЙ САНАТОРИЙ ОБЕСПЕЧУ».**

Вдруг покатилося все, точно под гору. Публика стала шикать уже после основного пиратского сна, с которым раньше был полный порядок. Оставалось несколько концертов, в кармане был билет на самолет. Я недоумевал: что случилось?

Мы жили в гостинице «Ореанда» в Ялте. Утром после неудачного концерта в ресторан, где мы завтракали, прибежал администратор и сообщил, что часть публики вчера ничего не видела — никакого сна.

— Как? — спросил Петров.

— Что-то вроде телевизионных помех. Полосы, треск! Я клянусь. Мне сказали несколько человек.

Петров посмотрел на меня. Я пожал плечами. Мне уже было все равно.

— А остальные видели? — спросил я.

— Видели. Я сам видел, — заверил меня администратор.

Я посмотрел на него. «Если видели такие, как этот, то дела мои плохи», — подумал я.

В тот вечер на очередном концерте я очень волновался. Что показывать публике? Как? Зачем, в конце концов?.. Петров был хмур, Яна — высокомерна.

Когда пришел наш черед, я вышел на сцену и стал вглядываться в зал, знакомясь с публикой. Петров в это время, как всегда, укладывал Яну на бочонки. Я старался не смотреть в их сторону.

Внезапно в третьем ряду я увидел свою дочь. Она сидела с курсантом в военной форме и глядела на меня. Наши взгляды встретились. Я мгновенно забыл обо всем.

С дочерью я не виделся больше года, после того, как ушел из дома. Попытался однажды поговорить с нею, для чего подстерег у дверей школы. Она была, как мрамор, холодна.

Как мрамор, холодна...

И вот теперь я увидел ее в Ялте, повзрослевшую, в яркой шелковой кофточке, с курсантом. Я сделал ей знак, что вижу ее. Она не ответила.

В этот момент Петров уже усыплял зал. Я успел заметить, как дочь склонила голову на плечо курсанту и прикрыла глаза. Петров сделал пасс в мою сторону и прошептал:

— Работайте! Не отвлекайтесь!

Я снился дочери. У меня не было и минуты, чтобы хоть как-то продумать свой сон. Я вспоминал во сне, как мы с нею первый раз танцевали на турбазе, где проводили лето три года назад. В то лето она превратилась из девочки в девушку, за нею увивались студенты. В столовой турбазы по вечерам играла музыка. Студенты плясали в полутьме.

Я нашел дочь по глазам и пригласил ее танцевать.

— У меня же нога! — сказала она и постучала себя по гипсу.

Правая нога у нее была в гипсе. Она получила рас-

тяжение связок, когда играла в волейбол. Так что танцевала она теперь символически.

— Ничего,— сказал я.— Это как раз мне подходит. Не будешь прыгать, как сумасшедшая.

В раскрытое окошко столовой влетел пинг-понговый шарик. Тогда, три года назад, я поймал его и кинул обратно. Но сейчас, во сне, мне понравилось, как он светится изнутри, и тут же в окно влетел другой шарик, потом еще один... Сотни светящихся шариков прыгали по полу, отлетали от стен, звонко цокали. Дочь смеялась.

— А ты еще ничего, не такой старый,— сказала она.

Потом мы собрали шарики в два огромных рюкзака. Они приятно шуршали и были невообразимо легки.

Мы спустились к озеру и поплыли на этих рюкзаках по темной вечерней воде. В глубине озера светились рыбы. Над перекатом стлался узкий ночной туман. Вода была теплой и гладкой, как шелк...

— Стоп! — сказал голос Петрова. Я открыл глаза.

Петров с Яной сидели на бочонках с пистолетами в руках. Ухо у Яны светилося. Петров разбудил публику. В зале возникла гнетущая тишина. Зрители тупо смотрели на Петрова и Яну. Потом в нескольких местах раздались неуверенные хлопки.

Я посмотрел на дочь. Ее лица я не увидел. Она спряталась за спинкой стула. Плечи вздрагивали.

Мы тут же ушли со сцены.

После концерта дочь подошла ко мне.

— Спасибо,— сказала она.— Ну, зачем ты так? Это же неинтересно другим.

— Плевать мне на других,— сказал я.

— Это твоя жена? — спросила она.

— Ты как здесь очутилась? — сказал я, будто не расслышал.

— С мамой... Мы здесь уже давно. Сняли две комнаты...

— Вдвоем? Зачем они вам?

Она помялась.

— Втроем.

— Ты с этим военным мальчиком? — растерялся я.

Она печально и снисходительно посмотрела на меня:

— Мама вышла замуж.

Я присвистнул.

— Она тоже была на концерте?

— Нет... Ты только, пожалуйста, не вздумай ей снится! — горячо зашептала она. — Я тебя прошу, пожалуйста!

— Хорошо.

Мы шли по набережной. Внезапно нас догнал администратор. Глаза его были круглы. По лицу текли струйки пота.

— Вас срочно требуют в гостиницу! Совершенно срочно!

— Что случилось?

— Никто из публики не видел вашего сна! Это безобразие!

— Я видела, — сказала дочь.

Администратор только рукой махнул.

В тот вечер состоялось еще одно выступление. Мы выступали на веранде двухэтажной дачи. Публики было человек тридцать. Привезли нас туда на «Волге». По дороге Петров провел со мною сеанс гипноза, чтобы вывести из кризиса.

Слава богу, пиратский сон получился. Меня попросили присниться еще. Я показал старушку-уборщицу, а затем несколько сценок из гастрольной поездки: базар в Самарканде, женщину из шахтерского поселка, ялтинский ресторан. Это вызвало интерес и сочувствие.

После выступления был ужин. Пили шампанское, ели виноград. Потом подали коньяк. Несколько тостов провозгласили в нашу честь. Домой нас увезли в третьем часу ночи.

Я чувствовал себя разбитым. Вышел из гостиницы и уселся на парапете набережной. Над Черным морем летали стаи пинг-понговых шариков.

Я вернулся в гостиницу и на цыпочках поднялся в номер Яны. Дверь была не заперта. Я вошел. Одежда Яны валялась на нетронутой постели. Китайского шелкового халата, который обычно висел в ванной, на крючке не оказалось.

Я спустился к себе и позвонил Петрову. Трубку долго не поднимали, потом голос Петрова сказал: «Да?..»

— Поздравляю! — сказал я.

Ужас популярности начинаешь понимать, лишь достигнув ее.

До этого мы склонны кокетничать. Говоря о бремени популярности, мы стыдливо опускаем глаза. Это значит, что истинная популярность еще не достигнута, а тщеславие — не удовлетворено. Популярность существует пока несколько теоретически или в виде намека: в пойманном на ходу узнающем взгляде, в письме глупенькой поклонницы, написанном старательным ученическим почерком, в упоминании на газетной полосе, в приглашениях на никому не нужные мероприятия.

Все это приятно щекотало мое самомнение до тех пор, пока я не узнал — что такое настоящая популярность.

Надо признаться, я гнался за славой. Я равнодушно относился к деньгам, тряпкам, общественному положению. Мне нужна была заслуженная слава. Именно заслуженная, потому что сама мысль о дутой славе приводила меня в испуг.

Теперь, когда я прошел огонь, воду и медные трубы, я могу сформулировать два общих правила:

1. Громкая популярность никогда не бывает заслуженной.
2. Популярность всегда приходит внезапно, как бы за нею ни гонялся.

Это похоже на удар грома после блеснувшей молнии. Раската ждешь, но он всегда неожидан, потому что неизвестно — на каком расстоянии гроза.

Молнии давно уже нет, а гром будто машет кулаками после драки, нагло перекатываясь в небе.

Мы приехали домой, когда там всюду бушевал гром нашей популярности. Я не подозревал, что за несколько месяцев возможны такие перемены. В наше отсутствие вышел телевизионный фильм о пиратском сне и другой — научно-популярный, где обсуждался феномен искусственного сновидения. Психиатр, который меня когда-то обследовал, выпустил в свет брошюрку с объяснениями.

Публика смотрела, читала, удивлялась.

Мало того. Настоящая популярность начинается, когда возникают последователи. Регина сообщила, что

в городе открылось несколько любительских студий искусственных снов при Дворцах культуры. Естественно, студиицы требовали методик у Дома художественной самодеятельности. Естественно, таких методик не существовало в природе.

Ждали меня.

И вот я приехал — уставший до предела, разочарованный, утративший свой дар, покинутый Яной. Меня поздравляли, говорили в лицо, что я талантлив — я лишь морщился, как от боли в животе. Талантлив я был раньше, значительно раньше, когда снился кому попало без всякого расчета, когда легкомысленно забавлялся своим даром и не искал ему применения. Но тогда это называли как угодно — баловством, блажью, хулиганством и даже психическим расстройством — только не талантом.

Талант блеснул, как молния, оставив запоздалый гром славы.

Первым и самым явным признаком краха была Яна. Она принадлежала к той распространенной породе женщин, которые чутко реагируют на талант. Яна была чувствительна к нему, как канарейка к угарному газу. Она пошла за мною именно поэтому — ведь я не был красив, молод, богат и красноречив.

Откровенно говоря, я был достаточно зауряден. Яна первая почувствовала, что моя способность — не просто «бзик» ошалевшего от скуки инженера, а художественное дарование. Она почувствовала это раньше, чем я.

Теперь она первая ушла от меня вслед за талантом.

Последние концерты в Ялте были мучительны. Я был подавлен случившимся. Наутро после моего поздравления Яна объявила о том, что уходит к Петрову. Сам Петров присутствовал при этом и хранил молчание. Он никак не показал своего отношения к происходящему. Видимо, считал это ниже своего достоинства.

Больше всего на свете мне хотелось сбежать от них, побыть одному, без снов, ежедневных концертов, публики. Совсем без снов... Но оказалось, что я уже не принадлежу себе. Я должен был выходить на сцену и засыпать под холодным взглядом Петрова.

— Отнесемся к случившемуся профессионально, — единственная фраза, которую сказал мне Петров.

И все же главная причина тоски была не в этом. Я видел, что уже не могу управлять сном зрителей. Некоторые из них свистели после номера, другие приходили за кулисы и вежливо осведомлялись, правильно ли они вели себя во время сеанса. Почему на них не подействовало?.. А я не знал, почему на них не подействовало. И это занимало мою голову гораздо больше, чем история с Яной.

Я вдруг понял, что никакие личные невзгоды не могут сравниться с потерей таланта. Он был избалованным и своенравным ребенком, которому я подчинялся. Он был чудовищем, сожравшим все, что я имел: семью, профессию, дом, друзей и близких.

Когда мне в голову пришла последняя мысль, я возмутился. Этого не может быть! Случайным сочетанием генов, шалостью творца, легким и ненужным даром — вот чем был так называемый талант, но он, «как бы резвяся и играя», походя уничтожил все ценности, к достижению которых я сознательно шел жизнью. Каждая жертва, приносимая ему, выглядела случайной уступкой, но все вместе они выстраивались в логическую цепь, которая неумолимо вела меня к одиночеству.

Словно другую жизнь, вспоминал я недавние годы службы, лабораторию, ее начальника и наш дамский коллектив. Неужели там был я? Нет, это кто-то другой — недалекий и наивный, молодой сердцем и легкий разумом, так непозволительно расточал свою жизнь, упиваясь всеобщим вниманием.

Домашний очаг, сложенный мною, как мне казалось, для долгой и счастливой жизни, покрылся серым пеплом равнодушия, потому что я возвращался к нему слишком редко, а возвращаясь — никогда не принадлежал целиком.

Я никому не принадлежал целиком — только ему, и постепенно вокруг меня будто выгорала трава дружеских и родственных связей, а я оставался в центре этого увеличивающегося черного круга. Ближние стали дальними, смешались с толпой зрителей, для которых важно было лишь одно — что я Снюсь.

И вместе с тем в мою жизнь входили другие люди, чаще всего созданные снами. Даже зрители, которых я ежевечерне пропускал сквозь пиратский иллюзион, становились чуточку другими. Я сочинял их, давал им новые повадки, ставил в новые ситуации. И это нравилось.

Некоторых из них, вроде того мальчика с мороженым, старушки уборщицы и вдовы шахтера, я не оставлял долго, совершенствуя их судьбу и разглядывая ночами, что могло бы получиться, если бы...

В этом «если бы» была вся штука. Я создавал иллюзию жизни, которая была притягательнее для меня, чем сама жизнь.

Однако реальная жизнь как раз тем и отличается от иллюзорной, что не дает передышки. Если бы дело происходило во сне, я не задумываясь проснулся бы, чтобы перевести дух и подумать: как жить дальше? Но я был лишен такой возможности. Судьба, выражаясь фигурально, тащила меня за шиворот.

Единственным человеком, сохранившим верность и веру в меня, была Регина. Но и она выглядела озабоченной.

— Я предупреждала тебя насчет Иосифа, — сказала она. — Теперь ты понял?

— А что я мог сделать? Яна просто заморожена...

— При чем здесь Яна?! — взорвалась Регина. — Забудь эту дрянь! Она пустышка, как ты этого не видел! Слава богу, что ты от нее отделался. Скажи Иосифу спасибо. Я уверена, он знает ей цену. Она ему нужна только для одного. Это ты, как идиот, искал с ней духовной близости!

— Тогда я не понимаю. Насчет чего ты предупреждала?

— Иосиф — страшный человек. Я его знаю, как облупленного. Я благодарю бога, — несколько патетически воскликнула Регина, — что он не дал ему таланта. У него только ум. Но это страшный ум.

По словам Регины, Петров был опасен для меня идеологически. Она на расстоянии почувствовала «новые мотивы», как она выразилась, в моих снах. Это было ей хорошо знакомо. В свое время она испытала увлечение философскими построениями Петрова, но нашла в себе силы оставить их. А заодно и Петрова.

— Я переболела этим в легкой форме, — сказала

она.— Сначала мне было приятно. Знаешь, это ведь очень соблазнительно — считать окружающих идиотами. Тем более, что они то и дело дают повод. Но через некоторое время я увидела, что сама становлюсь высокомерной идиоткой. Слава богу, у меня осталось чувство юмора... Как-то раз мы с Иосифом были на приеме в каком-то консульстве,— Регина вдруг откинулась на спинку кресла и рассмеялась.— И представь себе... Нет, это надо было видеть!.. Иосиф разговаривал с каким-то атташе не атташе — бог с ним! Не знаю. И вдруг я поняла, что этот атташе тоже исповедует взгляды Петрова! Они говорили о маринованных огурцах! Да-да! Какие есть способы мариновать огурцы — у нас и за границей. И каждый снисходил к идиотизму другого. Они оба считали друг друга идиотами! Ладно, мол, поговорю с ним об огурцах, на что он еще способен!.. Это было безумно смешно. С меня как рукой сняло.

Я переехал жить в гостиницу при филармонии. Место устроила Регина. Комнатка была маленькая, мебель расшатанная и скрипучая. На всем лежал отпечаток временности. И вместе с тем было до боли ясно, что эта временность теперь для меня постоянна.

На стене я повесил несколько своих афиш. Лежал на койке, не снимая ботинок, но все же подстелив под них газету, и курил. Я понял, что на следующей стадии перестану подстилать газету.

Конечно, ни в какой санаторий я не поехал, хотя выступления временно были прерваны. Мы готовились к конкурсу артистов эстрады. То есть как готовились? Готовилась Регина.

Ко мне приходили последователи и подражатели. Это были юные существа самых разных характеров и направлений: от наивных гениев до расчетливых проходимцев. Впрочем, те и другие восторженно смотрели мне в рот. Я объяснял методику сновидений, а у самого на душе скребли кошки — я уже давно никому не снился, даже Регине, и не знал — могу ли я это делать?

Прицепилась какая-то удивительно глупая молодая писательница, которая звонила мне два раза в день и иногда посещала. Она задумала написать обо мне документальную повесть. Документов явно не хватало. Она изобретала их совместно со мною, причем

наши разговоры неизменно напоминали мне диалог о маринованных огурцах.

Каждую ночь я засыпал на скрипучей железной койке, вдыхая сиротский гостиничный запах. Я проваливался в черную дыру, из которой не было выхода до рассвета. Сниться никому не хотелось, кроме того, было боязно: вдурно не получится?

За стеной поселился чтец-декламатор, который по утрам кричал фальшивым голосом: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!»

Регина сказала, что у руководства филармонии созрело твердое мнение — разрешить мне свою программу. Это означало, что нам с Петровым и Яной требовалось подготовить концертное отделение на сорск минут. С этой программой нас должны были выдвинуть на конкурс.

Все было прекрасно, за исключением программы. Ее не существовало в зародыше.

Регина взяла на себя переговоры между партнерами. Вскоре она сказала, что Петров согласен на любой сюжет. Пролог и эпилог программы они подготовят с Яной самостоятельно.

— Сучья лапа! — воскликнула Регина, сверкнув глазами. — Конечно, он согласился! Понимает, что без тебя он — нуль!

— Но я тоже... — возразил я.

— Не смей! Выкинь все из головы! Сейчас ты должен думать о программе.

На некоторое время я воспрял духом. Я стал бродить по городу и всматриваться в людей. Мне хотелось понять — что им нужно? Какую программу?

Была поздняя осень, и ветер гнал в Неву тяжелую воду с залива. Волны бились о парапет набережной и выплескивались на мостовые. По радио передавали сводки об уровне воды в Неве.

Я вдруг придумал общий композиционный прием сна. Он был связан с наводнением. Собственно, наводнение было постоянным фоном, на котором я хотел показать несколько судеб. Люди, которых я выбрал во время прогулок, чтобы заглянуть в их жизнь, были обыкновенные. Все они жили и работали на Васильевском острове. Ученый-биолог из университета, постоянной милиционер у Академии художеств, барменша плавучего ресторана «Корюшка», работница прачеч-

ной, грузчик магазина и курсант военно-морского училища.

Все они жили, работали, веселились и горевали, не обращая внимания на наводнение. Уровень воды интересовал их постольку-поскольку — лишь бы ненароком не промочить ноги. Они и думать не хотели о том, что он неуклонно повышается над ординаром и никто не знает — какой отметки достигнет на этот раз.

Я не осуждал их, но сочувствовал. Мне хотелось донести это сочувствие до спящих.

Когда я рассказал о замысле Регине, она коротко хмыкнула:

— Хм! Очень оригинально! А ты читал одну поэму? Называется «Медный всадник»?

— Читал... — растерянно сказал я. Мне и в голову не пришло, что сюжет сна перекликается с пушкинской поэмой. Всегда бывает чрезвычайно огорчительно, когда обнаруживаешь, что гении обо всем успели подумать!

— Все равно, — сказал я. — В конце концов, иная историческая эпоха...

— Вот именно, — сказала Регина. — Поэтому оставь эту мысль до пенсии и ищи что-нибудь другое. Запомни: твой сон должен быть масштабным!

Масштабным! Это надо же такое придумать! Какого масштаба? Один к одному? Один к десяти?.. Это же не географическая карта!

Я не послушал Регину и продолжал разрабатывать программу с наводнением. Там были интересные находки, и главное — сама атмосфера тревоги, порождаемая балтийским ветром и пляской хмурых, будто раздраженных чем-то волн.

Наконец все было готово. Регина назначила предварительный просмотр моей части работы для членов худсовета. Договорились, что я покажу свой сон ночью, не пользуясь услугами Петрова.

— Что ты решил показывать? — спросила Регина.

— Наводнение.

— Дурак!.. Ну, ничего. Есть еще время поправить.

Вечером я пришел в гостиницу, опустил в стакан с водою никелированный кипятильник и приготовил кипяток. Заварил чай с мятой, выпил, растянулся на койке.

Чтец-декламатор вернулся с концерта, напевая. Он

вернулся не один. Вместе с ним напевала какая-то дама.

Я достал из портфеля список членов худсовета и пробежал его глазами. Подумав, взял карандаш и приписал Петрова и Яну. Подумав еще, добавил к списку жену и дочь.

Это были те, кто должен был увидеть.

Затем я разделся, залез под одеяло, выключил свет и закрыл глаза.

Сначала не было ничего. Я проваливался в сон, как в пропасть. Ветер свистел в ушах. Потом я услышал плеск волн и успокоился. Начиналась экспозиция наводнения. Ветер гнал низкие облака и срывал с волн шапки пены.

Однако обстановка была незнакомой. Вдруг я понял, что вижу берег Черного моря неподалеку от Аю-Дага. Шел теплый летний дождь, смеркалось. Я стоял у входа в какую-то пещеру, в глубине которой мерцал огонь. Из пещеры доносилась песня.

Я пошел туда и увидел костер, вокруг которого сидели человек двенадцать молодых людей — юношей и девушек. Многие в обнимку. Они задумчиво смотрели на огонь и пели.

Я увидел дочь. Она сидела, положив голову на плечо юноше. Это был тот самый курсант, но уже не в военной форме, как тогда на моем концерте. Дочь сделала мне знак рукой: подходи. Я подошел ближе и сел у костра.

Пылали лица, обращенные к огню. Горячий воздух искажал их, колебля, так что я уже не узнавал никого, и вдруг почувствовал, что меня с ними нет, хотя я прекрасно вижу все, что происходит. Круг постепенно расширялся, будто огонь оплавлял ближние лица, и они таяли, уступая место другим, более многочисленным.

В этих новых кругах виделись другие молодые люди, их было значительно больше и одеты они были иначе.

Какое-то лицо там, за маревом, напомнило мне своими чертами жену, другое, мальчишеское — меня самого. Кто они были — наши внуки, правнуки? Огонь оплавлял их, освобождая место новому поколению. Теперь это стало напоминать огромный стадион, как в Лужниках, в центре которого, на футбольном поле, пылал костер. Пространство вокруг было безгранич-

но и наполнено лицами, желавшими попасть к огню.

Вдруг мне удалось отодвинуться от этой картины на какое-то космическое расстояние, и я увидел, что она похожа на фитилек свечи, выжигающей вокруг себя прозрачный воск. Он стекал вниз, на другую сторону земного шара, и там застывал в виде горных гряд и ущелий.

А здесь, на освободившейся стороне Земли, росла ровная мягкая трава, и по ней шли двое совсем молодых людей. Это были мы с женою. Мы толкали перед собой коляску, в которой, как капитан на мостике, стояла наша годовалая дочь, держась за поднятый верх коляски — стояла еще непрочно, чуть покачиваясь, — и указывала пальчиком дорогу.

Меня разбудил телефонный звонок. Я машинально взглянул на часы. Было семь часов утра. Я схватил трубку, успев с ужасом подумать о том, что не имею понятия об увиденном ночью сне. Откуда он взялся?

Звонила Регина.

— Доброе утро, — сказала она. Голос был ласковый и грустный. — Ну, что мне с тобою делать?.. Дурашка, это же не для худсовета!

— Что — «это»? — спросил я.

— Ну, эти мальчики, девочки, символические костры, песенки под гитару... Мне очень понравилось, очень! Ты здесь какой-то новый, юный... Почему мне ничего не сказал? Я обижусь... — Голос стал слегка кокетливым, но Регина быстро взяла себя в руки. — Я постараюсь сделать на худсовете все возможное, но ты сам понимаешь...

— Значит, ты видела?

— Ты еще не проснулся? Конечно, видела! Четкость, цветопередача потрясающие! Видишь, а ты болялся!

Никогда я не чувствовал такой неуверенности. Откровенно говоря, сон мне тоже понравился. Что-то в нем было такое...

Но какое отношение к нему имел я? Неужели он возник на уровне подсознания и вытеснил рационально придуманный сон? Такого раньше не случалось. Как быть дальше, если мои творения мне уже не подчиняются?

Объяснение оказалось гораздо проще, чем я думал.

Я вышел из подъезда гостиницы, направляясь на худсовет. На противоположной стороне улицы стояла дочь. Она почему-то сияла. Увидев меня, она бросилась через дорогу, не обращая внимания на машины. Она подбежала ко мне и неожиданно поцеловала.

— Ну? Ну? Ты видел? — возбужденно восклицала она.

— Видел, — мрачно кивнул я.

— И как? Тебе понравилось? — спросила она уже осторожнее.

— Знаешь, я честно тебе скажу: это не мой сон. Я не знаю, откуда он взялся. Что-то там было мое, но в целом... Да, сейчас я понял — это не мой сон.

— Конечно, не твой! — радостно закричала она. — Папа, это же я снилась! Это я тебе снилась специально! Мы когда были в Крыму... — затараторила она.

— Погоди, погоди... Это сделала ты?!

— Ну да! Что тут такого! В конце концов, есть во мне твои гены или нет?.. Летом я научилась снится. Сначала Витьке, потом маме, а вчера решила показать тебе. Мы в этой пещере часто собирались, это вся наша компания. Я думала, тебе будет интересно.

— Еще бы! А дальше, когда круг расширялся?

— Это я немного фантазировала, — смутилась она. — А что, плохо?

«Господи, этого только не хватало! — подумал я. — За что ей такое наказание?» Она стояла восторженная, глаза сияли, она даже подпрыгивала на носочках, не в силах скрыть возбуждения.

Ее сон оказался сильнее моего. А я был, так сказать, ретранслятором для Регины и членов худсовета. Через полчаса худсовет обсудит творчество моей дочери и вынесет приговор.

«Совсем недурно, сизый нос!» — как сказала бы Регина.

— Спасибо, — сказал я и поцеловал ее в щеку. — Только не увлекайся этим. Тебе надо учиться.

— Вот еще! — дернула она плечиком. — Я сама знаю. Это я так, между делом.

— Ну вот и хорошо. Мама рада?

— Не очень.

— Вот и правильно. Она умная женщина, — сказал я, и вдруг губы у меня запрыгали, кровь ударила в голову, я совершенно потерял контроль над собой.

— Эта фигня! Эта чертовня! Эта хреновина! — кричал я. — Она уже разлучила нас с нею! Теперь она потеряет и тебя!

— Что ты? Что ты? — испугалась она. На глазах появились слезы. — Какой ты нервный стал, папа...

Как я и предполагал, худсовет не принял сна моей дочери. Сделано это было в очень вежливой, прямо-таки доброжелательной манере. Много говорили о поисках, трудностях, инерции зрительского мышления и кассовости. Регина предложила считать сон внеплановой работой. Его разрешили демонстрировать на студенческих вечерах.

Кому разрешили?..

Кончилось тем, что худсовет предложил мне в соавторы сценариста. Это был профессиональный эстрадный драматург по фамилии Рытиков. Оказалось, что у него уже готов план сценария. У Рытикова был костюм со множеством карманов. В каждом из них лежало по сценарию, скетчу, репризе или тексту песенки. Рытиков напоминал человекообразную обезьянку. Когда искал сценарий в карманах, было похоже, что он чешется.

В сценарии у него все что-то строили и пели.

После худсовета Регина повела меня к себе в кабинет. Она шла впереди по коридору, сухо кивая встречным артистам и режиссерам. Я понуро плелся за нею. Проходя мимо, встречные изображали на лице сочувственную улыбку, в которой сквозило заметное удовлетворение. Решение худсовета уже разнеслось по этажам.

Регина вошла в кабинет, пропустила меня и заперла дверь на ключ.

— Ты должен согласиться, — сказала она тоном, не допускающим возражений. — Звание лауреата у тебя в кармане. Год будешь катать программу, потом получишь заслуженного. Пойми, что тебе нужно добиться положения, чтобы сниться так, как ты хочешь!

— Да-да, — сказал я. — У меня была такая иллюзия. Только я уже снился, как хочу и кому хочу, семь лет назад.

— Ну зачем я с тобой вожусь? Зачем? — прошептала она, прикрывая лицо ладонями.

— Я не прошу, — сказал я.

— Как же! Мы гордые! — обзлилась она. — Ты хочешь пополнить толпу непризнанных гениев? Ненавижу!.. Ходят, кривят губы, устало улыбаются, ни черта не де-ла-ют! Ненавижу!

— Хорошо. Я скажу... Худсовет видел сон моей дочери. Я ничего не смог. По-видимому, у меня это прошло.

— Что? Что? — спросила она, округляя глаза.

— Это. Как болезнь проходит...

— Господи! — выдохнула она. — Прости, я не знала. Как же это я не почувствовала?.. Тогда немедленно отдыхать, лечиться, немедленно! Это временно, я уверена, так бывает. Я все организую.

— Не надо, — сказал я.

Регина засуетилась, раскрывая и листая записные книжки, шаря в ящиках письменного стола. Она вдруг стала похожа на старушку. Нашла телефон какого-то врача, стала звонить...

Я вышел из кабинета.

У подъезда меня поджидала Яна.

— Поговорим? — сказала она.

— Поговорим, — пожал я плечами.

Мы молча пошли рядом. Яна зябко куталась в воротник шубки. Еще не было сказано ни слова, а я ощущал себя виноватым. Она всегда умела сделать так, что я ощущал вину.

— Это ведь не ты сделал? — наконец спросила она.

— Что?

— Сегодня ночью.

— Не я.

— А кто?

— Дочь.

Яна, усмехнувшись, выглянула из-за высокого воротника.

— Не стыдно? — спросила она.

Я снова пожал плечами.

— Я ведь чувствовала, — покачала головой она. — Зачем ты так?

— Я не хотел.

— Врешь, — холодно сказала она.

— Я! Я! Я!.. Я это сделал! — закричал я. — От начала и до конца! Придумал, исполнил и передал!

Она внимательно посмотрела мне в глаза.

— Врешь... А жаль.

В тот же вечер, не сказав никому ни слова, я уехал в Москву.

Я малодушно сбежал. Мне надоело все: сны, концерты, филармония, Регина и раздражающие душу сомнения. Я хотел побыть в одиночестве.

Где можно быть более одиноким, чем в огромном городе, в котором ты никому не нужен?

Я устроился у старого приятеля, с которым когда-то вместе учился в институте. У него была двухкомнатная квартира. В пору нашей молодости он тянулся ко мне, мы почти дружили. Потом он уехал работать в Москву, и наше общение прекратилось. Он встретил меня так, будто мы расстались вчера. Я туманно объяснил, что мне необходимо развеяться после жизненных невзгод. Он тактично ни о чем не расспрашивал.

Денег у меня было примерно на год разумной жизни.

Приятель ничего не знал о моих сношениях. После того как он убедился, что я потерял связь с бывшими однокашниками и ничего не могу о них сообщить, он стал рассказывать о себе.

Он был убежденным холостяком и жил в свое удовольствие. Пять лет назад он получил двухкомнатную квартиру, для чего ему пришлось временно фиктивно жениться. Теперь он возглавлял большой отдел в научно-исследовательском институте. Нечего и говорить, что у него было все, что необходимо холостяку примерно сорока лет для счастливой жизни: машина, мебель, горные лыжи, японский магнитофон, бар, книги и пишущая машинка.

Было у него и хобби. Он коллекционировал любовные сувениры. Это были различные безделушки, украшения, косметические принадлежности и даже предметы туалета, подаренные ему многочисленными возлюбленными, а то и просто потихоньку заимствованные. Они находились в специальном шкафу, рассортированные по ящикам. На каждом ящике стоял порядковый номер года. Приятель увлекался этим хобби уже четырнадцать лет.

Сувениры были упакованы в специальные целлофановые пакеты. Кроме самого сувенира в пакете находилась этикетка, на которой было напечатано имя бывшей владелицы и стояла дата приобретения экспоната. В самом первом ящике лежал всего один пакет с перламутровой пуговицей. Дальше количество пакетов нарастало по экспоненциальной кривой, имелось

пятилетнее плато с количеством сувениров около пятидесяти в год, а последние два года наметился небольшой спад.

Когда я к нему приехал, в ванной комнате сушился очередной выстиранный экспонат. Этикетка была уже заготовлена на пишущей машинке. Экспонат звали «Екатерина».

— Екатерина Семнадцатая,— сказал приятель.

Впоследствии я имел честь познакомиться с некоторыми дарительницами.

Я увидел, что многие жизненные удовольствия, включая коллекционирование, безвозвратно прошли мимо меня. Зависти к ценностям приятеля я не испытывал, но охотно поменялся бы с ним расположением духа. Мне казалось, что он непрерывно пребывает в уравновешенном, деятельном и бодром состоянии. Меня же одолевала рефлексия.

По натуре он был спортсмен. Он стремился к удовольствию, как спортсмен стремится к рекорду. Подобно спортсмену, он проводил огромную и целенаправленную предварительную работу, чтобы достичь желаемого. Если ему чего-нибудь хотелось, например колумбийского кофе, он с видимым удовольствием организовывал цепочку связей, приводящую его в конце концов к желанному пакету кофе. Чем длиннее и изощреннее была цепочка, тем большее удовлетворение он испытывал. Он не торопился. Для того чтобы достать кофе, ему приходилось сначала вести в театр сестру зубного техника, затем направлять к нему заведующего магазином меховых изделий, у которого, в свою очередь, приобретал несколько каракулевых шкурочек уличный сапожник. И вот у этого сапожника совершенно случайно оказывалось некоторое количество иностранной валюты, позарез нужной продавцу бакалейного отдела фирменного магазина, где изредка бывал колумбийский кофе. Таким образом, если исключить промежуточные звенья, кофе обменивался на билет в театр. Иногда цепочки разветвлялись. Многие из них функционировали постоянно.

Естественно, это требовало много сил и времени. Если желаемое возникало случайно, в то время когда машина уже была пущена в ход, приятель делал вид, что не замечает этого. Ему не нужны были неоплаченные удовольствия. Зато получив то, к чему стремился, он умел выжать из него максимум удовлетворения.

Как он приносил этот кофе! Как нюхал, заваривал, разливал в маленькие чашечки! Покупался коньяк, приглашалась новая обладательница сувенира, зажигались свечи...

На месте пакетика кофе могли быть: вентилятор для автомобиля, баночка итальянского крема для обуви, полкило воблы, оправка для очков и многое, многое другое.

Жизнь моего приятеля была заполнена до предела.

Я бродил по Москве, посещал выставки, обедал в чебуречных и покупал билеты «Спортлото», на которых вычеркивал одни и те же номера — не помню какие.

Никому не снился.

Через месяц я увидел первый сон. Похоже, он возник естественно, как у других людей, потому что был обрывочен и невнятен. Но я уже стал подозрителен и мысленно искал источник. Может быть, дочь пробирается ко мне за сотни километров? Может быть, кто-нибудь еще?

Неужели я кому-нибудь нужен?..

Безделье утомило меня. Я сказал приятелю, что хочу устроиться на работу. Тоска по простому прошлому внезапно нахлынула на меня; захотелось регламентированной жизни, ежедневных поездок на работу в переполненных автобусах, неторопливой работы за чертежной доской от звонка до звонка; захотелось служебных отношений, собраний, выездов на овощебазу, коллективных походов и застолий.

— Не вижу проблемы,— сказал приятель.— Я прописываю тебя временно и устраиваю в свой отдел. За твою голову я спокоен, она всегда была не хуже моей. А там посмотрим...

И он обнадеживающе подмигнул мне. По-моему, перед его глазами уже блеснула ослепительная цепочка связей, приводящая меня к постоянной прописке в Москве.

Для начала он пригласил меня в НИИ, чтобы я на месте ознакомился с характером будущей работы. Я был вручен молоденькому пареньку в синем халате. Мы пошли к кульману.

Паренек, захлебываясь, рассказал о новом узле, которым занимался отдел. Часть этого узла была передо мною на ватмане. Я вглядывался в мелкую тщатель-

ную штриховку, в разрезы и сечения — и ничего не понимал. Я старался вникнуть в проблему, но слова паренька толклись где-то рядом с сознанием, лишь изредка вспыхивая блестками полузабытых словосочетаний: «гидродинамическая система», «плунжерный насос», «рабочий цикл».

Это было прожито когда-то, а теперь неинтересно. Будто я обманным путем старался вернуть молодость, оставив при себе приобретенный годами опыт.

Я вернулся к столу приятеля. Он оторвался от бумаг и посмотрел на меня.

— Старую собаку не научишь новым фокусам, — сказал я.

— Ну, как знаешь... — развел руками он.

После этого случая приятель стал относиться ко мне несколько снисходительно. Сам он был человеком энергичным и деловым, а я в его глазах выглядел вялым неудачником.

Он тоже стал раздражать меня своей вечной гонкой по жизни.

Наконец я ему приснился. Сюжет был дидактический.

Я показал его одиноким стариком с трясущимися руками, перебирающим огромную коллекцию целлофановых пакетов. Он выдвигал ящики один за одним, вглядывался в этикетки, близко поднося их к глазам, с хрустом мял пакетики. С губ капала слюна. Кучки пакетиков уменьшались от ящика к ящику. Последние ящики были пусты. Он шарил в них слепыми пальцами, наклонялся, разглядывал на ящике номер, так что редкие седые пряди свисали на слезящиеся красные глазки. В туалете непрерывно шумел испорченный бачок.

Утром он хмуро брился в ванной, разглядывая свое лицо и растягивая языком щеки.

— Какая-то пакость снилась всю ночь, — сообщил он.

— Одинокая старость? Завершенная коллекция сувениров? — спросил я, как врач, ставящий диагноз.

— А ты откуда знаешь?

— Видишь ли, это сделал я. Я показал тебе этот сон. Это моя специальность.

— Телепатия, что ли? — ошалело произнес он, прерывая бритье.

— Если угодно...

— Ну ты и скотина! — радостно взревел он. — А я-то думал! Это надо же — какой мерзавец! Вот чем ты занимаешься!

Он смахнул бритвой последние клочья пены со щек и потащил меня в кухню.

— Рассказывай! — потребовал он.

Он выслушал меня молча. Изредка усмехался. Под конец заметно разнервничался и закурил. Когда я замолчал, он вскочил на ноги и принялся ходить по маленькой кухне, выдвигая энергичные возражения. Три шага туда, три шага назад. Он сразу же объединил меня с другими, подобными мне, и повел с нами яростный спор.

— Вам, конечно, наплевать на мнение технаря. Но вот простой вопрос: зачем все это? Зачем нам ваши сны, книги, картины, фильмы, если они мешают жить? Сами мучаетесь — так не мучайте других! — выкрикнул он, внезапно остановившись. — Я честно работаю и зарабатываю свои деньги. Я полезен обществу, да-да! Как я провожу досуг — это мое личное дело. Я должен отдыхать, набираться положительных эмоций, чтобы каждый день работать. Вкалывать!.. И тут являетесь вы и начинаете пробуждать во мне совесть. А я, между прочим, ни в чем не виноват!

Мы перешли в его комнату. Там было просторнее.

— Вы присвоили себе право говорить от имени господа бога. Вы упрекаете других в том, что они мало думают о душе. А у нас нет времени! Просто элементарно нет времени. Нам нужно работать и отдыхать. Вы же мааетесь дурью, но вместо того чтобы честно идти и разгружать вагоны или подметать улицы — на большее вы не способны! — начинаете кричать на всех углах о падении нравов, бесхозяйственности и вырождении. Вы окружили свою деятельность таинственной сетью оговорок и недомолвок. То вам не пишется, то вам не спится! А мы должны каждое утро — заметь, каждое! — идти на работу, где никто не интересуется, работаете ли вы сегодня. Почему?

— Я не хочу вас зачеркивать, но будьте скромнее. Ради бога, чуть-чуть скромнее! Не считайте нас чернью. Еще Пушкин!.. «В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глас!» Ах-ах-ах!.. А сам?.. Ваша

тоскующая лира, ваша так называемая любовь в тысячу раз лживей моего невинного хобби.— Он с грохотом выдернул ящик из своей коллекции и высыпал содержимое на ковер. Пакеты заскользили один по другому, приятно шурша. Он указал на эту кучу широким жестом и продолжал: — Ни одна из них не чувствовала себя оскорбленной или обманутой! Ни одна! Потому что я не обещал вечную любовь, как это принято у вас, чтобы через две недели разочароваться и сбежать. Я давал то, что мог, и брал, что давали. Поверь, все они довольны! Все! — И он пнул ногой шевелящуюся кучу пакетов.

— А ведь вы могли быть действительно полезны. Ну, скажи: чего ты добился своим дурацким сном? Испортил мне настроение, только и всего! И каждый раз, когда кто-нибудь из вашей компании тычет мне в нос смертью, одиночеством, старостью, болезнями, угрызениями совести — у меня лишь портится настроение. Ненадолго, конечно, потому что надо работать! А старость, смерть и одиночество остаются себе, как были, в целостности и сохранности. Тогда зачем этот мазохизм?.. Не лучше ли способствовать нашему отдыху, развлекать нас, расширять наш кругозор, давать недостающие и приятные ощущения? Тебе не будет цены! Хочешь жить, как король? С твоим даром ты можешь устроиться так, что любой мясник тебе позавидует. Любой официант, любой парикмахер! Я сейчас могу дать тебе телефоны людей, которых по ночам мучают кошмары. Играй им колыбельные — и ты будешь как сыр в масле кататься!

— Ты думаешь, что от тебя останется больше, чем это? — Он сгреб пакеты с ковра и подбросил их в воздух. Они снова упали.— От тебя и этого не останется! Так, какой-то мираж, воспоминание, несколько удачных снов. То ли дождик, то ли снег, то ли было, то ли нет... А одинок ты будешь в старости не меньше меня. Я хоть почитаю этикеточки да вспомню каждую, все прелести. Вон их сколько! До смерти хватит, слышишь?! — крикнул он.

Я был раздавлен и уничтожен.

Приятеля моего нельзя назвать дураком. В том-то и дело, что слова его были во многом справедливы. Получалось, что я — со всеми своими идеями и идеалами, болью и тоской — не нужен людям. Мне еще

раз было предложено «шевелить листики», только другими словами: то есть развлекать, смешить, сглаживать углы, вызывать приятные эмоции...

Но как же мне быть? Ведь я только что убедился, что этот путь — по крайней мере, для меня — ведет в никуда, к потере моей проклятой и нежно любимой способности сниться.

Я знал, что ничем другим заняться уже не смогу. Я умел только это. Я листал записные книжки, перебирая имена старых друзей и приятелей, и думал — кому бы присниться? И как, черт побери?!

Несколько дней я чувствовал жуткое одиночество.

Одиночество — страшная штука.

Всю жизнь мы боремся с ним самыми разными способами, временами боготворим, считая плодотворным, когда слишком устаем от суеты. Суета, между прочим, — один из способов борьбы с одиночеством, самый неверный способ.

Лишь потом начинаешь понимать, что одиночество кончается не тогда, когда ты кому-то нужен, кто-то любит тебя, кому-то не лень вникать в твою жизнь, а только если ты сам кого-то любишь.

Попробуйте рассказать о себе тысячу раз всем подряд, начиная от жены и кончая случайным попутчиком в поезде — и вы поймете, насколько вы одиноки. Но выслушайте кого-нибудь однажды, выслушайте по-настоящему, как себя самого, полюбите его, хоть ненадолго, — и ваше одиночество пройдет.

Она ворвалась ко мне, как фурия, напомнив какую-то давнюю сцену из детективного сна с ее участием. Как она разыскала меня в Москве — до сих пор не понимаю!

— Предатель! — крикнула она, распахнув дверь и выростая на пороге в длинном кожаном пальто и с сумочкой на ремешке.

Я лежал на тахте — небритый, голодный и равнодушный.

«Регина... — только и успел подумать я. — Господи, Регина!»

Она шагнула в комнату (за ее спиной в полумраке прихожей я разглядел испуганное лицо моего приятеля) и хлопнула дверью так, что вздрогнул воздух.

— Встань! — заорала она голосом фельдфебеля. — Встань! К тебе пришла женщина, ренегат!

Я вяло поднялся с тахты и предстал перед нею в сером свалывшемся свитере, трикотажных тренировочных брюках и шлепанцах. Регина обошла меня, как музейный экспонат, как какую-нибудь скульптуру, удовлетворенно оглядывая с ног до головы.

— Хорош! — заключила она. — Можешь сесть.

Я так же вяло опустил обратно на тахту.

Робко открылась дверь, из-за нее показалась голова приятеля.

— Может быть, желаете кофе? — спросил он, с любопытством оглядывая Регину.

— Я желаю, чтобы вы оставили нас в покое! — отрезала она.

Голова исчезла.

Не знаю — почему, но во мне есть нечто такое, что позволяет окружающим учить меня жить. Всем кажется, что без надлежащего руководства я просто пропаду. Виною тут моя привычка сомневаться в себе, а также в некоторых истинах, которые считаются непогрешимыми. Однако сомнение и несамостоятельность — разные вещи. И я не понимаю, по какому праву меня все время поучают.

Вот и сейчас, едва опомнившись от воспитательного монолога своего приятеля, я попал под критику Регины.

— Ну, конечно! — говорила она с сарказмом. — Нам подай все на тарелочке с голубой каемочкой. Сначала создай условия, а потом мы, может быть, повторим. Только чтоб нам непременно сказали спасибо, чтобы дыхание у всех перехватывало от благодарности. Как же! Маэстро снизошел! А этого вот не хочешь! — Она вдруг резко выбросила вперед фигу, из которой торчал острый рубиновый ноготь большого пальца. — Таких слюнтяев я перевидала достаточно, будь спокоен! Если ты не умеешь донести свой дар до людей — через не могу, через борьбу, непонимание, непризнание, зависть, клевету, через стиснув зубы, — у тебя нет таланта.

Я слушал Регину и удивлялся. Как хорошо и правильно мы умеем говорить, но делаем при этом что-то совсем другое. И Регина, и Петров с их разговорами о высоком искусстве, о таланте словно бы забывали о тех, кому служит этот талант. «Донести свой дар до людей...» — это же чистой воды демагогия! На самом деле, скорее всего, Регина соскучилась по моим детек-

тивам или получила выговор в филармонии за мое бегство.

— Твоя свобода, и творческая в том числе,— говорила она,— зависит от того, как скоро ты поймешь, что талант не принадлежит тебе. Твоему дарованию досталась не лучшая человеческая оболочка. Она ленива, слабохарактерна и слабонервна. Чем скорее ты подчинишь всего себя своему делу, тем свободнее и счастливее будешь жить. Ведь ты не живешь, а мучаешься! А все потому, что еще не осознал себя инструментом, дудкой господа бога!

— Вы уж скажете — «господа бога»... — возразил я.

— Да-да! Ты ни разу не осмелился назвать себя художником. Не вслух, упаси боже, я сама не терплю эту неопрятную шушеру — «художников» на словах. «В моей творческой лаборатории!» — передразнила она кого-то, неизвестного мне. — Ты не осмелился назвать себя художником внутри. Про себя. А знаешь — почему? Думаешь, я скажу — от скромности?.. Нет. От боязни ответственности. Осознать себя художником — это значит осознать ответственность. Значит, халтурить уже нельзя, лениться нельзя, кое-как — нельзя, бездумно — нельзя! Понял?!. А ты хотел так — играючи, шутя. Мол, я — не я, и песня не моя!

Я разозлился. Она попала в самую точку.

— Почему же вы тогда ставили мне палки в колеса? Почему не давали делать то, что мне хотелось? Почему запрещали сюжеты? — закричал я, вскакивая.

— Дурашка... — улыбнулась она. — Тебя нужно разозлить. Все правильно... Я тридцать лет отдала искусству,—значительно произнесла Регина,— и понимаю, что хорошо и что плохо.

Еще бы, конечно! Но она явно недоговаривала. Она знала не только это, а и механику успеха, кулуарные сплетни, интриги, мнения и веяния. Она брала на себя смелость определять — что нужно и что не нужно зрителю, что он поймет, а что нет.

Я вдруг увидел ее вблизи, как тогда в кабинете, увидел за внешней привлекательностью ее слов цинизм и опустошенность. Я не хотел более ей подчиняться.

Она рассказала, что Петров с Яной нашли себе нового партнера, из молодых. Он основательно изучил мою методику, его сны эффективны и прекрасно выстроены. Они показывают программу, посвященную спорту.

— Это красиво, но... — Регина пошевелила пальцами и скривила губы. — Если хочешь, я дам тебе несколько студий, будешь учить молодежь, ставить с ними коллективные сны...

— Не знаю... — пожал плечами я.

— Ну, как хочешь! — снова рассердилась Регина. — Я сказала все. Вот, возьми...

С этими словами она вынула из сумочки пакет и положила на стол. Затем сухо кивнула мне и вышла из комнаты. Я слышал, как она обменялась двумя словами с хозяином квартиры, потом хлопнула дверь.

В пакете оказалась ее брошюра обо мне, изданная в серии «В помощь художественной самодеятельности», с дарственной надписью на титульном листе: «Герою от автора. Презираю!!!» — а также письмо в областную филармонию.

В конверте я нашел два листка. На бланке кондитерской фабрики с круглой печатью, за подписью директора, секретаря парткома и председателя месткома, было напечатано:

«Уважаемые товарищи!

Руководство предприятия внимательно ознакомилось с критическим материалом, содержавшимся в выступлении артиста тов. Снюсь. Критика признана правильной. Тов. Мартынюк О. С. обеспечена материальной помощью из директорского фонда, ей предоставлена отдельная жилплощадь. Комсомольско-молодежная бригада шоколадного цеха взяла шефство над пенсионеркой тов. Мартынюк О. С.».

— Бред какой-то... — пробормотал я.

На втором листке, вырванном из ученической тетради, крупным дрожащим почерком было написано несколько слов: «Сыночку артист спасибо тебе за комнату справна светла дай бог тебе здоровья и дитяткам твоим. Оксана Сидоровна Мартынюк».

И тут я вспомнил.

Собственно, эта записка с корявыми буквами и была тем толчком, который вывел меня из оцепенения. Через день я уже летел домой в вагоне скорого поезда. Четкого плана у меня не было, но решимость начать

новый этап профессиональной деятельности, злость на себя — такая плодотворная сухая злость — подстегивали мое воображение, рисуя студию, мою студию, где я мог бы не только учить технике, но и делиться опытом — печальным и предостерегающим.

Предстояло начать все сначала.

Никакого умиления по поводу того, что старушка уборщица с кондитерской фабрики получила комнату благодаря моему сну, я не испытывал. Это чистая случайность, что сон дал эффект фельетона в газете. Я понимал, что исправление отдельных недостатков не может быть целью моего существования. И все же сознание того, что эфемерная, в сущности, вещь, мимолетное наблюдение, облаченное в форму сна, мои жалость и сострадание — превратились в несколько квадратных метров жилплощади для несчастной старушки... — нет, в этом что-то было!

Я ехал домой, и весенний ветер, гуляющий по коридору вагона, выдувал из меня последние остатки снобизма.

Каждый должен пройти путь, который ему назначен. На этом пути неизбежны потери. Может показаться, что я потерял слишком много, а приобрел мало. Но лишь тот, кто когда-нибудь — пускай слабо и случайно — испытал удивительное чувство доверия, которое возникает в общем сне с другим человеком, — может понять меня.

В моем купе ехали полковник, девушка-студентка и бородатый дед с бензопилой, замотанной в старое, перевязанное веревками одеяло. Запах бензина приятно щекотал ноздри. Я дождался, когда мои попутчики улягутся и заснут, потом взобрался на верхнюю полку и, улыбаясь, прикрыл глаза, предвкушая сюрприз для трех незнакомых людей, которых свела вместе дорога, как всех сводит и разводит жизнь, и которые никогда не узнали бы друг друга, если бы не тот сон, где мы вчетвером летали на бензопиле по небу, производя дым и грохот, а столпившиеся внизу люди, задрав головы, повторяли с укоризненным одобрением:

— Ишь, куды их занесло! Озорники известные...

И звездочки на погонах полковника сияли, как два равноправных созвездия.



Глава 1. ЭТАЖИ

В тот день белая луна стояла в небе, с утра наконец-то ударил морозец, и деревья оделись хрупким инеем. Слава богу, кажется, наступила зима.

Впрочем, начнем с того, что молодой человек вышел из квартиры на лестницу, где было темно. Касаюсь пальцами стены, он спустился вниз, на площадку четвертого этажа. Споткнулся о цинковый бак и выругался. Ему не понравился этот бак и запах гнили; вообще лестница ему тоже не понравилась, поскольку была старая, деревянные накладки на перилах делись бог знает куда, а главное, молодой человек никак не мог приспособиться к длине пролетов. Когда ему казалось, что ступенька последняя, он делал шаг на плоскость, но нога проваливалась, а сердце замирало.

Он спустился еще ниже. Где-то внизу засветилась электрическая лампочка, но когда он, перегнувшись через перила, попытался увидеть площадку первого этажа, оказалось, что до нее еще далеко, а лампочка высвечивает лишь несколько ближайших пролетов. На стене мелом был нарисован корабль с тремя мачтами, но без парусов; потянуло откуда-то сквозняком — влажным, с мелкими каплями дождя — как они сюда прилетели?.. Молодой человек опустил руку в карман пальто и нашел там сигареты, причем пачка оказалась



нераспечатанной. Спичек, однако, ни в одном из карманов не было, и он сунул сигарету в рот, надеясь прикурить у какого-нибудь встречного.

Молодой человек впервые вышел из незнакомой квартиры и опять-таки впервые спускался по этой темной лестнице.

Как он попал сюда — а он попал сюда не далее как вчера вечером, — мы еще узнаем, а теперь, пока молодой человек спускается, у нас есть время с ним познакомиться.

Звали его Владимир Пирошников. На вид ему было лет двадцать шесть — двадцать семь, не больше. Говорили, что он работает осветителем в каком-то не то театре, не то Дворце культуры, но говорили это давно, а за тот срок, что прошел с тех пор, он, вполне возможно, успел переменить несколько мест службы. Об этом можно судить по тому, что до того как поступить осветителем, он был последовательно студентом, солдатом, вахтером, снова студентом и, наконец, продавцом книг с лотка в подземном переходе у Гостиного двора.

Он был начитан, имел аналитический ум, который позволял ему трезво оценивать свое положение в обществе и не питать на этот счет никаких иллюзий. Он твердо знал, что та незначительная и, по правде сказать, случайная деятельность, которой он занимался, — явление временное и преходящее, что в будущем образуется другая, более устойчивая и плавная жизнь, но как именно она образуется — ясного отчета он себе не отдавал.

Впрочем, довольно скоро он осознал, что вообще все временно и преходяще, и это позволило ему спокойней смотреть на свой порядком изломанный жизненный путь. Иногда он даже приходил к мысли, что не будет никакой особенной беды, если он не достигнет сколько-нибудь заметного положения в обществе и вообще не достигнет того, что при тщательном рассмотрении можно было бы выдать за цель его существования.

В последнее время наш герой все чаще страдал, испытывая вялость, раздражительность и прочие признаки дурного расположения духа, которые посещали его обычно по утрам после какой-нибудь очень уж бестолковой ночи, когда он за считанные часы знакомился с десятком людей, большинство из которых не мог наутро и вспомнить, попадал в чужие дома, вел

длинные и, казалось, вполне интеллигентные разговоры, а напоследок, как правило, неумело, а потому и неудачливо приставал к женщинам.

Вот и вчера... Господи, но что же было вчера?..

Пирошников спустился еще ниже и в редком свете, падавшем из высокого окна, расположенного метрах в двух над площадкой, увидел кошку. Рядом с кошкой находилась перевернутая полиэтиленовая крышечка от банки. В крышечку было налито молоко, и кошка собиралась приступить к завтраку. Пирошников вспомнил, что он и сам давно не ел, и у него даже мелькнула мысль — выпить это молоко, поскольку крышечка выглядела очень аккуратной и чистой. Но он не сделал никакого движения к молоку и прошел дальше.

Лестница была пустынна. Доносились, правда, из-за прикрытых дверей запахи дешевой кухни: картофеля, жаренного на постном масле, яичницы; один раз даже аромат кофе уловил нос Пирошникова, но на самой лестнице, исключая баки для мусора и встреченную кошку, ничего больше не было.

Словом, ничто не указывало на последующие странные события. Все выглядело исключительно мирно в этот утренний час, — какой именно, Пирошников точно сказать не мог, поскольку часов у него не было.

Он достаточно привык уже к темной лестнице и перестал ее замечать, и она также перестала действовать на него угнетающе. Мысли его приняли другое направление. Он стал восстанавливать в памяти события вчерашнего дня, стараясь добраться возможно далее — к моменту, начиная с которого, как ни вспоминать, ничего больше не вспомнишь.

Что-то торопило Пирошникова поскорее добраться до этого момента, чтобы объяснить себе некоторые частности сегодняшнего утра: где, например, он находится, далеко ли от дома и от работы; почему, несмотря на полную неизвестность относительно своего местопребывания, мысли его все время тянутся к чему-то приятному и согревающему душу. Он даже предпочел бы сразу вспомнить это приятное, но чувствовал, что так ничего, пожалуй, не выйдет — надо по порядку.

Итак, сначала было общежитие его приятелей-студентов — небольшая комната с четырьмя кроватями, столом и шкафом, который стоял прямо перед дверью,

так что в комнату приходилось протискиваться боком; очевидно, это была мера предосторожности от неожиданных посещений, а впрочем, стоять шкафу более было негде, потому как у стен располагались кровати. Пирошникову доводилось бывать здесь не раз, приходилось изредка и ночевать на голом матрасе, положенном на пол, накрываясь при этом сверху другим таким же, из которого, бывало, сыпалась труха, так что утром плечи и грудь оказывались припорошенными ею.

Вчерашний вечер начался как обычно и посвящен был празднованию стипендии, полученной тремя из четырех приятелей. Собственно, сам вечер не выделялся из других подобных вечеров, поэтому Пирошников перескочил сразу к его окончанию — окончанию именно на этом месте, в общезнании, — ибо компания часов в десять вечера, когда все решительно магазины в городе уже закрылись, перешла в ближайшую шашлычную. Там дело приняло уже серьезный оборот, и вот с того момента память Пирошникова начала как бы заикаться, четко и по несколько раз восстанавливая одни эпизоды и, напротив, совсем пропуская другие.

Тут мы вынуждены прервать повествование о вчерашнем вечере, чтобы снова вернуться на эту подозрительно длинную и темную лестницу и отметить первую на ней странность. Пройдя несколько лестничных маршей, Пирошников опять увидел кошку, точь-в-точь похожую на первую, мало того — перед этой новсой кошкой стояла точь-в-точь та же крышечка, правда, на этот раз без молока, что было ясно видно в таком же рассеянном и сером свете, падавшем из подобного же окна. Забавное совпадение!

Если бы мысли Пирошникова не подошли сейчас к тому главному во всей вчерашней истории, которое окрасило сегодняшнее утро в столь приятный цвет, он, скорее всего, обратил бы внимание на этот факт и на то, что кошка была не просто похожа на ту, встреченную ранее, нет! — она была похожа как две капли воды, страшно сказать — это была та же самая кошка!

Но молодой человек отметил кошку как бы про себя, потому что мыслями он был далеко — на деревянном мосту, ведущем к Петропавловке, куда он попал уже в полночь, и он был там не один.

Появлению Пирошникова на мосту предшествовало маленькое приключение, которое необходимо изло-

жить, ибо в нем как нельзя лучше отразилось нынешнее разболтанное и, прямо скажем, безответственное состояние души нашего героя. Детали приключения сохранились в памяти Пирошникова весьма выпукло — именно потому, что пережиты были острые ощущения.

Компания, о которой уже упоминалось, нашедшая себе приют в дешевой шашлычной неподалеку от общежития, под занавес решила на «соскок», как именуется на городском молодежном жаргоне внезапный уход из ресторана, кафе, шашлычной или иного заведения, обслуживаемого официантами, без оплаты выпитого и съеденного за вечер. Дело это не очень простое, в особенности зимою, когда за любителями бесплатных угощений присматривают не только официанты, но и гардеробщики — ведь надо не спеша выйти из зала, сдать номерок, а затем чинно и благородно одеться, испытывая не совсем приятное ощущение, будто тебе вот-вот выстрелят в спину. Однако, по всей видимости, в этом ощущении и состоит своеобразная прелесть подобных побегов для хмельных компаний.

И добро бы имелась крайняя нужда! Не было бы денег, чтобы расплатиться, или бы выказывался этим не совсем законный протест против дурного обслуживания — так нет же! У приятелей Пирошникова деньги были, а прикрепленная к столику официантка отличалась разве что стойким равнодушием к посетителям, что вовсе не редкость. Она надолго и часто исчезала за потертыми плюшевыми портьерами, прикрывающими вход в кухню, а когда появлялась, неся у огромной груди поднос с шашлыками и графинчиками, то даже не удостоивала компанию взглядом.

Может быть, именно это обстоятельство, а скорее желание покуражиться и выкинуть нечто из ряда вон выходящее навело молодых людей на подозрительную идею. Цветущий вид официантки делал неуместной жалость к ней; компания быстро и весело договорилась, что тридцать — сорок рублей, на которые официантка будет «наказана», для нее — сушая мелочь.

Подогреваемые этой мыслью, четыре человека из пяти, в том числе и Пирошников, снялись со своих мест, дождавшись момента, когда официантка в очередной раз уплыла за плюшевые портьеры. В гардеробе они предъявили пять номерков, стараясь шутками и перемещениями запутать старика гардеробщика. Та-

ким образом куртка оставшегося за столиком заложника тоже была прихвачена, и Пирошников, спрятав ее под полою своего пальто, первым выскользнул из шашлычной.

Сердце гулко стучало, вспотела ладонь, прижимавшая куртку приятеля к животу... — мысль у Пирошникова была одна: уйти как можно быстрее и дальше.

Беглецы расположились в заснеженном сквере напротив, из которого была видна дверь шашлычной. Все притихли, сидя на спинках холодных скамеек и покуривая. Через три минуты дверь распахнулась, и из шашлычной выбежал заложник в расстегнутом пиджаке. Галстук выбился на сторону и развеялся на ветру при беге. Через несколько секунд он был уже с приятелями и, дрожа от возбуждения, натягивал куртку.

Тут же из шашлычной выскочила официантка в белом переднике и с кокошником, засвистела в милицейский свисток. Следом вылетел молодой официант при бабочке, повертелся у дверей, вглядываясь в ночную улицу, но никого не обнаружил... Приятели же Пирошникова, да и он сам, уже не видели этого официанта, потому что при первых трелях свистка бросились врассыпную. Пирошников, пробежав квартал, остановился и увидел, что он один.

И сразу же пережитое волнение, заставившее Пирошникова на несколько минут собраться внутренне и протрезветь, внезапно обратилось в расслабленность. Молодому человеку до крайности мерзко сделалось на душе — не то чтобы от раскаяния, но от полной бессмысленности поступка, за которой увиделась вдруг и бессмысленность всего вечера, разговоров, желаний... — больше того: бессмысленность последних лет его жизни, осознаваемая им пока еще неясно, но неотвратимо.

Пирошников побрел по незнакомой улице, уже почти не помня себя, опустив голову... побрел почему-то по направлению к шпилю Петропавловского собора, мерцавшему вдалеке между домов. Опьянение снова одолевало его.

Последняя яркая картина, увиденная им как бы со стороны, была такова: он стоит на мосту в распахнутом пальто, шарф длинным концом свисает из кармана; кажется, он без шапки (однако куда делась шапка?) и смотрит в темную воду, где отражается луна.

А рядом с ним в двух шагах, перегнувшись через те же перила, смотрит на отраженную луну женщина в белой шапочке... Снова обидный провал! Пирошников помнил эту шапочку, пожалуй, лучше всего — такая она была мягкая и пушистая; хотелось даже потрогать ее руками, погладить... — но лица женщины он не помнил напрочь. Только длинные волосы из-под шапочки, спадавшие на неопределенного цвета шубку.

Однако сейчас важно было вспомнить, что она говорила и что говорил он, и как вообще завязалась эта беседа — а он точно помнил, что беседа была, — хотя вид Пирошникова да и время были не самыми подходящими для нее.

Ах этот вид!.. Всякий раз, знакомясь с женщиной, Пирошников стыдился потертости и, если хотите, затрапезности своего костюма, к которым добавлялись неряшливость и, что хуже всего, — следы давнего блеска.

Например, его ботинки, хотя и были выпуска какой-то иностранной фирмы, имели весьма поношенный и грязный вид, чему, конечно, способствовала слякотная погода, а самое неприятное было то, что Пирошников явственно ощущал дырку в носке на месте большого пальца — дырку, которую никто видеть не мог, но которая постоянно портила ему настроение и, казалось, заявляла о себе на весь свет. Пальто Пирошникова тоже, будучи модного покроя и не без шика, потерлось на плечах и у карманов, а пуговичные петли разболтались и разлезлись до ужаса, так что любое неосторожное движение легко могло распахнуть полы, и тогда взору являлась подкладка, прорванная в нескольких местах, в особенности снизу, где одна дыра выходила прямоком в карман, делая последний решительно непригодным к употреблению.

Все эти мелочи не так уж бросались в глаза, но Пирошникову казались непростительными и, несомненно, не допускающими не только бесед с женщинами, да еще в ночной час, но и самой мысли о подобных беседах.

Тем не менее беседа все-таки возникла, хотя предмета ее молодой человек в памяти не обнаруживал. Зато наконец обнаружилась в памяти шапка и история ее исчезновения. Она проливала какой-то свет на беседу. Может быть, именно с шапки все и началось. Во всяком случае, Пирошников вдруг вспомнил, что

поначалу он был в шапке, но потом, желая привлечь к себе внимание (об этом он подумал не без смущения), он снял ее с головы и опустил за перила. Шапка поплыла по воде и скрылась в темноте, а Владимир сказал, обращаясь вроде бы к самому себе, что так, мол, гадают в ночь на Ивана Купалу (он когда-то видел в кино, как девушки пускают венки по течению, но теперь все перепутал, что совершенно простительно).

На что он рассчитывал? Теперь-то, спускаясь по лестнице, он понимал, что последующее поведение женщины, в сущности, совершенно необъяснимо. Она не испугалась, не побежала прочь, а, повернувшись к Пирошникову, сказала что-то такое, чего он опять-таки не мог припомнить. Кажется, она сказала так:

— Вы смешной, но только не надо смешить нарочно, а то получается глупо, ведь правда?

Вот эту вопросительную интонацию в конце только и помнил достоверно Пирошников, вся же остальная фраза, по всей вероятности, была придумана им сейчас самостоятельно.

Так или иначе, начало нити нашлось, и Пирошников осторожно, чтобы не оборвать, принялся вытягивать ее из памяти. Своими словами женщина, как ему хотелось верить, приглашала его продолжить разговор, причем в ее словах Пирошникову почудилась доброжелательность. Он было подумал, что она... словом, он нехорошо подумал, но быстро отогнал эти мысли, тем более что дальнейший ход беседы их никаким образом не подтверждал.

Он вдруг проникся к ней доверием, какое испытываешь подчас к совершенно постороннему человеку, если согласишься, что тому есть до тебя дело. Пирошников ответил ей длинно и не совсем связно, но его слова шли от сердца, встречая сочувствие (он это заметил), хотя вызвать его он не хотел.

— Постоите здесь и выслушайте меня! — говорил Пирошников. — Я вовсе не хочу ничего дурного, поэтому останьтесь и не обращайтесь внимания, что я пьян. Понимаете, я часто думаю, что вот пройдут еще пять лет, десять лет — я не знаю сколько — и все! Ничего больше не нужно будет — ни любви, ни славы, ни цели никакой, потому что человек, я думаю, умирает рано, задолго до своей смерти... Я сегодня почувствовал что-то странное — с вами случилось? — вдруг почудилось, что все уже было, и не один раз. И лица те же, и разговоры, и мысли... Очень страшно сделалось,

и я ушел. Я вам это говорю не для того, чтобы заинтересовать. Я... а что это я все про себя? Про меня вы и сами все поймете, если уже не поняли...

Произнесши такую речь, Пирошников повернулся и зашагал вниз с моста. Он удивился и обрадовался, когда услышал, что женщина идет за ним. Тут снова дурные мысли полезли в голову, и уже представилась такая небывалая по легкости победа; представилась не без сожаления — опять ошибся, опять не ту встретил... одним словом, все зря, пусть хоть так кончится!

Но женщина, догнав его, сказала несколько слов, которых оказалось достаточно, чтобы Пирошникову стало стыдно своих мыслей. Она сказала так:

— Если нужно ладить с соседями, которых и видишь-то не каждый день, то, наверное, прежде нужно ладить с собой. Ведь вы с собою всю жизнь — и всю жизнь мучаетесь! Так нельзя! Не относитесь к себе плохо, тогда и другие...

Короче говоря, что-то в этом роде она сказала Пирошникову, и дело было совсем не в словах, а в голосе, в тех необыкновенно успокаивающих и доверчивых интонациях, каких давно уже не слышал наш герой.

Все! все! все!.. Больше ничего он не вспомнил, сколько ни пытался. Смутно, скорее осязанием, помнил ее руку — тонкие пальцы с ноготками, хрупкое запястье — но где и когда он коснулся этой руки? Дальше было утро, раскладушка, серая комната — не поймешь какая, в комнате никого нет, коридор на ощупь, замок такой, что черт не разберет, и лестница... Однако что это за лестница?

И только Пирошников подумал это, как перед его глазами возник корабль с тремя мачтами, но без парусов, нарисованный мелом на стене.

Он мог бы дать честное слово, что видел где-то совсем недавно точно такой же корабль, и первым делом подумал, что опять начинаются неприятные повторения в памяти, но на этот раз впечатление от нарисованного корабля было настолько свежо, а сам корабль с острым носом и наклоненными почему-то вперед мачтами был настолько оригинален, что потребовалось лишь легкое усилие, чтобы вспомнить его, и тогда Пирошников похолодел. И сразу же, обгоняя друг друга и торопясь, застучали в уме вопросы и, не находя ответов, тут же наскоро перерастали в подозрения: где он? почему так долго спускается? кто это все подстроил? не болен ли он? почему нет парусов? что делать?

Тут вспомнилась и кошка — та, вторая, и крышечка без молока: почудилось, что тишина на лестнице как-то по-особенному зловеща, а в ней глухо отдаются и шаркают его шаги. Молодой человек пустился бежать вниз, выбрасывая ноги мягко, чтобы не оступиться в темноте, но, пробежав еще этажа три, вдруг остановился, наткнувшись снова — конечно же, конечно! — на кошку.

Нечего и говорить, что кошка ничем не отличалась от первых двух, и так же сидела, и крышечка... — черт-те что!

Итак, кошек было теперь ровным счетом три, но Пирошников (надо отдать ему должное) в одно мгновение понял, словно уже был подготовлен к этой мысли, что кошка-то на самом деле одна, и, чтобы проверить это предположение, он схватил мирно дремавшую кошку в охапку и бросился бежать вверх. Он захотел удостовериться в том, что кошка не обладает способностью раздваиваться, а лишь существует в различные моменты времени на одной и той же лестнице. Короче говоря, молодой человек догадался, что кошка самая обыкновенная, а винить во всем следует именно лестницу. И точно! Пробежав некоторое расстояние вверх, Пирошников снова увидел крышечку из-под молока, вроде бы оставленную им только что ниже, но кошки рядом не было. Поставив кошку рядом с крышечкой, Пирошников, уже не очень торопясь, как ни странно почти довольный разгадкой, спустился вниз, чтобы опять на старом месте повстречаться с кошкой.

«Все в порядке!» — подумал он, хотя до порядка было еще довольно далеко и предстояло решить главный вопрос: как выбраться из этого замкнутого круга?

Пирошников присел на ступеньку, чтобы все обдумать, и только теперь начал понимать, насколько серьезны его дела. То есть он не допустил и мысли, что на самом деле существует какая-то такая особенная лестница без начала и конца, — он подумал гораздо проще, а именно: продолжаютс я вчерашние штучки — видимо, что-то случилось с головой; вообще нужно кончать с этим делом, не пить и не гулять неизвестно где по ночам. Но такие трезвые суждения не продвинули его в разрешении вопроса. Захотелось курить. Он помял сигарету в руках и оглянулся по сторонам, словно надеялся найти кого-то. Почти в ту же минуту Пирошников услышал внизу шаги. Заглянув в пролет,

он увидел сначала руку на перилах, которая совершала размеренные скачки вверх, а потом и человека в серой шапке и кожаном пальто, поднимавшегося к нему. Пирошников встал, успев подумать, как нелепо и подозрительно выглядит он в этот утренний час на лестнице — именно потому, что никуда не идет. Однако человек не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал свой уверенный подъем. Когда он прошел мимо и находился уже выше Пирошникова, тот остановил его вопросом:

— У вас не найдется спичек?

— У меня есть зажигалка. Вас устроит? — сказал человек, остановившись.

— Который час? — спросил Пирошников, подойдя к нему и наклоняясь с сигаретой к зажигалке.

— Семь часов двадцать восемь минут, — проговорил мужчина голосом диктора радио, причем на часы не взглянул. Говорить более было не о чем — в самом деле, не спрашивать же его, где выход? Выход, ясное дело, должен быть внизу. Мужчина удалился, твердо ступая по лестнице, потом где-то наверху и внизу одновременно хлопнула дверь, и Пирошников понял, что шанс потерян.

Утренняя его нега прошла, он и думать забыл о вчерашней незнакомке, которая вовлекла его в эту карусель, но, с другой стороны, не было и страха или возбуждения — все сменилось равнодушием и ленью. Побродив немного вверх и вниз, он от нечего делать поиграл странными свойствами лестницы. Например, он стер у нарисованного корабля одну из мачт, а после отправился посмотреть вниз, что получилось. Результат был, как говорят, налицо: мачты не оказалось и внизу. Тогда он пальцем, испачканным в мелу, дорисовал мачту и пошел наверх, где, естественно, нарисованное им было уже тут как тут.

Он решил идти только вниз (так было легче) и шел около получаса, пройдя, должно быть, этажей сорок или того больше и встретив по пути еще несколько кошек и нарисованных кораблей. Правильной периодичности Пирошникову установить не удалось; бывало так, что новая кошка появлялась буквально через этаж, а после надолго пропадала. Но все эти шутки мало уже интересовали нашего героя. Наконец он остановился. С усмешкой взглянув на окурок своей сигареты, брошенный им где-то выше, а теперь догоравший на ступеньке внизу, Пирошников свернул с площадки

в темный коридор, где находились двери квартир. Приблизившись к одной из них, он провел ладонью по тому месту, где обычно находятся звонки, и в самом деле обнаружил под рукою не одну, а целых три кнопки различной формы. Он позвонил в крайнюю. Звонок глухо раздался в квартире, но никто не вышел. Когда же Пирошников попытался ощупать дверь пальцами, чтобы определить, есть ли на ней ручка и какие замки, дверь, поддавшись ему, легко и без звука отворилась, и перед Пирошниковым предстал довольно длинный коридор с высоким потолком, в середине которого на голом проводе слабо желтела электрическая лампочка.

Пирошников вошел, приготавливаясь внутренне к новым штукам, которые могли появиться каждую минуту.

Глава 2. НАДЕНЬКА

Чего только не происходит в нашем городе! Кажется, давно уже все утряслось, оделось нарядным камнем, сменило цвет на более жизнерадостный; проспекты стали еще прямее и шире, и при дневном свете город производит юное и прекрасное впечатление, будто никогда не раздавался здесь, на набережной, топот тяжелых копыт Медного всадника, а там, в глубине дворов, словно не прятал бледный юноша тех страшных, омытых кровью драгоценностей. Все ярко и сильно в невской панораме, спокойно и величаво.

Но выйдите из дому декабрьским вечером, когда нет еще настоящей зимы, когда несетя и слепит глаза мутный снег; пойдите вдоль Фонтанки, черная вода которой выделяет пар и кажется потому горячей; пройдите под окнами серого здания, что смотрит на Михайловский замок с подозрительностью и угрюмством; взгляните, наконец, на сам этот замок — и как знать, не мелькнет ли тогда на том берегу наклоненная против ветра фигурка человека в длинном плаще и не задрожит ли каменный мост, вспоминая могучий топот? Все неверно в той же панораме, да и нет ее самой — она скрыта за снегом.

...Пирошников, покинув проклятую лестницу, передвигался по чужой квартире. Коридор был как коридор, довольно чистый: стоял комод, накрытый кружевной салфеткой, на вешалке висела одежда. В конце коридора был поворот направо, видимо в кухню, а слева, на некотором расстоянии друг от друга, нахо-

дились три крашеные двери, лишенные особых примет, все три с английскими замками.

Пирошников подошел к средней и, не успев даже как следует обдумать дальнейшее, толкнул ее. Дверь распахнулась, что отнюдь не удивило нашего героя, приученного уже предшествовавшими событиями ко всему странному.

Теперь перед ним открылась комната, довольно просторная и с высоким потолком, но длинная, как вагон, в конце которой находилось узкое окно с полотняной занавеской. В комнате бросились в глаза шкаф красного дерева, кое-где обитый и поцарапанный, такого же дерева бюро с ящичками, стол, а у другой стены диван со смятой постелью. На диване, поджав под себя ноги; сидела молодая женщина во фланелевом халатике и причесывалась, глядя в стоящее перед нею на стуле зеркальное стекло без рамы.

Женщина эта не повернула головы к гостю, вообще никак не показала, что замечает его, может быть потому, что была увлечена своими волосами, кстати, имевшими красноватый оттенок и не очень длинными.

— Простите,— начал Пирошников, но женщина, опять-таки не поворачивая головы, не дала ему задать вопрос, а сказала совершенно спокойно, будто ждала его уже давно:

— Раздевайтесь и садитесь. Сейчас будем пить чай.

— Но я вовсе не за этим пришел, я хочу только...

— Это вам кажется, что не за этим. Именно за этим. Садитесь, говорю я вам! И не будем с самого начала осложнять отношений.

Она говорила так, словно знала наперед, что случится, и уже разработала некий план; впрочем, в голосе ее тоже чудилась доброжелательность, и Пирошникову на миг показалось, что он ее где-то видел, что, возможно, это и есть вчерашняя незнакомка. Поэтому он, решив окончательно отдаться случаю, снял свое пальто и повесил его у двери на гвоздь.

— Под шкафом тапки,— сказала женщина, внося последние штрихи в прическу.

Пирошников послушно развязал шнурки и надел эти самые тапки, которые в самом деле находились под шкафом и были ему по ноге, правда, разношенные.

Наконец женщина повернула голову к Пирошникову, и он разглядел ее лицо — несколько скуластое,

с маленьким носом и неулыбчивыми серыми глазами. Чувствовалось, что в ней есть, как говорят, характер и самостоятельность, что такая не будет говорить зря и что ее трудно, должно быть, заставить плакать. Она смотрела на Пирошникова несколько секунд, но без особого любопытства, а с какой-то усталостью, что ли, с каким-то таким выражением: ну вот ты и пришел, что же будем делать?

— Давай познакомимся хоть,— сказала она и протянула руку.— Надя... хотя,— тут она усмехнулась почему-то невесело,— меня все называют Наденька, и ты тоже будешь так звать.

— Владимир,— сказал Пирошников, подойдя к ней и взяв ее руку в свою. Рука была маленькая, но сильная, и пальцы без острых ногтей, по чему Пирошников определил, что новая его знакомая во всяком случае не та, с которой он беседовал накануне.

— Ну вот и прекрасно, Владимир,— улыбнувшись в первый раз и довольно хитро, ответствовала Наденька.

Она освободила руку, встала и, не говоря больше ничего, убрала постель в шкаф, после чего удалилась, предоставив Пирошникову некоторое время для знакомства с комнатой.

Первым делом наш герой, что совершенно естественно, подошел к окну и, посмотрев в него, убедился, хотя было еще темно, что комната расположена примерно на четвертом или пятом этаже над какой-то улицей, вроде бы и знакомой, но не совсем. Отвернувшись от окна, он принялся разглядывать стену над диваном, где висели в беспорядке фотографии незнакомых лиц, большей частью детских, а сбоку находилось несколько книжных секций с поставленными вперемежку книгами по медицине, стихами, собранием сочинений Достоевского в старом издании и наборами художественных открыток. Из этого осмотра Пирошников заключил, что Наденька, должно быть, медик, но этим его открытия и закончились.

Тут как раз вернулась Наденька с чайником и принялась накрывать на стол, доставая из ящичков бюро ложки, чашки, сахарницу, сыр в бумажной обертке и хлеб.

— Послушайте,— сказал Пирошников, садясь за столом чуть развязнее, чем требовалось обстоятельствами.— Мне кажется, будто мы с вами виделись...

Наденька посмотрела на него внимательно и усмехнулась.

— А мне здесь, пожалуй, нравится. Я правильно сделал, что пришел,— продолжал Владимир.

— А куда бы ты делся? Тебе же деться больше некуда,— опять-таки очень спокойно заявила Наденька (при этом она изговляла бутерброд).

— Вот как? — начал Пирошников ломать комедию.— В таком случае я остаюсь здесь. Я устраиваю в этом доме резиденцию на неопределенный срок... («Шути, шути»,— пробормотала Наденька). Новая вежа в жизни Владимира Пирошникова, экс-интеллигента, экс-осветителя, а ныне работающего на дому...

Пирошникова несло явно не в ту сторону. Он и сам понимал, что принятый им тон совсем не тот, то есть и близко не стоит к нужному тону, но после всех приключений на лестнице найти нужных слов попросту не мог, а молчать не догадывался. Поэтому, внутренне стыдясь, он плел эту ахинею и надеялся лишь на то, что все вдруг кончится и развеется как дым.

— В результате кошмарной истории с чертовщиной и кошками...— продолжал он.

— Кошку зовут Маугли,— сказала Наденька.— Это моя кошка. Мужу она не понравилась, и он ее выгнал на лестницу.

— Мужу? — Пирошников присвистнул.

— Да, мужу. Что ты на меня смотришь? Есть такое слово: «муж».

И в точности на слове «муж» раздался где-то за дверями звонок, потом другой, и Пирошникову стало несколько не по себе — настолько, что и передать нельзя. Да, влип он в историю, сам виноват! Переждал бы, перетерпел явление с лестницей — глядишь, все бы кончилось хорошо. А теперь объясняйся, кто такой и откуда, а главное, зачем он здесь в восемь часов утра пьет чай.

Наденька между тем, не показав никакого смущения или раздумья, снова удалилась и вернулась через минуту, слава богу, без никакого мужа, а с телеграммой в руках.

— Собирается веселенькая компания,— сказала она себе под нос, кладя телеграмму на бюро.

После этого она продолжала пить чай, а Пирошников как воды в рот набрал, мечтая поскорее улизнуть. Наденьку молчание Пирошникова никак не задевало. Она явно готовилась уйти из дома, для чего, отойдя

к шкафу и спрятавшись за распахнутой дверкой, Наденька скинула халатик, надела вынутое из шкафа синее простенькое платье, поверх него докторский белый халат, сунула в сумочку белую же шапочку и принялась натягивать пальто, обращая на Пирошникова внимания не больше, чем на обои.

Застегнув последнюю пуговицу, Наденька сказала:

— Если будут звонить два раза, открывай, это к нам. Я к обеду приду.

— Ну, извините! — Пирошников сорвался с места. — Как-нибудь в другой раз, если вы позволите, мы встретимся и побеседуем. А сейчас, извините, я тоже пойду... Черт побери! — вдруг в тоске вскричал он. — Да кончится эта ерунда или нет?

Наденька с сожалением посмотрела на него.

— Ты отдохни. Сегодня тебе отсюда не выбраться. Я-то уж знаю, — многозначительно проговорила она. — Будем стараться что-то сделать.

Она подхватила сумочку и вышла из комнаты, а Пирошников, сорвав пальто с гвоздя, как был в тапках, бросился за нею. Но напрасно! Наденьки и след простыл, в коридоре ее не было, не было и на лестнице, куда Владимир выскочил, и, повертевшись на лестничной площадке, такой знакомой уже и навевающей неприятные воспоминания, он вернулся в комнату, сел на диван, обхватил голову руками и задумался.

Незаметно для самого себя Пирошников сначала расположился на диване поудобнее, потом поджал ноги, тапки слетели на пол, голова склонилась на мягкий плюшевый и достаточно потертый валик, пахнувший почему-то карамелью или вареньем; Пирошников глубоко вздохнул, спрятал руки в рукава пиджака да так и заснул на диване младенческим дивным сном.

Мы не будем ему мешать, а лучше последуем за Наденькой, ибо для дальнейшего понимания событий нам требуется в настоящий момент услышать два телефонных разговора.

Оба они состоялись сразу после того, как Наденька вышла на улицу из подъезда, порылась в сумочке и забежала в ближайший телефон-автомат. В первом разговоре ею было сказано довольно кратко и сухо, чтобы некто пришел как можно скорее и сделал то, что обещал сделать. Именно так она и сказала, и если разговор кажется не слишком вразумительным, оставим его на ее совести.

Второй разговор был более понятен. Удалось уста-

новить, что Наденька звонила брату и просила его встретить на вокзале дядю, который приезжает в десять утра. Наденька просила также доставить этого дядю к ней домой.

После этого Наденька покинула телефонную будку и затерялась в толпе. Наблюдать за нею не было никакой возможности, потому что толком еще и не рассветло.

Глава 3. СОН ПИРОШНИКОВА

Пока Наденька, положив в сумку белую шапочку, путешествует из квартиры в квартиру, совершая утренний обход больных детей; пока летит в курьерском поезде вышеназванный дядя, давший утреннюю телеграмму; пока, наконец, происходят все другие события жизни, имеющие и не имеющие отношения к нашему герою, мы осторожно возвратимся в комнату Наденьки, чтобы застать его по-прежнему безмятежно спящим.

За время нашего отсутствия поза Пирошникова на диване несколько переменялась. Он перевернулся на спину, одну руку положил на грудь, другая свесилась с дивана, причем ее кисть легко плавала в воздухе, будто только что взяла тихий фортепьянный аккорд. Судя по всему, Пирошникову снился приятный сон...

Ах, какая это прелесть — утренний сон! Какая нега охватывает тело, когда после умывания и легкого завтрака вдруг появится возможность прилечь на диван и впасть в забытие удивительно тонкого и нежного сна, который незаметно граничит с явью, так что слышишь все звуки и голоса вокруг.

И главное еще не это! Утренний сон очищает от дурных мыслей, он дает надежду; кажется, сейчас проснешься другим, неизмеримо лучше и чище того, чем был; кажется, станет возможным начать все сначала, полюбить со всей страстью, да еще бог знает что пригрезится! И все это дает легкий сон, часто кратковременный, не более получаса между девятью и десятью часами утра.

Именно таким сном забылся наш герой, оставив нам возможность поразмыслить над случившимся с ним несчастьем. Впрочем, как знать, очень может быть, что слово «несчастье» тут не совсем уместно — ведь утверждают: «все, что ни делается, — все к лучшему»; однако следует признать, что положение, в которое попал молодой человек, выглядит тревожным.

В самом деле, один в незнакомом доме, без копейки денег (об этом еще не упоминалось, но это так), окруженный странными и головоломными обстоятельствами, — тут есть от чего прийти в отчаянье и задуматься. По крайней мере, следует поразмыслить над тем, почему это случилось именно с Пирошниковым. И если у молодого человека не было еще времени или желания порассуждать на предложенную тему, то мы, пользуясь тем, что он спит, вполне можем позволить себе поискать причины его нынешнего состояния.

Подобные происшествия не случаются просто так и с кем попало — опыт наш тому порукой — следовательно, должно быть нечто, выделяющее Пирошникова из общего круга и способствующее знаменательному факту, каким, без сомнения, является выходка лестницы. Попробуем порыться в биографии героя, чтобы там, может быть, доискаться до его исключительности.

Начнем с детства. Именно там лежат истоки характера, там закладывается фундамент, на котором строится жизненное здание — и если оно в какой-то момент дало трещину (не так ли обстоит дело у Пирошникова?), следует искать причину не в верхнем кирпиче, но в основании.

Впрочем, здание с трещиной и даже со многими трещинами — явление поправимое; бывает хуже, когда человек строит свою жизнь без сучка и задоринки, этаж за этажом по отвесу, не допуская никаких искривлений и архитектурных излишеств. Такой дом выглядит солидно и неприступно по сравнению с вашим, слепленным кое-как из подручного материала. Но вот наступает час, когда строитель выводит здание под крышу, громоздит трубу да еще вывеску какую-нибудь приколачивает... но тут выясняется, что дом-то под жилье не приспособлен, пусть он внутри — одни стены наружные, на которые и пошла вся энергия и выдумка строителя. Но и в этом случае все начинается с фундамента; значит, был заложен фундамент для фасада, а на прочее махнули рукой — снаружи, мол, не видать!

А бывает и так: затуркают человека в детстве, затолкают — того нельзя, об этом и думать не смей, не по Сеньке шапка; заложит он, доверчивый, маленький свой фундаментик и начнет ковыряться потихоньку. А потом, глядишь, стало ему мало места, силу набрал, ему бы размахнуться этажей на двадцать, но боится. Всего боится, а себя в первую голову. Ладно уж, доживу в хибарке!

Если же вернуться к Пирошникову, то у него, надо сказать, здание заложено было с размахом, но продвигалось как-то рывками и очень медленно. Будто он все время чего-то ждал: то образования, то повзросления, то компании, то случая, а то просто когда ему пожела-ется.

Отец Пирошникова был моряком, прошел молодым человеком войну, после женился на дочери ученого-ботаника, умершего в блокаду. Мать Пирошникова тоже перенесла блокаду, будучи совсем молоденькой девушкой; это наложило отпечаток на ее характер и здоровье — она была худа, тиха и грустна; отец Владимира часто называл ее «дистрофиком» — когда с нежностью, а когда и с раздражением: нрав у него был крутой.

Владимир родился лишь на восьмом году замужества. Рождение его еще более подорвало силы матери; она стала потихоньку чахнуть, увядать без жалоб и упреков — будто медленно и обреченно исчезала из жизни... во всяком случае, потом, после ее смерти, так стало казаться Пирошникову. Тогда он об этом не думал.

Родители любили сына каждый по-своему: мать нежно, но несколько скрытно, не позволяя себе бурных проявлений любви (она вообще не допускала открытых проявлений чувств); отец же, напротив, часто переходил от восхвалений к раздражению и даже ярости, когда что-то было не по нему. Отец был сильной, но грубой, в сущности, натурой, от которой страдала мать, и Владимир всегда внутренне принимал ее сторону, когда они ссорились или когда отец, придя из плавания, вдруг ни с того ни с сего обрушивал на нее свои подозрения, которых наш маленький тогда герой не понимал.

Отец часто говорил с сыном о его будущем, причем рисовал картины феерические. Его мало смущало то обстоятельство, что мальчик не мог оценить этих фантазий в полном их блеске; он видел сына то знаменитым ученым с мировым именем, то не менее значительным писателем, а то даже актером (последнее, правда, реже), но во всех этих прожектах главной была внешняя сторона — успех, слава, власть, деньги, красивая и наполненная впечатлениями жизнь, которая, казалось, придет сама собою... нет, даже свалится к ногам, стоит только Владимиру окончить то, что положено: школу, институт, аспирантуру и тому подо-

бное. Справедливости ради нужно сказать, что о роли труда тоже говорилось, но тут же добавлялось: «А тебе, с твоими способностями...» — так что получалось всё-таки, что главное — это и есть способности, ставящие человека над другими и служащие орудием успеха.

И действительно, Владимир рано обнаружил способности, ясный ум и легкую, непринужденную манеру овладевать знаниями, а также располагать к себе сверстников и людей постарше. Сам Пирошников запомнил такой, с виду совсем незначительный эпизод. Еще в первом классе он как-то услышал разговор двух учителей о себе. Его поразило, что о нем говорят взрослые, причем в их разговоре он уловил странные нотки. Позже он понял, что учителя говорили о нем с оттенком зависти (да, зависти к семилетнему мальчику, смешно сказать!). «Он далеко пойдет, этот мальчик», — сказала молодая учительница, а ее собеседник, старый седой учитель, заметил со вздохом: «Да... Хотя я в этом не убежден. Разве если сумеет...» — а что именно он должен суметь, Пирошников не слышал.

Мать относилась к способностям сына спокойно, может быть поэтому он не стал с детства маленьким карьеристом и негодяем, однако сознание собственной исключительности все же таилось в душе Пирошникова. Мальчик с самого нежного возраста чувствовал нравственное превосходство матери над отцом, что осозналось, конечно, значительно позже.

Упомянем еще об одном случае, происшедшем в последний год жизни матери. Учительница Пирошникова обратилась однажды с просьбой к отцу Владимира об оказании какого-то там содействия ее мужу, тоже моряку, но рангом пониже. Отец отказал. Пирошников помнил разговор матери с отцом, когда она в слезах просила мужа согласиться и говорила, кажется, что-то о справедливости; помнил и день, когда он отнес в школу записку отца, где сообщалось об отказе. Тогда, прочитав записку, учительница не сдержалась и зарыдала. Владимир, смутившись, не знал, как ему себя вести, а учительница, промокая платком слезы, вдруг почти с ненавистью выпалила ему: «Когда-нибудь ты поймешь, что вокруг живые люди! Нельзя так — по головам, по головам!..» Впрочем, о существовании дела Пирошников не знал. Возможно, оно не заслуживало столь бурных излияний.

Смерть матери, наступившая, когда Пирошникову было всего двенадцать лет, произвела глубокий сдвиг в его характере. Он сделался нервен, порывист в движениях и легко изменчив в настроении. Душевная тонкость и доброта, оставшиеся ему в наследство от матери, будто спрятались, затаились глубоко в его душе, боясь теперь показаться на свет. Мальчик осиротел почти в полном смысле этого слова, поскольку отец, хотя по-прежнему не чаял души в сыне и возлагал на него радужные надежды, все же слишком часто бывал в плаваниях, а для воспитания Пирошникова была выписана из Таганрога тетка, сестра отца, которая и жила с ними до окончания Владимиром средней школы. Существо забитое, одинокое и не без странностей, она не оставила следа в жизни нашего героя; он в те годы все более замыкался в себе, все реже открывался отцу, который с горечью и разочарованием замечал перемены в характере и перемены в учении, последовавшие вскоре. Предсказанной в детстве медали за отличное окончание школы он не получил, чем весьма расстроил отца, но все же поступил в институт на отделение радиофизики. Другей Пирошников не завел, хотя приятели имелись и признавали за ним первенство по всем вопросам.

Тут надо заметить, что обстоятельства его жизни к моменту поступления в институт изменились: тетка уехала обратно в Таганрог, а отец женился во второй раз и попросил перевода в другое пароходство, поскольку не хотел, чтобы взрослый сын и молодая жена жили рядом. К тому времени отец и сын совсем разошлись, их разговоры все чаще переходили в ссоры, причем логика, надо признать, была на стороне отца, а последовавшее вскоре изгнание Пирошникова из института окончательно разрушило надежды отца на блестящую будущность сына. Это произошло уже после отъезда его с женой в Одессу, где он получил высокую должность. Фактически это был разрыв.

Пристанищем Пирошникова стала комната на Васильевском острове в бывшей квартире его деда-ботаника, с остатками старой библиотеки и несколькими застекленными коробками засохших и превратившихся в труху гербариев. Пирошников отслужил в армии, причем отслужил необременительно, при штабе, где занимался изготовлением стендов и плакатов наглядной агитации; затем снова поступил в институт и снова ушел, на этот раз по своей воле; перебрал несколь-

ко занятий, наблюдая жизнь, много читал и даже пробовал писать, но забросил. Он все время как бы готовился войти в жизнь, не зная толком — с какого бока к ней подступиться, в какие двери толкнуться, хотя чувствовал, что входить, пожалуй, пора.

Еще один факт. Однажды Пирошников обмолвился в разговоре, что ему чрезвычайно нравится фраза, которой приказал слуге будить его Сен-Симон: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» Пирошников радостно смеялся и повторял: «Ну, откуда, откуда мог этот Сен-Симон знать, что его ждут великие дела? Однако же знал!.. Он верил в свое предназначение!»

Да и наш герой в глубине души тоже верил в свое предназначение, причем в предназначение высокое, но все его метания проистекали из того, что он ни на вот столько не знал — где, когда и в чем это предназначение воплотится. Может быть, вера его брала начало из отцовских феерий, может быть, собственные детские мечты питали ее, но вера была и с годами не пропадала, несмотря на то что время шло, а великих дел совершалось до обидного мало.

Как знать, возможно, злую шутку с Пирошниковым сыграла именно вера в свое предназначение, а точнее — полное незнание существа этого предназначения?.. Нельзя сказать, что он не пробовал. Он пробовал, но ничего пока не совершил. А последнее время ему стало казаться, что ничего нового быть уже не может, все повторяется — и мысли, и разговоры, и желания — а это нашего героя изрядно напугало.

Можно обратить еще внимание на одиночество Пирошникова. В самом деле, жить без родных, без друзей, без любимой... романы, правда, бывали, но... Мысль о логическом завершении любовных отношений, то есть о женитьбе, всегда пугала Пирошникова, потому что он привык отвечать только за себя, а по правде сказать — не привык даже к этому. Ответственность за другую жизнь, другую судьбу, равно как и ответственность за какое-либо дело лишь предполагалась в некоем будущем, которое почему-то никак не наступало. Поэтому его слова на мосту, сказанные, правда, в минуту опьянения, — о том, что ему сделалось страшно и больно за себя и прочее... — эти слова были знаменательны для его нынешнего душевного состояния.

Словом, если приглядеться, то происшествие с лестницей, как мы и говорили, не было простой случай-

ностью; оно несомненно обозначало собою некий поворот в жизни молодого человека, и если бы Пирошников имел возможность вот так, не спеша, разобраться в своей судьбе, он, вполне возможно, пришел бы к определенным выводам. Но беда была в том, что он воспринял ночное приключение и утреннюю беготню по лестнице как злую шутку, или помутнение рассудка, или даже как сон, что будет видно из дальнейшего. Тут уж молодой человек решительно не прав! Сном можно было назвать его прошлую жизнь — вялое и бесцельное существование с бережно охраняемым предназначением внутри, — лестница же была жестока, но реальна. Во всяком случае, гораздо реальной его прекраснодушного предназначения.

...Но вот, пока мы ближе знакомимся с героем, его утренний сон упорхнул, Пирошников открыл глаза, приподнялся на диване и с недоумением оглядел комнату.

Глава 4. ГЕОРГИЙ РОМАНОВИЧ

Резкий переход от сна к яви таит в себе многие странности. Одна из них заключается в том, что внезапно проснувшийся человек склонен рассматривать реальность как сон, так что трудно бывает сообразить — где ты и что с тобою.

Только-только разобравшись, что он уже вроде бы и не спит, Пирошников почувствовал явственное облегчение, ибо сразу припомнил злополучную лестницу и Наденьку, а припомнив, решил, что все это ему приснилось: сначала лестница, а потом и Наденька. Мысль эта мигом пронеслась в уме и прояснила все вопросы. Оставались, однако, некоторые сомнения относительно комнаты, где он находился, потому как она до странности напоминала приснившееся жилище Наденьки, а также касательно незнакомца, который как раз в этот момент, повесив свое пальто поверх пальто Пирошникова, тщательно складывал длинный и чрезвычайно пушистый шарф. Сложив его, он аккуратно засунул шарф в рукав пальто и лишь после этого снял шапку. Повесив и ее, незнакомец расстегнул застежки своих теплых ботинок и заглянул под шкаф, разыскивая, по всей видимости, тапки.

— Прошу простить за вторжение, — заговорил он, не найдя тапок и повернувшись к молодому человеку. Голос у него был выразительный, и звуки его красиво заполняли объем комнаты. — Ради бога, отдыхайте, у

меня здесь есть свои дела. Если позволите...— тут он подошел к дивану и вынул из-под него тапки, причем Пирошников инстинктивно прикрыл дырку в носке на месте большого пальца другой ногою, на которой, по счастью, носок был цел.

Переобувшись, мужчина подошел к шкафу, раскрыв его и стал внимательно исследовать содержимое, мурлыча под нос какую-то арию, кажется из «Пиковой дамы». Снова недобрые подозрения зашевелились в душе Пирошникова, который все более отходил от сна. Родилось вдруг сильнейшее желание уйти, выбежать на улицу, чтобы увидеть хоть каких-то привычных людей, хоть милиционера, что ли, хоть дворника; чтобы сбросить раз и навсегда это ощущение, похожее на ощущение мухи, попавшей в паутину. Пирошников встал и решительно направился к двери. Одной рукой он стащил с гвоздя пальто незнакомца, другой сорвал свое, снова нацепил на гвоздь чужое и стал поспешно одеваться. Уже надев пальто, он сообразил, что есть еще и ботинки, и, найдя их, начал напяливать, причем испытывал страшное неудобство. Затем он выбежал в коридор и устремился к выходу. Повозившись с замком, он распахнул дверь и пустился бежать вниз по лестнице через две ступеньки, не обращая решительно никакого внимания на окружающее и лишь считая этажи. Черта с два!.. Лестница никаким образом не желала заканчиваться. Больше того, она стала еще злонамеренней, ибо Пирошников вскоре заметил, что на ней остался лишь один повторяющийся этаж с раскрытой дверью Наденькиной квартиры. Ничего не оставалось делать, как смириться и вернуться обратно в комнату, где мужчина занимался связываньем в узел каких-то тряпок, используя для этого скатерть со стола.

— Вы что-то забыли? — осведомился он.

Пирошников, тяжело еще дышавший от беготни по чертовой лестнице, ничего не ответил и, швырнув пальто на диван, сам плюхнулся туда же. При этом он выругался про себя последними словами. Незнакомец оставил свой узел и внимательно взглянул на Пирошникова.

— Послушайте, — проговорил он медленно, как бы раздумывая. — Да, я муж Надежды Юрьевны. Я обещал ей забрать кое-какие вещи. Но вы, ради бога, не волнуйтесь. Я отсюда уже ушел. Вот так обстоит дело.

— Что? Какая Надежда Юрьевна? Да объясните мне все это! — в отчаянье закричал Пирошников.

— Это Наденька, ну, Наденька же, вспомнили? — участливо, почти ласково отвечал незнакомец.

— Вспомнил, — мрачно сказал Владимир. — А дверь где?

— Какая дверь?

— На улицу дверь! Из подъезда дверь! Наружу дверь! — отчетливо, как глухому, прокричал ему Пирошников.

— Она внизу и есть, — все более недоумевая, отвечал бестолковый муж.

Но, ответив так, он вдруг с приступом еще более сильного любопытства посмотрел на молодого человека — и смотрел так с минуту. Закончив свои наблюдения и придя, по всей вероятности, к какому-то выводу, он придвинул к себе стул, сел на него и только потом спросил, как спрашивает врач, уверенный уже в своем диагнозе:

— Что, лестница?

Пирошников кивнул. Наденькин муж присвистнул тихонько, а Владимир, как ни был взволнован и расстроен, отметил про себя, что, слава богу, не все еще потеряно. Он-то уж почти готов был поверить в собственное помешательство, но вот нашелся еще один человек, знающий про лестницу и собирающийся даже нечто о ней рассказать.

И действительно, Наденькин муж, еще раз испытующе взглянув на Пирошникова, начал говорить:

— Значит, и вы тоже?.. Так-так-так... Это забавно. Простите, я сам это пережил когда-то и понимаю, что для вас это отнюдь не забавно. — Тут он усмехнулся, подняв глаза к потолку. — Тогда давайте познакомимся.

Они познакомились, причем выяснилось, что Наденькин муж носит фамилию Старицкий, а зовут его Георгий Романович. Не забыл он и упомянуть, что является кандидатом филологических наук.

Георгию Романовичу было на вид под сорок. Он выглядел, что называется, солидно, чему способствовали безукоризненный костюм с крахмальной сорочкой, впрочем отнюдь не выделяющийся цветом или покроєм, и манера в разговоре закатывать глаза, как бы читая некий текст, написанный на внутренней стороне лба.

Он начал рассказывать. Рассказ содержал в себе краткую историю появления Георгия Романовича в этом доме и в данной комнате при обстоятельствах, весьма сходных с нынешними приключениями Пирожникова.

Отличие заключалось в том, что Георгий Романович попал на злополучную лестницу по своей воле и вполне сознательно, ибо в этом доме и именно в этом подъезде проживал, да и теперь проживает профессор Н., которому в то памятное утро нес свою только что оконченную диссертацию специалист по прозе прошлого века Георгий Романович Старицкий.

Бывают же казусы на свете! Представьте себя молодым и преуспевающим ученым, только что изучившим до ниточки творчество великого писателя и, более того, написавшим об этом творчестве труд страниц на двухстах; представьте ваше удовлетворение по сему поводу; представьте, наконец, момент, когда вы с душевным трепетом несете эти двести страниц на высший суд профессора, как вдруг вас хватает и крутит какая-то идиотская лестница, начисто сметающая все ваши представления о реальной действительности. Вы тычетесь, как котенок, в различные двери, однако нужной не находите; вы подзреваете, что ошиблись этажом и спешите подняться выше, потом еще выше — господи! насколько же высоко можно подняться?.. Лестница уже держит вас мертвой хваткой, так что со страха слабеют руки, дотоле крепко державшие портфель с драгоценной диссертацией, а частые стуки сердца подступают к самому горлу.

— Я первым делом подумал о перенапряжении последних дней, — продолжал Георгий Романович, — постарался взять себя в руки и позвонил в первую попавшуюся квартиру. Я рассчитывал найти телефон и вызвать медицинскую помощь. Мне открыла женщина, которая, выслушав мою просьбу позвонить и жалобу на недомогание, сказала, что телефона в квартире нет. А я в этот момент действительно почувствовал себя очень и очень плохо. Кружилась голова, во рту пересохло, ноги дрожали...

Наденькин муж вздохнул, заново переживая тот ужасный миг, и сделал паузу, во время которой пробабанил пальцами по столу.

— Но тут подошла Наденька. Она как раз возвратилась с ночного дежурства. Женщина в двух словах объяснила ей ситуацию, и Наденька, сказав, что она

медсестра и может оказать помощь, ввела меня в квартиру, а потом в свою комнату. И здесь, стыдно признаться, силы меня покинули, и я упал в обморок. Да, в самый что ни на есть пошлый девичий обморок! Очнулся я от запаха нашатыря. Тело было как ватное. Наденька хлопотала, я заявил, что мне нужно идти, тогда она вызвалась проводить меня до такси... И что бы вы думали?

Георгий Романович победительно взглянул на Пирошникова, который был весь внимание, и продолжил рассказ. По его словам, присутствие Наденьки на лестнице ничуть положения не изменило. Когда они шли рядом, лестница продолжала свои фокусы, а лишь только Наденька отрывалась от Старицкого и достигала выхода, Георгий Романович терял ее из вида и никак не мог к ней приблизиться, хотя голос слышал отчетливо. Пришлось вернуться в комнату...

По мере того как рассказчик приближался к развязке, Пирошников испытывал все большее нетерпение. Две вещи волновали его: во-первых, каким образом Георгию Романовичу удалось-таки вывернуться из этого дурацкого положения и обрести прежнюю свободу, а во-вторых, как много времени он на это затратил?

— Я остался жить у Надежды Юрьевны, — несколько даже скорбным тоном продолжал кандидат наук. — Через некоторое время она стала фактической моею женой, хотя мы не прекращали попыток выйти из этого дома.

— А почему вас не разыскивали? — спросил Пирошников подозрительно. — Почему милиция, например, вас не выселила?

— Отсюда нельзя выселить, — веско проговорил Старицкий. — Отсюда можно уйти.

— Но как же? Как? — вскричал молодой человек.

Старицкий коротко и благодушно рассмеялся. Его житейская опытность и в особенности опыт, связанный с лестницей, давали ему несомненное преимущество.

— Видите ли, молодой человек... Есть много различных способов выйти отсюда. Можно, например, спуститься сейчас по лестнице — и вы на улице. Вы пробовали, этот способ вам не подходит, не так ли?

Пирошников уже почти с ненавистью смотрел на бывшего Наденькиного мужа.

— Можно прыгнуть из окна, но, сами понимаете,

это не выход. Вот между этими, так сказать, крайними случаями лежат все другие возможности.

Георгий Романович скрестил руки на груди, откинувшись на спинку стула. По всей вероятности, он наслаждался и растерянностью молодого человека, и своей информированностью, если можно так выразиться, и, наконец, тем, что сам он уже покинул пределы этого дома. А Пирошников, встав с дивана, подошел к окну, как бы заново оценивая высоту над тротуаром.

— Ну, а как же все-таки вы сами решили вопрос? — спросил он как можно более спокойным и даже небрежным тоном.

— Мой способ вам вряд ли подойдет. Кроме того, я не могу вам его рассказывать по причинам чисто этического порядка, вы уж простите!

— Хорошо, — сказал Пирошников.

Он как-то сразу потерял интерес к собеседнику, испытывая настоятельное желание погрузиться в себя и все обдумать, а Георгий Романович взвалил узел на спину и удалился, сказав на прощанье, что встреча их не последняя, как он полагает.

Впрочем, через несколько минут он вернулся, оставив Пирошникова в той же позе у окна. Как выяснилось, Георгий Романович забыл захватить собрание сочинений Достоевского, которое принадлежало ему и было в свое время, наряду с его одеждой, доставлено Наденькой из его дома. Хозяйственный Наденькин муж принялся увязывать стопку коричневых томиков, а Пирошников, вперив взгляд в стенку, молчал и дождался.

Может быть, Старицкому захотелось напоследок сделать что-то приятное молодому человеку, потому что, пригостив связку, он обратился к нему со словами:

— Если хотите, я покажу вам квартиру. Как знать, сколько времени вам придется здесь оставаться!

Пирошников пожал плечами, но не отказался. Они вышли в тот же коридор, где сразу на пути им встретилась старушка, которая бесшумно, как на лыжах, передвигалась в шлепанцах по крашеному, изрядно потертому полу.

— Доброго здоровьица, Георгий Романович! — пропела, чуть поклонившись, старушка, но названный Георгий Романович, не обращая на нее ни малейшего внимания, повлек Пирошникова в кухню.

В кухне, которая оказалась еще просторнее, чем комната Наденьки, шипела на газовой плите черная сковородка, на коей жарились какие-то мелкие рыбешки. Вдоль стен располагались три стола с кухонной утварью, указывающей на различный достаток владельцев; возле самого нового, покрытого рисунчатым пластиком, возвышался холодильник. В дальнем темном углу стоял какой-то сундук, покрытый тряпками. Георгий Романович указал на стол среднего достатка и сказал:

— Это стол Надежды Юрьевны. Вот это (тут он повел рукой к пластиковому столу с холодильником) принадлежит Ларисе Павловне. Именно она открыла мне тогда дверь, я вам рассказывал. Интересная женщина!

На этом месте Георгий Романович тонко и вспоминающе, если можно так сказать, улыбнулся. Какая-то недосказанность мелькнула в его словах, и Пирошников это заметил. Затем, небрежно махнув в сторону беднейшего стола рядом с сундуком, кандидат наук заметил, что это хозяйство мымры, как он выразился, встреченной ими в коридоре.

— А где она живет? — поинтересовался Пирошников.

— Да нигде она не живет! Она вообще не живет, путается только под ногами! — с озлоблением отвечал Старицкий.

В этот момент, легкая на помине, появилась и мымра, скользя к сковородке, чтобы снять с нее золотистого цвета рыбешек и положить новых, вываленных в муке. Пирошникову показалось, что старушка, занимаясь всецело своим делом, тем не менее подглядывает за ними, и вообще ушки у нее, как говорится, на макушке.

— Лариса Павловна дома? — приблизившись к ней, прокричал почти ей в ухо Старицкий.

— Да это уж вам лучше знать! — обидевшись, произнесла мымра, но спохватилась и добавила: — На службе она, на службе, батюшка!

— Жаль, — протянул Старицкий. — Ну да ладно. Пойдемте! — И он повел Пирошникова обратно в коридор, шепча ему: — Притворяется глухой, но замечайте, слух у нее дай бог каждому, да и зрение тоже. Так что учитите!

Указав по пути на места общего пользования и кладовую, дверь в которую он открыл и, заглянув, за-

чем-то потянул носом воздух, Георгий Романович остановил нашего героя у комода и объяснил, что Лариса Павловна со своим мужем, кстати торговым моряком, проживает по левую от Наденьки сторону, а по правую сейчас никто не живет. Комод же принадлежит старушке, но неизвестно, что он содержит, поскольку Георгий Романович не припомнит случая, чтобы та когда-либо его открывала.

На этом осмотр квартиры закончился, и Старицкий, захватив свои пожитки и книги, отбыл на сей раз окончательно.

Пирошникову сделалось скучно, он побродил по комнате, прочитал телеграмму на бюро, которая сообщала: «Выезжаю 17, поезд 27, вагон 9, встречайте, дядя Миша», исследовал от нечего делать содержимое нескольких ящичков бюро, а потом снова улегся на диван. Ему никак не удавалось собрать свои мысли. За этим занятием, а именно — за собиранием собственных мыслей, его и нашла упомянутая выше мымра, которая, приоткрыв дверь, просунула в образовавшуюся щель аккуратненькую свою головку с редкими седыми волосками, мигом осмотрела всю комнату и обратилась весьма ласково к Пирошникову:

— Рыбки не хотите ль? Не знаю, как вас величать...

При этих словах под ногами старухи появилась кошка Маугли, которая, изогнув свое тело, проникла в комнату и заняла место под шкафом. Раздосадованный Пирошников привстал с дивана.

Глава 5. СТАРУХА

«Что же это? Они так и будут ходить? То один, то другой... И чего им нужно?» — мрачно подумал про себя Владимир, увидав незваную старуху. Впрочем, он тут же сообразил, что при умелом подходе можно будет, вероятно, и от старухи получить кое-какие интересные его сведения. Поэтому Пирошников слегка потянулся и даже зевнул, изображая пробуждение, а затем, доброжелательно улыбнувшись, на что старушка ответила еще более приветливой улыбкой, объявил о своей готовности откусать предложенной рыбки.

Старухина голова исчезла, и через минуту в комнату вплыла тарелка, наполненная источающими аромат жареными рыбешками, которые бережно транспортировались старухой. Выказав крайнюю степень благо-

дарности, Пирошников схватил за хвост верхнюю рыбку и в мгновение ока обглодал ее, оставив хрупкий хребетик. Старуха же, присев на краешек стула и положив руки на колени, умильно глядела на молодого человека. Эта идиллия продолжалась несколько минут, после чего, как и предполагал Пирошников, ему пришлось расплачиваться информацией о себе, своих отношениях с Наденькой и прочем.

Надо сказать, что Пирошников не говорил всей правды, то есть, по существу, лгал, когда разговор коснулся его лично и Наденьки. Ему еще неясна была степень осведомленности бывшей мымры, а теперь Анны Кондратьевны, или бабушки Нюры, как она предложила себя называть. Рассказывать ей о причудах лестницы он не считал пока возможным, чтобы не перепугать бедную бабку, и поэтому тонко перевел разговор на Георгия Романовича, надеясь разведать как можно больше о квартире и ее жильцах.

— Умный человек и хитрый, не в обиду будь сказано, а Наденька, уж и не знаю, что да почему, одним словом, жили,— чуть покачиваясь, завела свою шарманку бабка Нюра.— Жили и жили, а мне что за дело? Наденьке хозяин, а нам в квартиру сторож безвыездный, все спокойней, мужчина ведь...

— Почему это безвыездный? — не утерпел Пирошников.

— А не выезжал никуда,— простодушно вздохнула старушка, в первый раз и осторожно дотрагиваясь до принесенной рыбки.

Судя по всему, Анна Кондратьевна была совсем не в курсе истинных причин привязанности Наденькиного мужа к своему местожительству. И ладно, решил Пирошников, не стоит забивать голову старухе всякой ерундой, не поймет.

— Долго он жил-то? — как бы невзначай спросил Владимир.

— Да он и посейчас живет, чай, не помер,— отвечала старуха.

— Я не про то. Безвыездно он долго жил? Ну, не выходил никуда?

— А кто его знает? Я за ними не присматривала — зачем они мне? — насторожившись, заявила старуха.— Уж год будет, как съехал. Сперва закахивал чуть не каждый день. То к одной, то к другой...

— К кому это — другой?

— А я что, знаю? Ничего не видела и не знаю! — отрезала вдруг старуха.

Она подхватила с тарелки пару рыбешек и поднесла их кошке, которая, лежа на боку, сладко потянулась, обнажая когти, а затем, не торопясь, принялась есть старухино угощение. Вернувшись к столу, бабка Нюра всплеснула руками и охнула:

— Батюшки! Хлеб-то я и забыла! Как же без хлеба-то есть?

И она исчезла в двери, оставив Пирошникова с тарелкой, на которой, по правде сказать, осталось рыб раз, два — и обчелся. Так что никакой особенной необходимости в хлебе уже и не было. Подумав об этом, Пирошников поплелся вслед за старухой в кухню. Он застал ее в углу над раскрытым сундуком и что-то в нем ищущей. Анна Кондратьевна так была увлечена поисками, что не заметила появления Пирошникова, а когда он приблизился, оторвалась от сундука, поспешно его захлопнув, и запричитала:

— Кончился хлеб, вот какая жалость! Вчера вечером совсем запамятовала купить. Что же делать? Ох, кабы не ноги — булочная вот она, за углом!.. Уж вы не сходите ли за хлебцем? — спросила она Пирошникова, быстро при этом на него взглянув, но сразу же отвела глаза. — Я и денег дам...

Тут она достала из кармана передника кошелек с металлической застежкой в виде двух блестящих шариков и поспешно сунула в него нечто, дотоле спрятанное в кулаке. Затем она протянула кошелек Пирошникову, который от неожиданного предложения смешался, не зная, что сказать. Отказываться после угощения было по меньшей мере невоспитанно — да и по какой причине? Но и согласиться было трудно, поскольку Пирошников подозревал, что проклятая лестница так просто его не выпустит, а что он тогда скажет старухе?

Тем не менее, скорее по инерции, он взял кошелек, а старуха засуетилась, говоря, что она, пока он ходит за хлебом, поставит чайку да достанет варенья, и прочее в том же роде. Пирошников, все еще раздумывая, побрел в свою комнату и стал натягивать пальто. В который уже раз он оделся и вышел в коридор, где заботливая Анна Кондратьевна сунула ему в руку полиэтиленовый мешочек для хлеба и проводила до дверей. Если бы Владимир оглянулся назад в тот момент, когда переступал порог, он увидел бы, что старуха

тщательно осеняет его спину крестным знаменем; а лицо ее далеко не так простовато, каким казалось до сих пор.

Дверь за Пирошниковым захлопнулась, и он, подождав, пока глаза привыкнут к темноте, осмотрелся. Что-то изменилось на лестнице, и это сразу насторожило Владимира.

Пирошников, внутренне подбравшись, начал новый спуск. Пройдя всего лишь три пролета, он уткнулся в дверь, которая, однако, совсем не была похожа на наружную, а скорее напоминала дверь в подвал, поскольку находилась в тупике; никаких квартирных дверей рядом не было, а присутствовали лишь батарея отопления, какая-то лужа на полу и довольно-таки мерзкий запах. Молодой человек, преодолевая отвращение к этому запаху, приблизился к двери и оцупал ее. Она была сколочена из грубых, по всей вероятности, необычайно толстых досок и оказалась запертой. Пирошников почувствовал нечто вроде страха, но, испытывая последний шанс, все-таки постучал. За дверью раздались тяжелые шаги, и грубый голос спросил:

— Ты, что ли, лошак?

Пирошников сжался и затих. За дверью послышались невнятные бормотанья, кажется даже ругань какая-то, но когда молодой человек услышал лязг отодвигаемого засова — отодвигаемого с кряхтеньем и посапываньем, сердце его остановилось, чтобы через секунду забиться с удвоенной частотой. Он сделал осторожный, но быстрый шаг назад, потом еще один, затем повернулся спиной к двери и побежал наверх, подгоняемый смертельным страхом. На одном дыхании Пирошников пронесся этажа до четвертого, считая, разумеется, от зловещего подвала. Лишь здесь он остановился и огляделся.

Вокруг было уже гораздо чище и светлее, чем внизу. Пирошников посмотрел себе под ноги и обнаружил, что ступени лестницы белые, как в Эрмитаже, и тоже, вероятно, из мрамора. Сверху до него донеслась музыкальная фраза, но довольно неотчетливо, так что он не смог определить — что это и на каком инструменте играется. Во всяком случае, Владимиру после пережитого потрясения сделалось легко на душе и до крайности любопытно — что же это может быть наверху? Он зашагал на звуки музыки, которые становились все разборчивее. Пройдя вверх не так уж много времени, Пи-

рошников увидел площадку последнего этажа, весьма нарядную, с дорогими дубовыми дверями, от которой наверх тянулся еще один короткий лестничный марш, упирившийся в чердачную дверь. На двери бросился в глаза огромный висячий замок, а сама она была обита железом и выкрашена в голубой цвет. Главным же во всей картине был человек в спортивном поношенном костюме, расположившийся с баяном под этой дверью и наигрывающий на нем хоралы композитора Иоганна Баха. Он с неудовольствием посмотрел на Пирошникова, но ничего не сказал. Перед ним стояли ноты в виде раскрытой тетрадки, прислоненной к стене.

— Извините, я вам не помешал? — вежливо осведомился Пирошников.

— Нет, ничего, — сказал мужчина, продолжая растягивать свой инструмент. Он был небрит, лицо его было не слишком одухотворенным, во всяком случае, не настолько, чтобы играть хоралы. Пирошников ощутил мучительную робость человека, не знающего, куда себя деть. Как часто с ним бывало, он расправился с нею дерзким и неожиданным вопросом, обращенным к небритому музыканту:

— У вас не найдется булки? Анна Кондратьевна меня послала спросить. У нее гости, а хлеба нет.

— А... бабка Нюра, — протянул исполнитель и три раза стукнул кулаком в стену. На стук из двери, расположенной по этой же стене, как раз напротив Пирошникова, вышла женщина лет двадцати пяти, которая, удивленно улыбаясь, уставилась на нашего молодого человека. Тот слегка покраснел и смешался.

— Бабка Нюра хлеба просит, — возвестил сверху баянист. — Нет там у тебя чего?

Женщина, еще более удивленно распахнув глаза, тут же скрылась. Через минуту она возникла снова с булкой в руках. Это была румяная городская стоимостью семь копеек. Пирошников поблагодарил и принялся шарить в карманах, отыскивая кошелек. Обнаружив его, он щелкнул замочком и увидел в кошельке нечто похожее на маленькую фотографию в железной рамке. Пирошников вынул ее и обследовал пальцами внутренность кошелька. Кошелек был пуст. Тогда молодой человек взглянул на вынутую фотографию и определил, что никакая это не фотография, а иконка, изображающая Николая Чудотворца. Иконка была выполнена, по всей видимости, на картоне, свер-

ху покрыта прозрачным целлулоидом и стиснута в жестяной окладец.

Это уж было слишком! Пирошников почувствовал необычайное раздражение. Пробормотав что-то вроде «извините, мелочи нет», на что добрые люди отвечали: «Да ладно, после отдаст», Владимир, прижимая булочку и иконку к груди, кинулся вниз очертя голову и бежал, пока не почувял, что достиг двери Наденькиной квартиры. Он позвонил, кляня в душе проклятую мымру, чертову лестницу и весь этот омерзительный дом.

— Вот! И вот! — прокричал он в лицо открывшей ему дверь старухе, суя булочку и кошелек с иконкой ей в руки, а сам бросился в Наденькину комнату успокаиваться. Бабка Нюра прошаркала позади него в кухню, крестясь от испуга, и там притихла. А Пирошников, отдышавшись и придя в себя, насколько это было возможным, решил тут же, не откладывая дела в долгий ящик, принять самые решительные меры. Он вышел из комнаты и направился в кухню. Старуха сидела на своем сундуке, читая какой-то журнал. Она подняла на Пирошникова глаза, на этот раз усиленные очками, и посмотрела на него с явной горечью, но без злобы.

— Анна Кондратьевна, — как можно спокойней начал Пирошников. — У вас веревка бельевая есть?

— Господь с тобой! Да неужто ж так надо? И думать не смей! — закричала старуха, поднимаясь с сундука и грозно наступая на молодого человека. — Ты что это задумал?

— Сядьте! — довольно резко оборвал ее Владимир. — Я спрашиваю: у вас веревка есть? Мне нужна веревка. Поверьте, никаких таких дурных мыслей я не имею.

Старуха покорно потащилась к кладовой и вынула оттуда моток бельевой веревки, который и вручила Пирошникову. Молодой человек, сказав старухе, чтобы она сидела здесь и не возникала, как он выразился, вернулся в комнату и первым делом обмерил веревку, пользуясь распространенным способом, согласно которому за метр считается расстояние от кончиков пальцев вытянутой в сторону руки до противоположного плеча. В веревке оказалось около сорока метров. Пирошников сложил ее вдвое и тщательнейшим образом привязал конец к батарее отопления под окном. После этого, действуя быстро и обдуманно, схватил с

книжной полки синий карандаш и первую попавшуюся открытку с репродукцией Рафаэля, на обороте которой размашисто написал несколько слов. Открытку он оставил на столе. Затем он надел и на все пуговицы застегнул пальто. Ухватившись за веревку в части ее, близкой к узлу, он с силою потянул веревку на себя, пробуя крепость привязи и батареи отопления. На ладнях, естественно, после такого опыта остались красные следы; Пирошников, недовольный этим обстоятельством, подошел к шкафу и, порывшись в нем, обнаружил кожаные Наденькины перчатки, которые и натянул — правда, не без труда, — на руки.

Он вздохнул глубоко и осмотрелся, как бы припоминая что-то. Потом убрал с подоконника на стол пару кастрюль, стопку тетрадей и книг и несколько закрытых банок с какими-то соленьями или маринадями. Пирошников отодвинул оконные щеколды и раскрыв обе рамы, причем полосы бумаги, которыми были заклеены щели, оторвались с жутким треском. Но молодой человек уже ни на что не обращал внимания. Он поглядел из окна вниз и отшатнулся, но тут же, взяв себя в руки, собрал с пола размотанную веревку, прикрепленную одним концом к трубе, и сбросил ее вниз. Веревка, висясь, исчезла в холодном провале окна. Посмотрев на улицу еще раз, Пирошников убедился, что конец веревки, хотя и не достиг тротуара, болтается от него метрах в полутора. На улице из прохожих, по счастью, никого не было; не было и милиционера. Выругавшись про себя для храбрости, Пирошников вспрыгнул на подоконник, затем сел, свесив ноги наружу, крепко ухватился за веревку и осторожно спустил свое тело по карнизу в пропасть.

Глава 6. НЕУДАВШИЙСЯ ПОБЕГ

Споем же гимн безрассудству! Ему, безрассудству действия, сметающему все доводы «pro» и «contra» ради одной цели, достижимой, как кажется, лишь слепым и дерзким напором, перед которым рушатся (иногда) стены и который, разумеется, гораздо привлекательнее, чем трезвый и глубокий анализ, приводящий к бесполезной трате времени в тот момент, когда нужно действовать, действовать, действовать!

Пирошников преодолел страх и, свершив несколько прерывистых перехватов руками вниз, вдруг почувствовал, что его мускулы одеревенели. Возникла сроч-

ная потребность в передышке, и он, находившийся как раз на уровне окна следующего, нижнего этажа, судорожно уцепился за оконную раму и подтянулся поближе к карнизу, чтобы поставить на него ногу. Приобретя таким образом точку опоры, Пирошников перевел дух. Карниз был покрыт коркою льда, и стоять на нем надо было с большой осторожностью, но это все же не то что висеть на руках! Пирошников скосил глаза вниз и увидел, что земля почти не приблизилась. Он почувствовал, что оторваться от спасительного карниза будет достаточно трудно, и ощутил внутри некую невесомость. Сбравшись с духом, он легонько оттолкнулся ногой от карниза и снова повис на руках.

На этот раз он сменил способ спуска и не перехватывал рук, а скользил по веревке, через каждые полметра прекращая движение, чтобы не набрать опасной скорости. Будучи уже на уровне третьего этажа, Пирошников почувствовал, как веревку дернуло, и поднял голову вверх, где, к ужасу, увидел две головы, высунувшиеся из открытого окна Наденькиной комнаты. Эти головы в шапках, опрокинутые над ним, что-то кричали, но неразборчиво. Тут же он ощутил, что веревку неудержимо тянут наверх, и стал спускаться быстрее, но встречные движения гасили друг друга, и Пирошников по-прежнему оставался на той же высоте. Это продолжалось какие-то секунды, пока не кончилась веревка. Теперь Пирошников висел на самом ее кончике, и был момент, когда он приказал себе разжать руки, но смалодушничал. Момент был упущен! Пирошников пропутешествовал снова мимо карниза, на котором только что отдыхал, но пропутешествовал уже в другом направлении, причем до его слуха все явственней доносились яростное сопение и бормотание незнакомцев, тянувших веревку наверх. Через мгновение сильные руки подхватили под мышки нашего героя и он был волоком втащен в западню, из которой так неудачливо пытался выскользнуть.

Проделав это, незнакомцы, оба в пальто и в шапках, мигом и весьма деловито связали его той же самой веревкой и усадили на диван, после чего приступили к допросу.

— Ишь ты! — проговорил тот, что постарше, в шапке с опущенными ушами. — Среда бела дня ухитряются... Ну, говори сразу, чего упер?

Пирошников молчал, подавленный не столько нелепым подозрением, сколько возвращением на кру-

ги своя. Тогда второй, оказавшийся при ближайшем рассмотрении совсем еще юным человеком, почти подростком, спросил в нерешительности у первого:

— Может, милицию вызвать, дядь Миш, а?

— Погоди. Сами с усами,— отозвался дядя Миша. («Родственничек приехал,— слабо шевельнулось в уме Владимира.— Вовремя поспел, чтоб его...») — Ты вот что, парень, давай выкладывай. А ты, Ленька, пиши протокол, чтоб все честь честью. Мы ведь умеем.

— Чего выкладывать? — как-то тихо и покорно спросил Пирошников, махнувши уж на все рукой.

— А все,— сказал непреклонный дядя.— Кто таков? Какую имел цель? Зачем пришел? Чего хотел?

— Желал бы я сам это знать,— с расстановкой и весьма мрачно произнес Владимир, но тут же встрянувшись, какие-то бешеные чертики мелькнули в его глазах, он рывком вскочил с дивана (при этом оба его стражника метнулись к нему) и закричал:

— Да развяжите вы меня! Довольно этой комедии! Никуда я не денусь, ей-богу!

— Успеется,— ответил главный инквизитор, толкая его обратно на диван, куда молодой человек повалился боком, так что не сразу смог принять нормальное положение, несколько секунд извиваясь на плюшевой подстилке, отчего та скомкалась и сбилась в кучу.

— Ах так! — вскричал Пирошников, наконец выпрямляясь.— Пишите, пишите! Я все расскажу, только на себя потом пеняйте!

— Не грозись,— строго заметил дядюшка.

— Пиши! (Подросток и вправду, быстренько достав с полок карандаш и бумагу, приготовился к протоколированию признаний Пирошникова.) Пиши! Будучи в нетрезвом состоянии, я, Владимир Пирошников, неизвестно каким путем попал в данный дом, где теперь и нахожусь в состоянии ареста. («Тьфу ты! Слишком много состояний!» — подумал он в скобках, но было уже не до стилия.) Написал? Пытаясь утром покинуть пределы дома и воспользовавшись для сего парадной лестницей, я обнаружил, что вышеназванная лестница...

— Ты тут не юли! — взорвался дядя, до того уничтожавший следы деяний Пирошникова, а именно закрывавший окно и устанавливавший кастрюли на подоконник.— Ты нам мозги не вкручивай! Пьяным от тебя и не пахнет.

— Так то же вчера было!

— А ты давай про сегодня. Вчера мало ли что было!

— Послушайте, снимите же веревку, давит,— взмолился Пирошников.— Вы Наденькин дядя, вот видите, я вас знаю. Вы приехали сегодня поездом, утром Наденька получила вашу телеграмму. Поезд... поезд 27, кажется, а вагон уж и не помню. Все верно?

— Это еще ничего не говорит,— заявил дядя, несколько озадаченный.

Он подошел к молодому человеку и освободил его от пут. Пирошников сделал несколько движений, разгоя кровь по жилам.

— Писать будете? — спросил он уже более уверенным тоном.

— Ленька, погоди писать,— приказал родственничек, присаживаясь к столу и наконец-то стаскивая шапку.— А ты, друг, рассказывай, рассказывай... Только по-простому, без всяких.

И Пирошников, насколько мог по-простому и без всяких, изложил слушателям по порядку всю историю сегодняшнего утра — и лестницу с кошками, и утренний разговор с Наденькой, и объяснение с Георгием Романовичем, и приключение с иконкой, и напоследок историю побега.

Дядя Миша слушал его все более хмурясь, но молчаливо, а подросток Ленька — тот раскрыл рот и смотрел на молодого человека с восхищением и ужасом, как на пойманное привидение.

— Да... — неопределенно протянул дядя, когда Пирошников закончил.— Одним словом, заварушка...

Он встал и прошелся по комнате, поглядывая на Владимира исподлобья, а потом, что-то решив, обратился к Леньке:

— Ты вот что, племяш. Иди-ка домой. Матери привет, и скажи, что устроился хорошо. О Владимире (тут он кивнул в сторону Пирошникова) пока не звони. Так оно будет лучше.

Однако племяш, встав от стола и тиская шапку в руках, уйти почему-то колебался. Он поздравил к себе дядю и, смущаясь, что-то тихо тому проговорил. Дядя даже крикнул от неожиданности.

— Эк тебя разобрало! Это ж все... — Он кинул взгляд на Пирошникова и продолжил, понизив голос, не настолько, однако, чтобы наш герой не уловил отдельных слов.— ...психоз... больной... чего боишься, дурень..., лестница..., полный порядок.

Но Ленька, смущаясь еще более и краснея, потупился и не уходил. Тогда дядя, нахлобучив на него шапку, сказал, что ладно уж, проводит его до выхода, поскольку на лестнице и вправду темновато, как бы чего не случилось. Уже в дверях он обернулся к Пирошникову и с отеческой какой-то ноткой в голосе, с вниманием каким-то особенным предупредил того, что сейчас вернется, а пока настоятельно рекомендовал отдыхать.

Пирошников снова скинул ботинки, повесил пальто, надел тапки Георгия Романовича и забился в плюшевый угол дивана. Оставалось ждать Наденьку. С ее возвращением связывалась хоть какая-то надежда — хрупкая, смутная... во всяком случае, возможность перемены.

Глава 7. ВСЕ В СБОРЕ

Наденька появилась на пороге комнаты, легкая и деловитая, обремененная кроме своей сумочки, еще и сеткой, в которой были разные свертки, блестела крышечка бутылки молока и торчал батон; появилась она как-то бесшумно, и глазам ее предстала исключительно мирная картина: дядюшка с Пирошниковым играли в шашки.

— Надюшка пришла! — закричал дядюшка, смахивая шашки с доски. — Продулся, продулся, как bestия... Ну, племяшка! — И он устремился к Наденьке, чтобы расцеловать ее, стиснув в своих родственных объятиях, на что Наденька успела лишь крикнуть «Ой!» и рассмеяться. Пирошников, пробормотав: «Добрый день», выжидающе посмотрел на хозяйку, а она, как ни в чем не бывало, освободившись от дядюшки и сняв пальто и белый халатик, подошла к Владимиру и спросила:

— Ну и как оно?

И в этом вопросе заключена была бездна подтекста. Впрочем, несмотря на насмешливый тон и оживленное Наденькино настроение, молодой человек заметил в ее глазах что-то большее, чем простое любопытство; он заметил и внимание, и участие, и даже (на самом доньшке вопроса) робость какую-то.

Пирошников молча пожал плечами. Против его воли получилось это излишне надменно и сухо, так что Наденька сразу поскучнела, но виду перед дядюшкой не показала. Напротив, не переставая расспрашивать последнего о каких-то тете Гале да Ваське с Лешкой,

которые, по всей видимости, составляли семейство дяди Миши, Наденька принялась хлопотать по хозяйству. Разговор, однако, был затруднен молчанием Владимира, сидевшего на диване с видом поневоле отчужденным, и некоторой настороженностью дяди, возникшей сразу же после первого вопроса, обращенного Наденькой к Пирошникову. Дядюшка отвечал рассеянно, а взгляд его все время перескакивал с племянницы на молодого человека и обратно. Да и Наденька сама, видимо, чувствовала себя не в своей тарелке.

Пирошников первым не выдержал такого положения и, встав, обратился к Надежде Юрьевне (именно так он ее назвал, на что Наденька удивленно вскинула брови) с просьбой выйти с ним в коридор, чтобы там наедине побеседовать. Дядюшка подозрительно и с неприязнью поглядел на Пирошникова и, прежде чем Наденька ответила, заявил, что он не гордый и может сам покинуть комнату.

— Дядя Миша, вы не обижайтесь. Я вам потом объясню,— сказала Наденька, но дядя Миша отрезал:

— Да уж чего объяснять? Уж мне все известно...— И вышел в коридор, разминая в пальцах папиросу.

— Обиделся...— в растерянности произнесла Наденька, остановившись посреди комнаты и опустив руки.— Что тут у вас произошло?

Молодой человек подошел к ней и, неожиданно для самого себя взяв ее руки в свои ладони, начал говорить умоляюще, заглядывая собеседнице в глаза, отчего Наденька как-то подобралась и застыла неподвижно, как выслеженный зверек.

— Я вас прошу...— говорил Пирошников, слегка даже поглаживая Наденькину руку, впрочем совершенно неосознанно, а скорее повинувшись кроткой своей интонации.— Я вас прошу, вы одна можете мне объяснить... Вы ведь не считаете меня идиотом, я вижу... Где я нахожусь? Как мне отсюда выбраться? Вы должны это знать. Понимаете, тут приходил ваш муж... (При этом слове Наденька встрепенулась, а по лицу ее скользнула гримаска.) Он говорил, что он тоже... Значит, вы знаете? Расскажите, не мучайте меня. За этот день я столько пережил, вы не представляете даже.

— А ты что, ничего-ничего не помнишь?— спросила Наденька, мягко высвобождая руку, которую Пирошников отпустил со смущением.

— Что я должен помнить?

— Ну вот, как ты сюда попал, например?

— Да помню же, конечно! — воскликнул Владимир, начиная нервничать. — Это утром еще было, я запутался с этой лестницей...

— Да нет же, — улыбнулась Наденька, — ты попал сюда еще вчера. Не помнишь?

Пирошников потер пальцем лоб, чтобы снова сконцентрировать свои мысли на вчерашнем вечере, который по-прежнему черным пятном лежал в его памяти, но ничего нового припомнить не смог, а потому на лице его изобразились тоска и безнадежность. Тогда Наденька рассказала ему окончание вчерашней истории, явившееся для Владимира совершенным откровением, ибо никакого намека на изложенные события в его голове не запечатлелось. Недостоящее звено выглядело следующим образом. По словам Наденьки, он вчера, и довольно поздно, собственно даже сегодня ночью, был приведен в ее комнату некоей подругой Наденьки...

— В белой шапочке? — вырвалось у Пирошникова, на что Наденька кивнула.

Подруга эта умоляла Наденьку оставить Пирошникова переночевать, потому что иначе с ним могло случиться, как она говорила, нечто ужасное. И дело было даже не в том, что молодой человек был пьян, а в выражении такой глубочайшей безысходности и равнодушия, которые были написаны на его лице, такой потерянности, каких еще не случалось видеть ни Наденькиной подружке, ни самой Наденьке. Подруга бегло упомянула о встрече на мосту и о тамошних, так сказать, словах Пирошникова, на что он, стоявший молча, вроде бы реагировал вялыми, но протестующими жестами. Сама подруга («Как ее зовут?» — вдруг спросил Владимир. «Наташа», — сказала Наденька), итак, сама Наташа жила неподалеку, но к себе домой приводить ночью пьяного молодого человека, да и не пьяного тоже, не имела никакой возможности, поскольку жила с родителями, которым подобный альтернативизм вряд ли пришелся бы по душе.

Короче говоря, усилиями двух молодых женщин с Пирошникова было снято пальто, а сам он был уложен на раскладушку, но не в комнате Наденьки, а в соседней, где сейчас никто не живет. Проснувшись утром, Наденька его уже не нашла и предположила, что он благополучно ушел, но его возвращение, да вдо-

бавок с таким ошеломленным видом, навело ее на мысль о достопамятной лестнице, с которой ей, увы, приходилось уже сталкиваться.

— А она еще придет? Наташа... — спросил Пирошников, изо всех сил пытаясь припомнить лицо своей вчерашней знакомой, проявившей о нем такую заботу, но опять-таки не вспоминая ничего, кроме шапочки и длинных волос.

— Да, — ответила Наденька, тонко улыбаясь. — Я ей звонила. Она придет сегодня же.

— Может быть, с ней мне и удастся...

— Это было бы прекрасно, — сказала Наденька и отвернулась к подоконнику, где стояли кастрюльки. Она поочередно приподняла крышечки, заглянув в каждую кастрюльку, а потом, будто вспомнив что-то, спросила:

— Так что же у вас произошло с дядей Мишей?

— Понимаете, он посчитал меня сумасшедшим — видимо, так. Я на него не в обиде, каждый на его месте... Я пытался вылезти через окно. Ну, а потом еще я ему рассказал кое-что.

— Через окно? — рассмеялась Наденька. — Господи, какой ты неразумный человек! Неужели ты думаешь, что таким способом тебе удастся освободиться?

— А как мне удастся? — в свою очередь спросил Пирошников, делая особое ударение на вопросе. — Как ушел Георгий Романович? Скажите, я хочу знать. Он мне сам не ответил.

Наденька нахмурилась и нехотя сказала, что способ Георгия Романовича, по всей вероятности, не слишком хорош для Владимира, то есть, по существу, повторила слова самого Георгия Романовича.

— Что же это? Тайна? — воскликнул молодой человек, подступая к Наденьке и желая, должно быть, вырвать эту тайну, но она скользнула к двери и высунулась в коридор, чтобы вызвать бедного дядюшку, который истомился в обиде и неизвестности. Раздосадованный Пирошников встретил вошедшего родственника не слишком приятным взглядом, но затем смягчился, вспомнив, что в скором времени должна прийти неизвестная Наташа, с которой он, помимо своей воли, уже связывал какие-то надежды.

Наденька же, усадив дядю и не дав ему опомниться, заявила, что хочет сразу же рассеять все недоразумения, потому как жить им всем придется вместе. Она четко и внушительно проговорила в лицо оторопевше-

му дядюшке, что все рассказанное Владимиром есть чистая правда, что она просит дядюшку отнестись к этому спокойно и не принимать Владимира за тронувшегося человека; что, наконец, она имеет сказать им обоим одну важную вещь.

Дядюшка, как понял по его лицу Пирошников, ни на секунду не усомнился, что вся речь Наденьки была направлена на успокоение не его, а молодого человека, то есть продолжается игра, долженствующая убедить Пирошникова в том, что к нему относятся как к нормального человека. И он охотно принял правила игры и рассыпался перед Владимиром в восклицаниях, что он-де никогда и не думал! да как могли предположить! да он всему верит! и прочее, и прочее.

Пирошников криво усмехнулся, но дядюшкины излияния принял. Тогда Наденька сообщила им ту самую вещь, о которой было упомянуто. Она состояла в том, что Наденька возымела намерение привести в свою комнату еще одного человека. Человек этот был мальчик лет пяти, Наденькин пациент, которого она любила больше других своих пациентов и который до недавнего времени жил с матерью, не имевшей мужа. Однако совсем недавно эта женщина вышла замуж, и мальчик не то чтобы стал совсем уж лишним, но вроде того. Наденька поняла это сегодня, посетив больного Толика (так звали мальчика) и выслушав сетования матери на тесноту, занятость и тому подобное. Еще более убедили ее в этом глаза мальчика, в которых она прочитала обиду и горе, поэтому, почти не раздумывая, Наденька предложила взять его к себе, на что мать Толика недоверчиво, но согласилась, заметив, что оно и кстати, поскольку она с мужем собралась куда-то уезжать, а Толик был к тому единственным препятствием.

Все это Наденька изложила ровным и спокойным голосом, но Пирошников заметил, что в глубине души она волновалась, в особенности в том месте, где говорила о больном ребенке. Дядюшка вздохнул и сказал, что будет ей трудно, ох как трудно. Наденька улыбнулась каким-то своим мыслям и сообщила, что она сейчас же и приведет мальчика, а потом уж они все вместе поужинают.

Она мигом оделась и упорхнула, пообещав быть через полчаса, а Пирошников с дядюшкой некоторое время молчали, обдумывая каждый свое. Пирошников стоял напротив стены, где развешаны были детские

фотографии, и обзривал их, стараясь угадать, есть ли тут лицо несчастного мальчика. В конце концов он остановил свой выбор на фотографии ребенка с темными и широко расставленными глазами, напряженно смотревшими прямо перед собою, и подумал, что такого мальчика тяжело будет Наденьке приблизить к себе и, как говорят, приручить. Его наблюдения прервал дядюшка, сидевший на диване под фотографиями и обзировавший в свою очередь Пирошникова.

— Вот что, Владимир, хочу я тебе сказать... — начал он с наигранным добродушием. — А не сбегать ли нам пока в магазин за винцом, а? У меня в чемодане белая имеется, боюсь только, Надюшка пить не будет. А, к примеру, портвейн очень даже хорошо...

Ох уж этот мудрый дядюшка! Сказал он это с ленцой, вроде бы и забыв про пунктик Владимира, про лестницу эту треклятую, рассчитав, должно быть, что именно так, исподтишка, он избавит его от навязчивой идеи, мимоходом как бы, по забывчивости. Дядюшка даже потянулся слегка, давая понять, что не очень настаивает, можно и не ходить; и глаза чуть прикрыл, однако наблюдал за молодым человеком очень внимательно, готовый ко всяким неожиданностям, если вдруг слова его заденут Владимира и напомнят ему нехорошее.

— А почему бы и нет? — с готовностью отозвался Пирошников, предвкушая ослепительное мщение. После того, что произошло сегодня, он окончательно уверился в свойствах лестницы и знал наверное, что никакой дядюшка с нею не справится, а потому, желая проучить последнего, принял предложение и продемонстрировал полное при этом простодушие. Дядюшка бросил на Пирошникова обеспокоенный взгляд, но не заметил никакой игры, и, обрадованный этим, засуетился, доставая деньги и натягивая пальто и шапку. Пирошников тоже оделся, и они вышли в коридор, причем дядюшка положил руку на плечо Владимиру и без остановки что-то говорил, стараясь, должно быть, отвлечь его внимание. Незадачливый психиатр рассказывал о том, как он доехал, с кем встретился по дороге и тому подобное, нисколько не ожидая последующего страшного поведения лестницы.

— Какой это у нас этаж? — спросил Пирошников как бы невзначай, когда они вышли на лестничную площадку.

— Да вроде бы пятый...— отвечивал дядюшка, насторожившись.

— Ну-ну...

Дядюшка засопел и только крепче стиснул руку молодого человека. Так они прошли в молчании до площадки, которая, по всем расчетам, должна была быть площадкой первого этажа, и спустились еще ниже. Дядюшка убыстрил шаг, подталкивая Пирошникову; дважды им встретились какие-то люди, не спеша поднимавшиеся вверх, и они пропустили их, прижимаясь к стене, поскольку лестница была узка. Наконец дядюшка с Владимиром вновь достигли двери Наденькиной квартиры, и тут Пирошников, желая продемонстрировать эффект, сказал:

— А вот и наша дверь, прошу убедиться!

Эффект был, надобно признать, очень сильный. Дядюшка, побагровев, притиснул Владимира к этой самой двери и с ненавистью прокричал ему в лицо:

— Ах, вот ты как! Фокусы на мне производишь?!

— Какие фокусы? — пожал плечами Пирошников.

— А вот такие! — И дядюшка, не дав молодому человеку опомниться, вновь повлек его вниз, неуклюже перепрыгивая через ступеньки и чертыхаясь, словно надеясь таким образом избежать наваждения, но через положенное время оба они тяжело дыша стояли у той же двери, которая в этот момент сама собою стала медленно отворяться, так что дядюшка даже отпрянул от нее, ожидая бог знает чего. Лоб его покрылся потом, из-под шапки выбились редкие волоски, прилипшие ко лбу, — лик его, как писали в классической литературе, был ужасен. Однако все объяснилось просто. Дверь была отворяема бабкой Нюрой, которая давно уже маялась в любопытстве касательно возни на лестнице. Она выглянула в щель, предварительно надев дверную цепочку, и увидела знакомого ей молодого человека в неловкой позе рядом с неизвестным мужчиной. Пронзительным голосом и нараспев бабка Нюра произнесла несколько фраз, смысл которых сводился к выяснению происходящего перед дверью.

— Да не волнуйтесь вы, Анна Кондратьевна! — досадливо отмахнулся Пирошников. — Это Наденькин дядя. Мы с ним идем в магазин.

Старушка охнула и провалилась. За дверью раздался звук снимаемой цепочки, после чего все смолкло. По всей вероятности, бабка затаилась по ту сторону, вся обратившись в слух.

— Ну? — мрачно проговорил дядя Миша, уставившись на Владимира, впрочем без прежней агрессивности.

— Вот вам и ну! — дерзко воскликнул наш герой, наслаждаясь победой. — Теперь-то вы видите?

— Постой. Что же это?.. Нет, давай сначала, — сказал упрямый дядюшка. — Пошли!

— Идите сами. У вас должно получиться.

Дядя Миша недоверчиво отпустил руку Пирошникова и, оглядываясь, побрел вниз — побрел с опаскою и не очень охотно. Он скрылся из глаз Владимира, некоторое время слышались его осторожные шаги, а потом снизу раздался радостный крик:

— Есть, мать-перемать! Есть она!

Пирошников печально улыбнулся темноте, улыбнулся иронически, ощутив всем своим существом ту невидимую пропасть, которая разделяла сейчас его и дядюшку. Он стукнул кулаком по перилам, отчего те загудели, распространяя колебания вверх и вниз по лестнице.

— Володя, давай ко мне, жду! — просительно прокричал дядюшка, на что Пирошников, облокотившись на перила и свесив голову в узкий пролет, отвечал, что идет, не двигаясь, однако, с места. Так они обменивались сигналами, причем возгласы дядюшки становились все настойчивей и нетерпеливей. Наконец Пирошников услышал, что дядя Миша, выругавшись, двинулся наверх. Желая сыграть с ним еще одну шутку, молодой человек тоже пошел вверх и, в полном соответствии с жуткими законами лестницы, через некоторое время нагнал дядюшку. Он неслышно подкрался сзади к уставшему уже и потому идущему неторопливо Наденькиному родственнику и кашлянул. Дядюшка обернулся, зрачки его на мгновение расширились, но тут произошло неожиданное. Повинуясь скорее всего страху, родственничек ударил Пирошникова кулаком в живот, причем попал в солнечное сплетение, отчего Владимир согнулся, как перочинный нож. Дядюшка же, не раздумывая ни секунды, взвалил его на спину и, отдуваясь, помчался вниз. Бежать ему пришлось недолго, ибо он был остановлен явлением женщины в белой шапочке и шубке неопределенного цвета. Женщина стояла перед дверью Наденькиной квартиры и названивала в звонок.

Дядюшка стряхнул Пирошникова со спины и прислонился к перилам, обводя помутившимся взором

окружающий полумрак. Пирошников несколько раз взмахнул руками, чтобы наконец свободно вздохнуть после дядюшкиного удара, а потом только обратил внимание на женщину.

— Здравствуйте,— сказал он тихо и неуверенно добавил: — Наташа...

Дядя Миша снял шапку и вытер ею пот со лба, а Наташа, обернувшись на приветствие, сощурилась в темноту и так же неуверенно поздоровалась.

Бабка Нюра отворила дверь и исчезла. Все, молча, проследовали в квартиру, прошли по коридору в комнату, расселись и потом уже принялись друг друга разглядывать.

— Вы не скажете, где Наденька? — вежливо осведомилась Наташа, поднимая на Пирошникова глаза.

— Скоро придет,— отрубил дядюшка, прежде чем Владимир успел открыть рот.

Наташа несколько испуганно перевела взгляд на родственника и спросила, может ли она подождать.

— Ждите,— разрешил дядя и добавил, неизвестно к кому обращаясь: — Будьте покойны, мы все это утрясем! Не на таковских напали!

Наташа испугалась еще больше. Она беспокойно оглянулась теперь на Пирошникова, а тот, желая разъяснить слова дядюшки, начал говорить. Он осторожно попытался намекнуть на обстоятельства сегодняшнего утра, причем не забыл поблагодарить Наташу за вчерашнее, но она, никак не зная существа разногласий между дядюшкой и Владимиром, прервала последнего словами:

— Я все знаю, мне Наденька говорила по телефону. Вы попали в безвыходное положение, да? Скажите, это очень интересно, я никогда с подобным не встречалась, скажите, вы пробовали спуститься по лестнице снова?

Услышав злополучное слово, дядюшка, сидевший на диване, крикнул и уставился на Наташу с видом почти затравленным. Он, по всей видимости, никак не мог примириться с существованием этой лестницы как реального объекта, и то, что все довольно спокойно о ней говорят, приводило дядю Мишу в сильнейшее замешательство.

Пирошников снисходительно и даже чуточку благодушно рассказал о своих попытках. Тут показал он и юмор, упомянув об иконке, а напоследок сказал, улыбаясь:

— Да вот и перед вашим приходом мы с дядей Мишей хотели пойти в магазин, но, как видите, вернулись на исходные позиции. Не так ли, дядя Миша?

Дядя Миша безмолвствовал, а Наташа, вопреки желанию Пирошникова, не улыбнувшись его иронии, спросила:

— Скажите еще вот что: вы сами очень хотели выйти? Очень-очень?

Пирошников внимательно посмотрел на нее и не нашелся, что ответить, подумав про себя, что и вправду какого-то сверхобычного желания преодолеть лестницу у него, пожалуй, не было.

Его раздумья были прерваны появлением Наденьки с ребенком. Открылась дверь, и в комнату вошел направляемый Наденькой мальчик в пальто и шапке, замотанный по самые глаза в серый пуховый платок. Глаза мальчика блестели, как это обычно бывает у больных детей. Двигался он осторожно, опустив руки в вязаных варежках, а войдя, ни на кого не посмотрел и не поздоровался. Наденька тут же принялась его раздевать, и к ней присоединилась Наташа, обмениваясь с подругой короткими фразами. Пирошников отошел к окну и, наблюдая за сценой, представил себя на месте мальчика вчера вечером, когда эти же две женщины укладывали его спать. Был очищен диван, причем дядюшка, его занимавший, вышел в коридор курить, а на диван постелили чистую простыню, положили подушку и одеяло. Мальчик все так же безучастно улегся в постель и прикрыл глаза.

— Толик... — позвала Наденька. — Хочешь чего-нибудь?

Толик не ответил, а Наденька побеседовала ему чаю и скрылась из комнаты. Наташа подсела к Толику на диван и коснулась лба мальчика губами.

Владимир подошел ближе и, не зная, о чем бы спросить, поинтересовался, чем же болен мальчик.

— Температура, — сказала Наташа. — Но это все пройдет, ведь правда? — обратилась она уже к самому мальчику. — Скоро мы поправимся и будем играть в хоккей.

— Тети не играют в хоккей, — прошептал мальчик очень тихо.

— А вот и неправда! — заявила Наташа. — Некоторые тети играют. Например, я...

Она улыбнулась, радуясь тому, что Толик хоть что-то сказал, а он повернул лицо к стене, разглядывая

фотографии. Вскоре он нашел среди них и свою (ту самую, которую отметил уже Пирошников) и спросил, зачем она здесь висит, на что Наташа отвечала, по-прежнему улыбаясь, что тетя Надя любит своих пациентов. Говоря это, она метнула лукавый взгляд на Пирошникова, отчего тот смутился и отошел.

Вернулись Наденька с чайником, из носика которого валил пар, и дядюшка, принесший из коридора чемоданчик Толика; был организован ужин, состоящий из колбасы, сыра, рыбных консервов и чая с булочками, причем дядюшка достал из своего чемодана бутылку водки, и все выпили за встречу и за здоровье большого мальчика. Сам же больной мальчик, выпив чай и приняв из рук Наденьки какую-то таблетку, отвернулся к стене, и тогда Наденька погасила верхний свет и зажгла старую лампу в железном круглом абажурчике, стоявшую на бюро, а потом предложила гостям переместиться на кухню.

Глава 8. РАЗГОВОР ЗА ЧАЕМ

Бывает иногда так: вдруг в момент самый заурядный скользнет взгляд твой сверху, как бы с неба, останавливая мгновенье, в котором различишь и себя среди других людей, такого же беспомощного и маленького, как они, и удивишься на секунду собственной своей нелепости, а также странности и неповторимости ситуации. В такой миг внезапно чувствуешь неостановимый поток жизни, который вот сейчас переборет твое усилие воли, и понесет дальше, и погонит, и не даст оглянуться или различить что-нибудь дальше пяти шагов. Тогда спросишь себя: где я? что со мною? — и засмеешься горько: да неужто здесь я? Но это продолжается так недолго, что никакие ответы не приходят, — да и к чему они?

Пирошникову вообще было свойственно такое отъединение от себя. Вот и сейчас в коридоре, следуя в кухню за дядюшкой и наблюдая его затылок, — за дядюшкой, который нес в одной руке начатую бутылку, а в другой — и весьма бережно — скумбрию натуральную в собственном соку, — наш молодой человек посмотрел на всю эту процессию откуда-то сверху, а посмотрев, изумился своему в ней участию. Люди, о которых вчера еще не имел он ни малейшего представления, теперь, за один день, стали единственными людьми, с которыми мог он говорить; произошло мгновен-

ное замещение всего мира одной комнатой, одной квартирой и одной лестницей; и вот, вместо того чтобы волком выть и бросаться на стены, он несет преспокойненько сыр на блюдечке, а сзади следует незнакомая, но уже почти родная Наташа, напевая дешевую эстрадную песенку. Удивительно!

В кухне на своем сундуке сидела старушка Анна Кондратьевна, сидела и что-то вязала. Наденька спросила ее, не помешают ли они, на что бабка Нюра ответила: «Господь с тобой! кушайте себе на здоровье!» — и снова углубилась в вязанье. Компания расположилась за Наденькиным кухонным столиком, и ужин продолжился, а по мере опустошения бутылки завязался и разговор, который, совершенно естественно, пришел к проблеме Пирошникова, причем инициатором стал дядя Миша.

Что-то не давало ему успокоиться и принять вещи такими, какие они есть. Еще не уяснив себе окончательно, является ли наша лестница плодом большого воображения Пирошникова или существует как материальный объект, дядюшка решил и в том и в другом случае организовать комитет по спасению Пирошников, отведя себе место председателя. Поэтому без обиняков, на какие дядя Миша решительно не был способен, выпив третью стопку, он приступил к делу.

— Так что же будем делать, Надюшка? — спросил он племянницу громко и твердо, желая, очевидно, гласности.

— В каком смысле, дядя Миша? — ответила Наденька, выигрывая время, ибо прекрасно поняла смысл дядюшкиного вопроса. Пирошников и Наташа выжидающе посмотрели на дядю, каждый со своим выражением: Пирошников, как обычно, иронически, а Наташа с серьезностью.

— А вот в его смысле, — сказал председатель, кивнув на Владимира.

— Мне кажется, дядя Миша прав, — вступила в разговор Наташа. — Нужно что-то делать. Ах, если бы вы видели себя вчера, простите, что я упоминаю об этом, — обратилась она к Пирошникову. — Но все здесь свои люди, поймите, что вы им небезразличны, тем более, при таких обстоятельствах... Может быть, для начала вызвать врача?

— Во! — утвердил дядя Миша, а Наденька грустно улыбнулась и сказала, что можно, конечно, вызвать и врача, но стоит ли?

— Я тебе, Надюша, удивляюсь,— сказал дядя.— Он тебе кто? Брат, сват? Чего ему здесь делать? Если мер не принять, он здесь черт знает насколько застрянет. А тебе хоть бы хны.

— Ну, он же не виноват,— вступилась за Пирошникова Наташа.

— А кто виноват? Я виноват, да? Или кто? — наседа л дядюшка.

— Подождите,— сказала Наденька.— Можно, конечно, вызвать и врача, и милицию даже. Но зачем?

— Вот тебе и раз! — воскликнул дядя Миша, а Наташа умиrotворяюще на него посмотрела и заметила, что не надо горячиться.

— Может, вы что-нибудь скажете, Володя? — спросила она.

Пирошников, до сей поры сидевший молча и ожидавший решения своей судьбы, встрепенулся, но сообразил, что никаких мер придумать не может, а потому решил повернуть вопрос другим боком.

— По-моему, нужно сначала разобраться, почему так случилось,— рассудительно проговорил он.— И уж, конечно, это я должен сделать сам. Пока я не знаю...

Наденька едва заметно кивнула головой, больше даже своим мыслям, чем словам Пирошникова, но дядюшка снова не согласился.

— Этак без конца можно антимонии разводить. Вот что, племяшка, ты как хочешь, а я этого дела так оставить не могу. Нужно его выпроваживать.

— Дядя Миша, зачем же так?

— Да ты пойми, что нужно бороться! Человек бороться рожден,— заявил дядюшка, формулируя свое кредо.

— Смотря как,— сказал Владимир.— Биться лбом в стену — это не лучший способ борьбы.

— Умен! Умен! — закричал дядюшка.— А я вот, дурак, всю жизнь головой в стену, головой в стену! И ничего, получается!

Пирошников улыбнулся, что еще больше задело дядю Мишу.

— Я ж тебе добра хочу, умная ты голова,— продолжал он.— Ну, заплутал, бывает, так надо же выбираться...

— По-моему, надо почаще выходить с разными людьми. Должно же когда-нибудь повезти,— рассудительно сказала Наташа, взглянув в глаза Пирошникова.

ву. На мгновенье между ними как бы искорка проскочила — так часто бывает, когда, сам того не желая, заглянешь глубоко в глаза и тут же смутишься, будто переступил запретную черту. У Пирошникова даже дыхание перехватило. Он поспешно отвернулся, а Наденька неожиданно рассердилась:

— Господи, болтаем ерунду! Оставьте человека в покое. Кому еще чаю?

— А налей-ка мне, Наденька, — присоединилась к компании старуха. Она подошла к столу с большой синей чашкой и протянула ее Наденьке. — Вы уж простите, ради бога, чайку захотелось.

— Пожалуйста, пожалуйста, — радушно пригласил дядюшка. — Вы присаживайтесь с нами.

— Нет, я уж у себя...

И бабка Нюра, получив чаю, снова укрылась в своем углу. Ее появление сбило разговор, и весьма кстати, так как он явно зашел в тупик. Всем было ясно, что необходимо принимать меры, но относительно конкретных способов имелись расхождения. Пирошников смутно чувствовал, что активная, так сказать, борьба с лестницей в данном случае бесполезна. Однако последний взгляд Наташи что-то обещал, и Владимир подумал, что и вправду кто-то сможет его вывести. Вполне возможно, что и сама Наташа...

Дядя Миша предложил спеть. Молодой человек, слегка обескураженный этим предложением, промолчал, зато Наденька обрадовалась и, не дожидаясь ничего согласия, затянула «Рябинушку». Дядя Миша подхватил, отозвалась неожиданно из своего угла и старушка, хор вышел нестройный, но звучный; лишь Пирошников с Наташей сидели молча, впрочем, Наташа улыбалась, поощряя пение.

Спев «Рябинушку», приступили к «Стеньке» и спели до конца и с выражением, а когда начали «Ямщика», наш герой подпел едва слышно, умиротворенный пением и согретый чаем. Наташа все улыбалась одною и той же улыбкой, но в хор не вступала. Пирошникову вдруг почудилось сквозь тягучее пение, что он целую вечность знает этих людей, что он какой-то дальний их родственник, потерявшийся еще в детстве, но теперь обнаружившийся неожиданно для всех и принятый вновь в семью. Он распевался все слышнее и даже взмахнул раз или два руками, как бы дирижируя, на что дядюшка одобрительно кивнул, а Наденька рассмеялась, довольная.

Когда песня кончилась, Наташа встала и объявила о своем решении уйти домой, так как было уже поздно. Она без дальнейших околичностей исчезла из кухни, а дядюшка, благодумствуя, подтолкнул локтем Владимира и сказал:

— Поди проводи девчонку, лестница-то темна...

— Проводи,— кивнула Наденька, загадочно улыбаясь.

Пирошников, ободренный напутствием и несколько не боящийся новой встречи с лестницей, даже как будто забыв о ней, вышел в коридор, где разглядел одетую уже Наташу.

— Подождите, я провожу вас,— сказал он шепотом, чтобы, не дай бог, не разбудить спящего мальчика, и, не дожидаясь ответа, вошел туда на носках, осторожно взял пальто и снова вышел.

Теперь они стояли в темном коридоре, каждый чего-то ожидая. Пирошников поспешно натянул пальто, не застегивая его, а потом взял Наташу за локоть и слегка потянул к себе. Она поддалась легко и уткнулась носом ему в воротник. Владимир трепетно провел рукою по мягкой шапочке, шепча какие-то слова. Он почувствовал расслабленность, будто отпустило что-то душу, а Наташа подняла лицо, ожидая поцелуя. Молодой человек коснулся губами ее глаз и ощутил кожей волоски ресниц, которые часто вздрагивали, а на своей шее почувствовал он горячее дыхание. Давно не испытывал Владимир подобной минуты, за которую не жалко, кажется, отдать все на свете и которая, конечно же, дороже самых сладких и острых любовных сцен, но прелесть ее неповторима и состоит как раз в этой неповторимости и скоротечности. Уже через секунду он нашел ее губы и прижал к ним свои, а Наташа закинула голову и обхватила Пирошникова, чтобы не упасть. Поцелуй был длительный; а с ним вернулась на место и душа, и мысли какие-то затеснились в уме, и беспокойство, и желание, и лихорадка.

— Пойдем,— прошептала Наташа, мягко отстраняя Пирошникова и поблескивая в темноте глазами.— Уйдем отсюда, правда?

— Да-да...— проговорил он, спеша отогнать все мысли, лишь бы вернулась та минута, но она не вернулась, ибо Наташа потянула его к двери, за которой снова была лестница, готовящая и на этот раз, как он понял вдруг, что-то необычное. Мало, мало было одной минуты душевного покоя, чтобы вот так выйти и уйти

с молодой женщиной на край света или хотя бы домой. Дверь скрипнула и распахнулась, приглашая к новому путешествию по кругам лестницы.

Глава 9. ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕНА

Пирошников, ведомый за руку женщиной в белой шапочке, вновь переступил порог и вышел на лестничную площадку. Сердце у него еще часто колотилось от испытанного только что блаженства, он не сводил глаз с Наташи, которую видел теперь сбоку на фоне серой, свинцового цвета стены; он ощущал в левой своей руке пальчики Наташи с острыми ноготками, смутно что-то напоминавшими, и это его состояние помешало ему сразу же заметить новые странности, произошедшие с лестницей.

Они прошли несколько шагов вниз, ступая осторожно, будто ступеньки могли провалиться, и не разговаривая, но тут Пирошников почувствовал, что они не одни на лестнице; почудилось ему какое-то постороннее движение, впрочем совершенно бесшумное. Он оглянулся, но ничего не заметил подозрительного. Постороннее движение было где-то сбоку, и наш герой, задержавшись на шаг, но не отпуская Наташиной руки, пристальнее взгляделся в стену. В ее глубине отражались две фигуры, спускающиеся по ступенькам. Стена была гладкой, как зеркало, но гораздо более темной, так что Пирошников не сразу смог сообразить, что фигуры эти— его собственная и Наташина, отраженные в стене. Отвернув голову, он перескочил через ступеньку, догоняя Наташу, которая шла, не глядя по сторонам, и в ту же секунду понял, что лестница подготовила что-то совсем уж невозможное. Где-то внутри шевельнулся страх, который молодой человек попытался преодолеть разговором.

— Вы знаете, Наташа, я чего-то боюсь,— прошептал он, склоняясь к белой шапочке, и Наташа, испуганно на него посмотрев, остановилась.

— Ну что вы! — сказала она также шепотом.— Это вам кажется.

— Нет-нет! — воскликнул Пирошников, прижимая Наташу к себе и пряча лицо в пушистом меху шапочки. На мгновение страх пропал, но только на мгновение! Подняв лицо, Пирошников увидел свое отражение, обнимающее фигурку женщины в шубке и шевелящее губами.

— Пойдем, пойдем быстрее! — сказала Наташа.

Она взяла его под руку. Свернув на новый лестничный пролет, Пирошников вывернул шею за голову Наташи и убедился, что отражение не исчезло. Все стены, окружавшие лестницу, выглядели изготовленными из блестящего темного металла, так что молодому человеку даже захотелось ощупать их руками. Наташа, желая отвлечь внимание Пирошникова, принялась строить планы, как вот они сейчас сядут в трамвай и поедут к нему домой или куда еще; говорила она и про погоду, но все это так далеко было сейчас от Пирошникова, что слова ее воспринимались им бесчувственно. Он послушно передвигал тряпичные свои ноги. Потихоньку им овладевала апатия.

Он не заметил, как Наташа высвободила руку, чтобы поискать что-то у себя в кармане, и продолжал идти; как раз в этот момент кончился лестничный марш, и Пирошников повернул, а повернувши, разглядел, что Наташи рядом нет. Сделав по инерции еще два шага вниз, он остановился и огляделся. Наташи не было и сзади на лестнице, но, найдя в себе силы посмотреть на стену, Пирошников, к ужасу своему, обнаружил, что там, за зеркальной поверхностью стены, в темной глубине отражения, Наташа по-прежнему была рядом с ним. Она стояла и смотрела на него, подняв голову, так что отсюда была видна только ее спина. Пирошников оцепенел, не в силах оторвать взгляд от зеркала, а та, отраженная от пустоты Наташа, последовав за направлением его взгляда, оборотилась и посмотрела на него из зеркала. Пирошников провел рукой по лицу, и его отражение сделало то же в мельчайших подробностях. Изображение же Наташи спустилось вниз на три ступеньки и оттуда поманило его пальчиками — то есть не его, конечно, а того Пирошникова, который был за зеркалом.

...Подойдем к зеркалу, читатель, и взглянемся в него, чтобы хоть отдаленно представить себе ситуацию, возникшую на проклятой лестнице. Вы никогда не задумывались, кто же из тех двоих, смотрящих друг другу в глаза, есть настоящий вы? Конечно же, тот, что снаружи, — что за чепуха! Но вот представьте, что там, в зеркале, рядом с вашим изображением появилась не то что женщина, а хоть мушка какая-нибудь, которой здесь, по эту сторону, ваши глаза не зарегистрировали... Не правда ли, это изменит кое-что в ваших представлениях?

Тут Пирошников и вправду подумал, что он свихнулся. С огромным трудом ему удалось взять себя в руки. Он подумал, что его знакомая (или ее отражение) может обнаружить странности в его поведении, а посему, не совсем привыкнув еще к отражениям, он постарался поставить себя на место своего двойника и повернул голову так, чтобы двойник смотрел на Наташу. Затем он продолжил шествие, кося глазом на стену, и увидел, что отражения пошли рядом. Пирошников затаил дыхание, решаясь на опасный опыт — ему вздумалось проверить, что же произойдет, если он протянет руку таким образом, чтобы двойник его коснулся Наташи.

Он осторожно поднял левую руку (двойник поднял правую) и начал медленно заносить ее за спиною Наташи, наблюдая за своими движениями в зеркале. Наташа вдруг увернулась и побежала вниз. Владимир сделал шаг к стене и с размаху ударил ее кулаком. Двойник сделал то же. Их кулаки столкнулись на плоскости зеркала и отскочили друг от друга. Наташа что-то сказала, смеясь, но слов не было слышно. Пирошников увидел только, как блеснули ее зубы, и тогда он сказал в пустоту:

— Я, пожалуй, пойду обратно...

По лицу отраженной Наташи он понял, что она его услышала. Губы ее зашевелились, что-то шепча, но Пирошников, не в силах уже вынести этот разговор, повернулся и зашагал вверх. Дойдя до площадки, он все-таки оглянулся и увидел в зеркале, что Наташа плачет и утирает слезы платочком. Пирошников приблизился к стене и некоторое время смотрел в глаза своему отражению. Потом он медленно опустился на ступеньку и сел лицом к Наташе. Он чувствовал холод стены, и ему чудилось, что это ледяное плечо двойника подпирает его.

— Наташа... — тихо сказал он. — Идите домой. Только не уходите совсем, я вас прошу. Мне нужно прийти в себя.

Наташа поднялась к нему и опустилась на колени двумя ступенями ниже. Чтобы видеть ее лицо, Владимиру пришлось смотреть в зеркало, отчего Наташе казалось, что он глядит мимо, и она, должно быть, была этим обижена. По движениям ее губ Пирошников понял, что она о чем-то его спрашивает, но он не в состоянии был ответить, а главное, не смел заставить себя

смотреть так, чтобы двойник мог видеть Наташу. Тогда он сам бы потерял ее из виду.

— Сегодня ничего не получится, — хмуро сказал он. — Потом я вам объясню... Идите домой.

Наташа встала во весь рост и протянула к нему руку, но молодой человек, вскочив, отпрянул, испугавшись вдруг этого ирреального прикосновения, хотя сам несколько минут назад готов был произвести подобный опыт.

— Потом, потом! — воскликнул он и устремился вверх. Внизу, в зеркале, он увидел, как изображение Наташи повернулось, запахнуло шубку и медленно, как бы раздумывая, двинулось вниз. Пирошников шел с понурым видом и больше на стену не смотрел. На каком-то повороте он понял, что его отражение исчезло, и действительно, обернувшись к стене, увидел, что она приняла свой прежний облик, оказавшись снова сероватой, с потрескавшейся краской, грязной стеной, в которой нельзя было разглядеть никакого отражения, даже придвинув к ней вплотную лицо. Но теперь ему было все равно. Пережив за какие-нибудь полчаса в своих мечтах такой феерический взлет и такое ужасающее падение, он думал теперь лишь о том, как быстрее добраться до раскладушки и заснуть. Когда Наденька открыла ему дверь и поинтересовалась результатами, он лишь устало махнул рукой и попросил разрешения переночевать еще раз, поскольку другого выхода у него не было.

Наденька привела из кухни дядюшку, который попытался было растормошить Владимира, но натолкнулся на стойкое равнодушие. Заявив, что утро вечера мудренее, дядюшка принял активное участие в подготовке ко сну. Оказалось, что ночевать им придется в той же нежилой комнате на раскладушках. Пирошников, вяло поблагодарив Наденьку, вошел с дядюшкой в ту самую комнату, где он так беспамятно провел прошлую ночь.

Глава 10. НОЧЬ

Он вошел в комнату и остановился у порога, не решаясь сделать следующий шаг, потому что в комнате было темно. Дядюшка, вошедший туда чуть раньше и с раскладушкой в руках, уже разворачивал ее, чертыхаясь в темноте, но тут за спиной Пирошникова в комнату проскользнула Наденька и принялась ша-

речь рукою по стене; потом раздался щелчок, и комната озарилась светом, исходившим от настольной лампы, принесенной Наденькой и поставленной прямо на пол. Круглый железный абажурчик давал свету падать лишь вниз, образуя на полу яркое пятно, от которого получала освещение и вся комната. Владимиру вдруг вспомнилась сцена Дворца культуры, куда он, сидящий вверху на маленьком балкончике, направлял разноцветные лучи своей аппаратуры. И хотя не далее как несколько дней назад занимался он этим делом, ему показалось, что та его жизнь отодвинулась далеко-далеко, а главное безвозвратно.

А что же комната? Кроме двух раскладных кроватей — одной, стоявшей у стены, со взбитой на ней постелью, и другой, принесенной и развернутой дядюшкой, в комнате находилась лишь гипсовая скульптура, изображавшая часть обнаженной женской фигуры от колен до шеи и без рук. Обрубок этот стоял в углу, валялись на подоконнике куски гипса неправильной формы, а на стене висел большой карандашный рисунок того же самого обрубка, выполненный в манере не вполне реалистической, но узнать было можно. По всей видимости, в комнате была когда-то мастерская скульптора, но, судя по изрядному слою пыли на полу, которая была хорошо заметна в свете лампы, человеческая нога не ступала здесь уже давненько.

Владимир, все еще пребывавший в задумчивости, достиг своей раскладушки и меланхолично начал раздеваться. Сняв с себя верхнюю одежду, он огляделся, соображая, куда бы ее деть, а потом, подошедши к гипсовому торсу, бесцеремонно навалил свой гардероб на плечи фигуры. Тут же рядом положил он и носки, которые, как уже упоминалось, были не первой свежести, да еще с дыркой, отчего наш молодой человек с отвращением на них взглянул, а затем зашлепал босыми ногами к постели, ощущая ступнями мелкий сор, который он стряхнул, прежде чем забраться под одеяло. Наденька, осветившая комнату, больше не появлялась, дядя Миша раздобыл где-то постельные принадлежности и, не торопясь, располагал их на койке. Мир и тишина воцарялись в доме.

Уже раздевшись, дядюшка заметил, что Владимир опередил его по части размещения одежды. Он недовольно крикнул и, опасливо выглянув в коридор, куда-то отправился, а через минуту вернулся со стулом. Пи-

рошников, лежа на боку, безучастно наблюдал, как дядюшка, в огромных синих трусах и красной почему-то майке похожий на ветерана футбола, подошел к стоявшей на полу лампе и большим пальцем ноги, чтобы не наклоняться, нажал на кнопку выключателя. Жест этот развеселил нашего героя, он даже почувствовал кратковременный прилив нежности к дядюшке, а последний поскрипел в темноте пружинами и затих.

Впрочем, тишина воцарилась ненадолго. Дядюшка снова заворочался, а потом позвал шепотом:

— Володя! Спишь, что ли?

— Нет, — нехотя отозвался Владимир.

— Тут, видишь, какая петрушка. Комната-то знаешь чья?.. Это Надюшкиной соседки комната, только еще неоформленная. Она за нее воюет в жилотделе, чтобы старуху сюда поселить.

— Анну Кондратьевну? — спросил Пирошников.

— Ну! Она ж ее мать, это... Не помню, как ее Надюшка называла. Вот что я думаю — как бы она нас не турнула отсюда...

— А бабка-то разрешила? — опять спросил Пирошников, удивляясь в душе, как мало взволновало его дядюшкино сообщение.

— Старуха-то? Да! Ей, говорит, на кухне привычней... Я чую, соседка — дама такая... Ты жена, нет? — спросил дядюшка без всякого перехода.

— Нет, — отрезал Владимир. — Давайте спать.

— Спать так спать, — согласился дядюшка. — Ты, главное, не волнуйся. Все будет в порядке, вот увидишь.

Пирошников повернулся к стене и уже минуты через три услышал, что дядюшкино посапывание начинает переходить в храп. Сначала храп то и дело срывался, но потом, после затяжного и мощного периода, установился окончательно, все более и более нервируя Пирошникова. Он залез с головою под одеяло, но эффекта не добился. Раздосадованный, он сел на кровати и с ненавистью посмотрел в дядюшкину сторону. «Вот черт! — подумал Пирошников. — Нигде нет покоя!» Он осторожно добрался до гипсовой фигуры, сунул голые ступни в ботинки и ощупью нашел в кармане пиджака сигареты и спички. Кляня дядюшку, молодой человек вышел в коридор, где была тьма кромешная; выставив вперед руки, добрался до старухина комода и уселся на нем, предварительно сдвинув кружевную салфетку. Здесь дядюшкин храп был почти не слы-

шен. Пирошников закурил. На миг пламя спички осветило коридор, качнуло длинными тенями и погасло. Теперь лишь красный огонек сигареты освещал пальцы Пирошникова, когда тот затягивался.

О чем думал молодой человек, сидя в коммунальном коридоре, трудно сказать. Скорее всего, никакого четкого направления мыслей у него не было. Так, неясное брожение и вспышки воспоминаний. Да и это вскорости было прервано каким-то подозрительным посторонним шумом — раздались глухие голоса, и Пирошников услышал, как в замочной скважине входной двери поворачивается ключ. Владимир мигом потушил сигарету о комод и собрался уже бежать к своему ложу, как вдруг лязгнула дверная цепочка и женский голос за дверью раздраженно произнес: «Опять! Ну ладно же!» Пирошников понял, что дверь замкнута на цепочку и женщина не может войти в квартиру, хотя и имеет ключ. Он спрыгнул с комода и намеревался уже, несмотря на свой ночной вид, снять цепочку, но тут рядом с ним что-то прошелестело, так что он отпрянул и прижался к стене, что-то звякнуло, скрипнуло, и Пирошников сообразил, что дверь открыла бабка Нюра.

— Сколько раз я тебе говорила! — прошипел тот же голос. — Совсем из ума выжила! Что же ты — не знала, что меня еще нет?

— Запомнятовала, ох, запомнятовала, — виновато бормотала старушка, а какой-то мужской, удивительно знакомый Пирошникову голос прошептал:

— Лара, пожалуйста, тише. Я не хочу...

— Накурено, как в кабаке. Что тут происходит? — опять сказала женщина.

— Гости, гости... — ответила бабка, отодвигаясь, чтобы пропустить пришедших, и едва не касаясь Пирошникова, который, не дыша, распластался на стене и с ужасом ожидал своего обнаружения.

— Что за гости? — раздраженно спросила женщина.

— Я же тебе говорил, — мягко ответил мужчина. — Завтра ты его увидишь.

— Ты уверен, что он еще здесь?

— Что за вопрос! Конечно... Ну, пойдем. Она может проснуться.

Пирошников, несмотря на полную темноту, почувствовал, что при последних словах мужчины, в котором наш герой уже узнал бывшего Наденькиного му-

жа Георгия Романовича, имевшего с ним сегодня утром беседу, — при последних его словах женщина вздернула плечо и скривила рот. Как Владимир об этом догадался, остается загадкой. Видимо, слишком близко к нему находилась женщина, так что даже запах ее волос уловил Пирошников, но, по счастью, сам обнаружен не был. Вновь пришедшие добрались до своей двери, старушка бесшумно исчезла из коридора, словно испарилась, в комнате Ларисы Павловны, Наденькиной соседки, зажегся свет, выхватив из темноты полосу в коридоре, и дверь закрылась, только щель под нею осталась единственным ярким объектом, притягивавшим взгляд.

Пирошников перевел дух и на цыпочках отправился к себе, где по-прежнему богатырски спал дядюшка. Решив не церемониться более, Владимир подошел к нему и потряс дядюшку за плечо. Дядюшка встрепнулся, пробормотал: «А?.. Что?..» — но храпеть перестал. Воспользовавшись передышкой, молодой человек юркнул в постель и успел-таки заснуть до возобновления концерта, правда, весьма непрочным и беспокойным сном.

Глава 11. НОВАЯ ЖИЗНЬ

Ах, какое было утро!.. Пирошников проснулся умиротворенным и со спокойной душой, которую не смогли растревожить воспоминания о вчерашнем дне, хотя они и промелькнули сразу же по пробуждении. Сквозь грязноватые стекла окна на стену падал солнечный свет, по чему Владимир догадался, что час уже не ранний. Он потянулся в постели, как когда-то, как в детстве, и улыбнулся дядюшке, который, заправив свою койку, занимался неторопливой утренней гимнастикой.

Сама собою у Пирошникова появилась мысль, посещавшая его и ранее, кстати, довольно-таки часто. Это была мысль о новой жизни.

Начать новую жизнь!.. Кто не мечтал об этом, в особенности после жизненных неудач, когда все идет как-то вкривь и вкось, а главное — сплошным потоком, где смешиваются и радости, и горести, и разговоры, и мелкие повседневные дела, и скорбь вселенская по поводу каких-нибудь самых обыкновенных бытовых неурядиц! А в результате что? В результате лишь суета, милый читатель, от которой можно избавиться,

как кажется, только начав с понедельника Новую Жизнь, в которой все, ну решительно все будет не так.

Справедливости ради следует сказать, что была суббота. Но это роли не играет. В конце концов, новую жизнь можно начать и с субботы, лишь бы были к тому необходимые предпосылки. А они у Пирошникова имелись в наличии. Запутанные обстоятельства, недовольство собою и оторванность от привычной среды, произошедшая, правда, не по его воле. Вполне достаточно для новой жизни.

Новая жизнь начинается с того, что надобно умыться и побриться гладко. И еще нужно делать движения решительные и точные, чтобы себе самому казаться деловым. Поэтому Владимир, откинув одеяло элегантно жестом, вскочил с постели и принялся одеваться. Конечно, начинать новую жизнь надо было бы в чистой одежде, но что делать? Майка, рубашка, носки — все это было так себе, не слишком новым и далеко не чистым. Но Пирошников не дал воли подобным мыслям, чтобы не сбить настроение. Он сделал даже несколько резких взмахов руками, изображая гимнастику, так что дядюшка покосился на него, приседая в это время.

Распахнулась дверь, и весьма кстати появилась Наденька в том же халатике, что и вчера утром. Она приветливо, совсем как родному, улыбнулась Пирошникову, тем самым незаметно подкрепляя идею новой жизни. Поздоровавшись с ним и с дядюшкой, Наденька предложила провести их в ванную комнату.

— У вас есть бритва? — вежливо спросил Пирошников дядюшку. — Мне необходимо побриться.

Дядя Миша столь же корректно выразился в том смысле, что бритва есть и он предоставит возможность ею воспользоваться. Никаких вопросов о вчерашнем, никаких намеков на лестницу — ничего! Новая жизнь начиналась истинно по-джентльменски. Пирошников даже подумал несколько наивно, что вот и дядюшка начинает новую жизнь, и Наденька тоже... Впрочем, может быть, так оно и было.

Наденька, проводив их и дав указания, скрылась. Ванная комната оказалась просторной, так что дядюшка с Пирошниковым не мешали друг другу. Пока один мылся, другой скоблил подбородок и наоборот. Пирошников, чтобы отрезать себе пути отступления к старой жизни, вымыл голову и с удовольствием причесался на пробор. Когда он выходил из ванной в кори-

дор, гладкий и сияющий, как яблочко, из своей комнаты выплыла соседка Лариса Павловна, с голосом которой наш герой имел уже честь познакомиться ночью. Она была, как и Наденька, в халате, правда другого качества — стеганом, синтетическом и розового цвета. Росту Лариса Павловна была небольшого, а комплекцией напоминала гипсовую скульптуру из мастерской. Черты лица Ларисы Павловны были очень милы, но они, как и вся ее фигура, вызывали сразу же в голове какие-то такие мысли, которые и передать стыдно. Чувственные какие-то мысли, будь они неладны! На вид Ларисе Павловне было лет тридцать пять, была она, как говорится, в форме, то есть успела уже причесаться и наложить нужную косметику.

— С добрым утром,— оборотительно ответила соседка на смущенный несколько кивок Пирошникова. Увидев и дядюшку в красной майке, вывалившегося из ванной, она удивленно и насмешливо проговорила:

— Вот как! А я и не знала, что у нас теперь филиал гостиницы!

И она удалилась в кухню, пройдя мимо насторожившегося дядюшки, который поглядел ей вслед оценивающе и с неприязнью. Потом наши друзья вернулись в мастерскую, где Пирошников привел в порядок раскладушку, после чего делать стало нечего. Между тем новая жизнь требовала непрерывной и полезной деятельности, ибо каждая минута тоски и уныния возвращала жизнь старую. Пирошников подошел к окну и полюбовался видом городского пейзажа. По улице неторопливо шли люди, тоже, по всей вероятности, начавшие новую жизнь; многие были одеты нарядно по случаю выходного дня, декабрьское солнце согревало улицу скудным своим теплом, от которого чуть плавилась корка льда на карнизе. Дядюшка в это время, уже вполне одетый, сидя на стуле, читал газету, которую неизвестно где достал.

Снова вошла Наденька и объявила, что пора завтракать. Все происходило по-домашнему и очень мило. Владимир с дядюшкой пошли в Наденькину комнату, причем дядюшка похлопывал своего молодого друга по плечу и что-то рассказывал из свежих газетных новостей.

Завтрак прошел непринужденно, словно и не было вчерашней беготни, неразберихи, головокружительных трюков лестницы и темных отражений. Никто и словом не упомянул о них. Толик был еще не выпускаем

Наденькой с дивана и завтракал, сидя на нем. Впрочем, вид мальчика не внушал тревоги. Наденька, по-минутно обращавшаяся к нему, ответов почти не получала. По всей видимости, мальчик по-прежнему стеснялся общества.

Итак, вокруг лестничного феномена установился некий заговор молчания, и Владимир, начавший, напоминаем, новую жизнь, был благодарен дядюшке и его племяннице за их тактичность. И вправду, если не замечать какого-то явления, можно в конце концов внушить себе мысль, что его и в природе не существует. Именно такой целью задались, должно быть, в это субботнее утро все присутствующие.

Наскоро позавтракав, дядюшка объявил, что идет в Эрмитаж, и получил от Наденьки и Владимира подробные указания, как туда добраться. Он обещал быть к вечеру и, прощаясь, пожал молодому человеку руку весьма дружественно, однако как бы и насовсем, из чего Пирошников заключил, что дядюшка надеется на его благополучное отбытие. Дядя Миша ушел, оставив Наденьку и Пирошникова вместе с мальчиком, еще пьющим чай.

— Обновляешься? — спросила Наденька, как только дядюшка вышел; спросила, держа в одной руке чашку, а в другой кусок хлеба с маслом и поглядывая на Пирошникова иронически. Владимир, надо сказать, обиделся, поскольку решил отнестись к своему обновлению серьезно, постановив, что оно бесповоротно и окончательно. Поэтому он лишь пожал плечами, показывая неуместность подобного тона.

— Пуговицу пришить? — спросила опять Наденька, указывая на пиджак Пирошникова. — Как же без пуговицы обновляться?

Молодой человек сдержанно и с достоинством отверг эту явную насмешку и поднялся со словами благодарности и прощания. Он был уверен, что теперь-то в состоянии выбраться отсюда без посторонней помощи. Новая жизнь была тому порукой. Решив не откладывать дела в долгий ящик, он оделся и сказал Наденьке, что как-нибудь при случае, когда будет свободен от дел (вот именно!), навестит ее и расскажет о дальнейшей своей новой судьбе.

Наденька церемонно поклонилась, однако в глазах ее почему-то прыгали подозрительные огоньки, и вообще она едва сдерживала улыбку. Пирошников же, степенно проговорив: «До свидания, большое спасибо»,

заглянул еще и в кухню, где повторил те же слова пребывавшей там Анне Кондратьевне, на что она отреагировала изумленным взглядом, а затем, твердо пройдя по коридору, вышел на лестницу.

В тот момент, когда он покидал (ужель в последний раз?) квартиру, туда ворвалась с пронзительным мяуканьем кошка Маугли, томившаяся за дверью в ожидании. Ее появление произвело некий всплеск в душе Пирошникова. Он проводил ее тревожным взглядом, как свидетельницу вчерашних ужасов, и начал спуск, напевая себе под нос «Нам нет преград ни в море, ни на суше...». Однако следует признать, что внутри он начал испытывать беспокойство.

Лестница встретила его чистотой и порядком, соответствующим новой жизни. Ступеньки влажно блестели, вымытые чьими-то заботливыми руками, на разных этажах раздавались бодрые голоса, кто-то перекликался, звал кого-то, и тому подобное. Пирошников, засунув руки в карманы, прошел этажа два вниз, но был остановлен процессией из трех человек, которые на широких ремнях тащили вверх черное, старинной работы пианино с бронзовыми подсвечниками. Процессия занимала всю ширину пролета от перил до стены, и Пирошников начал пятиться назад, пока не достиг площадки, где, по его расчетам, можно было разминуться. Однако когда пианино под надсадное дыхание грузчиков проплывало мимо него, что-то треснуло, процессия качнулась, раздался крик «Поберегись!», и инструмент навалился на Пирошникова, который изо всей силы уперся ему в бок.

— Держи! — крикнул передний мужик, красный от напряжения, с ремнем на плече. Пирошников держал, ибо ему ничего другого и не оставалось.

— Поддай вперед! — кричали задние, лиц которых Пирошников не видел. Он послушался команды, пианино качнулось и поплыло наверх, причем Пирошников невольно стал участником процессии, так как без него инструмент неминуемо повалился бы набок. В молчании они прошли два пролета, и здесь последовала команда: «Опускай!» Пианино опустили, позвонили в дверь, которая открылась, и Владимир уже по инерции совместно с грузчиками внес его в квартиру.

— Спасибо, подсобил, — сказал старшина грузчиков и, получив расчет от хозяина пианино, выдал Пирошникову рубль, который тот принял не без смущения. Вчетвером они пошли к выходу, отдуваясь на ходу

и обмениваясь впечатлениями от работы. В частности, обсуждалось, что же там такое треснуло на злосчастном повороте, где стоял Пирошников, а также высказывались в неодобрительной форме замечания по поводу веса пианино. Так они и спускались, пока Пирошников, к ужасу своему, не заметил, что лестница ну ни насколько не изменила своего нрава. Подло это было с ее стороны, вот что! Мало того, что она морочила молодого человека, так еще три ни в чем не повинных мужичка страдали вместе с ним. Однако вскоре они притихли и начали что-то соображать. В молчании прошли еще три этажа, и тут Пирошников, сгорая со стыда, кинулся бегом вниз, желая оторваться от своих спутников. Те же, не ведая, что именно в этом их избавление и предполагая нехорошее, с громкими воплями бросились за ним, но упустили момент, и через некоторое время Пирошников услышал их недоуменные ругательства уже внизу, когда они достигли выхода. Прослушав все выражения в свой адрес, поникший Владимир побрел вниз, ища свою квартиру. Через минуту он уже входил к Наденьке, злой, как черт, и насупившийся.

Всему виной была, очевидно, поспешность. Ну побрился, ну вымыл голову, ну решил там что-то для себя... И сразу бросаться напролом? И без пуговицы, заметьте!

Наденька, несколько минут назад державшаяся насмешливо, теперь не сказала ни слова, но посмотрела серьезно и озабоченно. Она прибрала со стола и принялась что-то писать на чистом листе бумаги. Закончив, она поднялась со стула и сказала:

— Володя, вот тут я написала, что нужно делать. Я должна идти на дежурство, а ты останешься с Толиком, хорошо? В этой коробочке лекарства. Разогреешь обед и покормишь. Наташа обещала прийти, она тебе поможет.

После таких слов Наденька облачилась в белый халат, поцеловала Толика в лоб и наказала ему слушаться дядю. Потом она поманила Пирошникова в коридор и там, наедине, прошептала ему, чтобы он, если представится возможность, поговорил с Ларисой Павловной касательно комнаты и попросил разрешения в ней ночевать.

— Так будет лучше, — сказала Наденька.

— А Лариса Павловна про лестницу знает? — спросил Пирошников.

— Знает, все она знает,— поморщилась в ответ Наденька, а Пирошников вспомнил ночное пришествие Георгия Романовича и раздумывал, сказать Наденьке или нет.

— Ну, ладно... Я постараюсь прийти пораньше,— сказала Наденька.

— Слушай,— сказал Пирошников, понижая голос.— Что же мне делать?

Наденька вздохнула и с жалостью посмотрела на него. Сейчас она казалась Пирошникову значительно старше его самого, хотя на самом деле было наоборот. Наденьке было не более двадцати двух лет. Она пожала ему пальцы и проговорила:

— Постарайся просто быть самим собой. Ну, не знаю я, понимаешь, не знаю... Думаешь, мне так просто?

— Наденька,— сказал молодой человек, в первый раз, кажется, называя ее этим именем, причем испытывая неожиданное облегчение.— У меня дома есть немного денег. Может, ты съездишь, возьмешь?

— Съезжу,— просто сказала Наденька.— Только не сегодня. Потом, потом!..— Она грустно улыбнулась.— Что будет потом? Никто не знает...

И она ушла, а Пирошников, так печально начавший новую жизнь, вернулся в комнату к Толику. Впрочем, несмотря на утреннее поражение, на душе у него после разговора с Наденькой сделалось светло, а недавние мысли относительно новой жизни показались вдруг не более чем глупым ребячеством.

Глава 12. ТОЛИК

Толик с покрытыми одеяльцем ногами сидел на диване. На одеяльце рассыпаны были открытки и фотографии, снятые, по всей видимости, со стены. Толик не взглянул на Пирошникова, углубленный в свою игру, а Владимир, обойдя стол, уселся чуть сзади и принялся наблюдать. Мальчик слегка насупился, но продолжал свое дело.

Держа в руке бумажного голубя, изображавшего самолет, мальчик с еле слышным завыванием производил им несколько плавных движений в воздухе, а затем тыкал его в какую-либо из открыток, разложенных перед ним. Тут же он тихонько изображал взрыв, после чего быстро рвал открытку на части и разбрасывал кусочки, а самолет поднимался вверх, отыскивая

новую добычу. Пирошникову игра показалась жестокой, но вмешаться он решился лишь после того, как Толик уничтожил открытку с репродукцией картины Ван Гога, которая изображала рыбацкие лодки на берегу моря.

— Тебе разве картинок не жалко? Тетя Надя будет ругаться,— сказал Пирошников недовольно.

— Это война,— сурово сказал Толик, закончив измельчение рыбацких лодок.

И он с более уже резким звуком ткнул свой бомбардировщик в фотографию весьма миловидной девочки с бантиком и, произнеся «Кх-х!», смял эту фотографию, а затем и разорвал.

Владимир вскочил с места и отобрал у Толика картинку, на что ребенок нагнул бычком голову, метнув в Пирошникова яростный взгляд.

— Когда я вырасту, я буду солдатом,— неожиданно и твердо произнес он.— И всех убью!

— Посмотрим еще! — разозлившись, ответил Пирошников, которому мальчик не слишком понравился, что, впрочем, совершенно понятно. Владимир мало имел общения с детьми, хотя полагал в душе, что относится к ним с любовью, причем последняя подразумевала в детях необыкновенно смешные и милые существа, от которых сплошной восторг и удовольствие.

— Убью! Убью! — повторил мальчик, совсем уж набычившись и без тени шутки.

— Ладно,— примирительно сказал Пирошников и вдруг ощутил проснувшееся в душе благородство и нечто вроде отцовского чувства.— Вот посмотри...— И он извлек из пачки открыток другую репродукцию Ван Гога, а именно известный автопортрет с отрезанным ухом.— Этот... Этот дядя был художником. Он рисовал картины, а ты их рвешь. Посмотри, каким он был. Ему очень плохо жилось, он был совсем один и отрезал себе ухо.

Толик недоверчиво посмотрел на репродукцию и пощупал свое ухо.

— А где оно? — спросил он.

— Он его отрезал,— скорбно произнес Пирошников.— Его нет.

— И выбросил?

— Откуда я знаю? Дело совсем не в этом.

— Он плакал? — спросил Толик.

— Не думаю,— ответил молодой человек.— Но

ему было больно. Главным образом, морально. Ты понимаешь, что такое морально?

— Понимаю,— неожиданно кивнул Толик.

— Вот... У него был брат, с которым они дружили. У тебя есть брат?

Толик отрицательно покачал головой, и Пирошников заметил, что сосредоточенное и неприязненное выражение исчезло с лица мальчика, который, судя по всему, заинтересовался разговором.

— У меня тоже нет брата,— сказал Пирошников.— С братом было бы лучше, правда?

— Нет,— ответил Толик.— Он бы дрался.

Так они и разговаривали, молодые люди, о голландском живописце, а заодно о некоторых других вещах, в частности о родственниках, которыми оба собеседника довольны не были. Пирошников заметил, что Толик назвал Наденьку просто по имени, когда речь зашла о ней. О матери Толика Владимир не спрашивал, потому что опасался навевать на мальчика дурное настроение.

— Давай, ты будешь моим братом, а я твоим,— предложил Пирошников.

Произнеся эти слова, он почувствовал душевную легкость, какой давно уже не испытывал, ибо не помнил, когда он предлагал кому-нибудь дружбу. Но мальчик неожиданно замкнулся и лишь замотал головой.

— Я жду папу и маму,— наконец объяснил он.— Они приедут с Северного полюса, а потом народят мне братьев. Много-много...

— Постой,— не понял Пирошников.— Мама же у тебя здесь. Тебя тетя Надя откуда вчера привела?

— От бабушки.

— А мама твоя где?

— На Северном полюсе,— печально проговорил мальчик и даже рукой махнул куда-то в сторону.

Пирошников ничего не понял из объяснений Толика. Выходило, что Наденька вчера вечером придумала всю эту историю с женщиной, ее новым мужем и прочим — но для чего? Владимир как-то сразу поверил именно мальчику, потому что не видел причины, зачем Толику врать. Но Наденьке, Наденьке-то зачем?.. Он осторожно принялся расспрашивать Толика о его жизни, и тут выяснились некоторые подробности. Впервые, мальчик считал себя племянником Наденьки и внуком какой-то бабушки Лены, у которой он до

вчерашнего дня проживал. Во-вторых, родителей своих Толик не помнил, знал лишь, что они обитают постоянно на Северном полюсе, о каком имел представление очень смутное.

— Полярники они, что ли? — спросил совсем сбитый с толку Пирошников.

— Они там живут в ледяном дворце, — спокойно отвечал мальчик. — У них был самолет, но он сломался. Они его починят и прилетят.

Тут Пирошников удостоверился, что все это не более чем пересказ бабушкиной версии об отсутствующих родителях. Но Толик продолжал говорить, увлекшись, и рассказал много. Вкратце его рассказ выглядел следующим образом.

Отец Толика в пушистой шапке и такой же шубе охотился на белых медведей. Он был очень сильный и мог побороть много белых медведей сразу. Местные жители, которые там, на Северном полюсе, обитали, прозвали его за это Снежным человеком, а маму называли Снежинка. Она сидела в ледяном дворце и смотрела в бинокль по сторонам и тоже была очень сильная и красивая. Вдобавок они присылали Толику письма с разноцветными марками, а еще присылали подарки на день рождения и к Новому году. Но, к сожалению, приятели Толика во все это верили мало, и если бы не письма с марками, то и вообще бы не верили. О последнем Пирошников догадался по слегка обиженному и настойчивому тону мальчика, излагавшего такую вот легенду.

Поверите, у Владимира сердце сжалось, когда он слушал волшебную сказку Толика. Он, конечно же, сразу догадался, что нет у Толика никаких родителей, что они умерли или с ними еще что произошло. Как же больно будет мальчику узнать правду! Как трудно будет расстаться со сказкой! Чем он ее заменит? — такие, примерно, мысли взволновали Пирошникова да еще томил вопрос о Наденькиной версии. Молодой человек даже забыл о собственных своих злоключениях и смотрел на мальчика с печалью, а тот приводил все новые факты из жизни родителей и новые доказательства, но слишком уж ожесточенно, по чему Пирошников определил, что и сам Толик в душе почти уж разуверился и устал ждать, но хватается за сказку, как утопающий за соломинку.

Молодой человек машинально перебирал в руках открытки, причем среди них попалась ему и репродук-

ция Рафаэля, на обратной стороне которой с решительностью было начертано: «Прощайте и простите за причиненное беспокойство». Это были его собственные слова, написанные вчера перед головоломным спуском из окна. Пирошников усмехнулся, припомнив вчерашние приключения, и не без удовлетворения ощутил, что он будто бы узнал что-то новое за прошедшие сутки, хотя что именно, сказать бы сразу затруднился.

Он не стал далее расспрашивать мальчика, а предложил тому поиграть в какую-нибудь игру, и последующие полчаса они провели весьма увлекательно. Затеяли так называемую игру в «Чапаева», которая состоит в сбивании с доски своими шашками шашек противника,— игру, которой Пирошников увлекался еще в детстве и которая оказалась знакомой и Толику. Партнеры вошли в азарт и с возгласами щелкали по шашкам. Пирошников, конечно, слегка поддавался, ибо мальчик не овладел еще искусством точного удара, но тем не менее и он получал от игры удовольствие.

Спохватившись, Владимир прочитал Наденькину записку, из которой уяснил, что пропущено время, когда Толику надо было дать лекарство. Пирошников захлопотал, сбегал на кухню за водой, а потом проявил выдержку и красноречие, уговаривая мальчика проглотить таблетку. Покончив с этим делом, он с воодушевлением принялся разогревать обед, действуя точно по инструкции, для чего перенес с подоконника на газовую плиту кастрюли, в одной из которых оказался бульон, а в другой каша, и, стоя у плиты, начал сосредоточенно и даже несколько важно помешивать ложкой вышеназванную кашу, дабы она не пригорела. Он нацепил Наденькин фартук и выглядел как образцовый и заботливый родитель. Появившаяся на месте действия Лариса Павловна тонко и понимающе улыбнулась, из чего следовало, что она вроде бы одобряет его действия. Наш молодой человек твердо решил играть роль до конца, сохраняя полное достоинство. Тут же вспомнил он о совете Наденьки и, пользуясь случаем, заговорил с соседкой.

— Лариса Павловна,— произнес он, стараясь придать голосу обаяние, но без подобострастия,— я хотел извиниться за вторжение на вашу территорию, так сказать. Дело в том...

— Ах, пустяки! — вскинув брови, прервала его Лариса Павловна, смотря на Пирошникова каким-то

заинтересованным взглядом.— Эта комната не моя, так что можете пока пользоваться...

— Спасибо,— наклонил голову Пирошников и летучими шагами официанта поспешил в комнату, неся подогретые блюда.

Он обнаружил Толика стоящим босиком на полу у своего чемоданчика, который был раскрыт. Мальчик, наклонившись, рылся в нем, перебирая рубашки, штанишки и прочую одежду, пока наконец не извлек из-под низу какую-то фотографию.

— Марш на диван! — крикнул Пирошников.— Придумал тоже, босиком!

Толик юркнул под одеяло, прижимая фотографию к животу, а затем, торжественно глядя на Пирошникова, спросил:

— Хочешь, покажу их? Хочешь?

— Кого? — не понял Пирошников.

— Папу и маму.

— Покажи.

Толик вытянул из-под одеяла фотографию и протянул ему. На фотографии были изображены известные актеры Баталов и Семина в кадре из какого-то кинофильма. Они сидели на скамейке летом и смотрели друг на друга влюбленными и светлыми взглядами.

— Меня здесь нету,— объяснил Толик.— Я был еще сломанный.

— Как это — сломанный?

— Меня еще не было живого, я был сломан. А они меня починили и уехали.

— Да...— протянул Пирошников, не зная, что и сказать.

Толик отобрал артистов и засунул их под подушку. Некоторое время он сидел, как бы что-то вспоминая, сосредоточенный, а потом вздохнул и повторил, что папа и мама должны скоро непременно приехать.

Пирошников тоже вздохнул и попытался отвлечь Толика обедом. Он расстелил на одеяле полотенце, положил сверху медицинский справочник, а уже на него, как на стол, поставил тарелку бульона. Пришлось еще пару раз сбегать на кухню за ложкой, а потом за солью. Там по-прежнему что-то готовила на своем столике Лариса Павловна да прибавилась еще неизвестно откуда бабка Нюра, которая ей помогала.

Обе они провожали Пирошникова взглядами: Лариса Павловна несколько снисходительным, а старушка — сочувствующим, однако молодой человек, погло-

щенный новыми обязанностями, не слишком их замечал.

Возвратившись второй раз из кухни с солонкой в руках, Пирошников вдруг остро почувствовал запах домашнего бульона, — Толик в этот миг, тщательно дую на ложку, начал его есть; в этом запахе было что-то давно и, казалось, навсегда забытое из детства нашего героя. И он внезапно вспомнил, будто увидев себя со стороны: ему шесть лет, он мечтает о школе и учится читать. У него ангина. Он сидит в кровати, горло у него обмотано маминым пуховым платком, он читает по складам книжку «Знаменитый утенок Тим», и тут в комнату входит мама с тарелкой, от которой поднимается легкий парок; запах бульона щекочет ему нос, он сглатывает слюну — с трудом, с болью опухших гланд, — а мама уже наклоняется над ним и несет, как в замедленной съемке, полную ложку к его рту, и что-то шепчет, шепчет... Пирошников вдруг увидел лицо матери до мельчайшей черточки — а ведь ему стало казаться, что он не помнит его совсем, — и, посмотрев внимательно на Толика, он подумал, что мальчик и вправду ему как брат — брат по сиротству.

Но едва он посолил и размешал бульон, как за его спиной неслышно возникла бабка Нюра с умильным обращением:

— Дайте уж мне, батюшка, с ребеночком заняться. Мне сподручней... А вас Лариса Павловна изволит просить на кухню. Уж не откажите...

Пирошников, естественно, насторожился, но у него имелись кое-какие планы относительно Ларисы Павловны, а именно — хотел он через нее выведать судьбу Георгия Романовича, который, как выяснилось ночью, был с соседкою в весьма близких отношениях. Эта тайна, которой владел Пирошников, должна была дать ему некоторое преимущество в предстоящем разговоре, что он мгновенно оценил. Поэтому он поблагодарил бабку за предложение услуг и уговорил сразу набывшегося Толика на подобную замену.

Он осмотрел себя беглым взглядом, поправил волосы и снял фартук. Рукава рубашки он закатал, обнажив до локтя молодые руки тонкого аристократического строения, и, придав своему лицу выражение, которое счел приличествующим случаю, то есть учтиво-выжидающее, покинул комнату, причем не забыл захватить и сигареты, поскольку они совершенно необходимы при беседах с женщинами.

Пирошников вошел в кухню, ощутив, как внутри него звонко натянулись какие-то пружинки, точно у канатоходца, делающего первый шаг над бездной. Лариса Павловна, облаченная уже в брюки и джемпер, обтягивавший ее без единой морщинки, высматривала что-то в своем холодильнике. Заметив Пирошникова, она выпрямилась и произвольным, но элегантным движением положила руку на белую дверцу, чем сразу же напомнила молодому человеку рекламную фотографию из журнала.

— Мы ведь еще официально не знакомы,— сказала она, снимая руку с дверцы и протягивая ее Пирошникову.— Лариса...

— Владимир,— представился он с легким и изящным поклоном.

Он мягко пожал соседке руку, причем в голове его скакнула мысль о том, что, может быть, эту руку следовало бы и поцеловать, чтобы все было честь по чести.

— Я догадываюсь об этой кошмарной истории, можете не рассказывать. Несчастный Георгий Романович в свое время ужасно страдал... Георгий Романович — муж Нади, вы этого, вероятно, не знаете? — произнесла соседка участливым голосом.

— Нет, почему же? Я говорил с ним.

— Вот как! — удивилась Лариса Павловна.— Не правда ли, очень интеллигентный человек? Почему-то таким людям часто не везет. Вот и вам тоже... Но ничего, все устроится.

Пирошников вздохнул и слегка развел руками, соглашаясь с мнением Ларисы Павловны по всем пунктам.

— Да... Скажите, а что за гости появились у Нади? Я никого не знаю, так неожиданно, вдруг...

Пирошников в двух словах объяснил появление дядюшки и Толика, причем, что касается последнего, изложил Наденькину версию. Здесь он заметил, что глаза Ларисы Павловны на мгновенье сузились, точно у рыси, и она удовлетворенно кивнула.

— У меня есть к вам разговор,— сказала Лариса Павловна.— Вы простите, но мне известно больше, чем вам. Я хочу вам помочь.

«Все хотят!» — злорадно подумал Пирошников.

— Может быть, желаете выпить? — спросила со-

седка и, не дожидаясь ответа, выудила двумя пальцами из холодильника наполовину опустошенную бутылку шотландского, как удалось разглядеть Пирошникову, виски. В мгновение ока появились и рюмки, и закуска в небольшом количестве, но изысканная.

Пирошников уселся на беленькую табуреточку, взял в руки рюмку и, приподняв ее в знак благодарности и приветствия, осушил. Лариса Павловна выпила по-женски, почти не разжимая губ. Держа вилку, как и положено, в левой руке, Владимир ткнул ею в бок сардины, отчего та развалилась на части, тогда он подцепил одну из частей и благополучно донес до рта, слава богу не уронив. Лариса Павловна закусила незаметно и тут же налила еще. «Эге!» — подумал Пирошников, умещая в этом междометии целую гамму мыслей.

— Здесь не совсем удобно говорить, — начала соседка. — Может быть, перейдем в мою комнату?

Пирошников пожал плечами, показывая, что он нисколько не возражает. Его собеседница извлекла из столика поднос, в центре которого во весь рост была изображена обнаженная красавица, державшая в свою очередь тоже поднос с бутылкой и рюмками, — вещь явно зарубежного производства. Закуска и виски были установлены на этой красавице, закрыв почти всю ее, и Лариса Павловна двинулась с подносом из кухни, сделав знак Пирошникову следовать за нею.

Сердце молодого человека забилося где-то в ушах от волнения, поскольку у него в уме мгновенно промелькнули самые различные варианты дальнейшей беседы, и он, послушный, как цыпленок, поплелся за Ларисой Павловной. Владимир ожидал чего угодно, но только не того, что случилось далее.

А случилось вот что. Лариса Павловна отворила дверь в свою комнату и вошла, и молодой человек вошел тоже, то есть, вернее, ступил ногою внутрь комнаты — и тут же, не успев ничего сообразить, поскользнулся, упал и куда-то поехал, цепляясь руками и ногами за мебель. Он попытался судорожно ухватиться за косяк двери, но она, в этот момент как раз медленно закрывающаяся, заставила его разжать пальцы, ибо угрожала отдавить их, и Владимир снова начал сползать вниз, внутрь комнаты, по гладкому, покрытому лаком паркету. Именно вниз, потому как пол в комнате Ларисы Павловны был устроен не совсем правильным образом. Прямо от двери он имел сильный на-

клон и напоминал скорее детскую ледяную горку для катания, нежели нормальный горизонтальный пол. Вот по этой горке и покатился Пирошников, пока не ухватился за ножку шкафа, что позволило ему остановить движение. Стоя на неловкости, он скорее всего уперся руками в пол и встал, но встал слишком поспешно, а посему опять потерял равновесие, ноги ушли из-под него, и наш герой с шумом опустился на паркет и поехал дальше. Он чуть не сбил с ног хозяйку комнаты, когда подъехал ей под колени, отчего она встрепенулась и вскрикнула несколько раздраженно: «Ну, что же с вами? Вставайте!» Пирошников поймал рукою край тахты и, соблюдая максимальную осторожность, поднялся.

Взору его предстала картина фантастическая. В то время как он, сохраняя предписанную законом тяготения вертикаль, часто дыша, стоял возле тахты, накрытой клетчатым пледом, Лариса Павловна, убедившись, что гость ее поднялся на ноги, шествовала с подносом дальше в глубь комнаты, к журнальному столику. Самое удивительное было то, что соседка, казалось, перестала подчиняться силе тяжести и двигалась перпендикулярно к полу, на котором была расставлена мебель, тоже, кстати, сохранявшая вертикаль относительно паркета. Если бы не Пирошников, находившийся ко всем предметам под довольно-таки значительным углом и едва держась, комната была бы как комната, обыкновенная. Чуть отдышавшись, Пирошников заметил, что единственными его союзниками в части избрания вертикали являются люстра, висевшая под углом к потолку, да уровень шотландского виски, налитого в рюмки, которые Лариса Павловна в настоящий момент, как ни в чем не бывало, выставляла на журнальный столик. Рюмки встали не шелохнувшись, но жидкость в них заняла абсолютно нелепое и противоестественное положение, сместившись в одну сторону.

— Идите же сюда, — пригласила Лариса Павловна гостя, и он, оторвавшись от тахты и мелко перебирая ногами, двинулся к ней. Теперь-то, с растопыренными руками и напряженным лицом, он явно походил на канатоходца, так что Лариса Павловна рассмеялась и подбодрила его:

— Смелее, не стесняйтесь!

Она пододвинула ему кресло. Владимир упал в него с облегчением и поспешно закурил, причем, по

всем расчетам, кресло должно было бы опрокинуться, но не опрокинулось, и общение продолжалось.

— Как вам здесь нравится? — спросила хозяйка.

Пирошников затравленно оглянулся по сторонам и наконец-то разглядел обстановку целиком. Стояли различной формы подсвечники с оплывшими толстыми свечами (на взгляд Владимира, разумеется, стояли ко-со), на стенах много было всяческой иностранной дребедени, вроде головы индейского вождя, выполненной маслом на какой-то шкуре, моржового клыка с вырезанным на нем по-английски изречением и тому подобному. Пирошников перевел взгляд на окно и, к удивлению своему, заметил, что окно выходит на улицу почему-то на уровне полуподвала. Да, именно так! Он увидел шагающие ноги прохожих, а пока осмысливал эту новую загадку, Лариса Павловна вздохнула:

— Ах, это единственное неудобство! Мало света, и вообще, знаете... Вот почему я и хочу перебраться в другую комнату, а здесь оставить мать. Впрочем, нет худа без добра! Это окно уже сослужило хорошую службу.

И хозяйка таинственно улыбнулась, беря в руки рюмочку. Пирошников, кажется, понял намек, но все же уточнил:

— Вы хотите сказать, что Георгий Романович...

— Давайте выпьем, — предложила Лариса Павловна, приближая к нему рюмку. — Я пью за ваше будущее!

Они чокнулись и выпили. Постепенно Пирошников освоился с обстановкой, и ему даже показалось, что все в комнате соответствует законам природы. Он сидел, откинувшись в кресле, перед ним стояла пустая рюмка, хозяйка сидела напротив, а сила тяжести, упрямо тянувшая куда-то в сторону, немного поутихла. Пирошников, как космонавт, привыкал к новым ощущениям.

— Я хочу вас предостеречь, — сказала Лариса Павловна, щелкая зажигалкой и выпуская из ноздрей дым. — Будьте тверды. У меня нет желания вдаваться в подробности, но повторяю: будьте тверды и имейте голову на плечах. Иначе вы погибнете.

— Вы имеете в виду Наденьку?

— Наденьку? — Лариса Павловна рассмеялась. Она еще раз затянулась и проговорила спокойно и почти равнодушно, подчеркнув, однако, свои слова: — Наденька шлюха.

После этого Лариса Павловна поднялась с кресла, и Владимир сделал к ней невольное движение, чтобы подхватить, ибо не смог удержаться от впечатления, что хозяйка упадет, настолько сильным был крен. Но Лариса Павловна, удивленно посмотрев на Пирошникову, отошла немного вверх, к телевизору, под которым на полочке находился магнитофон. Удивительно, что вверх она двигалась с тою же легкостью, что и вниз. Соседка нажала на кнопку, и комната погрузилась в плавную музыку из кинофильма «Мужчина и женщина».

— Я немного опьянела, — сказала Лариса Павловна. — Давайте потанцуем.

Пирошников не на шутку растерялся. Дело даже не в том, что у него возникло томительное предчувствие соблазна — это он мог еще перенести, по крайней мере переносил раньше. Но вот уж решительно не представлял он танцев на подобном полу! Тем не менее он встал и попытался приблизиться к Ларисе Павловне. Она ждала его, улыбаясь. Пирошников сделал мучительный шаг, и головы их оказались рядом, хотя ноги отстояли еще далеко друг от друга. Партнеры образовали несколько скособоченную букву «Л», и Пирошников, изогнувшись, дотянулся до талии Ларисы Павловны с целью начать танец. Хозяйка откинула голову и улыбнулась еще привлекательнее, но, когда Пирошников сделал первый робкий поворот, Лариса Павловна оказалась, как и должно было произойти, внизу, и тела их скрестились, образуя теперь уже скособоченную букву «Х». На втором же повороте вся эта конструкция разлетелась вдребезги, потому что партнер упал на тахту, увлекая за собою партнершу.

Господи, смех и грех! Стыд-то какой! Лариса Павловна совершенно неправильно истолковала это падение. Кажется, она даже оскорбилась, не столь самим фактом, сколь поспешностью его наступления, и пока Пирошников боролся со своим вестибулярным аппаратом и хватался руками за что придется, чтобы не скатиться с тахты, она, оттолкнувшись от партнера, вскочила на ноги и воскликнула, покрываясь пятнами:

— Зачем же так неинтеллигентно! Я вам удивляюсь!

— Да ну его к черту! — вырвалось наконец у Владимира. — Пропади оно все пропадом! — И еще сильнее мог бы он выразиться, но тут дверь в комнату

отворилась, и наверху, на горке, появилась Наташа в беленькой кофточке и с зеленой светящейся брошкой, что почему-то бросилось в глаза Пирошникову, хотя момент был не самый подходящий для посторонних наблюдений. Она окинула всю сцену быстрым взглядом и, не говоря ни слова и резко поворотившись на каблуках, захлопнула дверь, а Владимир, чертыхаясь, сполз с тахты и на четвереньках принялся карабкаться вверх к этой двери, скользя и обламывая ногти.

— Перестаньте, Владимир! Неужели на вас так действует спиртное? Возьмите себя в руки! — презрительно воскликнула Лариса Павловна, нависая над ним, как Пизанская башня.

— Отстаньте от меня! — белея от стыда и злости, закричал Пирошников прямо в пол, не поднимая лица, и, добравшись до двери, толкнул ее и выполз наружу. Там он поднялся и отряхнулся. Внизу отходила к окну наклоненная фигура Ларисы Павловны, играла популярная музыка, голубел табачный дым.

Пирошников затворил дверь и побрел по коридору, разыскивая Наташу.

Глава 14. НАТАША

От утренней деловой успокоенности не осталось и следа. Владимир снова пребывал в раздрганности чувств и мыслей, порожденной недолгим общением с Ларисой Павловной и странным ее жилищем. К этому примешалось еще необъяснимое чувство вины перед Наташей, которая, конечно же, подумает теперь бог знает что. Поэтому первым делом надлежало найти и по мере возможности успокоить девушку.

Он заглянул в Наденькину комнату и увидел, что Толик безмятежно спит, но Наташи в комнате не обнаружил. Неужели она ушла? Пирошников бросился в кухню, но и там не было его вчерашней знакомой, а находилась, как всегда, бабка Нюра, которая взглянула на него с иконописной суровостью. Оставался последний и весьма призрачный шанс обнаружить Наташу в мастерской. Пирошников направился туда и — слава богу! — Наташа была там. Она сидела посреди комнаты на стуле спиной к двери и, даже не видя еще ее лица, Пирошников представил себе его выражение. Выражение это, конечно же, должно было быть каменным.

Пирошников обошел Наташу и встал так, чтобы ее

взгляд падал на него, поскольку излишне объяснять, что Наташа не только не повернула головы, но и глазами не повела в сторону Владимира. Она надменно и безучастно глядела сквозь молодого человека, так что он ощутил себя бесплотным и прозрачным, как тюлевая занавеска. Это рассердило его, ибо он вдруг подумал, что никакой его вины перед Наташею нет, так что ее поведение, в сущности, ничем не оправдано. Тем не менее он осторожно приблизился к ней и взял ее за локоть со словами: «Здравствуйте, Наташа...» — а девушка, не отстраняясь, ответила: «Здравствуйте», но достаточно холодно.

Тогда Пирошников, не испытывая, собственно, ничего, кроме жалости, и словно желая что-то припомнить, наклонился к ней и провел губами по ее мягким и блестящим волосам, но Наташа вдруг закрыла лицо ладонями, плечи ее вздрогнули, и Пирошников увидел, как сквозь сжатые пальцы Наташиных рук пробились две тонкие струйки слез. Он попытался отнять ее ладони от лица, и ему удалось это на мгновение, за которое он успел заметить моментально покрасневший и припухший носик и обесцветившиеся глаза, но его знакомая вырвала руки, нашла платочек и прижала его к лицу. Объяснение начиналось тоскливо и старомодно.

Всему виной было, наверное, если не считать эпизода у Ларисы Павловны, вчерашнее поведение лестницы, заставившей Пирошникова взглянуть на себя и Наташу со стороны, — та самая зеркальная стена, раз и навсегда отъединившая его от предполагаемой любви.

Наташа, однако, знать ничего не знала о каких-то зеркальных стенах, и это стало ясно еще вчера. Утерев слезы, она вдруг обвила руками шею Пирошникова, который все еще стоял, склонившись над ней, и притянула его к себе с облегчающим чувством прощения. Пирошникова простили! Вчерашний эпизод был вычеркнут, сегодняшнее знакомство с Ларисой Павловной забыто, все начиналось сызнова. Ах, если бы хоть что-нибудь можно было начать сызнова!

Для удобства Пирошников опустился на одно колено рядом со стулом и оказался прижатым к беленькой кофточке, непосредственно к зеленой брошке, куда он погрузился глазом, отчего в голове у него все окрасилось в яркие изумрудные тона. Наташа шевелила ему волосы на затылке и глубоко и отдохновенно дышала.

Молодой человек закрыл глаз — изумрудный свет померк, он открыл глаз — и брошка вновь зажглась, как огонек такси. Ему приятно было такое обращение Наташи, чему мешало, правда, сознание постыдной неадекватности, если можно так выразиться, его состояния состоянию своей приятельницы.

Между тем она ожидала ответа, и Пирошников это чувствовал. Он поднял лицо и поспешно поцеловал Наташу, куда пришлось, а точнее, в нос, но тут же поднялся, взял ее за руку и подвел к окну, не отдавая себе отчета в необходимости своих действий.

— Тебе нужно сегодня же выйти. Слышишь? Так не может больше продолжаться, — проговорила Наташа.

Пирошников согласно кивнул, хотя чувствовал, что не все так просто, и черт его дернул за язык рассказать об увиденном в комнате Ларисы Павловны окне, из которого при желании можно было бы выбраться на волю. Наташа недоверчиво посмотрела на него и спросила:

— А ты не ошибся? Как это может быть?

— Откуда я знаю? — развел руками Пирошников. — Здесь все может быть!

— Это нужно обязательно использовать! Это единственный выход! — горячо и без особых раздумий заявила Наташа, не учитывая некоторых связанных с подобным выходом трудностей.

— Боюсь, что она обиделась. Я не совсем вежливо с нею простился, — сказал Пирошников, криво усмехаясь.

— Какое это имеет значение? Она должна понять... В конце концов, она ведь тоже женщина, — серьезно объяснила Наташа и уже намеревалась что-то делать, куда-то идти, но Владимир, засомневавшись вдруг в правильности своих наблюдений, вскочил на подоконник и открыл форточку.

— Ты куда? Зачем это? — испугалась Наташа.

— Подожди... — Пирошников высунул голову наружу, насколько мог далеко, и вывернул шею вправо. В трех метрах от себя он увидел окно Наденькиной комнаты, под которым располагалось другое, на карнизе которого он вчера отдыхал при спуске. Ряд окон справа тянулся вниз до самого тротуара, где шли прохожие, катила голубую коляску женщина, блестел ледок и вообще полным ходом продолжалась жизнь. За этим рядом окон еще правее, то есть там, где, согласно

логике и пространственному воображению, должно было бы находиться окно Ларисы Павловны, была лишь глухая кирпичная стена, тянувшаяся тоже почти до самого тротуара. Лишь там она заканчивалась углубленным наполовину окном с небольшим колодцем, закрытым решеткой. Это окно и могло быть окном соседки. Таким образом, внешний осмотр подтвердил внутренние наблюдения.

— Да...— заключил Пирошников нехотя, спрыгнув с подоконника.— Окно действительно внизу. Черт знает что! Пятый этаж и полуподвал в одной квартире!

— Сейчас это не имеет значения,— решительно произнесла Наташа.— Пойдем!

— Куда?

— К соседке. Ты ей все объяснишь...

— Да не надо ей объяснять. Она все прекрасно знает.

— Тем более. Чего ты медлишь? Я бы на твоём месте просто бросилась к этому окну!

— Угу,— буркнул Пирошников, представив Наташу на наклонном полу выполняющей этот головоломный трюк. Однако, покоряясь её настойчивости, он дал вывести себя в коридор, и через минуту они стояли у двери, которую Пирошников открыл сразу же все-таки убоился. Он отошел к комоду и закурил, выигрывая время. Наташа смотрела на него требовательно, не понимая подобной нерешительности, и, наконец, не выдержала:

— Ну, чего же ты? Иди!..— Она взяла его за руку и мягко прильнула, вдохновляя, но Владимиру стало вдруг до крайности тоскливо. Он не знал, как ему отделаться от Наташиного участия.

— Я спущусь и встречу тебя на улице. Хочешь? И мы пойдем по городу! Ты только представь! — восторженно шептала Наташа.

«Да,— подумал молодой человек капризно,— куда это мы пойдем, интересно знать? И главное — зачем? Ну, положим, мы отправимся гулять, а потом придем ко мне... И что дальше? То же самое? У меня там, должно быть, беспорядок отменный...»

Он вдруг, к удивлению своему, понял, что не слышком-то хочет попасть домой, даже и с Наташей. Нет, именно с Наташей меньше всего, поскольку такое посещение накладывало новые обязательства. Еще он сообразил, что почему-то вообще не рвется выбраться из

этой квартиры сейчас, словно не все, что положено было сделать, им сделано... Толик? Странно, но он вспомнил о Толике, который, по всей вероятности, еще сладко спал, и Владимиру показалось неудобным — что вовсе уж смешно! — уходить, не попрощавшись с Наденькой.

Наташа истолковала его молчание благоприятным для себя образом. Она встала на цыпочки и поцеловала Пирошникова, а потом подтолкнула к двери Ларисы Павловны, за которой все еще играла музыка. Убедившись, что молодой человек подготовлен для решительного шага, она сбегала за шубкой и с нею под мышкой направилась быстрым шагом к выходу из квартиры, откуда, оглянувшись, махнула Пирошникову рукой, мелко пошевелив при этом пальчиками. Засим она скрылась из виду.

Пирошников, как вы понимаете, снова попал в идиотское положение. Опять ему предстояло обмануть надежды. Но для очистки совести он все же решился сделать попытку, заранее уверенный в неуспехе. Он понуро поплелся в комнату Наденьки, где оделся, но никаких прощальных слов писать не стал, а лишь взглянул на спящего Толика и поправил тому одеяльце. Набрав в грудь воздуха, Пирошников постучал к Ларисе Павловне.

— Открыто! — донеслось из-за двери, и он с замедлением сердца потянул ручку на себя.

Принципиально, так сказать, комната Ларисы Павловны не претерпела изменений. Пол по-прежнему имел сумасшедший наклон. Отличие от предыдущего посещения заключалось в том, что пол на этот раз был наклонен в другую сторону и резко задирался от самой двери вверх к окну. Неизвестно, каким образом Лариса Павловна регулировала трансформации своего жилища, но факт остается фактом: Пирошников в пальто стоял у подножья соседкиной комнаты, а сама хозяйка находилась в глубине, точнее на высоте, занимая место в кресле, которое по-прежнему непонятно каким чудом удерживалось на паркете.

Интересно отметить, что окно, как и в первый раз, выходило наружу на уровне тротуара, а не на крышу, к примеру, как можно было бы предположить. Там, за окном, Пирошников сразу же заметил видимую лишь своей нижней частью фигурку Наташи, уже ожидавшей условленной встречи.

— Я вас слушаю,— царственно проговорила с высоты соседка.

— Я хотел... Простите... Может быть, мне тоже будет позволено?.. — смешался Пирошников, просительно подняв голову вверх.

— Выражайтесь яснее,— сказала Лариса Павловна.

— Я хочу выйти через ваше окно,— без обиняков сказал Владимир, на что хозяйка, откинувшись на спинку кресла, ответила мелодичным и торжествующим смехом.

— Положим, это еще нужно заслужить,— продолжая смеяться, проговорила она и оглянулась на окно, где заметила придвинувшееся к самому стеклу тревожное Наташино лицо. Наташа, щурясь, высматривала происходящее в комнате и, должно быть, изрядно волновалась.

— Боюсь, что у вас не получится,— разом прерывая смех, довольно сухо произнесла соседка.— Впрочем, пожалуйста...

И она встала с кресла, направляясь к окну. Пирошникову страшно было смотреть на ее спину, опрокинутую высоко над ним, но Лариса Павловна, казалось, не испытывала никаких неудобств со стороны законов природы. Она, словно надутый гелием дирижабль, поднялась к окну и раздернула занавески, на что мгновенно отреагировала Наташа, отпрянув и скрывшись из глаз. Хозяйка же распахнула форточку квадратной формы и внушительного размера и жестом пригласила Пирошникова выполнить задуманное.

Отойдя к противоположной стене коридора, Владимир разбежался и впрыгнул в комнату, как десантник. Он сделал несколько быстрых шагов и достиг почти середины комнаты, но тут инерция разбега была потеряна, и Пирошников застыл на паркете в неловой позе, чувствуя, что малейшее движение лишит его равновесия и опрокинет. Проклятые ботинки на коже! Они были хуже коньков на льду и так же норовили со свистом выскользнуть из-под него. Пирошников, не отрывая ступней от пола, попытался изогнуться, чтобы рукою достать угол шкафа, но пальцы его схватили воздух, и он принужден был, чтобы не упасть, опереться ими о паркет.

Лариса Павловна смотрела на эту сцену, сохраняя олимпийское спокойствие. Она передвинулась к журнальному столику и закурила, скрестив руки на гру-

ди. Пирошников, покрасневший от напряжения, кинул на нее почти умоляющий взгляд, но хозяйка осталась к нему безучастна. Секунда — и он поехал вниз, ко входу, убыстряя движение. Там, в коридоре, он с яростью разбежался вновь и на этот раз добежал-таки до шкафа, где ему удалось сделать передышку. Подумав, он опустился на четвереньки и медленно пополз вверх, не обращая уже внимания на исключительную комичность своего положения. Пальто стесняло его движения. Пирошников вспотел, но упрямо продолжал карабкаться к желанной цели под холодным и внимательным взглядом Ларисы Павловны. Он сопел, больше от злости, но приближался к окну, где в этот момент снова возникло искаженное от сочувствия лицо Наташи. Наконец он достиг батареи отопления и выпрямился, держась за трубу, которая оказалась горячей. Окно нависало над ним. Пирошников ухватился за тонкую раму форточки, которая торчала внутрь комнаты, и отпустил руку от трубы.

— Осторожно! — вскрикнула Лариса Павловна, но было поздно. Форточка с треском оторвалась, оставшись у Пирошникова в руке, а сам он нелепо дернулся и, опрокинувшись, поехал на спине вниз, снося на своем пути кресла и стулья, об один из которых, конечно, разбил стекло форточки, осыпав паркет грудой осколков, которые, как льдинки на реке, поплыли к двери, набирая вместе с ним скорость.

С грохотом, ругательствами и под крик Ларисы Павловны Владимир выехал в коридор, сопровождаемый звенящими осколками и прыгающим стулом. Он ударился с размаху о противоположную стену и уткнулся лицом в рукав своего пальто, закусив его в остервенении.

Так оно все и было, никакого преувеличения здесь нет! Не успел, так сказать, рассеяться дым сражения, как Пирошников, подняв голову, узрел стоящих над ним Наденьку и дядюшку, уставившегося на него с последней степенью беспокойства; на заднем плане маячила старушка Анна Кондратьевна, молитвенно шевелящая губами. В дополнение ко всему в распахнутую из коридора на лестницу дверь через секунду влетела запыхавшаяся и растрепанная Наташа и тоже устремилась к поверженному Пирошникову.

— Вот он, красавец, — сказал дядюшка в полной тишине, а Наташа — верная, бедная, ни в чем не ви-

новная Наташа — опустилась перед Пирошниковым на колени, расстегивая ему ворот пальто.

Пирошников глубоко вздохнул и поднялся — осунувшийся, бледный и несчастный. Он побрел в кухню, и все осторожно последовали за ним.

Глава 15. СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Интересно все-таки знать, к чему более склонно человеческое существо — к общественному или, так сказать, индивидуальному обитанию? Вроде бы давно доказано и показано, хотя бы и на примере потерпевших кораблекрушение моряков, попавших на необитаемые острова (Робинзон Крузо не в счет), что человек не может один, одиночество неизбежно превращает его в зверя. Но позвольте! Разве лучше действует обитание в коммунальной квартире? И таких примеров несравненно больше. Наблюдать, как живущий рядом индивид изо дня в день делает все не так (не так, как нам бы хотелось), например, заводит кошку, не гасит, извините, света в туалете, приводит не тех гостей, улыбается исключительно нагло и несимпатично — нет, это выше сил, это хуже необитаемого острова, это мука!

Неудивительно посему и те смерчи, которые проносятся от времени до времени в коммунальных коридорах, с хлопаньем дверьми, качающимися от сотрясения воздуха лампочками, с выражениями такими, что не дай бог слышать их вам, читатель, — и грустно, грустно все это, и слезы капают из глаз, когда видишь подобные недоразумения. Сколько трагедий разыгралось вокруг выеденного яйца, которое, оказывается, было разбито не с того конца. Впрочем, об этом уже писал один английский писатель.

В данном случае в роли, так сказать, яйца преткновения выступал Пирошников. Это стало ясно уже по первым репликам Ларисы Павловны. Она вдруг ворвалась в кухню, как пантера, — во всяком случае, мышцы на ней играли, перекатываясь округлыми волнами под тугим джемпером. Окатив молодого человека взглядом высокой температуры, причем досталось и бедной Наташе, Лариса Павловна воскликнула:

— Вы учтите, что я этого не допущу! У нас квартира, а не публичный дом!

И, подошедши к своему холодильнику, она рванула ручку так, что с кухонной полочки свалилась крышка от кастрюли и с жалобным дребезжаньем подкатилась

к ногам Пирошникова. Молодой человек с достоинством поднял ее и протянул соседке, а та, выхватив крышечку, захлопнула холодильник, так и не достав из него ни единого предмета, после чего прибор вздрогнул и загудел.

Тут вперед выступила Наденька в своем всегдашнем халатике, причем глаза ее, сузившиеся и злые, устремлены были на Ларису Павловну. Дядюшка при этом весь подобрался, готовясь вступить в бой на стороне племянницы.

Скучно, скучно!... Дальше произошла обычная перестрелка, в которую оказались втянутыми все находившиеся на кухне.

— Вы не имеете права, — произнесла Наденька страшным шепотом.

— Да что ты с ней разговариваешь, с куклой! — выпалил дядя Миша, отчего Лариса Павловна зашипела, как мокрая тряпка под утюгом, и двинулась грудью на дядюшку.

— Ах вот как? Скобарь! Алкоголик!.. — И прочее, и прочее, что совершенно неинтересно.

— Ишь, фифа! — сказал опешивший дядюшка.

Из дальнейших переговоров выяснилось, что соседка обвиняет Наденьку в незаконном сожителстве и сводничестве, причем из реплик Наденьки явствовало, что Ларису Павловну тоже монашкой не назовешь. Впрочем, Наденька говорила это в порядке активной обороны, выведенная из себя необоснованными — видит бог! — обвинениями соседки.

— А вот и еще шлюшка! — внезапно сделала выпад в сторону Наташи Лариса Павловна.

Наташа, разрыдавшись, выбежала из кухни, а за нею последовала Наденька; бабка Нюра всплеснула руками, — вообще произошло замешательство. Дядюшка — так тот вовсе оцепенел после таких слов, какие вряд ли доводилось ему слышать от женщин в его добропорядочной провинции.

Интересно, что Пирошников сохранял полное равновесие души, с нескрываемой иронией наблюдая за действиями сторон. Даже чудовищные слова Ларисы Павловны вызвали в нем не гнев, а усмешку, поскольку были лишены основания. Лариса Павловна, как заведенная, продолжала свою филиппику, к которой Пирошников пару раз позволил себе сделать остроумный комментарий, чем лишь подлил масла в огонь.

Однако мало-помалу ему становилось все тяжелее на душе — и совсем не потому, что уши его устали от склоки. Приходя в подобное расположение духа, Пирошников всегда про себя знал, что оно проистекает от причин внутренних, от мгновенно возникающего, точно всплывающего со дна души ощущения собственного ничтожества.

Ему присущи были такие приступы отвращения к собственной личности — отвращения, правда, особого рода, ибо даже в самые жестокие минуты ненависти к себе Пирошников одновременно чувствовал, что именно это испытываемое им ощущение приподымает его душу и является искуплением. Он бывал в равной мере ничтожен и значителен в своих глазах от причастности, с одной стороны, к жалкому миру суеты, глупости и пороков, а с другой стороны — к высокому своему предназначению, о котором уже говорилось, но которое пока никаким образом не давало о себе знать.

В особенностях же изнывала душа, когда замечала признаки того самого омертвения чувств, то есть неспособности к живому восприятию: к боли, к счастью, к горю, к состраданию, к радости — точно сердце вдруг обнаруживало на себе сухую и твердую корку, накрепко приставшую к горячей и ранимой плоти. Вот это было самым ужасным для Пирошникова, и он, выражаясь фигурально, ломал ногти и раздирал пальцы в кровь, стараясь сорвать эту корку, причем, естественно, испытывал боль. Еще надо упомянуть, что переходы от одного состояния к другому совершались у него быстро и незаметно для окружающих.

Вот и теперь, посреди сражения, тень надвинулась на лицо молодого человека. На мгновение он, по своему обыкновению, мысленно отодвинулся от происходящего, залетел куда-то высоко и далеко, чтобы оттуда увидеть себя, иронизирующего и равнодушного старика, умершего несколько столетий назад, окаменевшего сердцем да еще любующегося собой в те моменты, когда реплики его попадали в цель.

Владимир с отчаяньем сорвал присохшую корку, и рана закровоточила. Он увидел плоское от кухонного чахлого света лицо Наденьки, которая вернулась уже на место действия с выражением внешнего спокойствия; он увидел ее глаза, в которых сейчас не было злости, а только боль; он увидел и топчущегося на месте дядюшку, откровенно страдавшего, и Ларису

Павловну, которой, будем справедливы, тоже несладко было от склоки, и старушку Анну Кондратьевну, вечную приживалку, охающую на своем сундуке. Все эти люди, в отличие от Пирошникова, жили — худо ли, бедно, мучаясь, страдая, но жили, а он лишь обозначал свое присутствие, притворяясь живым. Конечно, приятно, должно быть, сознавать себя существом, стоящим выше страстей, тем более довольно прозаическими, существом разумным и даже не лишенным юмора, но, право, в этом ли счастье? Пускай всезнайки с мертвым сердцем посмеются над Пирошниковым, но все же он сорвал корку и сразу стал незащищен.

Вернувшаяся Наденька посмотрела на Владимира как-то отчужденно и равнодушно, ибо его поведение до сего момента и вправду показывало полную незаинтересованность молодого человека в происходящих событиях, словно они и не его вовсе касались, словно Наденька не из-за него терпела нападки, — и это ее в глубине души обидело. Однако Пирошников, посмотревший вдруг на вещи по-иному, подошел к ней и заговорил, не обращая внимания на Ларису Павловну.

— Наденька, прости меня, слышишь! Я не стою ни твоих, ни Наташиных слез, не истязайте свои души, забудьте обо мне, не тревожьте себя моим спасением. Вы пропадете ни за что...

Сами понимаете, что давать такие козыри в руки Ларисе Павловне не следовало. Соседка сразу приободрилась, обнаруживши вдруг незащищенность и слабость Пирошникова, доселе от нее скрытые.

— Вы подумайте, какое благородство! — воскликнула соседка и оглянулась по сторонам, как бы ища слушателей. — А разве это не вы, молодой человек, совсем недавно ползли на четвереньках пьяным в моей комнате? Разве не вы умоляли меня помочь вам? Но я вас быстро раскусила! Ваш образ действий лучше подойдет для нее... — И Лариса Павловна протянула руку с отставленным мизинцем, на кончике которого горел рубиновый ноготь, в направлении Наденьки. — Ей не привыкать!

— Не обращай внимания, Наденька! — шепнул Пирошников.

— Пускай говорит, — ответила Наденька, которую, казалось, вполне успокоили последние слова Пирошникова, так что теперь она смотрела на него мягко, а тирады соседки облетали ее стороною, не задевая.

— И скажу! Не прикидывайся мадонной с младенцем, милая, эта роль тебе не подходит! Кстати, расскажи своему рыцарю, как ты прижила ребеночка. Ему будет интересно.

Наденька лишь на секунду отвела глаза от Пирошникова, но даже это последнее и загадочное для него замечание Ларисы Павловны не вывело ее из равновесия. Видимо, Наденька уже решила в душе на что-то, и теперь никакие Ларисы Павловны не могли ей повредить. Слава богу, она безошибочно и вовремя почувствовала перелом, произошедший в Пирошникове,— может быть, раньше, чем сам он его заметил.

Что же касается других участников кухонной битвы, то бабка Нюра лишь забилась поглубже в свой угол, а дядя Миша, напротив, совершенно ошеломленный заявлением соседки о каком-то ребеночке, сжал кулаки и, растопырив руки, как боксер, зарычал:

— Ты что, с ума спятила? Что ты такое несешь?

— Говорю, значит, знаю! — парировала Лариса Павловна, отмеряя положенную дядюшке порцию убийственного взгляда, под которым дядя Миша сник и, почуяв, что соседка, действительно, не с потолка взяла свое чудовищное утверждение, горестно махнул рукою и пошел к выходу.

Пирошников же, подошедший к Наденьке, положил руки ей на плечи и проговорил:

— Наденька, ну пойдем же отсюда, здесь нельзя больше... — и что-то еще такое, что должно было показаться Ларисе Павловне и наивным, и смешным, и жалким.

Почему как-то всегда получается, что человек, вдруг и внезапно открывающий на наших глазах душу, в особенности если при этом он бормочет бог знает что — а именно так чаще всего и бывает, — такой человек вызывает у окружающих в лучшем случае чувство неловкости, когда хочется глаза спрятать от смущения за него, такого неумелого и беззащитного; а у людей черствых, знающих, по их собственному выражению, толк в жизни, такие сцены вызывают усмешку и ощущение своего превосходства?

Итак, скандал уже прошел высшую точку, стороны определили свое отношение друг к другу, козыри были выложены. Лариса Павловна победила ввиду явного преимущества. Последним всплеском бури стало явление Наташи, которая вернулась в кухню с сухими, но несколько покрасневшими от недавних слез глазами

и с видом донельзя решительным. Как видно, она совсем недавно кусала губы, чтобы остановить рыдания, потому что на бледном ее лице лишь они и были заметны. Наташа вступила в кухню и, как говорят, с места в карьер, голосом, вот-вот готовым сорваться, неровным каким-то и нервным, произнесла губительные слова, которые столь часто произносятся в самых разных ситуациях, но, видит бог, не в такой:

— Володя, я люблю тебя. Люблю, люблю, люблю!

Она вновь закусила губу, которая уже было запрыгала, как мячик, и, круто повернувшись на каблуках, исчезла, оставив присутствовавших в кухне осмысливать ее слова. Затем все услышали, как хлопнула за Наташей входная дверь.

У Пирошникова признание вызвало лишь соболезнующую гримасу, которой, по счастью, Наташа уже не видела, а Наденька, испуганно взглянув на Владимира, отстранилась и отступила на шаг. Удивительно, что соседка никак не прокомментировала Наташиных слов, а лишь пожала плечами и выплыла из кухни, как дредноут. Покачиваясь на волнах, как маленькие шлюпки, потянулись следом Пирошников с Наденькой. Наступил штиль.

Глава 16. ПРАЗДНИК

Напомним, что дело шло к субботнему вечеру, собственно, он уже наступил, поскольку в декабре вечер начинается утром, сразу же после завтрака.

Пирошников с Наденькой в молчании удалились из кухни в коридор. Их остановил звонок в квартиру, и Наденька открыла дверь. На пороге стоял Георгий Романович с шарфом, выпирающим из-под отворотов пальто до самого подбородка, и с каким-то продолговатым предметом в руке, завернутым в хрустящую белую бумагу, под которой опытный взгляд Пирошникова определил бутылку шампанского.

Георгий Романович сделал вежливый полупоклон и, не дожидаясь приглашения, вступил на территорию квартиры.

— Наденька, я думаю, надо отметить начало нового этапа нашей жизни,— сказал он, намекая, должно быть, на отбытие своих вещичек.

— Не обязательно,— холодно ответила Наденька, все еще стоя у раскрытой двери, словно ожидая немедленного ухода Георгия Романовича. Однако он, не сму-

тившись подобным приемом, лишь печально покачал головой и посмотрел на Наденьку мудрым, всепонимающим взглядом.

— Как знаешь! — сказал бывший муж и повторил совсем уж мягко: — Как знаешь...

Он поставил завернутую бутылку на старухин комод и, заложив руки в перчатках за спину, прошелся туда-сюда по коридору. Наденька все стояла у двери и молчала. Молчал и Пирошников, тяготясь неопределенностью, как вдруг на пороге выросла компания из трех человек и с шумом ввалилась в квартиру, отчего в прихожей сразу сделалось тесно.

— Привет! — крикнул один из вошедших, весьма дружески устремляясь к Георгию Романовичу.

— Кирилл! Рад, очень рад, — проговорил Георгий Романович, радуясь, по-видимому, не столько Кириллу, сколько перемене разговора, которую он внес с собою. Наденька отошла от двери к Пирошникову и шепнула, заметив его недоумение:

— Это Кирилл, бывший хозяин мастерской. Он скульптор...

А пришедший скульптор уже обнимал Старицкого, нависая над ним, поскольку был гораздо выше ростом, а тот снисходительно посмеивался и похлопывал его по спине рукою в перчатке.

— Наденька! Пламенный!.. — обратился Кирилл к Наденьке, оставив Старицкого. — А это мои друзья, Неля и Юрка, знакомьтесь, — показал он на своих спутников, девушку лет девятнадцати и молодого мужчину.

Кирилл шагнул к Пирошникову и, хлопнув предвзительно того сбоку по плечу, протянул ему руку ладонью кверху. — Кирилл. Кирюха тоже можно...

— Владимир, — сказал Пирошников, вкладывая свою руку в ладонь великана, на чем процедура знакомства была закончена.

— Пошли! — без дальнейших слов скомандовал Кирилл, решительно устремляясь к двери мастерской. — Все за мной!

И все действительно потянулись за ним, ибо этот шумный человек умел покорять. Голова у него была большая, постриженная под машинку. Полуседой бобрлик придавал ему спортивный вид. Кирилл был похож на футбольного тренера лет сорока, а в руках, дополняя впечатление, болталась большая спортивная сумка.

Кирилл открыл дверь в мастерскую, и все ввалились туда, включая возникшего откуда-то дядю Мишу; последним, хотя и не слишком охотно, вошел Георгий Романович, спрятавший на всякий случай свое шампанское во внутренний карман пальто.

Кирилл с размаху поставил на середину комнаты сумку, в которой что-то звякнуло. Расстегнув «молнию» на сумке, он достал оттуда газету, которую с подчеркнутой тщательностью расстелил на полу. Вслед за этим из сумки стали появляться одна за другой и занимать свое место на газете бутылки вина.

— Располагайтесь! — гудел хозяин. — Я вчера одну вещичку продал. Купальщица, керамика... Эй, дед! — обратился он к дядюшке. — Тащи стаканы!

Дядюшка неожиданно вытянулся по-военному и выразил полную готовность к подчинению. Возникла предпраздничная суматоха, довольно бестолковая, но деятельная. Всем вдруг нашлось занятие, чему способствовали краткие и энергические приказания Кирилла. Были принесены стаканы, вилки, тарелки, а из сумки хозяина комнаты и портфеля его приятеля появилась закуска; раскладушки Пирошникова и дядюшки были придвинуты к расстеленной газете; поплыли из кухни стулья и табуретки, покачиваясь и перевортываясь в воздухе; Пирошников с Наденькой тоже были втянуты в общий круговорот, лишь Георгий Романович слегка нервничал, ибо были нарушены какие-то его планы.

— Обжили комнатушку, и правильно! — говорил хозяин, весьма профессионально разрезая соленые огурчики и располагая их на тарелке звездочкой. — Пока там Ларка воюет, а вы... Ай да Надюха!

Он наполнил стаканы и поднял руку, призывая к вниманию.

— Не у тех, кто во прах государства поверг, — начал тост Кирилл, — лишь у пьяных душа устремляется вверх. Надо пить в понедельник, во вторник, в субботу, в воскресенье, в пятницу, в среду, в четверг!

— Правильно! — сказал его приятель, а подружка хихикнула.

Пирошников отхлебнул из стакана и сел рядом с дядюшкой на раскладушку, отчего он, дядя Миша и находившийся с другой стороны Георгий Романович сползли к середине и оказались тесно прижатыми друг к другу. Странная компания; не правда ли?

Сколько таких странных компаний доводилось наблюдать нам с вами и, что еще хуже, участвовать в них! Естественна тяга человека к общению, но как легко создать его иллюзию, сгрудившись над бутылками, поднимая бокал и улыбаясь каждому, в свою очередь тоже улыбающемуся лицу. Как утешает всеобщее приятие, рожденное над колеблющейся поверхностью вина, отражающей и вашу довольную физиономию, и физиономию вашего врага, который сейчас любит вас липкой любовью, и прочие лица, объединенные в кривом зеркале винного круга, дрожащего внутри стакана. Пейте, родимые! Уважайте друг друга, а мы вернемся к Пирошникову, которому, по правде сказать, что-то мешало предаться веселью.

Он обвел взглядом присутствующих и заметил, что Наденьки среди них нет. Стул ее был пуст, полный стакан стоял на газете перед ее местом; как она ухитрилась исчезнуть — неизвестно. Только что, когда хозяин разливал, Наденька была тут и даже смеялась и говорила что-то, а вот теперь ее не было, и никто, кроме Пирошникова, этого не замечал.

Налили снова, и Пирошников, взяв свой стакан, как бы между прочим подошел сначала к окну, потом прошелся по комнате и закурил. Его примеру последовали другие, кроме Старицкого; комната сразу же утонула в дыму, а Владимир, оставив стакан на подоконнике, прикрываясь дымовой завесой, выскользнул в коридор. Там на боевом посту находилась старушка Анна Кондратьевна, которая тщательно поправляла кружевную накидочку на своем комодe.

— И пошто пришли? — начала она неодобрительно, подлаживаясь под хмурый и сосредоточенный взгляд Пирошникова.

— Праздник у них, бабушка Нюра, — пожал плечами Владимир.

— У их всегда праздники, — сказала бабка, махнув рукой, но слегка потеплев.

Пирошников без стука вошел в Наденькину комнату и увидел Толика и Наденьку, сидящих вместе на диване. Судя по виду Толика, мальчик старался сохранять независимость, зато Наденька была вся устремлена к нему, так что даже не перевела взгляда на Пирошникова.

И опять он, словно со стороны, увидел себя и свою мать незадолго до ее смерти. Она тогда уже не поднималась с постели, и все просила его посидеть рядыш-

ком, а он рвался гулять. «Подожди, Володя! Потом погуляешь, еще нагуляешься», — тихо говорила она, поглаживая его по голове и точно так же, как Наденька сейчас, устремляясь к нему и рукою, и взглядом, и голосом, так что ему становилось на мгновение страшно и горькое предчувствие тенью пролетало в душе.

Пирошников почувствовал себя лишним рядом с Наденькой и Толиком, но лишь на миг. Наденька повернула голову и взглянула вопросительно, будто ожидая каких-то слов, а Толик неожиданно улыбнулся Пирошникову.

— Будем еще играть? — спросил он.

— Тебе нужно спать, маленький! — сказала Наденька. — Завтра поиграете.

Мальчик соорил недовольную гримасу и оглянулся на Наденьку с вызовом.

— Вот мама придет, я ей все расскажу. Хочу к бабушке!

Наденька на эти слова отвернулась, и молодому человеку показалось, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Пирошников подошел к Толику и взъерошил ему волосы.

— Завтра, — сказал он, кивая. — Честное слово.

— Честное-пречестное?

— Самое-самое пречестное.

Толик сейчас же решил спать, чтобы утро наступило быстрее. Наденька постелила ему на диване, он улегся и крепко зажмурил глаза, надеясь таким образом скорее заснуть. Наденька и Владимир сели у стола, на котором стояла лишь тарелка с остатками манной каши — ужином Толика, и несколько минут смотрели на засыпающего мальчика. Поначалу веки его мелко подрагивали, и дыхания не было слышно, но вот он перевернулся на другой бок и задышал глубоко и ровно, как дышат во сне. Наденька уронила голову себе на руки да так и осталась в этой окаменевшей позе.

— Хочешь спать? — спросил Пирошников шепотом. (Наденька отрицательно качнула головой.) — Почему ты оттуда ушла?

Наденька, не поднимая головы, повернула к нему лицо и устало усмехнулась. Несколько секунд она смотрела в какую-то точку, расположенную над шкафом, а потом сказала:

— Толика нужно было кормить... Ты можешь возвращаться обратно.

— Я не хочу,— еще тише сказал Владимир и погладил Наденьку по голове.

— Не надо,— сказала она.— Мне и без того тошно.

— Будет легче.

— Может быть,— вздохнула она, снова пряча лицо.

А Владимир склонился к ней и дотронулся губами до затылка, прикрыв глаза, и снова, как вчера с Наташей, проваливаясь в мягкую пропасть. Но на этот раз он не скоро оттуда выбрался. Сколько времени они сидели не шелохнувшись, объединенные только дыханием, нельзя точно сказать. Может быть, пять минут, а может быть, час. Во всяком случае, когда Пирошников открыл глаза, он как бы заново увидел эту комнату с желтым светом в углу, с такими уютными, старыми, пожившими вещами, на которых лежала тонкая и светлая пыль, и лицо мальчика в тени с голубыми ото сна веками, и руки Наденьки, невесомо лежащие на столешнице красного дерева, и свои руки, лежащие рядом и словно отъединенные от него. Боясь стряхнуть ощущение покоя, он прислушался к звукам, доносившимся из-за стены. А они становились все интенсивнее. Некоторые из них не поддавались расшифровке, тогда как другие — звон сдвигаемых стаканов, женский смех, хлопанье дверьми и шарканье ногами в танце — были очень хорошо знакомы Пирошникову. Кстати, танцы, по-видимому, и начались, поскольку музыка доносилась все громче.

— Поди скажи им, чтобы не шумели. Разбудят ребенка,— попросила Наденька, и Пирошников вышел в коридор.

Там горела лампочка, музыка прямо так и ударяла в уши, причем доносилась сразу отовсюду. Игралось старое танго «Брызги шампанского». Владимир рванул дверь мастерской, где его глазам открылась следующая картина. В центре комнаты, рядом с газетой-самобранкой, на которой стояли пустые уже бутылки, располагался граммофон, поблескивающий крутящейся и шипящей пластинкой. Рядом с ним танцевали дядюшка с бабкой Нюрой — танцевали, взявшись за руки, как танцуют кадрили, причем бабка Нюра поминутно хихикала в кулачок. Приятели Кирилла сидели, обнявшись, на одной раскладушке, а сам Кирилл лежал на другой, закинув ногу на ногу и закрыв глаза. Георгия Романовича в комнате не было.

Пирошников шагнул к граммофону и наступил ногой на пластинку, отчего та крякнула и сломалась.

— Хватит! — сказал он в ответ на недоуменный дядюшкин взгляд.

Дядя Миша горестно вздохнул и поплелся к выходу, а старушка, пробормотав свое обычное «господи!», засуетилась, приводя граммофон в порядок и закрывая его.

— Брось, старик! — отдельно произнес Кирилл, приподнимая голову, которую, впрочем, тут же уронил обратно на подушку. В мастерской воцарилась тишина.

Пирошников вышел и направился в кухню. Там приводил себя в порядок дядюшка, который, вывернув шею, сунул лицо под кран, одновременно умываясь и поглощая ртом воду. Пирошников повернул обратно и зачем-то приоткрыл дверь в комнату Ларисы Павловны. На этот раз пол имел форму вогнутой поверхности, попросту говоря, ямы, в нижней точке которой, у столика с горящей свечой, сидели в креслах Георгий Романович и соседка. Лариса Павловна обернулась и, вынув изо рта сигарету, сказала презрительно:

— Закройте дверь, молодой человек! Вы с ума сошли!

Пирошников криво усмехнулся и последовал далее, где был встречен бабкой Нюрой, которая все еще находилась в прекрасном расположении духа. Она поманила Владимира к себе и, не говоря ни слова, выдвинула верхний ящик комода. Внутренние его стенки оказались оклеенными серебряной бумагой, но интерес был не в этом. Ящик показался Пирошникову слишком уж глубоким, и, подойдя ближе, он заглянул в него, надеясь увидеть дно. Дна он не обнаружил, но зато в конце этой длинной, покрытой серебром прямоугольной трубы ему открылся миниатюрный мирок, напоминавший репродукцию какой-то картины Брейгеля-старшего, однако с движущимися фигурками. Фигурки эти в полном молчании предавались веселью: они наливали друг другу вино, чокались, кивали головами, улыбались, падали под столы, снова улыбались, пошатывались, засыпали, улыбались опять и опять наливали себе вино. Это напоминало вечное движение.

— Старинная вещь. От прабабки досталась, — значительно произнесла старушка и задвинула ящик. — А ты, батюшка, иди-ка спать. Притомился небось.

Пирошников, и вправду утомленный, вернулся в Наденькину комнату, где при свете ночника нашел одеяло, расстеленное на полу рядом со шкафом, а на одеяле подушку. Наденька уже спала на самом краешке дивана, лежа в халатике поверх одеяла Толика. Владимир скинул ботинки и повалился на приготовленную постель.

Глава 17. ИСТОРИЯ НАДЕНЬКИ

Несколько минут Пирошников неподвижно лежал на спине, вонзив взгляд в потолок и заново переживая только что происшедшие события. Господи, как это все надоело! Как хочется простой и счастливой жизни! Ведь кто-то, по всей вероятности, живет полно, занимает свое — и только свое — место, у него есть дом, близкие люди, работа; этот кто-то выполняет свое прекрасное предназначение — да! да! — а не валяется где-то в чужих домах, на чужом полу. Пирошников сел и обхватил руками колени. Тоска, тоска!

Он повернул голову к Наденьке и тихо позвал:

— Наденька, ты спишь?

— Нет, — ответила она, не открывая глаз.

— Плохо мне... — сказал Владимир.

— Думаешь, тебе одному? — сказала Наденька и открыла глаза. — А это не так. Вот посмотри: рядом спит мой сын, а ему даже не снится, что я его мама. Тебе это понятно?

Молодой человек в растерянности взглянул на нее, ибо слишком неожиданным было признание. То есть, конечно, после слов Ларисы Павловны, сказанных во время скандала, можно было бы что-то предположить, но, во-первых; слова эти могли быть лживыми, а во-вторых — при чем здесь Толик? Да и по возрасту вряд ли могла Наденька быть его матерью.

А она, между тем, поднялась с дивана и, отошедши к окну, закурила, выпуская дым в приоткрытую форточку. Пирошников молча ждал продолжения, которое, как он чувствовал, должно было последовать. Наденька выкинула сигарету, не докурив, и подошла к молодому человеку.

— Я тебе расскажу, раз уж заикнулась... Можно? Теперь уж все равно. Надо кому-то рассказать, понимаешь?

Она уселась на одеяле рядом с Владимиром, поджав колени к груди, и начала свой рассказ ровным и,

казалось, совершенно спокойным и бесстрастным голосом.

А история ее, особенно в первой части, была неприятна, печальна и обыкновенна. Лет семь назад, когда Наденьке было пятнадцать лет, она полюбила. В ту пору она только начала девятый класс, а полюбила, как водится в пятнадцать лет, впервые в жизни.

Она влюбилась в молодого человека, который был старше ее лет на шесть и работал рентгенотехником в районной поликлинике. Там, собственно, они и познакомились, когда Наденька со своим классом проходила сеанс флюорографии. Надобно сказать, что Наденька воспитывалась в семье чрезвычайно строго, поскольку ее родители были учителями в той самой школе, где она училась. Отец был директором школы и преподавал историю в старших классах, а мать Наденьки учила детей литературе и русскому языку. Таким образом, Наденька с детства была воспитана на примерах романтической любви из литературы девятнадцатого века, что само по себе, конечно, прекрасно. Однако вопросы, сопутствующие, если можно так выразиться, романтической любви, в семье не обсуждались, они находились под запретом, а вне дома Наденька никаких сведений не почерпнула. Так уж случилось... То есть она знала, конечно, каким путем продолжается человеческий род, но только так, в общих чертах. Родная сестра Наденьки Вера, будучи на девять лет старше ее, тоже не внесла в этот вопрос ясности, поскольку находилась на позициях матери. Тем более, Вера как раз в то злополучное время вышла замуж и уехала на Крайний Север. Так Наденька осталась совсем одна, а делиться сердечными тайнами с подругами она не имела привычки.

Наденька полюбила, и золотая пора осени пронеслась для нее как на крыльях, поскольку рентгенотехник соответствовал ее представлениям о романтическом возлюбленном. Было в нем нечто от Андрея Болконского, с той лишь разницей, что Болконский был князь, а рентгенотехник Николай родился в семье участкового уполномоченного. Другое отличие Коли от князя Андрея заключалось в том, что первый был неопытен, не в меру горяч и, как бы это выразиться, трусоват, что ли...

В результате уже к Новому году Наденька почувствовала некоторые перемены в поведении своего организма, а через какое-то время ее возлюбленный, узнав

о случившемся, исчез, как говорится, в неизвестном направлении.

Наденька набралась смелости и рассказала обо всем матери. Можно себе представить, что тут было! Тем более что срок беременности не оставлял никакой другой возможности, кроме естественного разрешения. Даже если бы это было не так, Наденька и ее мать вряд ли решились бы на крайнюю меру. Так или иначе, возникла мысль о поисках исчезнувшего возлюбленного, чтобы, так сказать, подшить его к делу. Однако надо отдать Наденьке должное — она проявила непреклонную твердость и отказалась сообщить какие-либо сведения об отце ребенка. К этому времени, выплакав положенные слезы, она изгнала Колю из своего сердца и осталась одна со своим будущим ребенком, который пока не подавал о себе вестей.

Слава богу, что так случилось! Известны ведь и другие, более печальные исходы подобных случаев, связанные с трагедиями, ядами, вскрытием вен и прочим, и прочим. Наденька оказалась сильнее, но все это, естественно, наложило отпечаток на ее характер.

О случившемся сообщили отцу, и он, к счастью, воспринял это как удар судьбы, но не более. То есть все обвинения он адресовал судьбе, хотя и Наденьке тоже досталось — посему отец не стал выгонять ее из дому, но, приняв удар, стал искать компромиссный выход. И выход нашелся.

Не могло быть и речи о том, чтобы Наденька оставалась в школе, руководимой отцом, и к своему выпускному вечеру имела наряду с аттестатом зрелости еще и десятимесячного младенца. Общественное мнение не осталось бы к этому равнодушным. Поэтому к весне Наденька забрала документы из школы и отправилась к сестре Вере на Крайний Север. Вера тоже участвовала в разработке плана. На Севере Наденька благополучно родила мальчика, будучи совершенно незнакомой местным жителям, у коих появление ребенка не вызвало нездорового интереса. Пробыв там до следующей весны и ухитрившись сдать экзамены за десятый класс в вечерней школе, Наденька вернулась к родителям.

Итак, репутация Наденьки не была потревожена, аттестат зрелости был на руках, маленький Толик тоже имелся в наличии, и родители Наденьки, свыкшиеся за прошедшее время с обстоятельствами, решили

облегчить дочери дальнейшую жизнь. К моменту приезда Наденьки в Ленинград трехкомнатная квартира родителей была уже разменена на двухкомнатную и комнату. Толика родители взяли к себе, благо новые соседи еще не успели разобраться в деталях его появления на свет, а Наденька начала самостоятельную жизнь в коммунальной квартире с соседом-скульптором и семьей Ларисы Павловны. Она поступила в медицинское училище, окончила его и стала медсестрой. Все прекрасно, не правда ли?

Но был один грех. Забирая мальчика к себе, родители Наденьки постановили, что освободят ее навсегда, чтобы мальчик не был препятствием, например, к браку, если возникнет такая необходимость. Наденька согласилась, тем более что имела возможность чуть не ежедневно видеться с сыном, а с другой стороны, спокойно учиться и вести нормальную студенческую жизнь. Потребовалось сделать над собою лишь легкое усилие и придумать для малыша какую-то достаточно правдоподобную версию. Таким образом, с грудного возраста мальчика и возникла легенда о родителях, проживающих на Северном полюсе; а Наденька, навещавшая сына, превратилась для него и других в тетю Надю. Надо сказать, что легенда создавалась случайно, но постепенно обростала деталями, а в конце концов стала совсем уж близка к реальности, о чем ниже.

Поначалу, когда малыш мало что понимал и не умел разговаривать, такая ситуация не казалась Наденьке странной, тем более что родители приводили бесчисленные доводы в пользу разумности подобного выхода. Не будем забывать, что Наденьке-то было семнадцать лет! Но вот мальчик и заговорил, и вопросы начал задавать, касающиеся его родителей, и тут первое сомнение закралось Наденьке в душу. Оно постепенно крепло и в последнее время переросло в сильнейшее беспокойство, когда Наденька узнала, что старшая сестра и ее муж выразили желание усыновить Толика со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Формальная сторона дела должна была решиться вскоре, по приезде Веры в Ленинград. Причина?.. Вера не могла иметь собственного ребенка.

Родители Наденьки весьма обрадовались такому решению и, естественно, стали постепенно готовить мальчика к новому повороту в его судьбе, соответствующим образом видоизменяя легенду. Толик стал полу-

чать настоящие посылки с Крайнего Севера, появившиеся взамен фиктивных, изготовлявшихся ранее Наденькой; родители попросили ее приходить к Толику пореже, справедливо полагая, что раз мальчика возьмет к себе старшая дочь, то и приучать его нужно к ней. Наденьке они советовали как можно скорее выйти замуж и родить другого ребенка, будто новый ребенок, как новый наряд, может помочь забыть о старом. Короче говоря, Наденька начала понимать, что теряет сына.

Когда появился Георгий Романович, родители восприняли это как необыкновенную удачу, хотя Наденька с самого начала не питала особых иллюзий. Она стала терпеливо с ним жить, но мысли о Толике тревожили ее все больше. Наконец наступил день, когда Наденька не выдержала и рассказала все мужу. Георгий Романович, естественно, нахмурился, ибо узнавать от женщины, с которой живешь уже год, такие новости, сами понимаете, не совсем приятно. Тактично обходя вопрос об истории появления ребенка, Георгий Романович, тем не менее, выразил твердое убеждение, что последнему в их семье места нет. Или я, или он — так по сути звучало заявление мужа. Наденька, к удивлению Старицкого, рассудила в пользу сына, и Георгий Романович принужден был покинуть квартиру через окно соседки. Видимо, по пути он и успел выболтать тайну Ларисе Павловне, с которой Наденька и до той поры находилась в натянутых отношениях.

Вот так обстояло дело с Толиком. Почему же Наденька решила окончательно забрать его к себе лишь вчера и так внезапно? Несомненно, решение это назревало давно. Наденька измучилась душевно, истерзала себя и возненавидела за допущенную некогда ошибку. Отчаянье толкнуло Наденьку на последний шаг, когда она, явившись к родителям, объявила, что у нее новый муж, который хочет жить с ее ребенком. Только этот довод подействовал.

Все вышеизложенное, исключая свой маневр по захвату Толика, Наденька и рассказала Владимиру.

Пирошников слушал бесхитростный Наденькин рассказ с благодарностью. В самом деле, хотя и жалость его брала, и страх за судьбу мальчика, более всего он был благодарен Наденьке, которая так просто и доверчиво изложила ему события своей жизни, что Пирошников невольно почувствовал себя сопричастным ее судьбе и даже, как ни странно, ответственным

за нее. Последнее настолько было ему в новинку, что он на мгновение ощутил испуг, с которым легко можно было бы справиться, отнесись он к рассказу Наденьки иронически. Но Пирошникову не захотелось так к нему относиться.

А Наденька, закончив историю, не стала спрашивать у Владимира совета, как не стала и жаловаться на трудности, а, умиротворив душу исповедью, сказала с улыбкой, как бы приглашая Пирошникова посмеяться над собственным неразумием:

— Слишком все сложно, правда? И глупо... Давай-ка, спи.

Однако, произнеся такие слова, Наденька внимательно следила за молодым человеком, ибо в глубине души опасалась сейчас легкого тона или пренебрежения. Пирошников не стал ничего говорить, а лишь обнял Наденьку за плечи и с минуту не отпускал. Поначалу он искал слова, но все они казались ему неподходящими, а затем, почувствовав, что никаких слов и не нужно, что между ним и Наденькой установилось доверие, которое может обойтись без объяснений, Владимир успокоился, и теперь его спокойствие и участие передавались Наденьке непосредственным, хотя и таинственным путем из души в душу.

Наденька встала и отошла к дивану, пожелав Пирошникову спокойной ночи, а он вытянулся на одеяле, пребывая после услышанной истории в ясном и гармоничном состоянии духа, как будто что-то уже решилось для него и стало понятным, хотя мысли еще не дошли до этой ясности понимания.

Глава 18. ГОЛОС

Пирошников проснулся под утро и открыл глаза. Он прислушался к стуку будильника — и понял вдруг отчетливо, что когда-нибудь умрет. Он представил себя лежащим в земле на глубине двух метров под ее поверхностью; почувствовал всю тяжесть этой земли на груди, на руках, на лице — и ему сделалось страшно. Он подумал, что без него мир не изменится, и это навсегда. Навсегда!.. Такой неотвратимостью повеяло от этого слова, что у Пирошникова дрогнул подбородок и комок подкатился к горлу...

Кажется, нет хуже и томительнее этих предрасветных часов, когда небо за окном еще черным-черно и все предметы в комнате видятся расцвечеными и

незнакомыми; когда совесть против твоей воли просвечивает тебя и нет никакой в ней жалости, и нечем перед нею оправдаться. В такие минуты она способна говорить, будто бы отъединяясь от тебя, словно бы из другого мира. Это ее время.

Напрасно Пирошников прикрыл глаза, надеясь вновь уснуть. Собственный его голос уже звучал в ушах тихо, но непреклонно, и от него некуда было деться.

«...Если смерть неизбежна, какое значение имеет твоя судьба? Зачем ты мучаешься в поисках выхода? Зачем ты мучаешь других, вовлекая их в бессмысленную и жалкую игру собственной жизни? Чем ты можешь отплатить им?

Ты всегда верил, что жизнь — по крайней мере, твоя — имеет смысл, но никогда не задавал себе труда найти его. Ты полагал, что смысл будет дан тебе так же естественно, как была дана сама жизнь. Более того, ты рассматривал остальной мир лишь с точки зрения твоего смысла жизни. По существу, все, что тебя окружало, начиная от камней и деревьев и кончая близкими людьми, было декорацией, фоном, на котором разыгрывалась трагедия твоей жизни. Ты искал занятие души, способное сравниться по значению с фактом телесной смерти, — и не находил его. Все казалось тебе мелким и недостойным, потому что ты неправильно задал условия задачи. Ты решил противостоять в одиночку.

Мир для тебя состоял из суммы одиночеств, причем только одно из них — твое собственное — заслуживало внимания и скорби. Никто не был твоим должником, но и ты никому не был должен. Ты считал это справедливым, забывая или не замечая того, что всю жизнь, начиная с рождения, ты потихоньку брал в долг.

Тебе не нравилось это слово. Оно предполагало в себе, как ты думал, систему нечистых обменов по принципу «ты — мне, я — тебе», которые никогда не бывают эквивалентными и ведут к зависимости одного от другого. Ты не хотел никому быть должным, считая, что только так можно сохранить свою свободу. Но ты забыл о другом, высшем значении слова «долг», предполагающем душевную необходимость отдачи не тому, у кого брал, а тому, кто нуждается и бедствует.

И ты незаметно брал в долг именно у тех, кто не помышлял о скором возврате и кому ты уже не мо-

жешь вернуть, но вернуть все же необходимо — другим.

Ты брал в долг у матери. Каждый день, каждую минуту твоего детства в тебя тихо переходили ее доброта и любовь. Она отдала их все без остатка, а отдала — умерла. Ее уже не вернуть.

Ты брал в долг у отца, который разбудил в тебе честолюбие и упрямство, стремление к независимости, обернувшееся потом против него самого. Ты не захотел вернуть ему долг теми ценностями, в которые он верил, — славой, деньгами, властью — но не вернул и любовь.

Ты брал в долг и у тетки, провожавшей тебя в школу, готовившей обеда и стиравшей белье. Ты не замечал этого, не замечал и ее саму, считая глупой и провинциальной. Ее бесхитростная любовь потом долго царапала тебе сердце, напоминая о себе в виде полуграмотных поздравлений ко дню рождения или Новому году, которые приходили из Таганрога.

Ты брал в долг у женщин, которые тебя любили, у книг, которые научили тебя думать, у города, в котором родился.

Наконец, ты брал в долг у своей страны и народа и, какую бы ненависть к красивым словам ты ни испытывал, это — правда.

Но все это как бы тобою не замечалось, было в порядке вещей. Ты отодвигал выплату своих долгов, считая их незначительными, хитря, обманывая себя тем, что пока не время. Ты свалил все на свое блистательное предназначение, которое позволит тебе рассчитаться со всеми одним махом, когда оно исполнится. Почему-то исполнение предназначения представлялось тебе достаточно кратковременным актом.

Но в чем же оно состоит на самом деле, твое предназначение? Пора в этом разобраться.

Начнем издалека. Твоя жизнь была когда-то мельчайшей клеткой, начавшей свой путь с удивительной целенаправленностью. Ей было необходимо сделаться живым человеком. Может быть, отсюда нужно вести твое предназначение? Но вот ты появился на свет и стал расти, и в это время у тебя имелась также вполне определенная цель. Ты был предназначен стать разумным человеком. И ты им стал.

Далее твое предназначение состояло в том, что ты должен был обзавестись так называемой душой. Это очень и очень зыбкое понятие — душа. Это не просто

способность чувствовать. Способность «мыслить и страдать» — вот что это такое. Стрaдание рождает мысль, но и мысль рождает страдание. И, наконец, предназначение души — сделать тебя человеком т в о р я щ и м, то есть побеждающим смерть.

Что же ты должен творить?

Душу, только душу.

Ты должен творить ее ежечасно в себе и других любимыми доступными тебе способами. Ты должен творить ее ежечасно, потому что душа — нежное растение и требует постоянного ухода. И если тебе удастся сохранить ее до конца и присовокупить к ней еще хоть одну человеческую душу, сотворив и воспитав ее, то твое предназначение исполнится.

Ты должен понять, что ничем не отличаешься от других людей и ничем их не лучше. Ощущаемое тобой предназначение ни на вершок не приподнимает тебя, но лишь указывает путь. Путь этот оказывается в постоянной опасности со стороны жизненных обстоятельств, которые искривляют его, закручивают в неммыслимые петли и возвращают к началу.

Необходимо следить за ним и по мере возможности исправлять.

Человек действительно рожден бороться, но будет весьма прискорбно, если он станет бороться за деньги, за благополучие, за славу, за власть. Он должен бороться за свою душу и воспитывать дух. И более всего он должен бороться с собой».

Таким образом говорил этот голос, и его слова укрепляли Пирошникова и способствовали поднятию духа. Конечно, надо признать, что состояние души Пирошникова не отвечало пока требованиям, которые он предъявлял к ней. Душа была, если можно так выразиться, захлавлена и неухожена, но Пирошников почувствовал, что ее чистку нельзя производить в одиночестве. И все события, предшествовавшие нынешней ночи, указывали на необходимость найти точку приложения сил души.

Он вдруг подумал, что встряска, устроенная лестницей, была ему необходима, а понявши это, несколько успокоился, и мысли его переключились на Наденьку. Он понял, что Наденька, может статься, будет нуждаться в его помощи. Подобная мысль была ему приятна, хотя и несколько смутила, потому что он не знал наверное — способен ли он помочь? До сей поры нуждался в помощи он, причем его душа совершенно

явственно расходовалась на преодоление лестницы. Теперь же ей предстояла иная деятельность. Видимо, так...

Пирошников повернулся на бок и встретился взглядом с Толиком, который, высунувшись из-за спины спящей Наденьки, блестел в темноте глазами и явно готовился заговорить.

— Это уже ночь? — спросил он шепотом.

— Нет, это уже утро, — ответил Пирошников.

Глава 19. КЛАДОВАЯ

И на самом деле, было уже воскресное утро. Незаметное, правда, темно-серое и мутное, но утро, без всякого сомнения.

Толик, соблюдая максимальную осторожность, перешагнул через Наденьку, влез в тапочки и в пижамке подошел к Пирошникову, который, приподнявшись на локте, с интересом на него поглядывал.

— Пошли, — пригласил Толик, дотрагиваясь до Владимира.

Пирошников послушно поднялся, взял Толика за руку и вышел с ним в коридор.

Толик потянул Пирошникова в кухню, где в полумраке раздавалось посапывание старушки Анны Кондратьевны, спавшей на своем сундуке, да глухо урчал соседний холодильник. Толик медленно обошел помещение, знакомясь с обстановкой и внимательно все разглядывая. Молодой человек двигался за ним на цыпочках. Старушка шумно вздохнула во сне и проговорила свое «о господи!», видимо участвуя в каком-то сновидении.

— Ничего интересного, — разочарованно сказал Толик. — А где же мы будем играть?

Они пошли по коридору, и тут мальчик заметил дверь в кладовку, куда немедленно сунул нос. Из кладовки пахло непривычным смолистым запахом. Толик юркнул внутрь, и Пирошников последовал за ним в полную темноту. В кладовке пахло морем, смолой, глухо слышался плеск волн и шуршанье прибрежной гальки. Владимир пошарил рукой по стене рядом с дверью и нашел выключатель. Раздался щелчок, и над головами Толика и Пирошникова зажегся фонарь, обернутый в редкую проволочную сетку и светившийся голубым светом.

Пирошников прикрыл дверь в коридор и окунулся

в новый мир, существовавший, оказывается, совсем под боком, но до сих пор неведомый.

Глухая каморка имела вид капитанской каюты, в которой видимо-невидимо было всяческих предметов, заставивших мальчика и молодого человека сразу обо всем забыть. Прежде всего бросился в глаза иллюминатор с толстым двойным стеклом, за которым, как это ни удивительно, покачивалось море, удаленное, точно в подзорной трубе, если смотреть в нее с широкого конца. Под иллюминатором находился штурвал, плотно сидящий на медной оси с блестящей шишечкой на конце и расходящимися от нее тонкими деревянными лучами. Тяжелый прямоугольный в сечении обод штурвала, перехваченный железом, был утыкан рукоятками, отполированными ладонями рулевых, а сверху по нему шла вырезанная полукругом надпись платины: «*beati possidentes*», что означает: «счастливы обладающие».

Справа от штурвала находился компас с покрытым потрескавшейся и частью соскочившей эмалью кругом указателя, на котором нанесены были многочисленные деления. И подзорная труба, конечно же, тоже лежала на специальной полочке под компасом, сохраняя след капитанской руки на кожаной черной обшивке. Тут же висело на крючке никелированное сооруженье, по всей видимости секстан, с двумя крохотными зеркальцами, укрепленными на нем странным образом.

По левую от штурвала сторону торчала изогнутая и расширяющаяся на конце труба, смотревшая на наших героев весьма требовательно, точно ожидая приказа, который вот сейчас должен провалиться в нее — и тогда корабль тяжело и послушно выполнит команду.

И наконец, боковые стены каюты занимали полки, на которых стояли в беспорядке книги, разумеется старинные; сложены были карты, причем одна из них свисала с полки, открывая незнакомые контуры материков, лишь отдаленно напоминающие их истинные очертания.

Нечего и говорить, что Толик сразу шагнул к штурвалу и, расставив ноги, впился в него мертвой хваткой. Пирошников встал позади и взял подзорную трубу.

— Куда поплывем? — спросил он суровым голосом.

— На Северный полюс,— немедленно ответил Толик тоже серьезно.

Он легонько повернул штурвал влево, и картина в иллюминаторе медленно поползла вправо.

— Кто будет капитан? — спросил Толик.

— Ты,— великодушно предложил Владимир.

Мальчик подумал и отказался:

— Ты будешь капитан, а я буду матрос. Ты больше.

— Хорошо,— сказал Пирошников и крикнул в трубу: — Всем по местам! С якоря сниматься!

Пол под ногами вздрогнул и покачнулся. Сквозь стены каюты проникли внутрь свистки боцманских дунок и топот ног бегущих матросов. Море в иллюминаторе сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее устремилось навстречу, накатываясь бесконечной чередой волн. Вздрогнул и пополз эмалированный кружок компаса, вращаясь внутри другого кружка, а из переговорной трубы внезапно раздался хриплый бас:

— Якорь поднят, сэр!

— Отдать швартовы! — радостно крикнул Пирошников, и Толик в восторге подхватил: — Отдать швартовы!

О воображение! О божественное и дерзкое мальчишечье воображение! Чего бы мы стояли без тебя? Ты даришь нам временами и как бы походя царственные подарки: далекую жизнь, необитаемый остров, несбывшуюся любовь. Ты разыгрываешь спектакли в гениальной постановке случая, ты таинственно и прихотливо, ты посещаешь смелых и делаешь их обладающими. Не аргументами доказываешь ты свою правоту, а картинами, и твой обман в тысячу раз правдивей реальности, потому что осенен свободой.

А на экране между тем показались айсберги, оплывающие под солнцем и изрезанные струями воды по бокам. Толик, повинувшись приказам капитана, крутил штурвал, а лицо его побелело от напряжения и сделалось неподвижным.

Он вывернул штурвал вправо до отказа. Стена айсберга сдвинулась вбок и пропала из поля зрения, а на ее месте возникла новая картина. Теперь путешественникам открылась другая стена, состоящая из белых кафельных плиток, на которых был укреплен крючок с висевшим на нем оранжевым махровым полотенцем. Изображение в иллюминаторе поплыло дальше и обна-

ружило соседку Ларису Павловну, которая склонилась над умывальником и плескала себе в лицо пригоршнями воду.

Очевидно, иллюминатор каким-то образом выходил в ванную комнату, где и застал не вовремя Ларису Павловну.

— Лево руля! — испуганно крикнул Пирошников, и соседка исчезла, но зато снова голубой грудью надвинулся айсберг.

— Правее! — приказал Владимир. Толик исполнил приказ, и корабль каким-то чудом проскочил между айсбергом и соседкой по узенькой полоске воды.

Толик повернул голову к Пирошникову, и молодой человек увидел его глаза. Темные и сидящие глубоко, эти глаза уже не излучали неприязни, но светились вдохновением и ожиданием немедленного счастья.

— Они нас встретят, — твердо сказал Толик.

— Кто встретит? — спросил Владимир, все еще находясь под впечатлением белой, как айсберг, соседкиной фигуры.

— Мама и папа.

Ах вот зачем они плыли к Северному полюсу! До Пирошникова только теперь это дошло. Они плыли на randevу с несуществующими родителями мальчика — поди ж ты! — и Владимир, обругав себя за несообразительность, подумал, что игра может завести слишком далеко, если обманет ожидания Толика.

— Слушай меня внимательно, матрос, — сказал Пирошников. — И крепче держи штурвал... На Северном полюсе нету твоих папы и мамы. Они находятся здесь.

Толик не шелохнулся, продолжая смотреть в иллюминатор.

— Они живут теперь здесь, — продолжал Владимир, уже предчувствуя последующие свои слова. — Этот корабль они привезли тебе. Это наш корабль. На нем мы все вместе будем путешествовать.

И вот оно вырвалось — это слово «мы», разом объединившее его, Толика и Наденьку, объединившее непреднамеренно, но тем не менее вполне определенно. Толик понял его смысл одновременно с Пирошниковым и, обернувшись, посмотрел на Владимира так, что трудно описать. Крушение легенды, за которую мальчик держался из последних сил, уже было подготовлено в его душе — и теперь он смотрел на Пирошникова,

как будто понимая его шаг и то, как тот ему дался; он смотрел с готовностью поверить и со страхом обмануться, с радостью и страданием одновременно, причем все это было выражено на его лице в крайней степени, так что Пирошников на секунду отвернулся, чтобы проглотить подступивший к горлу камень.

— Смотри прямо, матрос, — сказал он, кладя руку на плечо Толика.

Мальчик отвернулся, и с минуту они молчали. Пирошников кусал губы, но ничего не поделаешь — слезы стояли в его глазах, а грудь разрывало от боли. Он тряхнул головой, сбрасывая слезинки с ресниц, и попытался проглотить слюну, но во рту пересохло.

— Правее, малыш, — сказал он, но голос его дрогнул, и Пирошников, обхватив Толика рукой, притянул его к себе и закрыл глаза, чувствуя, как боль покидает его.

Толик, очевидно, переживал нечто подобное, но молчал и сдерживался. Владимир отпустил его, и мальчик опять взялся за штурвал. Рука Пирошникова, лежавшая на плече Толика, ощущала сквозь пиджамку косточки этого острого и маленького, целиком помещавшегося в ладони плеча, которое слегка дрожало.

К счастью, в иллюминаторе вновь возникла ванная комната, где на этот раз находился дядюшка в красной своей майке. Он занимался чисткой зубов. Ни единого звука сквозь иллюминатор не проникало, и было очень забавно смотреть на дядюшку, производящего ритмичные и бесшумные движения щеткой. Эта картина сняла напряжение в каюте. Толик и Пирошников не сговариваясь улыбнулись, и капитан скомандовал:

— Так держать!

Внезапно дверь в ванную комнату распахнулась, и на пороге появилась Наденька, судя по ее лицу, чем-то весьма взволнованная. Она пошевелила губами, на что дядюшка оборотился и прекратил движения щетки. Наденька еще что-то сказала, дядюшка пожал плечами и тоже проговорил несколько слов. Лицо Наденьки стало испуганным, она встревожилась не на шутку и скрылась, а дядя Миша, поспешно закончив утренний туалет, выбежал вслед за племянницей.

По всей видимости, хватились путешественников.

В коридоре за дверью кладовой послышались голоса:

— Они ушли вместе, я видела...

— Да не волнуйся, Надюша! Что он, совсем, что ли, полоумный?

— Толик может простудиться, он же в одной пижамке.

— Господи, как же это? Володюшка ушел, вот беда, вот беда! И с мальчиком, вот несчастье какое!

— Нет, мне этот содом надоел! Я вам решительно заявляю!

— Да погодите вы! Мальчик пропал.

— Это какой еще мальчик? Надюха, твой, что ли?.. Сейчас мы его словим!

— Кирилл, я вам поражаюсь. Вы же интеллигентный...

— Не лезьте не в свое дело, слышите вы!

— Ах вот как?

За дверью затопали, задвигались, потом шум стих, и голоса удалились. Пирошников виновато взглянул на Толика и, посмотрев по сторожам, обнаружил в углу меховую куртку с капюшоном. Он снял ее с гвоздя и надел на мальчика, тщательно застегнув молнию. Куртка оказалась Толику до пят, рукава смешно болтались, а лицо утопало в капюшоне. Пирошников подмигнул мальчику и приоткрыл дверь. В коридоре никого не было. Владимир вывел мальчика из кладовой, и тут же, откуда ни возьмись, перед ними предстала бабка Нюра.

— Ох, наделали делов,— прошептала она, глядя на Пирошникова и Толика почему-то с одобрением.— Небось понравилось там-то?.. А все вас побегли искать. Ну, да я никому не скажу, уж не бойтесь.

— Где Наденька? — спросил Владимир.

— Первая сорвалась. Плачет,— доложила бабка.

— Ну, малыш, пошли! — сказал Пирошников, еще крепче сжимая мягкий меховой рукав, внутри которого еле прощупывалась тоненькая Толикова рука, и увлекая мальчика за собой. Они прошли по коридору к двери на лестницу. Дверь была открыта и легонько поскрипывала от ветерка, продувающего квартиру от лестничной площадки до кухни.

— Володюшка, как же не одевшись? — вскрикнула бабка, но Пирошников лишь махнул рукой. Они с Толиком переступили порог, и уже оттуда, с лестничной площадки, Пирошников оглянулся, чтобы увидеть длинный коридор с крашеным полом, свисающую с потолка на голом проводе лампочку и старушку Анну Кондратьевну с выражением надежды и печали на лице.

Пирошников рывком захлопнул дверь квартиры, отчего по лестнице прокатилось короткое, как выстрел, эхо. На лестничной площадке было холодно. Вероятно, внизу был распахнут подъезд, и декабрьский воздух распространялся по лестнице. Тем не менее, Владимир, будучи даже без пиджака, в одной рубашке, начал спускаться вместе с Толиком к выходу на улицу, ибо требовалось немедленно разыскать Наденьку и успокоить ее. О том, что придется снова кружить по этажам, он в этот момент не думал, однако новая встреча с лестницей заставила его, уже наученного печальным опытом, насторожиться.

На первый взгляд, лестница не подготовила ничего сверхъестественного. Они спустились на один этаж, и тут Пирошников услышал голоса, поднимающиеся снизу. В говорящих он узнал соседку Ларису Павловну и дядю Мишу, которые шли вверх и вели, как ни странно, вполне мирную беседу. Пирошников остановился и прислушался, высунув голову за перила. Толик, любопытствуя, тоже поднялся на носки и заглянул вниз. Дядюшки и соседки видно не было. Судя по всему, они поднимались медленно, устав от безуспешной погони за нашими героями.

— ...может совсем сбиться с пути,— говорил дядюшка.— Теперь они все такие. Вот у меня, к примеру, Васька. Слова не скажи! А в голове ветер...

— Абсолютно правильно пишут, что общественность должна влиять,— заметила Лариса Павловна тоном классной дамы.

— Помочь нужно парню,— вздохнул дядюшка.

— Потребовать и призвать к порядку,— решительно возразила Лариса Павловна.

— И потребовать, не без того...

Пирошников осторожно оторвал Толика от перил и подтолкнул его наверх, шепча:

— Ну их совсем! Обождем, пока пройдут.

Толик кивнул, показывая, что встреча тоже не доставит ему особой радости. Стараясь не шуметь, они стали подниматься, преследуемые голосами.

— Грамотный он шибко,— с болью сказал дядюшка.— Усложняет...

На что соседка с живостью возразила:

— Ах, это все напускное! Поверьте мне.

— О себе, видать, много думает,— продолжал вслух размышлять дядюшка, причем Пирошников в этот момент почувствовал легкий укол совести и подивился дядюшкиной наблюдательности.

— Я вас предостерегаю в отношении Нади. Она ведь очень молода. Я желаю ей только добра,— внушительно проговорила соседка. Дядюшка загадочно вздохнул:

— Молодо-зелено...

— Но нравственность не должна страдать, не правда ли?

— Вроде и так,— с тоской сказал дядя Миша и замолчал.

Пирошникова передернуло. Лариса Павловна рассуждала о нравственности! Он ускорила шаг, и Толик, ведомый за рукав, вынужден был почти побежать. Они поднялись еще выше, однако дверь их квартиры не появилась. Пирошников чертыхнулся, понимая, что опять начинается вся эта свистопляска, которая сейчас была совсем уж ни к чему.

— Ничего, малыш,— сказал он.— Мы их всех, конечно, скрутим, хоть всех скрутить ужасно трудно.

Скандируя этот стих так, чтобы ударения приходились на каждую ступеньку, Пирошников с мальчиком поднялись еще этажа на четыре. Голоса дядюшки и Ларисы Павловны пропали совсем, и на лестнице наступила тишина. Пирошников продолжал подъем размеренным шагом, экономя силы и дыхание. Толик с серьезным видом вышагивал рядом и не задавал никаких вопросов.

— Понимаешь, малыш,— объяснял Владимир мальчику,— ты ничему не удивляйся и не вешай носа. Когда устанешь, скажи мне. Мы должны найти маму, правда?

Толик кивнул, но посмотрел на Пирошникова с беспокойством. Мальчик уже заметил несуразности в поведении лестницы и теперь искал у молодого человека уверенности.

— Теперь я ее знаю,— продолжал Пирошников, обращаясь одновременно к себе и Толику.— И теперь мы вместе кое-что знаем, верно?.. А поэтому мы сильнее!

И Владимир, улыбнувшись, залез рукой под капюшон Толикиной зюйдвестки и потрепал его волосы. Толик оказался взмокшим под меховым капюшоном, и Пирошникову прибавилась новая забота — как бы

мальчик не простудился. Они сделали передышку. Владимир откинул капюшон с головы Толика и вытер ему пот со лба.

Сейчас он думал уже не о встрече с Наденькой, а больше о том, чтобы побыстрее доставить Толика в теплое и безопасное место, где он мог бы передохнуть.

— Надо идти, — сказал Владимир. — А ну-ка!..

И он подхватил Толика под мышки и посадил себе на плечи. Толик вскрикнул от неожиданности и уже на плечах радостно рассмеялся, а Владимир, как альпинист, плотно ставя ноги на каждую ступеньку, продолжил восхождение.

На лестнице, дотеле пустынной, стали попадаться люди, спешившие вниз. Они обходили Пирошникова осторожно, боясь задеть и поглядывая на него с оттенком уважения, точно на заботливого и сильного отца. А он шагал и шагал вверх, придерживая Толика за коленки. Лестница неторопливо уходила назад, не собираясь сдаваться. Более того, она становилась все круче, а ступени выше. К тому же некоторые из них были выщерблены, так что Владимир пару раз терял равновесие, когда его ступня попадала в выемку. В глазах становилось все темнее, но что-то заставляло его продолжать путь.

— Тебе тяжело, — сказал Толик. — Я пойду сам.

Пирошников опустил его вниз и почувствовал, как заняли мышцы спины и шеи. Вдобавок и в груди закололо, когда он нагнулся, поправляя Толику куртку. Владимир расправил плечи и несколько раз глубоко вздохнул, а потом, утерев пот со лба, упрямо пошел дальше. В нем уже закипала нешуточная ярость. Впервые в жизни он действовал с таким упорством — и надо же! — здесь оно растрачивалось на бессмысленное восхождение.

«Нельзя идти вниз. Вниз нельзя», — твердил он про себя.

Пирошникову показалось, что круги лестницы становятся все шире, а возможно, она уже начинает раскручиваться и выпрямляться. Это придало ему сил, он стиснул зубы, и так, сквозь зубы, что-то запел с остервенением, какой-то марш. Толик поспешил за ним, высоко поднимая коленки, он дышал тяжело и жалобно выглядывал из-под капюшона. Пирошников взял его в охапку и прижал к груди, продолжая движение. Толик обхватил его за шею меховыми рукавами, кон-

цы которых повисли за спиною Пирошникова, и лицо мальчика оказалось совсем рядом с лицом Владимира. Он заставил себя улыбнуться, чувствуя, что силы уже на исходе, и прошептал:

— Ничего, малыш! Ничего...

И тут он увидел наконец, что стоит на площадке перед последним и коротким лестничным маршем, заканчивающимся голубой дверью, у которой он уже был однажды, но на этот раз открытой. Владимир собрал все силы и, пошатываясь, медленно одолел пролет.

Он, не спеша, сдерживая шумное дыхание, поставил Толика за высокий порог двери, а потом шагнул к мальчику. За голубой дверью был чердак. В темноту уходили бревенчатые треугольники стропил, почерневшие от времени; пол, усыпанный толстым слоем золы, проминался под ногами, а по нему была проложена тропка из узких качающихся досок. Пирошников пошел по ним, подталкивая впереди себя Толика и не веря еще, что удастся выбраться на волю. Собственно, можно было рассчитывать попасть лишь на крышу, но и это его устраивало. Пускай хоть на крышу! Пускай хоть таким способом будет преодолена лестница!

Где-то в глубине показалось светлое пятно, и Пирошников сообразил, что оно должно происходить от чердачного окна. И действительно, тропка без всяких приключений привела их к четырем деревянным ступенькам, поднимающимся к распахнутым створкам этого окошка, расположенного, как обычно, в торце треугольного выступа над крышей.

— Погоди, Толик,— сказал Пирошников, обходя мальчика.— Тебе туда нельзя. Я сейчас...

И он без излишней спешки, на взгляд довольно спокойно, поднялся по ступенькам и, держась руками за перекладину над окошком, просунул в него сначала ноги, а потом и вылез на крышу полностью. Толик взошел на вторую ступеньку и высунул нос на воздух, следя за Пирошниковым.

Владимир осторожно выпрямился на чрезвычайно покатой поверхности крыши, покрытой слежавшимся в лед зернистым и грязным снегом, и первым делом взглянул в небо. День был великолепный. Солнце стояло высоко, облизывая снежные крыши домов горячими своими лучами, отчего те блестели, как леденцы, и обрастали сосульками у карнизов. Везде были крыши, крыши, крыши — самые разнообразные, плоские и островерхие, с трубами и без, расположенные на

разных уровнях и будто составляющие вместе танцующую рыбку чешую, где каждая чешуйка повернута под углом к соседней и переливается на солнце.

Владимиру показалось, что по этим крышам можно уйти хоть на край света — так тесно они примыкали друг к другу, скрывая узкие пропасти улиц. Лишь одна пропасть лежала открытой в трех метрах от Пирошникова. Это была улица, которую он уже хорошо изучил, рассматривая из окна Наденькиной комнаты. Там, внизу, на проезжей части, виднелась коротенькая фигура дворничихи, которая стояла, задравши голову, и следила за происходящим на крыше. Тротуар возле дома был обнесен веревкой с навитыми на ней красными тряпочками, что указывало на опасность. Взглянув вправо, Пирошников увидел воткнутый в снег железный лом, а подалее двух рабочих, обвязанных веревками вокруг пояса. Рабочие, стоя над пропастью, сбивали ледяные наросты сосулеск с карниза. Сосульки отрывались и проваливались за кромку крыши, а потом снизу доносился звонкий взрыв.

Пирошников оглянулся на Толика и засмеялся, счастливый.

— Мы вышли, малыш! — крикнул он.

Оторвавшись от чердачного окна, он шагнул к железному лому и вырвал его из снега. Город лежал перед ним, показывая свои красоты: выпирал в дымке позлащенный купол Исаакия, тянулись к небу острые шпили, вдалеке был виден клочок набережной с седыми от инея фасадами домов. Пирошников размахнулся и с силою всадил лом в ледяную корку. Броня треснула, и Владимир, поддев льдину ломом, вывернул ее вбок и толкнул.

— Володя, Володя! — донеслось сзади.

Пирошников оглянулся. Кричала Наденька, высушенная из чердачного окошка и прижимавшая к своему заплаканному и смеющемуся лицу головку Толика. Молодой человек засмеялся от радости, хотел что-то крикнуть, но вдруг его нога скользнула по льду, Пирошников дернулся, теряя равновесие, и упал на твердый лед. Лом вырвался из руки и рыбкой юркнул вниз, а через мгновение зазвенел страшным звоном на асфальте. Пирошников расставил руки и почувствовал, что неудержимо сползает книзу. Он глядел на Наденьку и не мог вымолвить ни слова, а она, окаменев, спрятала лицо Толика у себя на груди, крепко сжимая пальцами его голову.

Ногти Пирошникова царапали лед, а ноги пытались найти опору, но безуспешно. Движение ускорялось! Сердце бешено и грубо стучало изнутри по ребрам, прижатым ко льду. Владимир уже готов был закрыть глаза и расслабить тело, но тут Наденька наконец, отпустив голову Толика, крикнула каким-то птичьим призывным криком:

— Держись!

Пирошников уткнулся лицом в лед, стараясь хоть зубами уцепиться за что-нибудь. Рот его наполнился острыми осколками льда, которые мгновенно таяли и смешивались с соленой кровью, сочащейся из губ. Лед царапал ладони и грудь, вонзаясь в тело сквозь рубашку. Пирошников вздрогнул всем телом и напрягся, ощутив себя в этот миг монолитным куском камня, и тут носок его ботинка, уже провалившийся было за кромку, но усилием воли возвращенный назад, уперся во что-то твердое. Это был проржавевший край водосточного желоба, закованный в лед и выступающий над ним на какие-нибудь несколько сантиметров.

Пирошников почувствовал, как начала крошиться ветхая ржавчина под тяжестью его тела, замершего на краю крыши в странной, нелепой позе; он услышал незнакомые голоса сбоку и снизу, которые кричали ему: «Держись!» — и, приподняв голову, заметил боковым зрением спешивших ему на помощь людей, а прямо перед собою — в проеме чердачного окна, увидел Наденьку с Толиком, которые, затаив дыхание, смотрели на него, словно взглядом этим, всей силой своей любви, удерживали на краю пропасти.

1972, 1980

СОДЕРЖАНИЕ

В. Акимов. О прозе Александра Житинского	3
ЭФФЕКТ БРУММА	7
СТРАСТИ ПО ПРОМЕТЕЮ	38
АРСИК	87
ХЕОПС И НЕФЕРТИТИ	133
СНЮСЬ	195
ЛЕСТНИЦА	280

**Александр Николаевич
Житинский**

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Редактор А. Г. Казакова
Художник В. Б. Мартусевич
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор В. И. Демьяненко
Корректор Л. М. Ван-Заам

ИБ № 2163

Сдано в набор 18.09.81. Подписано к печати 17.05.82. М-17554.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага тип. № 2. Гарн. школьная. Печать
высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л.
22,13. Тираж 65 000 экз. Заказ № 270. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздата, 191023, Ленин-
град, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени ти-
пография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград,
Фонтанка, 57.